

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ МИР

1980

2



1980



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ — Генрих Рудяков, Михаил Беляев, Николай Кутов, Григорий Глазов, Иван Бауков, Игорь Иванов, Ибрагим Кэбирли (перевел с азербайджанского Владимир Цыбин), Эльмира Блинова, Вячеслав Баширов, Марина Некрасова, Александр Романов, Василий Казанцев, Александр Куницын	3
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Альтист Данилов, роман. Предисловие Родиона Щедрина	14
ДАНИИЛ ГРАНИН — Картина, роман. Окончание	55
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Самый счастливый день, рассказ акселерантки	177
ЛУИС КОРВАЛАН — Наш демократический проект. Перевел с испанского И. Рыбалкин	183
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
НИКОЛАЙ ИВАНОВ — Когда приходит старость	209
<b>В МИРЕ ИСКУССТВА</b>	
Е. КИБРИК — Всегда открытие. Окончание	221
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
М. Ф. КИСЕЛЕВА-ШУМОВА — «С душевным расположением». Предисловие Феодосия Видрашку	234
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Н. КРЫМОВА — Этот странный, странный мир театра	245

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Коган. «...Снова к прошлому взглядом приблизимся...» — Ю. Смелков. Нота надежды.— Константин Кедров. Мужество Достоевского.	266
<i>Политика и наука</i>	
В. Косолапов. Командующий фронтом.— Иг. Бубнов. Эстетическое очарование истины.	277
КОРОТКО О КНИГАХ: Г. Петрова.— Геннадий Абрамов. Теплом одеть	
Рассказы. ✦ Ал. Горловский.— Анатолий Ренин. Словом слышу.	
Книга стихов. ✦ Ст. Лесневский.— Евг. Петряев. Записки книголюба. ✦ В. Барвинский.— Г. А. Разумов, М. Ф. Хасин. Тонущие города. ✦ Т. Гнедина.— Ирина Радунская. Предчувствия и свершения	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

---

## ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

★

ГЕНРИХ РУДЯКОВ

Присяга

Есть простые ценности на свете —  
Хлеб и правда, родина и честь.  
Человек за них всегда в ответе,  
Потому что подлость — тоже есть.  
Потому что в этом трудном мире  
Все смешалось, все переплелось  
И в душе горячее, как в квартире,  
С добротой живет бок о бок злость.  
Все ж перед смертельной вражьей пулей,  
Перед тем, как на землю упасть,  
Верю, что меня не обманули  
Ни мечта, ни молодость, ни страсть!  
Ни рассвет багряный над Россией,  
Ни тропинка тихая к ручью.  
И за эти ценности простые  
Я бесценность жизни отдаю.

---

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

Бронник

*600-летию Куликовской битвы*

Смоленские брови,  
Смоленская стать.  
Владычить у горна — железом сверкать.  
Свивает в огне,  
Распалая огонь,  
Кольчужные кольца — застежную бронь.  
Проклятое дело —  
Ковать для врагов,  
Скипевшейся кровью взирать на сынов.  
У древнего горна  
В деревне родной  
Он — свой по рождению, по делу — чужой.  
Врагов окольчужил —  
Хоть деревом стань!  
Смертельное бремя — безмерная дань.

Кует он мечи —  
Как пожары плодит,  
Как будто всю Русь он иссесть норовит.  
Кует он мечи,  
А вблизи и вдали  
Не новые хаты — пожары пошли.  
Хрустя головнями,  
Пожары взвились —  
Века не поднимут подмятую жизнь.  
В раздумии бронник,  
Кольчужный ковач:  
Весною деревню охватывал плач.  
Бесною деревню  
Тряхнула Орда —  
И женщин повымела в степи беда.  
Пока он прибитый  
Лежал под стеной,  
Умчался ордынец с плененной женой.  
С плененной женой,  
Как звезда молодой,  
И двор зарастает густой лебедой.  
С весны по-степному  
Поет, весела,  
Увязнув в гребенчатой кровле, стрела.  
Вприхромку гуляет  
У кузни мурза,  
Сошелены злом залитые глаза.  
У Русского Брода  
Посек он славян,  
Десятое лето не ведает ран.  
Он бронника хвалит,  
И хвалит он меч,  
Но хуже пленения льстивая речь.  
Кровавый ордынец,  
Умерь похвальбы,  
Не выкован меч, что срезает дубы,  
Что камни срезает,  
Что горы сечет,  
Что кровь и в печенках врагов достает.  
Разделка с врагами  
Еще озарит  
И русское поле и дедовский щит.  
Ломал, принижая,  
Свое мастерство,  
Но меч не фальшивит — подводит его.  
Готов отрубить  
Даже руку свою:  
Оружье врагам помогает в бою.  
«Ты вовремя, мурзич,  
Мой меч похвалил!..  
На правое дело меня вдохновил».  
И вспыхнуло сердце  
Сильнее, чем горн.  
И выхватил мурзича меч из ножон.  
И князя скосил  
Окровавленный меч,  
И взвизгнула свита, вскружилась, как смерч.

И прыгнула с кровли  
 Кузнечной стрела,  
 Что ханскую волю, как пес, стерегла.  
 И кузня взвихрилась  
 Огнем-скакуном  
 И в землю ушла за блеснувшим мечом.  
 И так опалил  
 Тот кузнечный огонь —  
 Везде на ордынцах рассыпалась бронь.

---

## НИКОЛАЙ КУТОВ

### В Миассе

*Александр Филиппенко.*

От Челябинска электричкой  
 До Миасса доехать можно.  
 Вновь имен и времен переключка,  
 Вновь узнать свою юность несложно.  
 Только где бараки-временки,  
 Где станки, что при мне зашумели?  
 Вижу горы. Там спят северянки —  
 Отдыхающие метели.  
 Горы, горы! Все изменилось,  
 Лишь они одни неизменны.  
 Время двигалось, время трудилось,  
 Вышки ставило, строило стены.  
 И кого удивишь в наши годы  
 Многотрубьем и многоэтажьем!  
 В Золотой долине лишь горы  
 Не меняются с годом каждым.  
 По горам скалолазы-деревья  
 От подножий стремятся к вершинам,  
 А внизу, где стояли деревни,  
 Зданья высятся, мчатся машины.  
 Горы, город, река-старатель  
 И завод, за войну рожденный.  
 Здравствуй, край, здравствуй, давний приятель,  
 Здравствуй, друг, в этот край влюбленный.  
 Мне горами кажутся годы.  
 Постарели мы, друг? Да что ты!  
 Просто мы, как здания в горы,  
 Поднимаемся на высоты.  
 Снег вершин нам головы белит  
 (Опыт жизни недаром нажит),  
 Или грозной поры метели  
 В волосах запутались наших.

---

## ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ

### Вспоминая эти дни

Был год как кончилась война.  
 Я комиссован подчистую.  
 И жизнь прозрачно-холостую,

как брагу в жажду, пил сполна.  
 Не выбросил, а износил  
 и сапоги и гимнастерку.  
 Жил в день на рупь или пятерку,  
 но милостыни не просил.  
 И лакомством была в столовках  
 тяжелая, как дробь, перловка.  
 Тараньку пивом запивал.  
 Кого-то гневно осуждая,  
 я, в эмпиреях не витая,  
 кричал: «Да он не воевал!..»  
 Все было просто, словно выстрел,  
 где пули линия прямая.  
 Да я ее еще убыстрил.  
 А много надо ли ума,  
 чтоб окатил кого-то холод  
 от слов таких?! Я жив и молод!  
 И, трижды смерть свою поправ,  
 уверовал, что этим прав...  
 Но вспоминая эти дни,  
 не осуждаю той гордыни,  
 и в снах моих еще поньше,  
 как детство, сладостны они.  
 Но вспоминая эти дни,  
 теперь все чаще мне охота  
 и все сказать и спрятать что-то  
 не в слове, а в его тени...

---

### ИВАН БАУКОВ

\* \* \*

Я знаю,  
 Что поэзия везде —  
 В цветах, в росе,  
 В траве, что под ногами,  
 В степи, на пашне,  
 В заводском труде,  
 И над землей,  
 И в небесах над нами.  
 Взгляну на солнце  
 Утром на заре.  
 Взгляну на солнце  
 На закате лета.  
 Я знаю —  
 Нет поэзии нигде,  
 Коль нет ее в самой  
 Душе поэта.

---

### ИГОРЬ ИВАНОВ

\* \* \*

Я безрассуден был и пылок;  
 Считал презренным слово «тыл»,  
 Пока мне с тыла враг в затылок

Прикладом вдруг не угодил.  
Был немец слаб, или ушанкой  
Спасен был я — одно из двух...  
Но крепко к темени изнанкой  
Присох солдатский мой треух.  
Спасибо теплой мягкой вате  
И добрым швейницам поклон.  
Я отлежался в медсанбате,  
И даже справки нет о том...  
Но неожиданно под вечер  
Давнишний тот рубец заныл.  
И сельский грубоватый фельдшер  
Его ощупал и промыл.  
Я ерзал на казенном стуле,  
А лекарь будто мне в вину  
Спросил: «Не в драке ль саданули?»  
Легко валить все на войну».  
Ответил твердо: «Точно, в драке».  
И вроде не пришлось соврать.  
...А все ж тылы я с той атаки  
Не научился прикрывать.

### ИБРАГИМ КЭБИРЛИ

#### Мой окоп

*С азербайджанского*

Окоп мой стойкий, ты моя броня,  
Моя защита и моя опора,  
Окоп, я без тебя погиб бы скоро  
Под шквалом пулеметного огня.  
От смерти и от ран меня берег  
И заслонял меня недвижимым телом,  
Под яростной бомбежкой, под обстрелом  
Мне мужественно выстоять помог.  
С тех пор как вырыт, мой окоп, с тех пор  
Тебя кромсали пули и осколки,  
Но уцелел ты в огненной прополке,  
Хоть били пушки по тебе в упор.  
День изо дня гремел свинцовый шквал,  
Но ты стоял, как прежде, нерушимо,  
Укрытый мглой порохового дыма,  
Меня своим ты телом укрывал.  
Израненный, контуженный огнем,  
Покрыт рубцами, словно старый воин,  
Простреленный, контуженный,  
Достоин  
Ты памятником в сердце стать моем!  
За бруствером, как будто за горой,  
Мы залегли — и мы остались живы...  
Перемололи землю в пыль разрывы  
И ссыпали ее в окоп сырой.  
Снаряд летит... За ним еще снаряд —  
И днем и ночью по всему участку,  
И мне в лицо и на стальную каску  
Комки земли растерзанной летят.



Через тебя, окоп, путь проходил,  
 Путь к сердцу моей Родины любимой,  
 Ты насмерть стал перед стальной лавиной,  
 Не дрогнул, мой окоп, не отступил!  
 И мне земля по грудь — окоп по грудь.  
 Здесь каждый выступ,  
 Даже камень каждый  
 Меня готов прикрыть собой отважно —  
 Сама земля врагу закрыла путь!  
 Я знаю, защитит меня земля.  
 В земле по грудь, в земле сырой по плечи,  
 Под пулями, под посвистом картечи  
 Мы выстояли, Родина моя!  
 Сверкали вспышки, мне глаза слепя,  
 И я оглох средь пушечного шквала...  
 Земля со мной плечо в плечо стояла,  
 Все пули принимая на себя.  
 Что б ни было, я помню все равно:  
 С мечом пришедший от меча и сгинет.  
 И в жизни нас никто назад не сдвинет,  
 Пока с землей родной  
 Мы заодно.

Перевел ВЛАДИМИР ЦЫБИН.

## ЭЛЬМИРА БЛИНОВА

### Художник

Живописец еще невелик.  
 Ну так что же? Он любит краски.  
 Под рукой у него белый лист  
 оживает, как в доброй сказке.  
 Он рисует в манере условной  
 облака, корабли и волны.  
 Взрослым это немножко нравится,  
 снисходительно улыбаются.  
 Ну а дядя, студент беспечный,  
 верит — слава ему обеспечена.  
 Он спрашивает осторожно  
 комментарии у художника:  
 — Это дерево пожелтело?  
 — Что ты, бабушка заболела.  
 — А вот это, конечно, тучи?  
 — Просто Джек убежал, и скучно.  
 — Ну а это — чудовищно яркое?  
 — Это мама такая нарядная.  
 — Хорошо. А вот это что же?  
 — Сам не знаю, на что похоже.

### Городские деревья

До свиданья —  
 она говорит,  
 и он говорит —  
 до свиданья.  
 Это не расставанье,  
 а просто

осенью  
на остановке трамвайной.  
— Возвращайся скорей,  
я старею,  
тебя ожидая.  
— Я вернусь.  
— Ты вернешься  
и снова уедешь. —  
И снова:  
до свиданья —  
она говорит,  
и он говорит —  
до свиданья.  
Городские деревья  
трепещут —  
до увяданья.

---

### ВЯЧЕСЛАВ БАШИРОВ

#### На ветру, под дождем

На кленовых ладошках  
линии жизни просты —  
трепетать на ветру  
и дрожать под дождем,  
а потом улетать с высоты...  
Я. И ты. Мы уйдем.  
А пока...  
А пока наша жизнь высока,  
наши линии жизни чисты,  
день за днем на ветру, под дождем  
мы трепещем, сверкаем, живем...  
А потом...  
Но не скоро... потом...

\* \* \*

Так ветер отряхнет листву  
И тысячекратным блеском  
Плеснет за шиворот, в подлеске  
Предастся сдуру колдовству —  
В травинку дунет, забормочет,  
наврет, подлец, и заморочит.  
Так солнце жарко брызнет в щеки —  
Вниманье — сузились глаза, —  
Включаем птичьи голоса.  
Так Пан сыграет на расческе  
В скрипичном солнечном ключе,  
Когда пылинки на луче.  
Так ветер будет в вышине  
Скрипеть уключинами солнца.  
Так леший спляшет на сосне —  
И в тихом омуте плеснется  
Такое счастье — боже мой —  
В ладонях отнесу домой.

\* \*

Светло и холодно. Высокий потолок  
 Расколот трещиной неторопливой.  
 Окно распахнуто. Единственный листок  
 В окно слетает с ветки тополиной.  
 Светло и холодно, и с запахом лекарств  
 Мешается осенних яблок запах.  
 Окно распахнуто для ветра и листка,  
 Которому в прозрачном небе зябко.  
 Светло и холодно, и медленно звенят  
 В блестящей белой раковине капли.  
 Светло и холодно, как будто бы меня  
 Пришли светло и холодно оплакать.  
 Окно распахнуто. Высокий небосвод  
 Ветвями тополиными расколот.  
 Холодным светом пустота зовет,  
 Но как оставить этот светлый холод.

---

## МАРИНА НЕКРАСОВА

### Застава

#### 1

Спокойно и просто  
 Давай говорить обо всем:  
 Об этой березке,  
 Что гнется за нашим окном,  
 О северном небе,  
 О том, что снега да снега...  
 В округу, как лебедь,  
 Вплывает большая пурга  
 В шуршащих нарядах...  
 А в синем проеме окна  
 Фигура солдата,  
 Несущего службу, видна.

#### 2

Возили прощаться с заставой,  
 Просили не плакать, а петь.  
 Не знали, как можно заставить  
 Такую разлуку стерпеть.  
 Возили прощаться с рекою,  
 К притихшим ее берегам,  
 Прислушаться в ложном покое  
 К своим же последним шагам.  
 Возили прощаться с горами  
 Земли разграниченной, той,  
 Где вышка стояла на грани  
 Улыбки ее золотой.  
 Но слишком затянута осень  
 С того незабвенного дня —  
 Как будто бы возят и возят  
 С заставой прощаться меня.

## 3

Я теряю цветущую тундру.  
 Ухожу и бросаю любя.  
 Семена безнадежно и трудно  
 Непрístupную почву долбят.  
 Пахнут рыбой ветра с океана,  
 Но не пахнет теплом и жильем.  
 Оказалось,

что не по карману  
 Ледяное наследство твое,  
 Тундра!

Я не хочу притворяться.  
 Мой свободный порыв не утих.  
 Но теперь я боюсь затеряться  
 Среди недолгих растений твоих,  
 Потому что с тобой совпадаю,  
 А тепло твоих летних лучей,  
 словно клавиша, западает  
 В монотонность полярных ночей...  
 Как ни мерь — не по росту одежда!  
 Хоть заплачь — не повеет теплом...  
 Полетят в моей жизни, как прежде,  
 И метель  
 И капель за стеклом.

## 4

...И против слова «никогда»  
 Душа восстала.

Смерть — ошибка,  
 Как будто жуткая звезда  
 С навек застывшею улыбкой.  
 Пускай взойдет вечерний свет  
 Застав,  
 Пускай раздвинет время.  
 Крик часового на устах  
 Замрет,  
 останется в веках,  
 Усльпан будет всеми, всеми...  
 Светает. Сорок первый год.  
 Лежит зеленая фуражка,  
 Отброшенная вихрем страшным  
 Войны.

А белые ромашки  
 Еще не смяты сапогом.

## АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

## Распутье

Что было мне дано — я тратил, слава богу.  
 Я дальше уходил, надеясь: будет след!  
 Ты видишь ли меня? — спросила вдруг дорога.  
 И я остолбенел. Сказал: не вижу, нет...  
 Куда исчезла ты? Верни былую милость.  
 Прошу — явись любой: в снегах, грязи, пыли!  
 Сказала: срок прошел, перед тобой стелилась,  
 А дальше ты меня перед собой стели.

О, милый край — страна лесная и степная!  
 Померкло все, чем жил и рядом и вдали.  
 Впервые в жизни сам свой путь определяя,  
 стоял я на земле, не чувствуя земли.

### ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

\* \* \*

Не помнишь ты отца родного.  
 Ни добрых глаз. Ни теплых рук.  
 Он для тебя готовил слово.  
 Но — затерялся в даях звук.  
 Ни слов веселых. Ни печальных.  
 Ни малой черточки простой.  
 От тех далеких лет начальных  
 Холодной веет пустотой...  
 Лишь иногда во сне летучем —  
 Внезапно — видишь ты отца.  
 В метельно-резком ветре жгучем.  
 В смертельном посвисте свинца.  
 Чернеет небо над полями.  
 И даль клубится облаками.  
 И дым встает над рябью крыш.  
 И не отец к тебе сквозь пламя —  
 Еще и ты в огонь бежишь...

\* \* \*

Как ветер, лето налетело.  
 Прошлось по травам и кустам.  
 Как ненасытно радо тело  
 Густым размашистым лучам.  
 За зноем — влажная прохлада.  
 Воды воздушная волна.  
 О как же алчно ливню рада  
 Лучом ожженная спина!  
 Но в каждой радости — вина,  
 Как привкус горечи, слышна...  
 Сияет солнце огневое,  
 Душисто-жаркий свет струит.  
 ...А где-то, сжавшийся на зное,  
 В смертельной жажде хлеб горит...  
 Шумящий ливень хлещет пенно,  
 Густой прохладой обдает.  
 ...А где-то брошенное сено,  
 К земле прибитое, гниет...

\* \* \*

Это мы отразились в недвижных озерах,  
 Голубых зеркалах стекленеющих льдов.  
 В опрокинутых высях — застывших узорах  
 Наклоненных, сплетенных ветвей и стволов.  
 Лед звенит. Разлетаются молнии-блики  
 Сонных рыб. Гладь — поет, и зовет, и несет!

Позади — бесконечные дни земляники,  
Росных трав, знойных полдней, работ и забот...  
Мы поспеем к уроку. В рассветном тумане  
Ледяная звезда одиноко видна.  
Греет бок, прилегая, лепешка в кармане.  
За лесами, горами — грохочет война.  
Как живется нам в мире — легко ль, нелегко ли —  
Мы не думаем. Мчим над озерами мы.  
Ветер режет глаза — мы не чувствуем боли.  
В лица дышит зима — мы не слышим зимы.

---

### АЛЕКСАНДР КУНИЦЫН

\* \* \*

В грохочущих цехах завода  
Наш труд весом, и зрим, и груб.  
Мы здесь прошли огонь и воду.  
И не боимся медных труб!  
Наш труд нелегок и непрост.  
Но от него пути порою  
Прямой и до Звезды Героя  
И до любых небесных звезд!

\* \* \*

И маги все и все пророки,  
Все тайновидцы древних лет  
Не предсказали эти сроки  
И на Луне колесный след...  
А скоро и к созвездьям двинем,  
Возьмем и световой порог...  
Разинув рот, стоял бы ныне  
Любой отчаянный пророк.  
Но строго их судить не будем.  
И нам бы заглянуть вперед,  
Ученым, современным людям, —  
И мы разинули бы рот.

\* \* \*

Созвездия горят, не отвечая  
На вечные вопросы бытия...  
А нас волна житейская качает.  
И в быте с головою ты и я.  
Но набирают скорость поезда.  
И в небеса уходят космонавты.  
И позывные шлем. И, может, завтра  
Откликнется какая-то звезда.  
И со звездой заговорим мы просто,  
Сигналы полетят в межзвездной мгле.  
...Но вечные проклятые вопросы  
Решать самим нам все же на земле.

---

---

---

ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

## АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ

Роман

Я незнаком с Владимиром Орловым. И не знаю, музыкант ли он. Да и суть важно ли это? Но то, о чем Владимир Орлов пишет в романе «Альтист Данилов», имеет для меня завораживающий интерес, ибо речь идет, думается мне, — при всей фантазмагоричности содержания — о тайнах и таинствах, загадках и «странностях» музыкального творчества, исполнительского, композиторского.

Музыка, на мой взгляд, один из наиболее сложных и неподдающихся словесному описанию видов искусства. Поэтому многомерные ассоциации, аллегории, временные смещения, блики мотивов Моцарт — Сальери, Фауст — Мефистофель, видящиеся мне, гоголевские преувеличения явно уместны для архитектоники романа, ставящего перед собой цель заглянуть в мастерскую композитора, творца, исполнителя, коснуться словом сути его ремесла и вдохновения.

О музыке писали немало. Памятен звонкий скандал, разразившийся между Томасом Манном и Арнольдом Шенбергом, когда последний печатно обвинил писателя в эксплуатации — в сюжете романа «Доктор Фаустус», в вымышленном образе композитора Адриана Левекюна — музыкально-конструктивной идеи Шенберга о равноправии всех двенадцати тонов хроматического звукоряда. Это дало Т. Манну повод сопроводить последующее издание романа кратким послесловием, где он уведомлял читателя, что двенадцатизвуковая, или серийная, техника «является духовной собственностью современного композитора и теоретика Арнольда Шенберга». Однако это не удовлетворило гордого маэстро.

Здесь же намерение было иное: самыми разнящимися красками предпринять попытку нарисовать картину будней и праздников жизни музыканта. Быт его и взлеты фантазии, «сумасшедшинку» и иссушающий труд, все то, что составляет нутро каждого серьезного художника. Хочется верить, что читатели «Нового мира» прочтут «Альтиста Данилова» с заинтересованностью.

Родion ШЕДРИН.

¶

**Д**анилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но это так, между прочим.

Теперь Данилов бывает у Муравлевых не часто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений.

...В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно

пахнет, в кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит.

На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрей — и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет трамваем на запах. Иногда он и ноздрей не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещей голос и тихо так, словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова у него сомнений нет. Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр: «Не отменен нынче спектакль?» Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля.

Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным — молчит и молчит, только жует и глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала стгорая слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает:

Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же старый знакомый, да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие уловки и дипломатические хитрости, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле — совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три мясного и тут же за столом засыпает.

А Данилов с Муравлевым потихоньку смакует угощения.

— Как нынче лобио удалось! — радуется Данилов.

— Ты вот салат этот желтенький попробуй, — спешит в усердии Муравлев, — тут и орехи, и сыр, и майонез.

— Соус провансаль, — поправляет его Данилов, а отведав желтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку, как всегда, искренне и шумно.

Хозяйка сидит тут же красная от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы приготовить гостю новые блюда.

И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделилась, мяса и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.

Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе.



— Ну вот,— говорит Муравлев Данилову,— а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством!

— Мучил,— соглашается Данилов. И добавляет печально:— А мне их и сейчас жалко... И этого вот барашка... И мать его осталась теперь одна...

— Глупости... Метафизика...— просыпается Кудасов.— Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете.

— Это вы зря, Валерий Степанович,— тут же грудью встает на защиту Данилова жена Муравлева Тамара.— Напротив, Володя ходит на все семинары!

— А мать-то этого плова,— добавляет Кудасов,— давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.

— Зачем вы так...— кротко говорит Данилов.

Но приходит время чая и кофе — и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай, по науке Данилова, должен иметь свою степень цвета — и русский и зеленый,— а уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после второго акта проспори́л Данилову в хоккеем пари бутылку коньяка) стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жостовских подносах чайники и турки.

— Ну как? — робко спрашивает Данилов.

— Прекрасно! — говорит Муравлев.— Как всегда!

Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева, и в блаженной полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в Набережных Челнах, он очень устает: играет и в театре и в концертах, он должен платить много денег — за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет...

Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

## 2

Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектаклей иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при ЖЭКе встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовый, но был прикреплен к домовым.

Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал к Данилову слабость. Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов, добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого века Данилов часто

спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, говорил ему: «Ах бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода!» — но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением.

Спьяну однажды полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. «Да я таких! — шумел он. — Лезут всюду разные!.. С бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он всего лишь домовый, а Данилов не домовый, а только прикреплен к домовым.

Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовый Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.

Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съезжиться на зиму в гербарии третьеклассника, а он в собрании домовых держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с НИМ пили виски, молчали, а пили. «Скотина! — думали. — Была бы наша воля, мы бы тебя...» — но пили, полагая, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Словно озноб какой нервный со всеми делался. Или будто грустный удушенник начал к ним, ходить.

И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не был у домовых. Решил зайти. Рассказали Данилову про исчезновение Ивана Афанасьевича и про подлость Георгия Николаевича. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в отутюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Билибин с портрета Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли.

— Брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом.

— Я, — сказал Данилов, — соблюдаю правила гигиены.

— Что же, я заразный?

— Да, — сказал Данилов. — Вы больны гриппом. Вы что, не чувствуете? К тому же вы перенесли на ногах холеру восемьсот сорок четвертого года. А бактерии ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну холера ладно. А грипп в этом году дает тяжелые осложнения.

Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и не спеша в тишине завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка крахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые бросились к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой.

— А мне? — жалостливо попросил Георгий Николаевич.

— А вам не надо,— сказал Данилов.

Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал.

— Что же вы плачете?— сказал Данилов.— Вам лечиться надо.

— У меня друг погиб... растворился там,— Георгий Николаевич пальцем вверх указал,— мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь...

— Какой, простите, друг?

— Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской, за церковью Филиппа-митрополита... Мы в жмурки вместе играли... Он под конец жил неправильно... Я ему правду в глаза говорил... И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь... Стыдно вам потом будет...

— Полно, Георгий Николаевич,— сказал Данилов.— Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете.

Тут Георгий Николаевич вскочил со злыми, сухими уже глазами, бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за sukонные отвороты фрака и дернул их так, что нитка хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала.

— Выдал! Выдал себя!— кричал Георгий Николаевич.— Из-за него, из-за слюнтя этого весь спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог!

— Уберите руки,— сказал Данилов, и Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа.

— Я на тебя управу найду!— все еще кричал Георгий Николаевич.— Раз ты к нам, к мелким тварям, ходишь, значит, ты из демонов разжалованный! Наказали тебя, и я уж узнаю за что!

Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости, газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло.

Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества, обернулся на пороге и прошептал:

— Это тебе дорого обойдется...

Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые снимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить марлю еще неделю.

Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно пути какие скинули с затекших рук. Сам же Данилов был опечален оттого, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но, главное, даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме: «Чтоб он сторел, этот дом отдыха!» Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. Слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Поду-

мать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку «экстры», сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемоданы семейные вещи и припасы. Флигель пропылал недолго. Всю ночь погорельцы провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог.

Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевиче, оказался таким сильным, что весь двадцать пятый дом назавтра заболел. Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем не подозревали. Звали его, но он откашивался, находил причины. Думал: «Нет, все! Это в последний раз! Неужели я не умею властвовать собой? Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем устраивать чих и кашель?» Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился.

И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на пустовавшее три месяца после уезда Ивана Афанасьевича место.

### 3

Звали его Валентин Сергеевич, он носил пенсне на платиновой цепочке, в разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывая голову назад и произносил пронзительно: «Це! Це! Це! Це!» В звуках этих действительно было удивление, но имелось и еще нечто, что путало или, по крайней мере, настораживало. Шалопайи домовые из блочных домов, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходиться в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке, но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли.

Валентин Сергеевич оказался егозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим «це! це! це! це!». Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича останкинским старожилам была неизвестна, выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле Колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вилимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком, у него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от Брюсовых тиглей и посуды могли протушить на долгие века ближайšie к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей. А вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Непроста, решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании.

Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним

и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне»,— сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя, но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой, а может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе и чуть ли не сознание превосходства. «Экий гусь!»— думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем.

Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы.

— А то меня почему-то все стали побаиваться...— сказал он, как бы смущаясь.

Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич сильный. Данилов даже засомневался, играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше.

И все же он решил играть в силу домового. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать лигой выше. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах вот ты как!— подумал он.— Да тебе эдак против Фишера играть... А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему...» Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед.

Раздался электрический треск, Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу.

— Здесь принято играть в силу домовых,— сказал Данилов.— Нарушение вами правил может быть превратно истолковано.

— Вы... вы!— нервно заговорил Валентин Сергеевич.— Вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то оттого, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали!.. А на виоль д'амур хотите играть, да у вас не выходит!..

— Что вы понимаете в виоль д'амур!— сказал Данилов.— И не можете вы говорить о том, чего не знаете и о чем не имеете права говорить.

— Значит, имею!— взвизгнул Валентин Сергеевич.

Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселого нынче зала, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича.

— Вы нервничаете,— сказал Данилов.— Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре.

Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке,— думал,— и виоль д'амур, стало быть, меня не слушается, ах ты негодяй!» Но на вид был спокойный.

— Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу,— сказал Данилов, забирая белую пешку.

— Не угадали, Владимир Алексеич!— рассмеялся Валентин Сергеевич.— Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять... Что нам с вами Георгий Николаевич? Он правильный домовый. Но он мелочь, так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес! Если это можно назвать интересом.

— А вы-то что суетитесь?

— Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня. Мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое... Я про вас слушал и чуть ли не плакал. Да и есть ли порядок? — думал.

— Ну и как, есть?

— Есть, Владимир Алексеевич, есть! Вот он!

И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял.

— Прямо как пираты, — сказал Данилов. — Еще бы нарисовали череп с костями — и была бы черная метка.

— Не в последний ли раз вы смеетесь?

— А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?

— Нет, — словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. — Я курьер.

— Вот и найдите свое место, — сказал Данилов.

— Какой вы высокомерный! — снова взвизгнул Валентин Сергеевич. — Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей, да и вам ли нынче кому-либо дерзить! Вам ведь назначено время «Ч»!

Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени «Ч», и Данилову, как он ни храбрился, стало не по себе. «Но, наверное, это не сегодня, и не завтра, и даже не через месяц!» — успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности.

— Ваш ход, — сказал Валентин Сергеевич.

— Да, да, — спохватился Данилов.

Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, которую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке, стерпеть такое жульничество он не мог! Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи! Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам, просто так, — решил он, — а там посмотрим...» Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захолопал ресницами, крашными фосфорическими смесями:

— Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня?

«Что это он? — удивился Данилов. — Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи, слона я отдаю ни за что...»

— Не выигрывайте у меня! — взмолился Валентин Сергеевич. — Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!

Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал:

— Ну хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей!

— Батюшка! Благодарю! — бросился к нему Валентин Сергеевич, руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись брезгливо, отступил назад.

Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр зала, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева:

— Жди своего часа!

Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшись в стену, и исчез, опять оставив двадцать пятый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видно натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ.

«Ну и вкус у него! — думал Данилов, глядя на опаленные обои. — И чего он так испугался жертвы слона?.. Странно... А ведь бас-то этот кажется мне знакомым...» Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», — вздохнул Данилов. Хуже и придумать было нельзя..

#### 4

Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил.

Курил он в редких случаях.

Под ним, подчиняясь вращению Земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову.

Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии подойдет к нему тяжелая снежная туча.

В Москве было тепло, мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову, колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурю воду, крики протеста звучали вослед нахамившим таксистам, обдававшим публику мокрой грязью. Однако, по предположениям Темиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студенными. Не исключалась и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозным местом в Москве, а теперь еще обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкином. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое.

Она текла к нему своим ходом.

И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то, не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от тридцатилетнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк возле палатки «Пончики». Мужчина был виден плохо, Данилов включил изображение, осмотрел мужчину, заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересест на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция

прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал: «Сейчас бы стакан водки — и все!» Мысль эту Данилов понял.

Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине в нутриевой шапке он решился подойти не сразу. Данилов всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова.

— Холодно, — сказал Данилов, улыбаясь от смущения.

— Да, зябко, — кивнул мужчина.

Помолчали.

— Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметевским дворцом?

Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал:

— Это еще не самые худшие дома...

— Не уверен, — сказал Данилов и, помолчав, опять начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь: — Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба, вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня... У меня тяжело на душе... Мне сейчас выпить надо... А один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?

— То есть как? — растерялся мужчина.

— У меня все есть, — сказал Данилов. И достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. — Вы, если не желаете, хоть только постоит рядом со мной...

— Ну что ж, — неуверенно сказал мужчина, — если вам нужно, чтобы я постоял...

— Вот и спасибо! — обрадовался Данилов.

Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского, или коньяка, или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля, водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать! Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине:

— Вот, пожалуйста, примите... Я больше не могу... Но не пропадать же добру!..

— Нет, нет, нет! Что вы! — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил.

Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал:

— А больше стакана вы и не хотели.

— Что? — как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно.

— Нет, нет, это я так, — быстро сказал Данилов.

Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться, мужчина сейчас мог пуститься в откровенности, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой ры-



ночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи.

Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюково он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее, к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо, он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение.

Минут через двадцать они уже были над Останкином. Тут и началось! Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило, сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот наконец движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть, и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как! — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. — Ах, как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.

А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью сто пятьдесят километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца. Но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею, с артиллерийским грохотом взвился в небо, да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинулся обратно в тучу. И потом он опять и опять падал с молнией на землю, кувиркаясь и расплескивая искры. Дважды он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился. «Хватит! — сказал себе Данилов. — Все. Надо остановиться. Дубу-то зачем страдать...» И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Темиртауской метеостанции.

Скорость его была уже хороша, да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным, он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе как в подсобном для разгона средстве не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости. Как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше, в юношескую пору, Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой.

Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Было у него в Андах место успокоения.

Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле, да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители и вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку, а Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда вышло, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. «Ну и пусть!» — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. «Неужели и такие теперь вхожи?.. Кто же он есть?..» И он полетел дальше.

Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в Верхний Уфалей, и уже он в Верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, но это, по мнению Данилова, было бы все равно что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничего бы он тогда не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел. А только бы голова разболелась. Оттого он в дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправится, бывало, в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется поневоле на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозаннский дом Сименона, благо тот рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Равальпинди, плач ребенка в пригороде Манилы, ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет и полетит к Химеко...

Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил. Под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах в самом Париже и в пятидесяти лье от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскориала, сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья и самшитовым венником вымести наконец оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе: «Непременно в следующий раз», однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть.

Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особого напряжения мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было. Да и кто нынче осмелится бы их надеть! Мода на них давно прошла, даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь пятнадцать лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем.

Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами, но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них

являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул про-резиненной материей, материю же эту он обложил сверху павлиньими перьями, а снизу обшил черным бархатом и по бархату пустил дорожки из мезенских жемчугов. Крыльев он пошил восемь, два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные, теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем, старые вещи трогают его. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, всего не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости — и начался бум... Что тут творилось! Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья — и от «бойнгов», и от допотопных «фарманов», по четыре каждый, и даже от не существовавших тогда «конкордов». «Тьфу!» — сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фатеже и Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет, вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклепанные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он достал крылья от «ИЛ-18», ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки. И не нужны были ни ему, ни его знакомым ни крылья, ни двигатели, ни скафандры, все ведь это было так, побрякушки! Цветные стеклышки для папуасов!

Но давно уж пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах, у моря, а здешние жители его отчего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее там и тут на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была еще хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки, а вот спиожнил, наволок камней, уложил их да сверху еще их и вылизал и раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, сидел на полосе, как самолет, с ревом, с ветром, выпуская из-под мышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами да еще и оплел их орнаментом дорожек, нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес один пронцательный профессор, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым.

Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт, гранитный тесаный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся.

Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучала Данилова. Эх, отложить бы сейчас, думал Данилов, все это на когда-

нибудь потом да и забыть обо всем... Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени «Ч». Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза. Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали? Ведь хуже него есть личности — и живут себе, и никто их не трогает...

Понять бы, чем он вызвал назначение времени «Ч»? И кто ему это время назначил? «А-а-а-а! Что гадать-то! — подумал Данилов с чувством обреченности. — Гадай не гадай, а исход один...»

Он был нервен, печален. Жалел свою неисчерпанную жизнь. Но оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать да как-нибудь и судей и исполнителей пусть и всесильных, а обвести вокруг пальца...

«Какие же статьи договора они мне припомнят?» — думал Данилов. Между ним и Канцелярией от Порядка был заключен договор. Начальник Канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами, Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было сто три статьи и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможно. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые почитали это решение либеральным и великодушным, Данилов кувыр-кался от радости в воздушном океане. Да что там говорить! За своеволие Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче, а вот все обошлось договором.

Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По материнской же он происходил из людей. А именно — из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств навечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бурчи. Да и мать Данилова тогда же и сгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. Пунктом «б» семнадцатой статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем захудалом городке, разводить в огороде ярославский репчатый лук, а теперь уж и покоиться смиренным мещанином под тополями и березами на даниловском кладбище — ведь по людским понятиям он родился в конце восемнадцатого столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей Канцелярии от Познаний. Лицей был с техническим уклоном. И дальше Данилов двигался укутанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий.

Жизнь он вел рассеянную и блестящую. Но между тем положение его было сомнительным, во всех документах он числился незаконно-рожденным. Иные ретрограды, не имеющие и понятия о правилах приличия, приноживались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно: «Фу ты! Человеком пахнет!»

Доверия к нему не было, а значит, не могло быть у Данилова и оссбого продвижения.

Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лица Канцелярии от Познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны.

На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах душ, все — и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это в единое мгновение! Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как это делали люди. С любопытством, дотошностью и умением удивляться любой мелочи. Да и что за тоска была бы жить, зная наперед все!

Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Знания же были у него тепер, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лица на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами: «Наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться.

Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, со рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пепла и камней. Преподаватель труда даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугбухими демонами портить там салаты и вторые блюда.

Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило. Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно! Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы! А что уж хуже и позорнее этого! Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в Группу Борьбы за Женские Души.

Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам, теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью — иначе не иметь ему стипендии! — Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще вослед с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц! Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» — спрашивали. «Да уж чего проще, — говорил Данилов небрежно, — сны-то им золотые наве-

вать!» «На шелковые ресницы, что ли?» «Ну, если желаете, то и на шелковые...»

Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из Канцелярии от Улавливания Душ, из Управления Женских Грез. Однако вскоре его забрали во внутреннюю Канцелярию от Наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на балах в Седьмом Слое Удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг — раз! Жизнь его круто изменилась.

Порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем Девяти Слоям (так Данилов называл теперь тот мир). Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба! Ба! Ба!» — раздалось в комиссии, давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец. И вышло решение среди многих прочих: Данилова как неполноценного демона отправить на вечное поселение на Землю, в люди.

Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в 1943 году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом оркестр на радио, потом театр. Оттого что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в Девять Слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго. Да и то с особого разрешения. Данилова в Девяти Слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах Земля так и называлась — Тот Свет, а иногда и Тот Еще Свет. Данилов теперь и был в ведении Канцелярии от Того Света.

Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из Канцелярии. Ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов скрепя сердце вынужден был взяться за мелкие пакости вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов, при этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям. А ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от Канцелярии молока за вредность. Из Канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду. Свою ли собственную внутреннюю вредность, или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды? Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности, и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец в молоке ему было отказано, потому что лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в Канцелярию нервное послание и в нем зая-

вил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник Канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра Земли.

Тут и Данилов перепугался. Стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. Но случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.

Данилов не верил, думал, что над ним издеваются, а его вызвали в Канцелярию от Порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора.

Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны не чем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, сказали теоретики, жил и трудился как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведома зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой: заключить с Даниловым договор с сохранением Данилову демонического стажа и считать его отныне демоном на договоре.

Но мало ли что могли предложить теоретики, не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в Девяти Слоях о нем сложилось мнение не как о злом нарушении, а как о шалопае. А где же обходятся без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких заявлений, порочащих Девять Слоев, не делал, критик не наводил, арий не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны.

Но Данилову все это не было сказано. Его бранили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении Канцелярии от Того Света. В третьей статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится — в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо — Земля». Данилов теперь никогда и нигде, даже и в парной в Сандунах, его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось.

На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней — буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластины с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений. Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали.

Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов решил опередить чиновников и

сам нашел себе дело, не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в Управление Умственных Развлечений земные шутки, очень ценимые в Девяти Слоях. Шутки передавали в Канцелярию от Наслаждений. Однажды он забыл отправить в Управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток оттого, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе, тогда они становятся особенно хороши,— это открытие Данилов сделал недавно. Вскоре он получил из Управления теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что присланные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них! Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат — рисунок его тут же приложили. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы — для особой крепости раствора (он ждал Муравлевых на пельмени). Горчицу Данилову шинь получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчичников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды.

Все шло ничего, вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только Канцелярия от Наслаждений довольна им. С точки же зрения Канцелярии от Того Света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, желая проучить, даже прикрепили его к останкинским домовым по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестья: это демона-то — и к домовым! А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить униженное свое положение. (Впрочем, теперь он бывал у домовых редко. Но это из-за занятости музыкой.)

Суета человеческой жизни опять захватила его, он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет как идет. И вот — дождался! Явился порученец Валентин Сергеевич, или кто он там на самом деле, и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Ч».

Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах на шкуре древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог. «А ведь они мне дают срок что-то предпринять,— думал Данилов.— Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедленно вызвали в судилище... Хотят, чтобы я сделал выбор... Это еще не конец... Что-нибудь, а придумаю... Правда, не сейчас... а потом...»

Образования эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал.

Но вскоре что-то разбудило его.

«Надо решить,— снова подумал Данилов.— Надо изобрести что-нибудь... И теперь же...»

И тут как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение Эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с анемонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимоно проведя по шербатым камням пещеры, Хи-



меко поклонилась Данилову и анемоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе некстати. Когда-то между ними была страсть, от страсти той таял лед в Гималаях и вспухали великие реки. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свиданья с Химеко, теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю. Но Химеко прижала тогда палец к губам и покачала головой, и Данилов принял ее обычай, называемый цумадой, и, значит, стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких, гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком, ожидая ее вызова. Как давно это было! Кабы вернуть те хмельные полеты юных лет!

Химеко все стояла молча и глядела на Данилова, была покорна, словно его раба, чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе: «Нет! Ни в коем случае! Нынче не до баб!.. Разве примешь с ними важное решение!» Данилов так и застыл в глупейшей позе, правой ногой касаясь пола.

А во взгляде Химеко появилась тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими рукавами кимоно и вскрикнула. Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов в глубь пещеры, там и замерла в забытьи. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку, и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же бросила кость в чашу с ледяной водой. При страшном шипении и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагамимоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилова, вскричала: «Дзисай!» — и исчезла.

— Постой! Не надо! Не делай этого! — вскочив с лежанки, крикнул вслед Химеко Данилов.

Но было поздно.

Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам, уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил — и нежная Химеко была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него, Данилова, мог погибнуть его Дзисай, или несущий печаль! По древнему обычаю Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова, по мысли Химеко, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай

не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую, отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс», не ел он ничего мясного; даже и из консервных банок, а на женщин глядеть и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова или бы он опасно занемог, сейчас же Химеко должна была бы объявить Дзисая виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химеко унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы ни желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный. «Дела мои, стало быть, плохи,— пришло ему на ум,— может, и выхода нет...»

Но не было покоя Данилову. Тут же произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, и перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, роскошная и отважная, прямо кавалерист-девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия, теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано:

— Вот ты где, ненаглядный мой Данилов! Что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня?

И не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом, рассудил он и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник не предсказанный учеными ураган, он стремительно пронесся над Флоридой и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Памела». Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.

## 5

В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по-журавлиному. Муравлев, ворча и подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать.

На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи, тяжелые, как блины от штанги Алексеева.

— Ну, проходи,— сердито буркнул Муравлев.— Любишь ты эти магазины. Часами готова в них бродить.

— Что же делать? — вздохнула Тамара.

Муравлев рассмотрел покупки, пиво было «Жигулевское» и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай:

— Пива могла бы взять и больше.

Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлек из авоськи круглую булочку и сказал:

— Данилов звонил.

— Он каждый день звонит,— сказала Тамара,— да все заехать нет времени.

— Сегодня заедет.

— Надо же! — обрадовалась Тамара. — Я точно предчувствовала, фасоли зеленой давно не было, а сегодня захожу в кулинарию, смотрю — стоит. Я и подумала: вот бы Данилов пришел к нам на лобно.

— Придет, придет, — дожевывая булочку, сказал Муравлев. — Ты хозяйничай, а у меня работы много.

Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей пронизательного профессора, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье.

— Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? — вспомнила Тамара.

Муравлев, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу:

— С деньгами? Да все так же... Даже хуже, по-моему.

— Он сказал?

— Ничего он не скажет, ты же знаешь Данилова...

— Что же нам делать?

— Я не знаю, — сказал Муравлев. — У меня будет приработок... И ты хотела решать с шубой...

— Да, — вздохнула Тамара, — с шубой надо решать.

Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрывать мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое и надо было глядеть раньше, — шуба досталась Муравлевым гнилая. Выслушали Муравлевы и совет — теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н. Д. Еремченко предложил поделаться из шубы колонковые кисточки и торговать ими по рублю за штуку, охотников нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлевы на попроще искусства и вернули бы за шубу не то что шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее и надо было действительно с шубой что-то решать.

Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранных у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворенный руками самого Альбани. Себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то и за другое жилье он считал нужным платить. Да и как же не платить-то! Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. С женой ему было тош-

но, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче оттого, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь! — радовалась она и добавляла: — Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?» Данилов сто раз собирался гнать от себя эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи.

Новая его квартира в Останкине походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент ценой в триста рублей, такие и сейчас лежали в магазинах сотнями. Данилов хотел было продать его, но потом решил: а вдруг пригодится. Звук у альта Альбани был волшебный. Полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, выманивал его у вдовы альтиста Гансовского, вел неистовую, только что не рукопашную борьбу с соперниками, ночей не спал и вымолил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! Как нес он его домой! Будто грудное дитя, появления которого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, робел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу Дариуса Мийо, и она вышла. Тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все, — говорил он себе, — все!» Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином альта Альбани. Да что там хозяином! Он ощущал себя его повелителем! Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости.

Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний и нижний порожки, и гриф, и подставка из клепа крепятся ладно, а после сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в Больцано нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность обтекающего верхнюю дека уса, сладкие выпуклости обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно! Во всем была гармония, как в музыке! Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как следой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все помнил! Данилов опять сыграл пьесу Мийо, а потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она,

разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент.

Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра! Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе — у одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации ссуд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным семьсот рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как ни мучал его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым — и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше. Благо что вечернего спектакля у него не было.

Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно. И лобию напрасно жарилось на газовой плите.

С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу и, выстояв очередь, призвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции — такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жэковскими книжками в руках — над дамой медными тарелками били слова: «Красна изба не कुтежами, а коммунальными платежами!» Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло, приемщица, важная, как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала: «Парень, ну-ка иди нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку. Пальтишко-то сними, не порть». Данилов меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой. Да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать.

В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел гобоист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо», слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести: «Извини, Костя, опаздываю в театр». На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Словенского, дважды Данилову пришлось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он собой и дирижер им остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать гобоиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. «Фу ты! — расстроился Данилов. — Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы...» Он побежал в буфет, но сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечавшая за вечернюю сеть.

— Вот, Володя, — сказала Николева, — план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя, сочли, тут есть работа.

— Хорошо,— сказал Данилов, взяв бумагу,— я с охотой.

Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов.

— Пойдем, пойдем,— сказал Санин.— Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру.

Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова.

— Володенька,— нервно заговорил Мелехин,— я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю...

Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто.

— Что надо-то? — спросил Данилов.

— Устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов, у нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером...

— Сегодня вечером не могу... Меня люди ждут...

— У тебя нет спектакля! А тут всего-то сыграть, ты к людям успеешь... У нас платят хорошо, у нас же наука, не то что у вас, искусство. Выступающие без тебя зазря приедут. Профессора, искусствоведа. Десять персон... А ты пьесы сыграешь и человеческие и какие машина написала. Для сравнения... Тебе же самому интересно сыграть будет. Опусы-то написаны специально для альта...

— Для альта? — удивился Данилов.

— Для альта! — почуяв, что клюет, воодушевился Мелехин.— Машина для альта писала, ты представь себе! Десять персон, профессоров, явятся из-за одного альта. А не будет музыканта — выйдет скандал, меня выгонят! Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу...

— Я подумаю... — сказал Данилов неуверенно.

— Что думать-то! Ровно в семь будь у меня, ноты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям.

— Ну ладно...

— Вот и хорошо! Ты меня спас! Этот негодяй, кстати твой знакомый, Мишка Коренев, неделю обещал, а в последнюю минуту, мерзавец, отказался... В семь жду!

Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал: «При чем тут Миша-то Коренев? Миша и альта-то в руки не берет, Миша Коренев — скрипач из эстрадного оркестра...» Однако соображения эти были уже лишние.

В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному, с алюминиевой плиссировкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать «Серенаду солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседавал на Мелехина, говорил, что опаздывает, и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал:

— И вы тут? А у Муравлевых еда стынет! Ну и чудесно, поедем вместе.— И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой, волнующей души кухни.

Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену куда-то в служебные хлопоты:

— У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей-композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас и Стравинского играешь с листа... А Мишка-то Коренев какой стервец!

Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни. И сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку.

— Вот, Володя, знакомься! — обрадованно сказал Мелехин. — Знакомься — Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу...

Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых и к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль.

— А это, Володя, моя подруга по работе, — сказала Екатерина Ивановна, — Наташей ее зовут.

— Володя, — протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы.

Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как Садко на рыбу Золотое Перо. Данилов хотел было сказать легкие, лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко:

— Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать...

— Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина Ивановна, — мы не будем мешать.

А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось ретивое. «Что это со мной? — думал Данилов. — Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами — и все в моей жизни изменилось?.. Ведь выпадают же иным людям чудные мгновенья, отчего же и мне чудное мгновение не испытать?.. Она и не сказала ни слова, и я ничего не знаю о ней, а вот вошла она — и стало и легко, и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко-о-о...»

Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности.

— Сергей Михайлович, что это? — воскликнул Данилов.

— Что? Где? — искренне удивился Мелехин.

— Вот это! Ноты!

— Это ноты, Володенька!

— Я и сам вижу, что ноты! — вскричал Данилов. — Но написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то!

— Тише, тише, Володенька, — взмолился шепотом Мелехин. — Ну виноват. А еще больше виноват стервец Мишка Коренев. Неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо: мол, не может и еще черт знает что!..

— Ну и я не могу, — сказал Данилов, — у меня альт, а не скрипка.

— Сможешь, Володенька, ты все сможешь, я тебе двадцать рублей лишних дам, ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть — на альте, на скрипке или на пожарном брандспойте...

— Все это мне как музыканту,— сказал Данилов,— слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же.

— Нет, нет, я, может, не так что сказал, я открытая душа, прости, но ты не уйдешь, неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки!

И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил во гневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. И еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любимую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона или даже для ударных.

— Ну хорошо,— сказал Данилов.— Но я в последний раз терплю ваши обманы.

— Ты же интеллигентный человек, Володенька! — умилился Сергей Михайлович.

Данилов вернулся в комнату, ему отведенную, подумал: «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было подымать шум — и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую и скрипка, пусть даже из Страдивариевых рук, взлететь не могла. Что же теперь, коли подвернулся случай, робеть! Да и созорничать никогда не лишне! Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали.

Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихоенько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестя перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может, и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали.

Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин. Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали бы теперь подкидывать тарелки, а он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсенского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалело уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, а покачалась в воздухе, будто танцуя менуэт. Опустилась еще метров на пять. Чащарин выстрелил снова, и опять



пуля вызвала лишь кружение взблескивающей в беспечных огнях тарелки.

«Ну нет! Хватит! — отругал себя Данилов. — Экое мальчишество!» Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. «Шутник какой нашелся! — никак не мог успокоиться Данилов. — Будто юнец безрассудный!.. А ведь это я из-за Наташи! — пришло вдруг Данилову в голову. — Оттого и юнец, что Наташа здесь!..»

Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках, по виду бухгалтер, на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку, Лещов. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готова писать сложные сочинения на десять — пятнадцать минут звучания, не говоря уж о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей.

— А теперь мы попросим, — сказал конструктор Лещов, — солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке шестнадцать пьес. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше...

Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора: не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе не скрипку нес в руке. Однако что-то удержало его от первого признания, он лишь, поклонившись публике, учтиво сказал:

— Извините, но это не скрипка. Это альт.

— Альт? — удивился Лещов. — Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука...

— Ничего, — успокоил его Данилов.

Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на попитре, он все думал: а вдруг Наташа ушла из зала и он ее никогда больше не увидит? Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него, и смотрит не из пустого любопытства, а ожидая от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен, недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством, в третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела во все не от разлинованных бумаг, что лежали на попитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой, — думал Данилов, — как хорошо-то! Так бы всегда было!»

И когда замер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после Китриных

прыжков Плисецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить: «Зачем вы? Не надо! Не надо... Посидите тихо... Не распугивайте мои звуки, они еще где-то здесь, они еще не отлетели...» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно:

— Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь, после третьей пьесы я хотел сбежать... Мишку Коренева клял, негодя и предателя. Но тут ты начал! Как ты играл! Ты всю душу мне вывернул! А ведь в нотах-то дрянь была, мура собачья!..

— Мура,— кивнул Данилов,— мура...

— Вот, держи,— сунул Мелехин Данилову конверт,— увидишь, мы не скупые...

— Что это?

— Деньги!

— Какие деньги? — не понял Данилов.— При чем тут деньги?..

— Ну бери, бери,— сказал Мелехин,— не валяй дурака!

Тем временем конструктор Лещов выпрашивал у публики, какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина. Люди посмелее выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что, напротив, все сочинила машина и она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборант стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесаным, хотели запретить ему смотреть «Серенаду солнечной долины». Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, губительные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих пристыженный. Но началась дискуссия.

Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. Судили о музыке и другие умы. А Данилов их не слушал. Какое-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный. Сила, тонкая и серебряная, из него изошла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортани и его легких, рождался звук. «Как играл-то я хорошо! — опять удивился Данилов.— Отчего это?..» И тут он испугался, подумав, что может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние?

Но нет, пластинки были на месте, пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец! — сказал он себе.— Скотина ты, Данилов! Можешь ведь! Раз этакую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь! Только ведь тут одного умения мало и таланта мало, тут ведь и еще нужно нечто... Вдохновение, что ли, нынче снизошло?» Наверное, согласился Данилов сам с собой, снизошло. Отчего же ему и не снизойти... «А ведь я для Наташи играл», — подумал Данилов.

— Попросим теперь солиста театра,— услышал он голос конструктора Лещова,— поделиться мыслями о музыке, написанной машиной...

«Да при чем тут машина! — хотел было сказать Данилов.— Дура

ваша машина. В душе моей музыка была!» Однако вымолвил неуверенно:

— Что же... В общем... Спасибо ей, машине...

— Ну вот! — обрадовался Лещов. — Вот и музыканты начинают здраво судить о будущем, не первый уже...

«Кончили бы они эту болтовню! — взмолился Данилов. — А я бы нашел Наташу...»

Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул:

— Ну что? Едем сейчас к Муравлевым? А? А то ведь стынет там...

— Они вас пригласили? — спросил Данилов строго.

— Ну... — замаялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия.

— Вот и поезжайте, — сказал Данилов. — И передайте им мои извинения. А я не могу... Я давно не видел «Серенаду солнечной долины»,... Это ведь музыкальный фильм.

— Ну да, поезжайте... — засопел с тоской Кудасов. — Без вас они выставят на стол всякую дрянь...

Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже, карманы его пиджака распирала образцы шоколадных конфет «Волки и овцы».

Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческого музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном фойе он увидел Наташу.

— Это вы... — растерялся Данилов. — А где же Екатерина Ивановна?

— Она в зале, — сказала Наташа. — А мне показалось, что вы сейчас уйдете, и я вас больше никогда не увижу. Я и вышла. Спасибо вам за музыку...

— Вам понравилось?

— Очень! Я давно так не чувствовала музыку...

— Вы знаете, — застенчиво улыбнулся Данилов, — отчего-то у меня сегодня получилось...

Помолчав, Наташа вдруг спросила:

— А Миша Коренев? Отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала...

— Вы знаете Мишу Коренева? — удивился Данилов.

Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви, двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал, кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас, Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хорош, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие, счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей и это главное. «Что происходит-то со мной? — думал Данилов. — Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки. Беспечны и азартны, как игры. Если ж\* и случалось мне робеть, так это в первые мгновенья. А сейчас все во мне трепещет — звон! — уже целый вечер! И не видно этому трепетанию конца... И хорошо, что не видно! Неужели это наваждение? А вдруг интрига какая?» Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил. Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила, и возвращается именно с левой, сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа.

Кончился фильм. Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды Кудасов и, все поняв, скрылся в досаду, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей.

— Я живу у Покровки,— сказала Наташа,— в Хохловском переулке.

— Это же мои любимые московские места,— честно обрадовался Данилов.— Переулки в Старых Садах. А уж ночью взглянуть на них— одна радость.

— Вы проводите меня? — подняла голову Наташа.

— За честь сочту, если разрешите.

Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым асфальтовым полем Хитрова рынка добрались до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае свернули к Хохлам. Справа от них тихо темнели палаты Шуйских и выше — длинный, голубой днем штаб эсеров, разгромленный в августе восемнадцатого и ставший нынче детским садом, а в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гудом нотопечатня Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала, Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, о путанице горбатых переулков, он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У Троицы в Хохлах, блестящей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знаковая Данилову проходная тропинка в Колпачный переулок, к палатам гетмана Мазепы.

— В том большом доме я и живу,— сказала Наташа.

— Вот ведь судьба! — сказал Данилов.— А я часто тут бываю. Брожу по холмам, когда устану...

— Вы не знаете,— спросила вдруг Наташа,— отчего Миша Корнев отказался играть?

— Я не знаю. Вы из-за него пришли?

— Нет. Я и так бы пришла. Но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то о Паганини и еще...

— Вы с ним дружите? — спросил Данилов, он уже испытывал ревнивое чувство к Корневу.

— Да... Мы... дружили... — замялась Наташа.— Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми... Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком в театр, девчонкой была, мечтала стать актрисой...

— Теперь вы актриса?

— Нет. Я лаборантка. Мы с Катей в одном НИИ. Как все это давно было и как все грустно кончилось!..

Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней и думал: «Что же нравится-то мне в ней? Да все! И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос... Я и не знаю ее совсем, я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна... Я не знаю... Да и все равно мне... Разве могу я теперь исследовать свое чувство?.. Тогда и чувство-то исчезнет... Нет, я знаю уже: она хороший и добрый человек... Она по мне человек... А впрочем, какое это имеет сейчас значение?..»

— Вот все, мой подъезд.

— Я теперь буду искать встречи с вами,— выдохнул Данилов.

— И я,— серьезно сказала Наташа.

Данилов правой рукой (левой он удерживал инструмент) коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и, робея, но и реши-

тельно привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее ответе.

Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула.

«Эдак и голову потерять можно», — подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет.

Он бросился по лестнице вниз, оглядывая все марши и площадки. Нигде инструмента не было.

Он выскочил на улицу. Осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей и где, как он помнил, инструмент еще был с ним, однако поиски его были тщетными.

Инструмент исчез.

## 6

Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев, панихида завтра в двенадцать на улице Качалова, а похороны в Бабушкине в два.

— То есть как? — прошептал в трубку Данилов.

Флейтист Бочаров сказал, что он сам толком ничего не знает, его дело обзвонить теперь знакомых, известно ему лишь только то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры, а она на пятом этаже кооперативного дома возле метро «Щербаковская». Оставил он записку: «Прошу никого не винить...» — на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на попире же были ноты двадцать первого каприза Паганини. У тех, кто вошел в квартиру первыми, создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну.

— Он вроде женат был? — спросил Данилов.

— Да, — сказал Бочаров. — У него жена и две девочки.

Долго Данилов не мог подняться. Потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение.

«Он и Наташе написал что-то о Паганини, — вспомнил Данилов. Но тут же подумал: — А была ли Наташа-то?» Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь и Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная.

В милиции он подал заявление о пропаже альта, попросил инструмент отыскать. И страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал и вещи, найденные в метрополитене, но инструмента нигде не обнаружилось.

В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлева.

— Вова, — сказал Муравлев, — мы снесли шубу в комиссионный. Так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт.

— Спасибо, Витя! И Томе передай, пожалуйста, мою благодарность, — растроганно сказал Данилов. — Вы уж извините, что я вчера вас так подвел.

— Да ладно, — сказал Муравлев великодушно.

В оркестровой яме явление Данилова с дешевым альтом вызвало общее удивление. В яме Данилова любили и муки его при осаде вдоуы альтиста Гансовского принимали близко к сердцу. В звуках настраиваемых теперь в яме инструментов внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии.

Данилову было скверно, ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. Надежда эта и так уж трепетала последним осиновым листом. В милицию Данилов подал заявление на всякий случай, для душевного успокоения. Да и страховые люди послали бы его подалее, кабы он им сказал, что в милицию не ходил. «Эх, если бы действительно какой жулик украл мой альт!» — мечтал Данилов. Уж тут-то бы альт сыскался — в милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если и случился тут жулик, то уж жулик особенный. Не честолюбивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему, Данилову, лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение?

Если его снова дразнили или испытывали в приближении времени «Ч», то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окупись сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности, отыскать следы инструмента. Но Валентину-то Сергеевичу, а главное, тем, кто за ним и над ним стоял, это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно и все ждали, когда Данилов отчаится и проявит свою нервозность.

Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на земле только человеком. А то ведь мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он явил бы, но оказался бы с людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен отступить от своего решения. «А может, оно и к лучшему, — подумал вдруг Данилов, — что Альбани мой исчез? На Адьбани-то и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать, как на великом». Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за триста рублей. «А ведь мелким делом занялись они, — подумал Данилов. — Хотя если Наташа была вчера не сотканная из флюидов, то и дело тут не мелкое...»

Сыграли «Дон Карлоса», расходились усталые. Запасной альт дурных слов от хозяина не услышал, прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват?

«Миша Коренев, — подумал Данилов, — премудрые загадки Паганини дьгался одолеть без помощи Страдивария. Не было у него Страдивария, а была простая фабричная скрипка... Ему-то теперь все равно... А для нас все его муки остались...»

В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала гибель музыканта. Что с Корневым стряслось — об этом только гадали. В консерватории Данилов с Корневым особо не дружил, в последние годы виделся с ним раза три, однажды в концерте, а как-то в Марьинских банях — сначала в парной, потом в очереди за

пивом. Был между ними разговор, удививший Данилова, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Коренев дружил с Наташей — при условии, что Наташа существовала.

Назавтра на панихиду он не поехал, а идти ли на кладбище — колебался. Он не любил похорон. Однако пошел. Мишину могилу он отыскал не сразу, увидел наконец скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойный, не искаженный ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, а жестких камней тротуара не коснулся. Худой остроносый человек читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилову, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой в отдалении, у зеленой скамейки, увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся. Подойти к Наташе теперь ему показалось неприличным, так и стоял к ней спиной. Видение, думал, она или — земная? Сейчас он был почти уверен, что земная.

Остроносый человек кончил читать стихи. Стало тихо. Только перекликались зимние птицы. Прежде, вчера и сегодня утром, Данилов ощущал смерть Миши Коренева скорее умозрительно, и Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за тридцать шесть лет, и для Данилова смерть из вчерашней отдаленности подступала злой обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Данилова. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек, жалел Наташу, жалел жизнь. Жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь, над гробом Миши Коренева, обманы рассеивались.

Тем временем пятеро молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вскинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающая примирить. Но стихла музыка, стихло и все. И прощались с Кореневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Коренева вдруг вскричала, обращаясь куда-то ввысь:

— Будь проклята ты, музыка!

Ее приняли успокаивать, одна из девочек прижалась к матери со словами: «Не надо, не надо, мама!» — но вдова все кричала:

— Будь проклята ты, музыка!

Данилову стало жутко. И тут вдова ослабела, опустила на принесенный кем-то табурет и застыла.

Бросив ком мерзлой земли на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники, насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суета, стучали лопаты о ледяную землю, люди хлопотали с венками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выпрашивали, что и как было. Данилов решил подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-зеленой масляной краской и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов стал возле ограды, говорил всем проходившим:

— Будьте осторожны, прошу вас, свежая краска.

— Ах! — махали руками иные. — До этого ли теперь! Тут — вечное, а это — сиюминутное!

Однако и философы старались не запачкаться.

Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успе-

вал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и не проявляла намерения подойти ни к Данилову, ни к могиле. Держала в руках красные и белые розы.

Данилов стоял и слышал:

— Венки-то, венки влево заносите...

— ... не знаю, по три рубля, что ли...

— Ни дирижер не пришел, ни первая скрипка, ни Тормосян. Даже и на панихиде не были...

— Кабы естественным образом ушел. А так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна...

— Вот там, под липой, на могиле руль от грузовика вместо памятника. Неужели и Мише скрипку положат?

— Вряд ли. Он ведь от нее убежал-то, от скрипки...

— Не болел он разумом?

— Да нет, тих был в последнее время, в себе что-то таил, но ничего эдакого не было. Только выпивши иногда говорил: «Посредственности все мы, посредственности, так и умрем посредственностями. Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил?»

— Накануне он мне что-то твердил про машину. Мол, скоро машина будет писать музыку и исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним...

— На поминки пойдешь?

— Нет, я вечером где-нибудь напьюсь... В ресторане или дома... Сейчас мне на запись в Останкино...

— Пойдем... Вон автобусы у входа...

Подняли и вдову, повели с кладбища. Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик, чуть присыпанный снегом, розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла, подружки повели ее к воротам.

Данилов дождал Наташу.

— Вы со мной сегодня не говорите ни о чем, — сказала Наташа. — И не провожайте меня. Но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон.

И, протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, видно не желая быть замеченной вдовой Коренева.

У ворот кладбища Данилов решил подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина.

— Что это? — растерянно спросила вдова, не здесь она была и неизвестно, что видела перед собой теперь.

— Это, знаете ли... — смутился Данилов. — Ваш муж выступал в нашем НИИ, и это деньги, какие мы ему остались должны...

— Кто вы? — спросила вдова.

— Я Мишин знакомый, — сказал Данилов. — Я работаю в НИИ... в клубе...

— Спасибо, — сказала вдова. — Вы садитесь с нами в автобус, у нас дома мы помянем Мишу...

Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Он был рад, что вдова приняла деньги и что дело, необходимость исполнения которого мучала его весь день, вышло просто и без неловкостей. Автобус свернул с проспекта Мира, не доезжая до станции «Щербакоская», остановился возле известного Данилову белого дома с лоджиями, и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул. «Пойду-ка я сейчас в Марьянские бани, — решил Данилов, — благо они напро-



тив, выпью пива, если повезет...» Именно в Марьинских банях он и разговаривал в последний раз с Мишей Кореневым.

Пиво в банях было.

В темном буфете с мочалками, мылом на прилавке и пивным крапом, над всем царившим, народу набилось множество. Стояли строители в мазаных робах, продавцы из «Бытовой химии», тогда еще не сгоревшей, мастера с «Калибра», кого тут только не было! Морщинистая седая продавщица, известная как Баба Зина, отстоя пены не ждала, усмиряла инвалидов, лезших без очереди, и то и дело выкрикивала: «Кружки! Кружки! Мальчики, не держите кружки! Кто с бидонами, тем буду наливать!»

Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пива на спины любителей, две кружки поставил на доску-стойку, обегавшую помещенье, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю пустил обратно к Бабе Зине.

— Парень, аршин есть? — толкнули Данилова в бок.

— Что? — растерялся Данилов.

— Ну аршин, я спрашиваю, есть?

— Нет, стакан я с собой не ношу, — сказал Данилов сердито и отвернулся к стене.

«Вот так же мы и стояли здесь с Мишей год назад, — подумал Данилов, — и стакан у нас спрашивали, может, тот же самый человек и спрашивал... А Миша ему тогда сказал: „Заведи складной“».

Миша в тот день был грустен, пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов воблой его угощал. И вобла-то была с икрой. Но Миша то и дело застывал взором и усы, роскошные, д'артаньяновские, щипал, да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клоч. Разговор поначалу шел тихий и вечный, какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга: как живешь, где и кем работаешь, сколько получаешь, есть ли деги (о женах вопросов не возникает, да и к чему они?), какая квартира, как с машиной. Миша спрашивал и сам отвечал, а Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши Коренева крепкие, денег он добывает вдоволь, несколько лет подряд ездил на гастроли на Восток и на Север с ансамблями и певицей, играл и пел сам в биг-битовой манере, в иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и квартира, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул резко, пиво расплескал, заговорил жадно, зло, не важно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета Марьинских бань. «Хватит, хватит! Хватит! — говорил Миша. — Хватит мне всего! И денег, и женщин, и развлечений, и комфорта! Это все шелуха, целлофан. Это все средства существования! А само-то существование — где? Где оно? Рано или поздно, но все мы оказываемся наедине с жизненной сутью, и что мы тогда? Ничто! Жизнь проиграна, Данилов! Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь, в чем моя земная суть... А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал... Все... Я не верующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили: «Любовь изгоняет страх... Боящийся несовершен в любви...» Ты понял? А я боялся, легко оправдывая свою боязнь, и жил легко, я боялся и был несовершен в любви — и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то что не люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку! Хотя

нет, музыку я еще совсем не разлюбил... Тут у меня остался единственный шанс... Я еще смогу... Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский?» Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Мише и кивка не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев, и он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. «Вот смотри! — сказал Миша. — У Паганини руки и пальцы были длиннее, но я теперь компенсирую это тем, что у меня...» Однако Миша не закончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика, в глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. «Ну ладно, — сказал Миша, — мне надо идти» — и он быстро, с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет Марьянских бань. Лишь с последней ступеньки крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы: «Помни! Боящийся несовершен в любви!» И исчез.

Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова, но, если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке, Мише он мог только сочувствовать, но что тому его сочувствие. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах «Спартаку». Теперь Данилов вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом.

— Скрипка никому не нужна?

Немытый опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небритый волос его был бел и мягок, лежал на щеках пивной пеной. Инвалида гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, как и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс, лез без очереди к пивному крану.

— Скрипка никому не нужна? А? За бутылек отдам!

— Какая еще скрипка?

— А я почему знаю какая. Скрипка, и все. Со струнами. В футляре. Большая скрипка. Футляр — дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. Четыре рубля и больше не надо.

— А на кой, дед, мне скрипка-то? Или вот ему?

— Сыну купи, о детях-то думай, не все пей! Бантик ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стену вколачивать, она крепкая. А то можешь на струнах сушить платки или кальсоны.

— Дед, сознайся, спер ты скрипку-то!

— Упаси бог! Я Геринга на процесс в вагоне возил. Никогда не ворую. В своем дворе нашел, на Цандера, на угольной куче. Так и лежала. Я во дворе обошел всех музыкантов. Кто на баяне играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве, а скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу. Поллитру, и все. Но уж не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрыгну-то эту с футляром.

— Иди-ка, дед, отсюда, здесь не подают.

— Простите, — сказал Данилов, — а где, собственно, ваша скрипка?

Инвалид осмотрел Данилова, сказал:

— А за дверью. Здесь с ней не протолкаешься.

Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе и разговоры инвалида воспринимал рассеянно, краем уха. Теперь он шел за

ним в волнении, почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани, тут на мерзлой земле, дурно к тому же пахнувшей, Данилов увидел свой альт. То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр, альт и обнаружился.

— А платок где? — спросил Данилов.

— Какой платок? Какой еще платок? — удивился инвалид, но отвел глаза.

— Там платок был, — сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее.

— Никакого платка! Никакого платка! — сердито забормотал инвалид. — Не хочешь скрипку брать, не бери!

Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он, ворча, стал закрывать футляр, да и о платке ли стоило беспокоиться Данилову! А он не знал, что ему делать. Заявить инвалиду, что это его, Данилова, инструмент, и, выхватив альт из рук отставного проводника, уйти с ним или убежать? Инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым и его самого несомненно помяла бы, а альт уж точно искалечила бы до потери звука. Вести же инвалида в милицию, в пятьдесят восьмое отделение, что возле магазина «Диета», тоже было предприятием неверным — инвалид с альтом мог утечь по дороге. Оставалось альт выкупать.

— Сколько вы за него просите? — сказал Данилов.

— За кого за него?

— Ну, за нее...

— Сколько, сколько! Сколько стоит. Поллитру.

— Ладно, — сказал Данилов.

Он стал рыться в карманах и нашел рубль с мелочью. «У меня же были деньги, — растерянно думал Данилов. — Я же с деньгами вышел...» И тут он вспомнил: да, деньги у него были, но он их отдал вдове Миши Коренева.

— Вы знаете, — в волнении сказал Данилов, — четыре рубля у меня не набираются...

— Ну хорошо, — сжалился инвалид. — Гони три шестьдесят две и ни копейкой меньше. И так без закуси остаюсь,

— У меня всего рубль с мелочью...

— Ну нет! — возмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой. — За такую-то большую скрипку! Это на самый дерьмовый портвейн! Сам и пей!

Данилов взял инвалида под руку, заговорил ласково:

— Знаете что, поедemте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять поллитр дам...

— Другого дурачь! — зло сказал инвалид. — Нету четырех рублей — ну и иди гуляй.

— Я вам через сорок минут привезу! — взмолился Данилов. — Вы только подождите.

— Если я через десять минут стакан\* не приму, меня врачи не поправят. Организм ослаблен после вчерашнего. Я эту скрипку через десять минут крушить стану.

И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет.

— Пойдите! — вскричал ему вслед Данилов.

Но инвалид был непреклонен.

«Что же делать? Что же делать?» — судорожно думал Данилов. Не хотел он, ох как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать альт, знал, что потом долго будет корить

себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя, малодушного, чуть ли не топал на себя ногами, но услужливое соображение: «На мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то!» — все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком «Н» вперед и поймал в воздухе две мятые бумажки. Кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете, инвалид пил пиво.

— Вот! Держите! — вскричал Данилов.

— А уж я загнал! — рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку и рубль.

— Кому? — ужаснулся Данилов.

— А леший его знает! Маленький такой, в кроличьей шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил. И на кружку дал. А ты жмотничал, деньги прятал...

— Куда он пошел?

— Куда пошел, туда и пошел. Мне-то что! Хоть бы и в Африку. Я вот в магазин!

Кинулся Данилов на улицу, в одну сторону пробежал, в другую, нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от Марьинских бань! Тот человек с покупкой сел уже, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. И тут из-за кирпичного угла Марьинских бань высунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками, высунулась, показала Данилову красный язык и исчезла.

«Вот оно что! — понял Данилов. — Дразнят меня! И дразнят-то глупо, а вот провели, как ребенка! А нынче надо терпеть. Им только и надо, чтоб я ответил. Терпи, Данилов, терпи. Как друга прошу, терпи. И так уже вяпался, хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля, а все втравился в их развлечение. И не то плохо, что они получили удовольствие, пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет, все. Альт для меня должен перестать существовать. Нет Альбани, и все. И не было. И не будет...»

Однако Данилов решил, что все же нелишне будет зайти к следователю в милицию и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича?

Вечером играли «Лебединое». Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа виделась ему бедной заколдованной лебедью, и Данилову хотелось пойти и разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре по желанию Петра Ильича отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен, утих перьями на подметенном в антракте полу, музыка воссияла финалом. Зажглись и электрические огни. Чуткий на ухо дирижер уже за сценой подошел к Данилову, сказал ему: «Спасибо!» Данилов удивился, он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от дирижера одобрения не ожидал. «Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр», — добавил дирижер, поклонился и пошел по коридору. «Он-то, наверное, думает, что при мне Альбани...» — пришло в голову Данилову...

Банное явление альта все поставило на свои места. Что Данилову было дорого, по тому и били. Пока удовлетворились альтом, а узнали бы про близкого человека — и человека этого тут же били ради своих холодных забав. Рисковать будущим Наташи, а то и жизнью ее он не имел права. Ему уже сообщено о времени «Ч», оно ему еще

не названо, но где-то оно определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах, что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу, коли завтра он станет вдруг никем, утратит свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество! Но это ладно, это его жизнь. А как бы не пострадала Наташа оттого, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы ее не стубила его земная любовь.

Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и сунул бумажки в ящик для использованных билетов. Однако облегчения не испытал — номер телефона он помнил.

Обычно после «Лебединого» Данилов, успокоенный, просветленный, засыпал быстро. А теперь все ворочался. Как будто бы и не Наташа его беспокоила, с Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил. Однако стараниям барбамилы явно препятствовало нечто постороннее. И тут пластинка с буквой «Н» на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. «Вот оно! Вызывают! Сейчас и назначат уточненное время «Ч!» — подумал Данилов, хотя и знал, что время «Ч» объявляется иным способом. «Примите депешу!» — ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой, Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на Землю по премиальной путевке Канцелярии от Наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова по лицу Кармадон. Данилов понял из депешки, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Волопас, теперь премирован отдыхом на Земле, и Данилов обязан взять на себя хлопоты о его ночлеге и развлечениях. «Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время «Ч»? — подумал Данилов. — Если не знают, то и пусть!»

Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Коренева: «Помни, Данилов, боющийся несовершен в любви!»

## 7

Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. «Неужто Наташа?!» — вскочил с постели Данилов. Звонила его бывшая жена Клавдия Петровна.

— Слушай, Данилов, — сказала она. — Я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова...

— Я слышал, — сказал Данилов, задерживая зевок. — Это который по экономике Турции... Я рад за тебя...

— У меня сегодня очень важный день, при профессоре начинается мой испытательный срок, ты должен освободить меня от всех забот, — решительно сказала Клавдия.

— То есть каких забот? — взволновался Данилов.

— Мне надо развязать руки, ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет поначалу мне при таком серьезном человеке, как Войнов.

— Но я-то тут при чем! — тенором взвился Данилов. — Мы разведены судом!

— Ну, Данилов, какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом... Ну смилуйся, государыня рыбка! А, Данилов?..

— Помилуй... — начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла заговорить умирающая лебедь Сен-Санса — Плисецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом:

— Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь...

— Ну ладно, — вздохнул Данилов. — Но только на неделю...

Сразу же Клавдия продиктовала Данилову список своих забот.

Было в нем шестнадцать пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки. Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж на крайний случай совершенно необыкновенного, скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль»,— думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпусковые задержали Кармадону, а то и премиальные.

Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть помимо всего прочего напоминать о себе, он вступил. В связи с прибытием Кармадона он потребовал у Канцелярии от Наслаждений индикатор на манер счетчика Гейгера, который тут же фиксировал бы наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве»,— объяснил Данилов. «Ща-а-а как мне да-а-дут!»— думал он, зажмурившись. Однако индикатор ему тут же прислали. «Что же, они и в самом деле, что ли, не знают о времени «Ч»?»— удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы «Рейнольдс», на самом верху его при наличии вблизи демонических сил должна была светляться изнутри голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно: «Ну, Валентин Сергеевич, держитесь!»

На следующее утро по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок, в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано: «Зайти и отметить в очереди. Хлопобуды. Будохлопы». Дом, крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался во втором этаже, он отвык от старых лестниц, в своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге Данилов позвонил в квартиру номер три. На двери была медная табличка, на ней курчавые слова: «Юрий Ростовцев, окончил два института», а ниже в скобках мелко: «из них один университет». Дверь приоткрылась, и высокий мужчина в очках, лет тридцати пяти, с лицом веселого и кормленого ребенка, выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. Или слов каких, или пароля.

— Хлопобуды,— сказал на всякий случай Данилов.

— Будохлопы,— кивнул Ростовцев (а это был он), то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь распахнул и Данилову улыбнулся.

Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, а все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С таким не пропадешь,— подумал Данилов,— с таким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и если в ресторане чистую скатерть попросит, официантка в такого салатницу не швырнет...» Впрочем, у самого Данилова обаяния было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда.

— Мне отметить в очереди,— сказал Данилов.

— Сюда проходите, пожалуйста,— поманил его Ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатухе. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку несомненно федоровской работы.

Прихожая в квартире была огромная, в доме Данилова в ней бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто на всякий случай забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей, где виднелись, между прочим, детская коляска, вешалки, велоси-

педы и оцинкованное корыто, повешенное на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили вполголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока- и тридцатилетние люди, в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и не солидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела бы здесь неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому — в переулке и на улице Чехова — он видел много личных машин, все больше «Волг», а то и каких-нибудь там изумительных «опелей» и «пежо» с московскими номерами. Не иначе как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди.

— Данилов, и вы тут?

Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним.

— Я не за себя, — сказал Данилов.

— Номер-то у вас какой? — спросил Кудасов.

— У меня никакого...

— Ну а у того-то, вместо кого вы? Если не секрет...

— Сейчас посмотрю, — сказал Данилов, — у меня где-то есть бумажка... Двести семнадцатый, что ли...

— Я чуть впереди, — сказал Кудасов. — Это вы за Клавдию Петровну, наверное?..

— Да...

— Вы номер-то на ладони чернилами напишите...

— Зачем на ладони?

— Ну как же... Для верности... Здесь все так делают... Вот мою ручку возьмите...

Данилов поневоле вывел на ладони «217», ручку вернул с благодарностью, сказал:

— Давно я не писал номеров на ладони.

— А то как же... Здесь ведь публика такая...

Было душно, и Данилов распахнул пальто.

— Ба, да у вас у самого ручка-то есть! — сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор.

— Она не пишет, — поспешно сказал Данилов.

— Шведская?

— Шведская, — согласился Данилов.

— Кабы заглянуть...

— Да, пожалуйста... — жалобно сказал Данилов.

Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась, грешным делом, голая рубенсовская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире Ростовцева не было.

— Умеют же, — сказал Кудасов, возвращая индикатор.

— Умеют, — вздохнул Данилов.

— Но, видно, дешёвая она...

— Недорогая...

— А вот умеют...

Зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его, Данилова, в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет... «Ну нет уж, шиш!» — подумал Данилов.

Но тут индикатору во спасение дверь одной из комнат открылась, и в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то, в другую комнату, словно в преддверии великих событий, с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими, а тоже были, видно, люди не простые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного, он и придавал движению ритм и важность, то был известный социолог Облаков, доктор наук, Данилова в какой-то компании познакомили с ним. Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову вся возбужденная и пылая:

— А вот тот-то, тот кто, в сером костюме?

— Комментатор-международник, по телевизору выступает, — обиженно сказал Кудасов. — И сюда просочился!

Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно, в очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выпалились и не курили в коридоре, начиналось.

— Номер первый! — деловито прозвучало в прихожей.

И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией или как там ее называть, а оттуда возвращались вскоре и теперь уже, довольные, шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку, Данилов растерял все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. «Ну, Клавдия», — проговорил он подруге профессора Войнова. Впрочем, и сам он был хорош!

Но вот отметилась Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова. А через четверть часа вызвали и номер двести семнадцатый. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять, а тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню, румяный тридцатилетний отрок Ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный-то он обаятельный, но, в сущности, пират и, наверное, где-то прячет клад.

— Номер двести семнадцатый! — сказали опять.

«Ну ладно, — подумал Данилов. — Шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет...» И он пошел в большую комнату, видно столовую.

— Номер двести семнадцатый?

— Да, — улыбнулся Данилов, — двести семнадцатый...

И он предъявил ладонь с чернильными цифрами.

Спрашивал не Облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее Облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал.



Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили и на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в баясинах, ореховым трюмо, мраморным ручкойником и немецкими ковриками на стенах — гуси на них неслись, и прыгали, кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо дочери мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что он сразу же почувствовал расстояние между ними и собой.

— Данилов, — представился Данилов.

— У нас таких нет, — сказал пегий человек.

— Я за Соболеву Клавдию Петровну, — сказал Данилов.

— Отчего она доверила вам?

— Я ее бывший муж... — сказал Данилов.

Пегий человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал быстро:

— Бывшим мужьям доверять можно.

— Все же покажите какой-нибудь документ, — сказал пегий человек.

Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт, а данные паспорта — серию, номер, каким отделением милиции выдан и когда — записал в зеленую тетрадь.

— Хорошо. Мы отмечаем Соболеву.

— Я могу идти? — спросил Данилов.

— А взнос?

— Какой взнос?

— Пятнадцать рублей.

— Она мне ничего не говорила, — сказал Данилов. — При мне пятнадцати рублей нет... Она попросила отметиться и все...

— Она прекрасно знала об этих пятнадцати рублях, — мрачно заявил человек в красивых очках, именно его Кудасов назвал международником, Данилов ему явно не нравился.

— Вы займите пятнадцать рублей, — доброжелательно сказал Облаков, — наверное, в очереди у вас есть знакомые.

При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милой Гретхен.

— У меня здесь нет знакомых, — сказал Данилов, он был рад тому, что Галкин отвернулся.

— Ну... — развел руками Облаков.

— Придется Соболеву Клавдию Петровну, — строго сказал пегий человек, — перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса.

— Как же так?.. — растерялся Данилов. — Она забежит сегодня и уплатит...

— Правила очереди серьезные и незыблемые, мы исключений не делали и делать не намерены.

— И вообще, — сказал международник в красивых очках, на Данилова не глядя, — я полагаю, у нас нет необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем.

«Серьезные люди», — подумал Данилов.

Нутриевая шапка благополучно висела на неровно загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Цела шапка-то, — подумал он растроганно. — И верно, серьезные люди. С такими можно иметь дело».

И опять в прихожей появился румяный Ростовцев, окончивший два института, мажорочный дымок исходил от его федоровской труб-

ки, а на плече у Ростовцева сидел зеленый попугай. «Нет, точно злодей»,— рассудил Данилов.

На воздухе Данилов подумал: «Ну вот, будет Клавдии наука за ее скупердяйство!» Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию перенесли в конец очереди.

Он позвонил из автомата Клавдии.

— Данилов, слушай!— горным ручьем зазвенела в трубку Клавдия.— Ты отметился?

— Я-то отметился...— сказал Данилов.

— И прекрасно! Я всегда знала, что ты чудесный, милый человек. Слушай, вчера я вязала Войнову шерстяные носки, ты знаешь, чего мне это стоит, но я связала пятку! И при этом поддерживала с ним светский разговор... А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками, я все приготовила!

«Мне хоть бы раз связала носки»,— подумал Данилов и сказал сурово:

— Уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка!

— Ну, Данилов...

— Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди.

— Я так и знала! Я так и знала! Ты пожадничал?

— Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги.

— Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек! Ну свои бы дал или занял у кого!

— Спасибо за совет.

— Что же делать-то теперь?

— Не знаю... И кто эти будохлопы? Хлопобуды эти?

— Тише, тише... это тайна... Ты где?

— На Горького. Сейчас зайду в кулинарию.

— Хорошо, через двадцать минут я буду там!

«Нужна ты мне!»— думал Данилов, стоя в кофейне магазина кулинарии и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни, вихри внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучали его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души, альт, может быть, исчез навсегда, и каково от сознания этого было Данилову, а он занимался какой-то чепухой. И ведь эта женщина, пустая и взбалмошная баба, ему совсем не была нужна, да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор палубному матросу или банка для червей невскому рыболову! «Нет! Я встану и уйду!»— сказал себе Данилов. Но сейчас же возникла красивая, бисквитная, с шоколадом и цукатами Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке.

— Насчет Войнова,— сказала она,— ты успокойся. Там все, тьфу-тьфу, постучи по деревяшке...

— Я успокоился...

— Теперь про очередь... Как же это ты?... Неужели у тебя не было пятнадцати рублей?

— Действительно,— сказал Данилов,— экая вдруг со мной оплошность произошла...

— Ну хорошо,— сдалась Клавдия.— Я виновата. Но ты сам понимаешь — про очередь никому ни слова. Это эксперимент... И его можно глазить, понимаешь?

— Нет,— признался Данилов.

— Ну какой ты... Помнишь, как бедные, голодные, никому не известные актеры по ночам, по утрам что-то там репетировали, кричали, ругались, верили и вдруг бац!— «Вечно живые!» «Современник!» Билеты с рук! Собственный буфет! А теперь их еще и лоно МХАТа приняло в свои объятия! Вот и наши. В неурочные часы, на общественных началах...

— Прости, но пятнадцать рублей? Это уж иные начала...

— А-а! — махнула рукой Клавдия.— Но зато они у нас и не бедные и не неизвестные. А наоборот! И все с будущим, а стало быть, с гарантией для нас...

— Кто они? Кто эти будохлопы-то?

— Хлопобуды,— поправила Клавдия.— Научнее — инициативная группа хлопот о будущем. «Хлопобуды» — это Ростовцев придумал.

Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще. Она заговорила шелестящим таинственным шепотом. Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопот о будущем, понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых на сегодняшний день профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института Лужкова, понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой. Высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам и бог весть еще кто. А на вторых ролях — для консультаций и практических действий — группа предполагала использовать — и использовала уже! — людей любых профессий: и начальников ЖЭКов, и агитаторов, и вагонновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и председателей месткомов, да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые, лучше до сорока, и могли протянуть на своем посту еще по крайней мере два десятка лет.

— Ну хорошо,— сказал Данилов,— а тебе-то это зачем?

Нежными, чуть полными пальцами в двух изумительных перстнях — с сердоликом и бриллиантом — Клавдия Петровна донесла сигарету «Уинстон» к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс.

— Это сложный вопрос,— сказала она.— Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать. Да, страждать...

— И все же? — сказал Данилов.— Вдруг и пойму.

— Каждый порядочный человек, уважающий себя,— сказала Клавдия Петровна,— желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо. И желает занять положение, какое ему по душе. Скажем, перейти из последних в первые. Ну не в первые, а в восьмые.

— Ты со мной была в последних?

— Не в самых последних... Но, Володенька, увы, близко к ним... Не обессудь... Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем успокоюсь... Но на время... Ведь жить-то надо страстями!

— Страстями? — спросил Данилов.

— Да,— сказала Клавдия Петровна,— страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно — страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой.

— Я знаю, что это не ты придумала...

— А теперь у меня все есть или с Войновым будет. Я женщина обыкновенная, но своего стою. Я в соку. И я красивая. Я красивая, а, Данилов?

— Красивая,— согласился Данилов.

— Что нужно женщине? Слава? Удачи в общественной деятельности? Я проживу без них, я и так эмансипированная. Славы деловой мне и задаром не надо, она не по мне, я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унижительных для женщины, отупляющих ее,— вон взгляни на свою знакомую Муравлеву, она вся погрязла в бездуховности! Одна коса оттуда торчит. И то натуральная... Значит, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. И здесь для меня первое правило — не быть в любви несчастной. Но и не делать несчастным мужчину. Или мужчин.

— Естественно, не таких мужчин, как я,— сказал Данилов.

— Сам посуди, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий, ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составишь счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен... Ты вот даже пятнадцать рублей... Хотя я не жалею о прошлом и за квартиру я тебе благодарна... Но профессор Войнов — сильная и деловая натура, а ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все... То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану... На другие места мы станем садиться... И уж с этих мест на худшие не пересадят. И потом, конечно, надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывезти меня хотя бы года на три... И ему нужно для работы. Понятно, не в Турцию... Что там, в Турции!.. Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы!.. Есть же и другие страны — Италия, Франция, Англия, наконец. И оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы.

— Сможет,— кивнул Данилов.

— Но про другое тебе хочу сказать. Про хлопобудов. Сейчас я всем довольна. А через десять лет? Или через двадцать? Или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три?

— Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют?

— Да не торгуют! Как они могут торговать! Странный ты человек, Данилов! Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в восьмидесятом, девяностом, двухтысячном году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего, прости, поголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромым, а теперь Бумбараш, и на тот век лесу было «да ой-ей-ей!»... А уж футурологи — те вообще все наперед знают, у них движение каждой пылинки в истории определено и так и в процентах и травки каждой прозябанье...

— Неужто и гад морских подводный ход?

— Насчет морских не знаю... Но у нас там есть человек из фирмы «Океан»... Он разберется с морской рыбой, если надо... Я тебе азы объясняю... Ты понял?

— Угу,— кивнул Данилов.

— А наши-то умы, из хлопобудов, тоже не последние. Главные в

группе — системные аналитики. Их бог — Облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами просветят и медицинской аппаратурой просветят, представят меня в восьмидесятом, девяностом и двухтысячном году и скажут, что мне будет нужно и что теперь и тогда мне следует предпринять.

— И часто они берут по пятнадцать рублей?

— Не редко... По графику... Чтобы мы сознавали свою ответственность... Да и что теперь жалеть мелочь? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать.

— За что?

— Ну как за что?.. — удивилась Клавдия Петровна.

— Хорошо, — сказал Данилов. — Ладно. Получишь, положим, ты справку. На три десятилетия. Но ты измучаешь себя прогнозами хлопобудов.

— Себя — нет! Других — да!

— К счастью, — сказал Данилов, — я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу...

— Кто знает...

— Нет, нет, ни в коем случае, — испугался Данилов, — эту неделю отдежурю, как обещал, и все...

— Подумаешь, пятнадцать рублей! — сказала Клавдия Петровна. — Многие в очереди даже и не ради себя стоят. А ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях! Потом репетиторам втрое дороже заплатишь!

— И о высшем образовании детишкам хлопочут?

— Кто о высшем. Кто о среднем обязательном. Скажем, как частный вопрос выясняют, и правильно делают, в школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык.

— Слушай, а вдруг через десять лет модно будет иметь по трое детей? — спросил Данилов. — Ты что же, родишь?

— Рожу, — сказала Клавдия Петровна.

— А пока будешь терпеть?

— Я и терплю, ты сам знаешь...

— Впрочем, это все частности...

— Частиности, — согласилась Клавдия Петровна. — Для меня частности. Я буду знать главное, а частности сами открутятся. Но многие-то именно из-за частности в очереди и стоят. Дуры есть замечательные. Ну и дураки тем более. Уж раз по пятнадцать рублей платишь, то и... А они... Некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости... Ждут и туфли на воздушной платформе... Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл.

— А Кудасов, он-то что ходит?

— Не знаю. Наверное, ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю... Если мне его припрогнозируют.

— Или прифутуруют...

— Или прифутуруют... А может, Кудасов печется о службе... Тут многие со служебными болями...

— Ну вот получишь ты прогноз. И что дальше?

— Дальше! В группе, кроме системных аналитиков, есть конструктивисты. Вон известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я, в частности, что в восемьдесят шестом году мне понадобится пальто из моржовой кожи, и сейчас же запишусь к нему в очередь...

— И десять лет будешь отмечаться?

— И буду! Зато вовремя, даже чуть раньше получу вещь. Кон-

структивисты, они у нас оттого конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать... Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет... Кто к косметологу, кто к начальнику ЖЭКа... Но все это частности...

— Что же главное?

— Это тайна. Но я... — тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии, — а я уже знаю кое-что... То есть... У меня есть уже сведения... Я не все знаю, но я догадываюсь... Я не скажу, как я узнала и через кого... Но поверь мне... У меня есть одна сумасшедшая идея...

— Достаточно сумасшедшая?

— Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея.

— Может быть, тебе нужны три карты?

— Ах, Данилов! — Нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. — Если бы ты был Сен-Жермен... Нет, я уж сама все устрою!

— Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь?

— Я и сама не знаю зачем... Ну хотя бы ты сможешь восстановить потерянный номер... Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями... Мои деньги хотел себе присвоить...

— А к чему тебе номер, если ты и так все знаешь?

— Я должна получить официальную справку. И потом, в очереди интересно... Разговоры... Люди... Знакомства очень полезные... Мы с тобой пойдем и восстановим номер...

— Но...

— Нет!.. Раз ты виноват... Раз уж пожадничал... И потом, вдруг я тебя в свою безумную идею посвящу, а?

Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоенные пирожки, подпрыгнув, с буфетной стойки посыпались на пол. «Кармадон, что ли?» — подумал Данилов. Но вот машины поехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот.

Глаза Данилова двинулись по следу ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяный Ростовцев с федоровской трубкой во рту.

Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову: «Я тебе позвоню... Действуй по списку... Извини...» — и была такова.

### 8

Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша-привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и несамостоятельно одетый.

Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся. Был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел незавидное, осеннее.

Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и взглянул на индикатор. Нет, знака не было. А озорник Кармадон, лицейский однокашник Данилова, мог ведь именно с серой

кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде. Хотя бы и погорельцем с ребенком в руке.

— Владимир Алексеевич,— сказал молодой человек,— я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку. То есть я неизвестно что пишу, но я хотел бы писать музыку... То есть это я все зря... Вы меня поймите... Вы меня не знаете... Я окончил консерваторию лет через десять после вас... У меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам... Один разговор... Я был на вашем концерте в НИИ, я оказался там случайно... Я две ночи потом не спал... Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это...

Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания, папку конторскую, с коричневыми тесемками, тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листов.

— Хорошо,— сказал Данилов растерянно,— я посмотрю.

— Сделайте одолжение,— сказал Переслегин.— Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод...

— Если у вас есть ко мне разговор,— сказал Данилов,— зачем предварительные условия?..

— Нет, нет... Вы сначала посмотрите!

И дверь за Переслегиным закрылась.

— Этот не подозрительный,— сказала привратница Полина Терентьевна.— Этот хуже...

— Вы так думаете? — спросил Данилов.

— Я не думаю, я вижу,— сказала Полина Терентьевна.

В лифте Данилов посмотрел, что это за листки. На титульном было написано: «Переслегин. Симфония номер один». «Э нет,— подумал Данилов,— что же я так, на ходу, потом будет время, потом и посмотрю». Его обрадовала мысль о том, что хоть вот один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в НИИ хорошей. Хорошей? Наверное. Если бы посчитал дрянной, подумал Данилов, то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне. А вот пришел. Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты — вдруг музыка Переслегина окажется бездарной! Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра!

«Эко я вляпался с Клавдией-то! — подумал Данилов, войдя домой.— До душевных тайн дело дошло... Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня... На двадцатую роль — посыльным быть или подставным лицом или на шухере стоять,— но имеет... Нет, гнать ее подальше!»

И все же Данилов думал с любопытством: «Что же это за идея такая замечательная?» Клавдия ведь прямо вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на Новом Арбате, коли они ей помешают, а идее даст ход. Женщина неугомонная!

С запасным альбом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну.

— Володя, вы, наверное, меня не узнали? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ну как же, Катенька,— обрадовался Данилов,— неужели я могу вас не узнать!

Хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилову всегда была приятна, к тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки всю имевшуюся в доме шампунь, а заодно и дезодорант, о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову, Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени — закрылась выставка коллекции Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутивным тоном:

— А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши. Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю...

— Нет, серьезно? — смутился Данилов.

— А одна моя знакомая та и вовсе... Вы на нее произвели большое впечатление.

— Катя, я понимаю, о ком вы говорите... И Наташа произвела на меня большое впечатление...

Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор — прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор, сейчас, в беседе с Екатериной Ивановной, это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права — мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники! Индикатор и по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубенсовская женщина и теперь не ожила.

— Вы знаете, Володя, — сказала Екатерина Ивановна, — может быть, все это зря и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решила вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо.

Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал.

— Нет, она не больна, — опять отважилась Екатерина Ивановна. — Но я чувствую, что ей очень плохо. И я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый. Наверное, бестактный. Я не вправе вмешиваться во что-либо подобное... Но вот я не удержалась и позвонила...

— Я вас понимаю, Катя... — сказал Данилов. И тут же спросил: — А что же с Наташей?

— Просто плохо ей, — сказала Екатерина Ивановна. — Я и сама не знаю отчего... Она гордая. Она ничего не скажет ни мне, ни вам. И как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает...

— Вся-то моя беда, Катя, состоит в том, — сказал Данилов, — что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью после одиннадцати...

Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии: ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной гибели, забыв, забыв, забыв, нестись к Наташе и быть возле нее, а он мямлил в трубку жалкие слова. «Экий подлец!» — говорил себе Данилов. Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую. Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых? Так, что ли? Он и себя старался уве-



рить впопыхах, что его чувство к Наташе — блажь, возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль...

— Катя, я что-нибудь придумаю, — сказал Данилов.

А что же он мог придумать?

Повесив трубку, одетый, в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика. Бороду теребил. «Нет, — думал Данилов, — обманываю себя». Не улетучилось чувство, былшем не поросло. Наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно? Может, теперь, как к альту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримые его хозяева?

Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате.

Теперь он уже знал, что нарушит правило договора, и это будет учтено. «А-а! Пусты! — махнул рукой Данилов. — Была не была!» Иных возможностей у него не было. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. Перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметной глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть. Но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил аппарат познания. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь вглубь и ввысь, но и это было бы дурно, он не имел права знать Наташину сокровенное без ее нужды. А уж открывать для себя ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познания взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не тотчас же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познания пользовался редко, и он в Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал. А Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях Земли — касторовым или репейным.

Добытые Даниловым сведения несколько успокоили его. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили, то ли пожалели, то ли оставили ее про запас. Причины сегодняшнего состояния Наташи были земные...

Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя: разве можно было ему в ожидании времени «Ч» нарушать правило договора! Впрочем, он часто ругал себя задним числом... Данилов вздохнул: что теперь жалеть-то! Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентина Сергеевича Наташе не грозит. Они, враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе (не то что к альту), держа его за ветреника, а если и верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел. Значит, время у них с Наташей пока было и следовало им воспользоваться. «А там будь что будет, — решил Данилов, — а там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар!» После депеши о Кармадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время «Ч». Да и без Кармадона, полагал Данилов, он сам обязательно придумает выход из гибельного тупика, сядет как-нибудь и придумает.

Однако время шло и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. «А! Нарушать так нарушать!» — лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубен-

ную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист и спросил, не он ли, Данилов, заказывал машину из третьего парка.

— Да, я, — сухо ответил Данилов.

Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. Но подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук. Били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки, и увидел парня в мазаном ватнике, с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой.

— Вам кого? — спросил Данилов.

— Мосгаз, — простуженно сказал парень.

## 9

Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бранил себя, спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его.

— Сегодня у нас «Кармен» с Погосян, — сказал Данилов. — Я вам, Наташа, оставляю билет в кассе администратора и найду вас в антракте. Если вы, конечно, захотите прийти...

«Кармен» Наташу манила...

Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список работ Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика, рядом на полу покоился гаечный ключ. «В кладовку, что ли, их пока сунуть? — подумал Данилов. — Или все выкинуть? Они уж теперь ему и не нужны...»

...Газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь.

— А что так поздно? — спросил Данилов. — И именно ко мне?

— Мы всех обходим, — сказал парень из Мосгаза. — Есть необходимость предотвратить аварию.

Данилов снял цепочку и открыл дверь. Ему было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученый, а потому и приветливый.

— Сюда, сюда, — сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. — Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются и газ еле идет.

Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул.

— Вот поглядите, — Данилов стал крутить ручки кранов, — с какой натугой идут. И еще — не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный белый, а то некрасиво... Я заплачу...

— Гаечным ключом, что ли, я заменю?

— У вас, наверное, в чемоданчике техника есть?

— И пошутить нельзя! — сказал газовщик теперь уже не простуженным голосом. — Ты и своих не узнаешь!

Тут Данилов поглядел на парня внимательнее.

— Кармадон!

Данилов бросился к Кармадону, они обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были, у Данилова было посредственное происхождение, а у Кармадона с братом, напро-

тив, прекрасное, однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался шалопаем куда более удачливым и замечательным, и Кармадон с братом, Новым Маргаритом, глядели на него, как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных в лицее с молящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках, но Данилов гусарить гусарил, однако ко всем в отношениях был ровен и великодушен, никого ниже себя не ставил. Разве только фискалов. Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние двадцать лет без всякой нужды в Кармадоне.

Кармадон снял грязную шапку и мазаный ватник, выпрямился, как бы подрост, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и, как ни старался, улыбки сдержать не смог.

— Ты что? — спросил Кармадон. — Одет, что ли, я не так?

— На улице ты, пожалуй, выделялся бы... — сказал Данилов.

— Это мне ни к чему, — сказал Кармадон.

Последний раз Кармадон был на Земле и в Москве в пятьдесят четвертом году и теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль-холла на улице Горького, давно уж превращенного в мороженный дворец. Имел Кармадон витой кок, набриолиненный и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой, с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное.

— Нынче по-иному одеваются, — пояснил Данилов. — Я не обра-  
зец, но ты можешь воспользоваться моим платьем.

— Ты мне покажи, что носят, — сказал Кармадон.

Данилов пошел в комнату, стал искать журналы, потом заглянул в бар, коньяка в бутылке было на доньшке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние и воспользоваться средствами на представительство! Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч, приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось, что он не рад своему наряду. Он опять зевнул.

— Да что мы тут, на кухне! — воскликнул Данилов. — Пойдем в комнату. Или куда хочешь. Я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу! Тебе нашу экзотику небось подать?

— Мне много не надо, — сказал Кармадон. — И никуда не пойдем. Здесь и посидим.

Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского, однако он гостю ничего не сказал, а на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние» — по мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, — давно уж засохшая и в черных критических точках корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивами. Единственно что Данилова обрадовало, это бутылки минеральной воды «Кармадон». Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте Кармадон, что в Осетии, в горах, вблизи Казбека, то ли папаша пролетел там и, веки разлепив, любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли, напротив, имел на фоне вершин приключение с красавицей горянкой — одним словом, в память о снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном.

— У меня,— сказал Кармадон,— нет ни аппетита, ни жажды с дороги. Я и плохо запомнил ваши деликатесы. В последние годы я ел и пил все молибденовое. А ты что хочешь, то и бери. Меня не стесняйся...

Данилов ощутил в руке бокал коньяка, и рядом обозначился цыпленок табака из «Арагви».

— Я устал,— сказал Кармадон.— Меня и на разговор с тобой теперь не хватает. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел, ты знаешь наших крючкотворов.

— Ты ванну с дороги прими,— сказал Данилов.

— Пожалуй, и приму,— кивнул Кармадон, выглотал «Северное сияние» из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уж бестелесную, приложил к губам.

Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись с цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка возникнуть из вареной говядины, а то и из пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах, теперь в охотку тратил представительские средства.

В ванной всё стихло. Данилов забеспокоился, как бы Кармадон, грешным делом, не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и на сколько захотел бы и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами.

— Кармадон! — крикнул Данилов.

Кармадон не отозвался.

«Уж не утоп ли он?» — испугался Данилов.

— Кармадон!

— Что?.. — услышал Данилов. — А-а-а... Прости... Я задремал...

Ты что?

— Да я... — смутился Данилов. — Спину тебе потерять?

— Ну потри... — вяло ответил Кармадон.

«Станный он какой-то, — подумал Данилов, — вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут...»

Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал, тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был, по школьным понятиям Данилова, лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая соответствовала бы его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы и птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой или траекторией или никак не выглядеть. По давней моде или по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечьи тела. А на Земле-то уж Кармадон и по давню должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело, на правом плече даже с татуировкой-девизом «Ничто не слишком», но сквозь тело это там и тут, в самых неожиданных местах, проступало нечто металлическое, а может и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел какие-то предметы, некоторые из них были неподвижны, другие же, с щупальцами и присосками, двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный прут, словно обломок шпаги, он качался, издавая тонкий ухающий звук. Данилов спросил:

— Что с тобой? Я не потревожу это губкой?

— Что? — сказал Кармадон и оглядел себя. Некая досада отразилась на его лице, он покачал головой. — Ах, опять это... Никак не могу отделаться от всего волопасного... Задремал, и опять оно возникло во мне!

Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился как от боли и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей.

Когда Кармадон, красный и тихий, в банном халате сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, посыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил. И все об условиях своих трудов в созвездии Волопас.

В созвездии Волопас Кармадона послали на планету Бета-Мол, или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов, Сонную Моль. Планета, размером побольше Земли, собственным населением именовавшаяся Глирой, была исключительно молибденовая. И духовные ценности на ней были молибденовые, а уж материальные тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову почему, а Данилов и все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные, текущие, плакучие, висящие, тающие и танцующие вещества — все они на Глире были производными из молибдена. Живых существ, братьев землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они живут, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не на какой-либо покато́й тверди, а внутри тягучего мира, и пути их неисповедимы. Землянину его братья по вселенной волопасы (сами себя они называют глирами) показались бы похожими на металлические болванки, а они-то, глиры, при виде его и вовсе бы сплюнули. Шарообразное тягучее состояние планеты имеет и общий разум, или общий дух, и этот разум-дух в отчетах Кармадона назывался не иначе как Сон. Да, болванки-волопасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит с ними в беспробудном молибденовом сне. Болванки имеют возможность вливаться одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание («Нравственного порядка», — только и сообщил он Данилову), и каково было ему внедриться в сновидения волопасов! Сам-то он спать не имел права! Долго мучался Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом кое-как втиснулся в сновидения одного наивного волопаса-глира. И пошло! Потом Кармадон даже имел и приключения, и депутатом его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили молибденовый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал! Просматривал сновидения и пугал их, а сам не спал! Уже дома, когда сидел в своей Канцелярии от Нравственных Переустройств и писал отчеты о проделанной работе, и тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок. Не желал исказить репутацию аса по спецзаданиям. Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее.

Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев (и мой сын тоже):

— А они, эти волопасы, эти глиры, с Землей-то контакт не хотят установить?

— Они-то, может, и хотели бы, да у них ничего не выйдет, — ска-

зал Кармадон.—Да и на кой вам контакт-то с ними, с беспробудными! А им с вами! Я им теперь таких сновидений насочинил...

И Кармадон опять зевнул. А левый глаз его стал туманиться. «Нет, он здорово изменился,—подумал Данилов,—постарел или действительно смертельно устал. Осунулся. Серьезный, даже удрученный какой-то, а тоже был шалопай».

— Я тебе сейчас постелю,—сказал Данилов,—ты у нас и отоспишься. Хоть обе недели спи.

— Нет, Данилов,—Кармадон встал,—я не могу расслабиться... Ты прости, но я сейчас тебя покину... Мне нужно побыть синим быком.

— Тебе со мной скучно... Или я...

— Ты не обижайся и не предполагай плохого... Просто последние годы на этой Сонной Моли я только и думал: вот выпрошу премиальную прогулку на Землю и побуду там синим быком... Хоть неделю... А потом я вернусь...

— Где же ты собираешься им побыть?

— Где-нибудь... Где тепло...

— Но я отвечаю за твою безопасность.

— Данилов,—Кармадон улыбнулся, даже несколько по отношению к Данилову снисходительно,—я теперь стал сильный и жестокий.

— Я не собираюсь опекать тебя. Но я мог бы хоть советом убедить тебя от неловких ситуаций... Тепло сейчас в Африке. Но там тебя попробуют заставить пахать землю, а гуляющий свободно ты будешь странен. Быков любят в Испании, но любят их любовью особенной, и вдруг эта любовь на корриде тебе не понравится?

— Разве все это важно?

— Ну смотри...

— Давай выпьем на посошок! И я пойду.

Опять в руке Кармадона появилась бутылка глициринового ликера «Северное сияние», и раскрышенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком. Выпили. Закусили. Кармадон как был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился.

— Ну будь здоров, Кармадоша,—сказал Данилов растроганно.— Ни пуха тебе, ни пера!

— К черту! — сказал Кармадон, вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе.

## 10

Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. «Что же я его Кармадошей-то назвал! — расстроился Данилов.— Нехорошо вышло. Разве он мне теперь Кармадоша?..» Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя, а потом и софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморило. Но все равно чувство стыда и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени «Ч», попросить совета, а то и поддержки, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени «Ч»? Данилов вспомнил все его слова и решил, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с Мосгазом! А впрочем, кто знает... Но как изменился Кармадон! Остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни,

даже вышел в асы со спецзаданием! Но ведь и сам Данилов изменился, в иную, правда, сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийти к Данилову, в крайнем случае — знатным покровителем. Но Данилову ли просить о подачках!

А как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на Земле дел, к этому все шло. Как бы теперь не вышло кровопролитий и массовых драм. «Хоть бы я его на хунту какую натравил!» — сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое на первый взгляд мечтание. Во второй месяц службы только и думал: «Вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков!» И что ему дали эти чебуреки, не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве он ушел с геологами коллектором в якутские тундры. И там пристало к нему неистребимое: «Увижу по возвращении первый рояль — сразу же сыграю на нем хоть и собачий вальс». И сыграл. Вот и Кармадон сочинял волопасам, или глирам, сновидения, а сам рвался в синие быки. «Да, как бы нам теперь кровопролитий избежать!» — вздохнул Данилов..

Наутро он и позвонил Наташе, с волнением услышал ее милый голос и пригласил Наташу на «Кармен» с Погосян.

Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов чемоданчик Кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ все же решил сунуть в кладовку, вещи были не его, и не он им годился в судьи. Имелось у Данилова минут десять. Японским транзистором он нащупал «Маяк» и не без трепета взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по «Маяку», не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмогрю», — решил Данилов. Сначала передали новости о шахматах, потом о фигурном катании. И тут диктор сообщил, что в трехстах километрах от побережья Центральной Африки, на острове Принсипи, входящем во владения Португалии<sup>1</sup> — Сан-Томе и Принсипи, — в рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший на Принсипи, назвал поимку быка принципскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные снежный человек и чудовище из озера Лох-Несс — существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид.

Данилов так и похолодел.

А тем временем слово для комментария было предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принципских крестьян в уходе за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время, отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несси, ни хоть кого-нибудь другого. И тут он перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом, на его деньги содержатся футбольные клубы, на его деньги, естест-

<sup>1</sup> Тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а скорее всего не происходили, в 1972 году. Тогда еще можно было париться в Марьянских банях, а теперь нет Марьянских бань. И ЖЭК № 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли. И острова Сан-Томе и Принсипи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей о 25 апреля 1974 года. Прошу принять это во внимание. (Прим. автора.)

венно не без выгоды для Бурнабито, скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки. Но организованная Бурнабито утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте — «Реал» опять выбит из европейского Кубка. И вот ненасытный Бурнабито решил еще на одну авантюру. За три миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым людям, представляет колоссальный интерес для науки. Но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде<sup>2</sup> объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принципского быка, коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в десять раз дороже обычного...

«Так-так-так, — подумал Данилов, — стало быть, Кармадон объявился». По расчетам Данилова выходило, что объявился он и стал предметом внимания принципских крестьян и профессора Чиверса не иначе, как два дня назад. Хотя и прибыл на Землю нынче ночью. Значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне овладел профессиональным искусством, без усилий заскочил за условную черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом Кармадон попросит его в каникулярном листке отметить время прибытия на Землю именно первым часом нынешней ночи. «Ну и пусть себе, — решил Данилов. — Отмечу. И печать поставлю. Только что же он не предупредил меня ни о чем? Это даже неприятно...»

Однако амбиция амбицией, а людей Данилову стало жалко. За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился — тот был уже не мальчик. Но одно дело забытые принципские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, и рассеянный профессор из Оксфорда, другое дело — ребята на корриде. Как бы они не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет, с ним он и вышел на ненасытного Бурнабито?

Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да с него бы иначе потом спросили, куда он глядел. В то не существующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль. Тот, ихний, город недавно проснулся, но был взбудоражен. Синий бык уже звал на вечернюю корриду с кровавых афиш. Морда его была злоеца, вся в пене, а рога пугали публику, как в эпоху романтизма обструганые колы — турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами и просто так. На полдороге к Арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок, под кастаньеты приятелей плясавших гитану в честь принципского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к Арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Везде Арены жуть что творилось! Публика так и кипела. Ветер от Гвадарамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светила. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный принципский, никаких красителей экспертиза не обнаружила, с гормонами и гипофизом у быка все в порядке, такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато

---

<sup>2</sup> Что касается Мадрида, то учтите, что и там семьдесят второй год. У «Калибра» еще стоят Марьянские бани, а в Мадриде живет каудильо. Понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают. (Прим. автора.)



Данилова обрадовали предположения ученых светил о производительных возможностях принципского быка. «Это не бык,— подумал Данилов с уважением,— а зверь!»

На самой Арене было пусто. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельном зале на сеной подстилке обнаружил принципского быка. На решетке возле быка была укреплена позолоченная табличка: «Д-р Бурнабито. Бык. Мигуэль». Самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности.

«Спит или притворяется?» — засомневался Данилов. Из подстилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздри. Ноздрей бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе Арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами пошевелил. «Ну и ну! — удивился Данилов.— Ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал Кармадон закалить волю! Вот тебе и ас! Крепился-крепился, а, видно, чуть расслабился, его и сморило. Да и как иначе после стольких лет бессонных сновидений!» Данилов сыскал на складе Арены хорошую попону и быка Мигуэля старательно ею прикрыл.

Теперь Данилов успокоился, Кармадон проснуться сразу явно не мог, пусть отсыпается, значит, и бед от него пока никаких не будет. «А вечером посмотрим»,— решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние.

## 11

Времени в Москве не прошло ни секунды, Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда, вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером! Да и возле быка Мигуэля, казалось теперь Данилову, он скучал о Наташе.

Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Клавдия иногда платила вахтеру Василию Федоровичу, хранителю табельных мгновений, по рублю за день, он отмечал ее присутствие, она же «работала на дому». Впрочем, каждый день сидеть дома было бы скучно. Однако сегодня, как, впрочем, и вчера, Войнов требовал испытательных хлопот.

Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны. Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на четвертый этаж учреждения. Дверь в комнату Клавдии была заперта, на ней висела бумажка со словами: «Тише! Идет совещание!» Выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила: «Вы от Клавы?» — ипустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара и еще каких-то вещей, близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая три года в Австралии, в Москве они показались ей лишними. Среди совещавшихся были и двое мужчин, видно, что хозяйственных. Данилову как свежему человеку обрадовались. Кто-то сразу сказал:

— Как хорошо, что вы пришли! Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените!

Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение — а вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру.

— А вы поглядите на мне,— сказала старший экономист Терebeneва,— мы ведь с Клавой одинаковые.

Вначале переодевание Терebeneвой Данилова смутило, однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, и его, Данилова, признали за своего. Пеньюар на Терebeneвой сидел прекрасно. Принял Данилов участие в обсуждении и примерке и других вещей. Ему было жалко Клавию — она теряла такой рабочий день! Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что пеньюар оставлен ей и цена за него назначена шестьдесят рублей.

— А париков там не было? — спросила Клавдия Петровна. — Значит, до тебя расторговали. Ну ладно! Я рада за тебя, хоть пеньюар тебе понравился. Спасибо. Я спешу. Варю для Войнова флотский борщ. Ты не забыл, завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер?

— Не забыл,— вздохнул Данилов.

— Ну, до завтра!

«А до Наташи еще восемь часов...» — подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалась.

В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там,— забеспокоился Данилов,— спит или проснулся?» Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал, укрытый попоной, а вокруг Арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая. Час назад самолетом прибыл в Мадрид известный боксер Фил Килиус. Этот Фил прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принципского быка одним ударом. О своих финансовых претензиях Фил Килиус говорить пока отказался.

Вокруг Арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнабито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнабито никаких официальных заявлений не делал.

Данилов сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал».

Тут его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции освобожден — вместе с Никулиным и другими членами редколлегии он должен был быстро и теперь же клеить стенгазету. Плакатным пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок, не одна звезда клаялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки «Впервые в «Сильфиде» звали Наталья Алексеевна, Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок — «Наташа».

Без двадцати семь Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташе были оставлены на правую сторону, Данилов у правых билетерш и хотел ждать. Но Наташа с программкой в руке уже поднималась на бельэтаж.

— Наташенька! Здравствуйте! — воскликнул Данилов.

— Здравствуйте, Володя,— улыбнулась Наташа.

— Вы уж не обессудьте, что я вам достал в бельэтаж, главное, что ложа ваша ближе к середине...

Как уж он играл, Данилов не помнил, но, наверное, хорошо играл, только в музыке его не было ни Хозе, ни Кармен, ни работниц севильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями, а была Наташа и был он. И альт его, получалось, будто бы обладал той же кра-

сотой звука, какая была у Альбани, или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани. В антрактах Данилов спешил вверх по левой лестнице, туда, где возле стеклянного футляра со знаменем Победителю Соревнования его ждала Наташа, зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме, и они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожным в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы, взмывал звуком в сладкое поднебесье музыки, к хрустальному саду большой люстры и даже выше его, и только возникавшая в опере время от времени тема тореадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне и о своем намерении не допустить на корриде бед. Однако он считал, что не может теперь, при Наташе, хоть и на мгновение выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет. А потом Данилов забыл о Кармадоне.

После спектакля дирижер опять похвалил Данилова. Он даже сказал: «Вы обязательно поедете в Италию...» А прежде поездка была для Данилова под сомнением.

Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени «Ч».

Пустынными переулками шли они с Наташей к Хохлам. Сначала Китай-городом, потом Соляной, а там Большим Ивановским свернули в Колпачный, к палатам гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихонько сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным («Чтобы за нами никто не подглядывал...»), даже и в мыслях сейчас, рядом с Наташей, Данилов не хотел напоминать себе, что он не во всем человек...

— Тут, по Колпачному, — сказал Данилов, — когда-то с холма бежал ручей Рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. Оттого палаты гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной, и, видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе...

Палаты гетмана были в лесах, реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз большемерным кирпичом, а на первом этаже справа большемером же обозначили два давно уж обитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, и они прошли с Даниловым под арку. Луна высветляла двор, однако Наташа споткнулась о брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее за руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок. И во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе парные полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные, с разорванными фронтонами наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка: «Посторонним вход запрещен. Строительные работы». Наташа дернула дверь, она открылась.

— Сейчас я спички достану, — сказал Данилов.

Он зажег газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз по дощатым мосткам и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором остановилась.

— Чудо-то какое! — сказала Наташа. — Вот и Мазепа спускался сюда со свечой в руке, тут было где прятать тайные мысли или вызывать их. Или смотреть добро в ларцах. Гетман! Мазепа! Где ты? — крикнула Наташа.

Данилов осторожно ступал по мосткам, хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, никогда и не жил в этих палатах, вопрос тут спор-

ный, и еще хотел похвалить Петра Ильича за ариозо Мазепы из второго акта «О, Мария...». Однако сейчас же отругал себя: «Ну и зануда я сегодня!» Газета догорала, тесные белые камни стен теряли очертания, покачивались, кривились.

Данилов отбросил истлевающий остаток газеты, в черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону.

— Ничего не говорите, Володя, теперь, — прошептала Наташа, — ничего...

От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две. А они еще час, может быть и два, пробродили переулками у Покровки.

— Наташа, — сказал Данилов, — вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева...

— Я не обиделась, — сказала Наташа. — Просто мне было скверно... И хотелось на кого-то опереться... По слабости, наверное, и от дурных чувств... Это я вам не в упрек... Вы же ни о чем не знали...

— Должен был бы знать, — сказал Данилов. — Нет у меня никаких оправданий.

— Вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила, восемь лет назад это было, а любила... Я вам тогда сказала, что я из дому убежала в Пермь с любимым человеком и там познакомилась с Мишей. Это неправда. Я убежала с Мишей. Он и был любимым человеком...

— Вы все же на устный журнал, — сказал Данилов осторожно, — пришли из-за Миши?

— Нет, Володя. То все прошло. И с болью прошло... А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя... Для этого сила нужна, а у него силы не было... Я закурую, Володя?

Инструмент положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташиных щек.

— Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь. Стал работать в театре в музыкальной части, комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме, я жила у него. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки, струнные, деревянные духовые и клавесин, хотели они играть музыку барокко и даже Монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочли в руководители. А мне было семнадцать, я, дураха, мечтала о театре, провалилась в Щепкинское, Миша сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет... Он устроил, да не пошло... А ансамбль у них получался, но много было мытарств, хождений по инстанциям, недоумений, к чему бы тут барокко и Монтеверди. И прочего, сами можете представить. Миша маялся, страдал, полтора года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый, и вот после одного разговора в отделе культуры или еще где-то он все ходил, ходил по комнате и повторял: «Тупик! Тупик! Ужас! Провинция!» И уехал ночным в Москву. А я не поехала. Я уж чувствовала, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил... Хозяйка смотрела на меня как на брошенную содержанку... У меня ребенок должен был бы быть, но вот его нет... На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая, но за театр я держалась, или он держал меня, работала в костюмерном и хорошо шила, с удовольствием... А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично, опустила я руки... И надолго... Если не навсегда...

Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был Колпачный.

— Миша мне однажды сказал, — заговорил Данилов, — «Помни, боящийся несовершен в любви».

— Он и мне написал это. И еще написал что-то странное... Я только догадываюсь, что он имел в виду... Что-то мучало его в последнее время, какая-то тайна...

Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где уж было ему!

— Вот как все вышло,— сказала Наташа.— Это ведь я тогда была готова броситься в Каму. Я и могла... Он из Москвы часто слал мне письма, уверял, что любит... Но во мне все прошло... А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу... Но получился без Миши.

— Я слышал,— кивнул Данилов.

— Потом я вернулась в Москву,— сказала Наташа.— Со стариками у меня вышло нехорошо... Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали... В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть при деле была... Чужая я им стала, непонятная... Я уж в НИИ комнату получила в коммунальной квартире, одна и живу... А Мишу мне жалко... И нехорошо на душе... Будто еще должно случиться что-то дурное...

Данилов ничего не сказал, хотя в ином случае он бы нашел какие-нибудь невесомые успокоительные слова; от которых и Наташе и ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов отчуждение возникло между нею и Даниловым, они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга, и в тихой пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет, нечто иное разделило их на мгновение или навсегда. У каждого из них была своя судьба и своя жизнь, эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. «Да что это я иду-то с ней? Зачем? Сейчас провожу ее до подъезда,— думал Данилов,— и домой на такси, может, выплусь...»

Однако уже возле дома Наташа предложила Данилову зайти к ней, и Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час, приглашение Наташи принял, до того просто и с полным к нему доверием она позвала.

Дом спал. Раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда в чужих домах, Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг у Наташи было немного, но все они Данилову знакомые и приятные, а двум — «Сомову» и «Грюневальду» — Данилов позавидовал, он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка.

— Я много шью,— сказала Наташа.— Есть хорошие модельерши, даже художницы из домов моделей, с именами, им ведь тоже нужен приработок, они своим заказчикам сочиняют платья или костюмы и кроят. Им нужна швея, чтобы сшить вещь, вот я и шью с удовольствием, у меня выходит... Смешно — называют мастером... Я сейчас чай поставлю... А может, кофе?

— Пожалуй, лучше чай,— сказал Данилов.

Отчуждение, черной пустотой разделившее их в Старосадском переулке, теперь исчезло, Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком, прошлого не было, не было Коренева, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа, и была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела, каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более.

## 12

Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и хлопобудах. Про Клавдию Наташе он все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе в оправдание произнес слова о том, что, видно, в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же, закрыв глаза, кинулся в Клавдин уют. Данилову стало стыдно. «Нет, я ни о чем не жалею,— быстро добавил он,— Клавдию ни в чем не виню, мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях...» Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Как все дурно получилось! Но Наташа будто и не услышала его слов, и Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен! За счастье нынешнее и за спокойствие — в особенности! И за музыку, какая звучала в нем сейчас! Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку.

— Данилов, это ты? У меня нет времени! — энергично сказала Клавдия, но и как бы снисходя к просьбе Данилова. — Через час на квартире Ростовцева. И прошу тебя, прими жалкий вид. Или злое щий. Вроде ты приходимец...

«Фу ты, — с досадой подумал Данилов, — скоро, что ли, я развяжусь с ними?» И тут он вспомнил о Кармадоне.

Вот уже часов четырнадцать он не имел Кармадона в виду!

Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку, альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. «Притрусил сюда спозаранку, — подумал Данилов, — или сидят со вчерашнего?» Индикатором он проверил пенсионеров на демонизм, старики оказались непорочные. Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова, ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову — мол, нас с тобой не проведешь, — а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было.

Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнабито Данилов отыскал на загородной вилле на берегу Мансанареса. Бурнабито сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнабито о течении времени и о необходимости платить выкуп.

Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел Арену и публику на ней. Народ шумел. И тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на оружейном лафете.

Корридам был не сезон. Но мало того что нынешняя коррида проводилась в зимнюю пору — Бурнабито еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушение вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разнаряженные эскамильо, знаменитые и герои, уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были введены и все боевые быки. Матадоры — среди них и красавица Ангелита, уравнивавшая женщину-тореро в правах, — при виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не расшвирипели. Что касается

быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал, публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение.

Мигуэля увезли, и началась коррида. Сперва вытолкали быков послабее и подешевле, а заслуженных и уж конечно Мигуэля оставили напоследок. Что тут было! Танцы плащей и мулетов, мельканье рогов, пыль из-под колыг, одно слово — тавромахия! Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных. Однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Публика все редела, все рвала дымовые шапки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля! — требовали дамы, в том числе и американские старухи. — Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые матадоры Гонзалес, Родригес и Резниковес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но вышла заминка. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист. И тут — в нарушение всех правил и приличий — бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, пытались с лафета Мигуэля согнать, но вышло, что они его сгрузили.

Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешиваться, был теперь в азарте. «Ну сейчас вам Кармадон покажет, — думал Данилов, — заступится за бедных животных». Началась атака пикадоров, однако она не произвела на Мигуэля никакого впечатления. Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и зывали к его мужскому достоинству, между прочим и к совести, и показывали на публику: она-то, мол, в чем виновата, цветы швыряла и транзисторы, деньги платила — задаром, что ли? — и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись — и ничего! В рядах заманивавших и стращавших возникла растерянность. Тут как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковес. Впервые вышли вместе! А за ними и красавица Ангелита! Однако и великих ждал конфуз. И к движениям их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли Арены со своей ратью, все без толку. На трибунах брали под сомнение и быка. «Да он ненастоящий, что ли?» — кричали. «Эй ты, бык! — кричали. — Не крути динаму!» Естественно, по-ихнему, по-испански. И тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа корридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принципского быка Мигуэля.

Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло, он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли повел ноздрей — и все мастера, какие были на нем и возле него, все они отлетели от быка далеко, некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся, публика так и ахнула, все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво, но и с достоинством повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег.

Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Килгус.

Все думали, что он уехал в Америку. А он не уехал.

Он возник у самого барьера, расталкивая полицейских и размахивая кулаками. Ясно было, что он рвется к быку. Публика о быке забыла. Она глядела лишь на Фила Килгуса. Она верила в него как в спасителя ее собственной чести. Однако взволнованный Бурнабито бросился со своих почетных мест вниз с криком: «Задержите его! Не пускайте!» Сразу многие подумали, что Бурнабито беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, а, видимо, не улаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг тому будет удача, он

и разорит несчастного Бурнабито. Полицейские и еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса.

Полицейские и молодцы были крепки, но и Фил выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал страшные слова, грозил, что жуть что сейчас сделает с принципским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыто и хвост. Вырываться-то он вырывался, но, вырвавшись, никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схваченный же он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. «Пустите!» — кричал Фил. «Не пускайте!» — кричал Бурнабито. «Пустите!» — «Не пускайте!» — «Пустите!» — «Не пускайте!» «Пустите!» — взревел Фил. — Я его бесплатно!» Взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на Бурнабито, тот не сразу нашелся, но все же, обессиленный, дал полицейским знак — добровольца пропустить. Освобожденный Фил тут же затих — то ли удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако назад ему путей не было. Фил закинул в отчаянии голову и танцующей своей походкой двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и как дал кулаком быку в морду промеж рогов! Мигуэлю бы копытами вверх, а он и не шелохнулся. Фил ударил левой. И тут же руки его повисли, как плети, видимо он их отбил. Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам.

Арена редела в иступлении. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а само собой словно из чрева Арены выражением ее яростного чувства выкатился на поле тяжелый танк со спаренным пулеметом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшиеся, вызвали в принципском быке свежие ощущения, бык вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатыл машину, словно степное растение. Пулемет отлетел тут же, скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал, все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме, ноги его несут туда, где ему было хорошо.

Зато город был взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесенный принципским быком, несколько успокоился. Ущерб был скорее моральный. Многие приобрели теперь печальный комплекс принципского быка. Не исключалось, что сегодняшняя позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным — разбитые стекла, опрокинутые автомобили, разоренные гнезда любви. Были ушибы, переломы, инфаркты, но они случились бы и без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление! В общем, если бы Данилов вчера во время куплетов тореадора и перешел в демоническое состояние, особых усилий для охраны населения Мадрида от него не потребовалось бы. Ну и ладно.

Однако после корриды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принципский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнабито получил телеграмму из Нуакшота, что в Мавритании. Террористы, или кто там они, делились с Бурнабито ультиматумом. Или в одиннадцатый день Бурнабито кладет пять миллионов на бочку и возвращает семье ле-



вого крайнего Чумпинаса, купленного им в Санта-Фе. Или в пять минут двенадцатого принципский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолета. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам, просили Бурнабито пожалеть быка, просили пожалеть и Нуакшот, у террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают. «Через час и туда загляну,— решил Данилов.— А за час вряд ли что они ему сделают...»

Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям.

Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на место со словами: «Э нет, ты меня не одурачишь!» Противник его надудался и заявил: «Дотронулся до фигуры—ходи!» Они заспорили, пытались Данилова вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз, и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.

### 13

Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасьинского.

— Пошли,— сказала она энергично.— Прошу тебя, прими виноватый вид. И глупый. Мне во всем поддакивай... Экий ты сегодня! Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал. А? Я ж вижу! Другая женщина на моем месте тебе знаешь что бы сделала!.. Хорошо, я молчу... Ты читал про синего быка?

— Чего? — удивился Данилов.

— Я говорю, ты про синего быка сегодня в «Труде» читал? Я тебе потом расскажу...

Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират Ростовцев, окончивший два института, ручку Клавдии поцеловал, убрал на мгновение изо рта федоровскую трубку с махорочным табаком. Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий, клювом был крючковатее и злее прежнего, да и сам Ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало, день сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз нутриевую шапку Данилов к корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу хлопобудов. У передвижников вроде бы все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что хлопобуды — и Облаков в их числе — Клавдию Петровну не то чтобы боятся, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же восстановили очередь.

Расстались хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева, вблизи дверей, на плече сидел вместе с попугаем теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и притянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда ж ему было деваться?

— Все,— сказал он на улице,— я с ними закончил.

— Ну нет,— возразила Клавдия,— не думаю. Они к тебе хорошо отнеслись.

— А если б плохо отнеслись, мне-то что?

— Не храбрись! Они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке... Если что не по ним, они тебя в порошок...

— Ты меня напугала. Я и вовсе буду от них подальше.

— Нет, Данилов,— сказала Клавдия,— ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее...

Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча.

— Когда же ты мне идею-то откроешь?— спросил он.

— Тише! Молчи! В ближайшие дни и открою!— Тут Клавдия Петровна вспомнила:— Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы?

— Что-то читал, но не помню. Зачем они тебе?

— Видишь ли,— сказала Клавдия Петровна печально,— по побочным прогнозам выходит, что через десять лет мне не так Войнов будет нужен, как голограф...

— Какой голограф?

— Какой-нибудь... Стоящий... С умом... И мужчина.

— Да брось ты! Тебе-то — и какие-то голографы!

— Это они теперь голографы,— возразила Клавдия Петровна,— а через десять лет, говорят, они будут более других одетые.

— Ну смотри... А что же, Войнов побоку?

— Нет, отчего же.— В голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о Войнове.— У нас с Войновым еще есть время... Но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А впрочем, это частности!

— Частности,— кивнул Данилов.— Ты взяла пенюар?

Наконец возле «России» они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку:

— Слушай, а что ты говорила насчет синего быка?

— Ты прочти!— обернулась Клавдия.— Я бы много отдала, чтобы увидеть его... Я потом расскажу...

«Ну все!— подумал Данилов.— Еще два дня — и все! Конец Клавдии и ее хлопобудам!»

Однако в Москве прошел час. В Мадриде, стало быть, тоже.

Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движения часовых стрелок.

Как Данилов и ожидал, Бурнабито сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинас освобожден от условий контракта и мог вернуться в семью в Санта-Фе. Журналистов Бурнабито принял у себя на вилле. Он выглядел утомленным, но и довольным. Свое решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быка Мигуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпинаса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение Бурнабито не то чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В этом исходе было благоразумие, но не было страстей, и теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло.

Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодям террористам и санта-феской негодяйке— жене левого крайнего Чумпинаса. Назревал скандал, Бурнабито, улыбнувшись, заявил, что Чумпинаса заменит куда более яркая звезда, он, Бурнабито, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер. Может быть, Ривелино. А может быть — тут доктор Бурнабито сделал театральную паузу, — а может быть, и сам Виктор Папаев из московского «Спартак». Папаеву уже сделано предложение. Имя Папаева произвело фурор. Журналисты остолбенели. «Как! Сам Папаев! Не может быть! Экстра-экстра-экстра-класс! Грандиозно! Три корнера — пенальти!»

Стало ясно, что троньера лукавый Бурнабито и на этот раз себя не укусит за локоть.

Тем временем принципский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид. Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь, после ночных переплетов и нуакшотского сидения, его встречали как родного. Бык опять лежал, лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное.

Данилов взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул.

Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. «Кабы и мне поспать сейчас», — возмечтал Данилов.

Но где уж было ему поспать!

#### 14

Он хотел уверить себя в том, что Кармадон заразил его зевотой, но это было бы ложью. Данилов и сам недосыпал.

Сегодня ладно, сегодня он не выспался известно почему, сегодня была радость. А недосыпал он изо дня в день, и все из-за суеты, из-за долгов, из-за того, что для себя мог заниматься музыкой чаще всего ночью. По ночам он играл, но вползвуча, щадя людей, не то что сосед Клементьев, деревянный духовик из детской оперы, для души поместивший прямо у Данилова за стеной электроорган. Как слабосильный школьник, Данилов ждал выходных дней, чтобы отоспаться.

«Как бы в яме сегодня не заснуть!» — обеспокоился Данилов. Однажды он заснул, был случай, пульт свалил, однако смычок его и тогда не отпустил струн. Теперь Данилов усердно пил кофе в буфете и возбуждал себя хоккеевыми разговорами. В один из перерывов он позвонил Наташе просто так, чтобы услышать ее голос, но Данилову сказали, что Наташа ушла на склад за химической посудой.

Вечером играли «Настасью Филиповну». «Настасья» кончалась в десятом часу, а «Спящая» с ее пятью актами в одиннадцать. После «Спящей» Данилов мог поднимать гири, а после «Настасьи» лишь опускал голову под струю холодной воды. И «Настасью»-то он любил! Это была музыка нервная, высокая, как диалог Достоевского, с пронзительным смешением голосов, с точными — по звуку и по мелодии — ответами на движения душ страдающих на сцене, или не ответами, а, наоборот, предвосхищениями этих движений душ. Музыка «Настасьи» была сродни Данилову, он знал, что и его дорога музыканта рядом или хотя бы ведет в ту же сторону, но здесь, в яме, он был не творец, а исполнитель, работник, и, помимо всего прочего, должен был хорошо считать. Данилов считать в музыке любил и умел, но в «Настасье» именно из-за мгновенного отражения музыкой мятущихся и быстрых чувств счет был сложный, как ни в какой другой вещи. Счет не давал Данилову в «Настасье» передышек, вот и вставал Данилов в десятом часу с места измочаленный. Нынче и кофе не помогал, глаза у Данилова слипались, были эпизоды, когда он играл в полудремотном состоянии, вздрагивал, будто очнувшись, а счет в нем словно вело некое устройство, не умевшее ошибаться. «Дотянуть бы до конца, да и на морозец», — мечтал Данилов. ❀

Рядом с ним сидел усатый Чесноков, молодой альтист, введенный в «Настасью» после пяти репетиций. Чесноков все делал как надо, и перелистывал ноты, и, уж конечно, производил смычком точно такие же движения, как и Данилов, однако звука его инструмента Данилов

не слышал. Видно, Чесноков робел, сбивался со счета и боялся, как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера. Оттого его смычок и летал, не достигая струн. Чесноков понимал, что Данилов не мог не заметить его хитростей, смущался, отводил глаза. Данилов уловил мгновение и — естественно, не прерывая в уме счета — шепнул ему:

— Не расстраивайтесь. Это действительно сложная вещь. Привыкнете к ней — и у вас пойдет... Поверьте мне...

В антракте Данилов поспешил в буфет в надежде, что тонизирующий напиток «Байкал» одолеет его зевоту. За столик к Данилову присели флейтист Садовников и скрипач Николай Борисович Земский. Взяли пиво.

— Красивая девушка была с вами вчера, Володя, — сказал Садовников.

— Красивая, — согласился Данилов.

— Данилов, а ведь ты демон! — гулко рассмеялся скрипач Земский.

— Я вас не понял, — сказал Данилов.

— Да я насчет баб! — Земский при этом наклонился к уху Данилова, сам же загоготал на весь буфет, а в буфете были иностранцы и школьницы. — Ты ведь с бабами-то демон!

Николай Борисович Земский был обилён телом, басом в Максима Дормидонтовича Михайлова, стаканы, уже пустые, на спор раскалывал звуком, лыс, зато с кустистыми бровями, имел прозвища Людоед и Карабас, в коллективе слыл как охальник и бузотер. И дирижеры боялись его озорства. Николаю бы Борисовичу с его комплекцией раздетому выступать в цирке вместо Новака, а уж в оркестре дышать могучей грудью хотя бы в гигантскую медную тубу, делать «пуф-пуф» в страшных местах, а он был скрипач, причем искусный, нежнейший. Правда, последние полгода он не играл. То есть он играл, но как сегодняшний сосед Данилова Чесноков — лишь изображая движения смычка. Делал он это куда более артистично, нежели Чесноков. И струн он не касался не из боязни совершить ошибку, а из творческого принципа. Если бы его попросили для проверки сыграть любую партию, он бы ее сыграл не хуже первой скрипки. Но с такой просьбой к нему никто не обращался, при наличии тридцати шести скрипок молчания одной из них в оркестре, пусть и нежнейшей, можно было не заметить. Ближайшие же к Земскому скрипачи сидели робкие, знавшие, что он потом их все равно перекричит. Впрочем, может быть, они уважали его принципы, а принципы эти не позволяли Земскому создавать звук. Он принял в творчестве новую веру, по ней сочиненные им звуки должны были возникать лишь внутри предполагаемых слушателей. Он бы и вовсе бросил старую музыку, однако ему осталось два года до пенсии, а пенсию Николай Борисович получать намеревался. В быту он был бесцеремонен, но к Данилову относился уважительно. Во-первых, потому, что видел в нем музыканта, пусть и старой школы. А во-вторых, он был членом кооператива, в котором Данилов входил в правление. У Данилова Николай Борисович и узнавал всякие домовые новости. Обижался он на Данилова, лишь когда тот, забывшись, называл его Земским. «Я не Земский. Земские были соборы и врачи, — ворчал он. — Я — Земской!»

— Мишу-то Коренева хоронил? — спросил Земский.

— Хоронил, — кивнул Данилов.

— Я вот не смог пойти... Да... А он ведь мои мысли о музыке почти принял, — сказал Земский. — Да испугался их в суете-то.

— Какие ж у вас такие мысли, Николай Борисович? — спросил флейтист Садовников.

— Это не за пивом, — сказал Земский. — У нас с ним, с Мипей-то, были долгие беседы. Но робость его взяла. Не из-за нее ли он и прыгнул в окно?

— Думаю, что не из-за нее, — сказал Данилов.

— Кто знает... Я тебе, Володя, как-нибудь расскажу о наших разговорах... Это, брат... Да-а-а...

Тут прозвенел первый звонок.

«Настасью Филипповну» Данилов доиграл, веки его так и не слиплись, однако он очень устал от спектакля. «Стало быть, Миша Корнев, — думал Данилов, — ходил к Земскому... Надо будет расспросить Земского... Теории его — ладно, хотя и они любопытны... Главное, выяснить про Мишу...»

Дома Данилов не раздеваясь рухнул на диван. Однако нашел в себе силы подняться и сварить кофе. Подошел к телефону, постоял возле него в раздумье, отошел. Утром они с Наташей расстались, не сказав ни слова о будущих своих отношениях, никак не назвав то, что с ними произошло и происходило. И потому, что любое слово было бы здесь неточным, а может и ложным, и потому, что вовсе не хотели навязывать себя друг другу, обручами условных понятий укреплять то, чего, возможно, еще и не было. Она даже не сказала: «Я тебе позвоню. Или ты мне позвони», она просто закрыла дверь, и все. Данилов был за это благодарен Наташе, и как бы его теперь ни подмывало желание позвонить ей, он не поднял трубку. Не надо было торопить жизнь, а следовало ей самой доверить и свои чувства и свою свободу.

*(Продолжение следует)*



---

---

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

## КАРТИНА\*

Роман

### Глава 17

**Д**авно скрылись последние редкие огни и началась избавленная от всякого света бескрайняя тьма. Автобус, пофыркивая, покачиваясь, всё дальше забирался в черно-беззвездное нутро ночи. Сквозь оконные щели, свистя, рвался вольный воздух с просторов голых полей, приносил тепло ближних роц, пыль проселков. В самом же автобусе устойчиво пахло яблоками от зашитых корзин, что стояли в проходе.

Тучкова сидела у окна. Вскоре, как выехали, она притулилась в кресле, задремала.

В автобусе все дремали, только Лосеву не спалось. Стоило закрыть глаза — и все случившееся улетучивалось, он переставал понимать, где явь, где сон, едет он или это ему снится. Он открывал глаза и убеждался, что Таня рядом и шаткий свет фар вытягивает из мрака шоссеиную дорогу...

Стекло присыпало мелким дождем. Капли взблескивали при дальних зарницах. Гроза придвигалась. Автобус шел ей навстречу. Грома не было слышно, видно было, как содрогалась ночь и сабельные взмахи полосовали небо. Оно появлялось на мгновение, подброшенное вспышкой, и тяжело рушилось на землю... От лиловых озарений с той стороны на стекле появлялось отражение Таниного лица, и рядом Лосев видел себя. Лица возникали из темноты и снова терялись в ее глуши. Близкая молния разрубила небо, ударила рядом. Таня вздрогнула, открыла глаза. При виде Лосева в них кольхнулось недоумение. Лосев смутился.

— Вы не боитесь грозы?.. — спросил он первое попавшееся.

— Боюсь.

Она долго смотрела в окно и вдруг стала читать стихи:

Как по условленному знаку,  
Вдруг неба вспыхнет полоса  
И быстро выступят из мраку  
Поля и дальние леса.  
И вот опять все потемнело,  
Все стихло в чуткой темноте—  
Как бы таинственное дело  
Решалось там—на высоте.

Последние строки она прочла так, что и гроза, и то, что они вдвоем в автобусе едут невесть куда, все, что происходило между ними,

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

стало не сцеплением случайностей и желаний, а таинственным делом, которое решалось не ими...

Впервые Лосев мог разглядеть ее лицо вблизи во всех подробностях. Гладкую коричневую волну волос на лбу, щеки ее, блеск губ. Он обнаружил, что она красива. Черты лица ее, невидные, внезапно соединились в одно, освещенное изнутри сердечностью. Несмотря на ранний загар, на большие очки, несмотря на модную стрижку, было в ней что-то несовременное, высокая шея придавала ей величавость, как на старинных портретах, а может быть, впечатление это шло от прямодушного взгляда ее ярких глаз, от того, что жизнь ее души вся отражалась на лице, она не могла ни хитрить, ни обманывать, она вся была беззащитно открыта. Не могла — или не желала.

— Хорошо, что вы не спрашиваете, чьи это стихи. Я так не люблю. Им не важно, что за стихи, им прежде всего — чьи. И в музее они не картину смотрят, а дощечку под ней — как называется.

Забарабанило в стекла, захлопотало, Лосев взял Таню за руку. Было страшно и весело. «А, будь что будет», — в который раз подумал Лосев, отгоняя от себя тоску и страх предстоящего разговора и наслаждаясь этой минутой, этой длинной ночной поездкой.

Таня ни о чем не спрашивала. Еще там, на лестнице, Лосев обещал ей все рассказать. Про свой разговор с Уваровым. Она смотрела на него, чувствуя, что определилось что-то важное насчет Жмуркиной заводи. Она ни слова не говорила, ни одного вопроса не задала, возможно, она знать не знала, что он только что был у Уварова, она просто смотрела на него во все глаза, ища в нем радость или же, наоборот, уныние. И вот тогда-то, выставив самонадеянную улыбку, он пригласил ее поехать куда-нибудь сегодня, сейчас же, на субботу и воскресенье. Куда? Да все равно куда, лишь бы подальше, за пределы области. Его напористая уверенность исключала сомнения, вопросы, она должна была согласиться, и тотчас все обстоятельства стали складываться как нельзя удачнее, одно к одному, без малейших зазоров, не давая Тане опомниться. Такси выбегало им навстречу, и Танины дела мгновенно и счастливо улаживались, и они успели на дальний рейс, и в кассе случайно оказалось последних два билета. Лосев взял их до конца, до городка с незнакомым эстонским названием. Автобус приходил туда в полдень. С той минуты как Лосев вышел от Уварова, все должно было получаться, такая наступила полоса. Остановка и опять навес, крытый прозрачным пластиком, высокий фонарь, тени, голоса. Входили и выходили заспанные пассажиры. Были остановки большие, и тогда они с Таней спрыгивали поразмяться, шли вперед по шоссе в крошечность, где спал невидимый городок, лаяли собаки, что-то шуршало и шевелилось. Потянулись неизвестные названия соседней области, и сразу Лосеву стало свободнее, все, что было связано с Уваровым, отдалилось, и он стал погружаться в мерное это движение по ночной дороге, мягкое покачиванье, дрему на высоком подголовнике. Однажды они остановились у моста. Внизу бледно и широко светилась река. Несло дымком костра. Гроза осталась позади. Было тихо, попискивала какая-то пичуга. Что это за мост и что за река, они не знали. Тут шла своя жизнь, которую они никогда не узнают и которая понятия не имеет о них. Так же как жизнь этой сонной пичуги, как вообще жизнь птиц, что живут рядом и никакого дела им нет до людей... Всякими непривычными мыслями была разукрашена теплая непроглядность этой ночи. Они ехали уже месяцы. Время от времени Лосев брал Таню за руку, ему было этого достаточно. С ним все время было воспоминание о том, как тогда, в Лыкове, она поцеловала его в ладонь. Поступок этот продолжал удивлять и тревожить.

— Что с вами? — вдруг спросила Тучкова. — Вас что-то мучает?

В автобусе сладко спали, надвинув кепки, платки, привалясь друг к дружке. Было темно, но Лосев знал, что Таня смотрит на него выжидающим взглядом, как там, на лестнице.

Он столкнулся с ней внезапно, сбегая вниз, каким-то образом она выросла у него на пути. Сперва, в самое первое мгновение, он принял ее появление как знак удачи. В голубеньком коротком платьице она вытянулась на мраморной лестнице, словно приветствуя его. Он просиял. Но Тучкова не ответила на его улыбку, она даже чуть отстранилась, как будто его улыбка мешала разглядеть то, что нужно. Он полон был своим назначением. Никто еще не подозревал, все эти люди, что спешили мимо них с папками, портфелями, сумками, дежурные вахтеры, женщина в газетном киоске, шоферы в прокуренной застекленной диспетчерской — никто из них не догадывался. Вскоре все они будут знать его, он будет в числе тех нескольких людей, которых знают все в этом городе, во всей области. И Тучкова тоже не предполагала, она была поглощена своей Жмуркиной заводью. Мысль о заводе была Лосеву неприятна. На минуту он замялся. По его характеру ему проще было вывалить все разом, но из-за этого назначения пришлось бы изложить последовательно, чтобы Тучкова поняла, почему так получилось, поверила, что он не отступился от Жмуркиной заводи и не променял ее, что тут совсем другое, куда сложнее. Это надо было растолковать не торопясь... Когда они спешили через площадь, Лосев краем глаза увидел в сквере Аркадия Матвеевича, который сидел на скамейке с газетой. Аркадий Матвеевич в этот самый миг уткнулся в газету, он мог так сделать по своей деликатности. И Лосев тоже заслонился Тучковой как щитом, они бежали к такси, и лишь сидя в машине, Лосев подумал, что Аркадий Матвеевич, возможно, все эти часы поджидал его, волнуясь за исход разговора; подумал и тут же забыл, захваченный горячкой нежданной поездки. Надо было заскочить в гостиницу за портфелем, потом Тане взять у подруги свой чемоданчик.

Сейчас, в ночной тишине, Лосев не понимал, как он мог пробежать мимо Аркадия Матвеевича, стало стыдно, и он решил утром дать старику телеграмму: все хорошо, спасибо — что-нибудь в этом роде.

— Нет, нет, все прекрасно, — ответил он Тане, но с этой минуты он знал, что она наблюдает за ним.

И сразу ночь пошла на убыль.

Темнота таяла. В прежней неразличимости проступали тени, сгустки недавней черноты. Откуда-то сочился свет, разбавляя ночь до синевы, становилось все синее, земля и небо разделились, появилась мгlistость, и стали обозначаться мелькающие вдоль дороги кусты и строения.

И вдруг свет — лучистый, дрожащий — прорвался, забил, растекаясь все шире, особенно много его поднималось снизу, с края неба, он прибывал, как наводнение, затопляя поля и рассветные городки, что мелькали за окном. Тихие, спящие городки, бесстрастно высвеченные со всеми своими почернелыми бревнами, фанерными киосками, деревянными домами, обитыми вагонкой, скучными деревянными заборами, типовым розовым универмагом, в точности таким же, как в следующем городке. Новые дома из серых плит, стоящие один за другим, и между ними чахлые посадки — березки, привязанные к палкам. И частный сектор — домики, садики, сарайчики, водоразборные колонки, провинциальное захолустье. Где — тем не менее — несмотря на — вместе с тем — бурлит Новое — живут общей жизнью — не хуже, чем в столицах, — зато Свежий Воздух, близость к Земле и Природе — люди не так отчуждены... Потому что в столицах они даже не знают соседей по дому. На самом деле они, в столицах, некультурны. Мы, провинциалы, приезжая туда, больше бываем в музеях, в театрах



и на концертах, Провинция сейчас не та, а та, которая та, она, может, и не в провинции, во всяком случае не у нас...

Он ревниво отделял свой Лыков от этой безликой, кичливой глухомани.

Однажды поодаль от шоссе проплыл прекрасный, как мираж, поселок каменных коттеджей, островерхих, крытых красной черепицей, отделанных деревом, пластиком. Улочки, выложенные желтой плиткой, — то, о чем мечтал Лосев. Только какое-нибудь мощное предприятие могло позволить себе такое. И такую башню, зубчатую, высокую, непонятого назначения. Лосев поставил бы ее в начале набережной, как маяк. Он отбирал себе самые красивые коттеджи, с цветниками, поливалками, без заборов и дворов. Он строил из разноцветных кубиков город, он забирал в Лыков лучшее, что видел по дороге, — висячие мостики, скамейки из дубовых обожженных плах, лугу-бой шатер кинотеатра. Это была отрадная игра, за которой не заметил как заснул, голова замоталась и наконец примостилась на плече Тучковой, которая тоже, сладко посапывая, спала, чуть улыбаясь во сне.

Если б они знали, что в то утро они видели один сон. В этом сне, совсем как в жизни, каждый видел другого, они летали. Они умели летать без всяких крыльев, просто когда хотели, поднимались над землей и плыли, могли висеть, могли мчаться... Они садились на крыши, на вершины деревьев, на башни, они могли заглядывать в чужие окна, оказаться на любом этаже, могли ходить по карнизам. Единственное, что мешало им выбраться к чистому небу, это провода. Опаснее всего были электрические линии, бесчисленные трамвайные, троллейбусные оголенные провода и воздушки высокого напряжения. Какие-то люди бежали по земле, грозили. Во что бы то ни стало надо было выбраться и пролететь к горам, укрытым густой зеленью. Горы казались мягкими, мохнатыми. Там было сухо и тепло. Каждый солнечный просвет использовался, каждый лучик, все, что обречено, вся золотая мелочь, что упала на землю, — все подбирала трава...

Автобус пошел дальше, а они сошли вместе с бабами, что везли на базар яблоки. Город был большой, незнакомый. Утренние троллейбусы шли переполненные. На бульваре они осмотрели фонтан, вечный огонь с красивым памятником героям гражданской войны и отправились в гостиницу. Лосев предполагал снять два люкса двухкомнатных. Такой номер достался однажды ему с товарищами в Москве: гостиная с роялем, буфет с сервизом, телевизор, два телефона. Ему хотелось поразить Таню.

У входа в гостиницу на дверях висела выгравированная табличка: «К сожалению, свободных мест нет». Администраторша, тяжелая расплывшаяся женщина, даже головы не подняла. Текст объявления освобождал ее от вежливости. Последние годы Лосев привык к тому, что номер для него всегда забронирован, он приезжал по делу, на совещания, на конференцию, фамилия его значилась в каких-то списках, заявках. Раньше бывало, что они с Антониной путешествовали, ездили в Калинин, Осташков, Псков, еще куда-то — без всяких заявок. Но все равно им давали номер. Было у него такое свойство, что-то в его словах и манере говорить и, наверное, в лице появлялось, — и самые неприступные администраторы молча вздыхали и протягивали анкетку. Даже в Москве он водил таким образом Антонину во МХАТ и в «Современник». Он и сам не знал, как это у него получалось. Сейчас свойство это пропало. Он стоял у окошечка, все еще надеясь, но не появлялось ни нужного голоса, ни слов, и он почувствовал свое ничтожество. Администратор так и не взглянула на него. И в следующей гостинице повторилось то же самое. Наконец он решил показать удостоверение. Впечатления оно не произвело. Все же ему пообещали к вечеру

койку в общежитии. Вид у него был униженный, Тучкова зевала и посмеивалась. На мгновение поездка потеряла смысл, затея стала нелепой, нестерпимо хотелось помыться, прилечь, вытянуться хотя бы за четверть часа.

Он нашел в себе силы улыбнуться Тане — в конце концов, так даже интереснее. Мальчишкой он был бы рад такому приключению. Они отправились в буфет. Там была лишь жареная рыба с непроизносимым названием. Пока Лосев расправлялся с очередной океанской диковиной, какие появлялись время от времени в самых разных заведениях отечества, Таня куда-то исчезла. Кофе ее остыл. Она могла и не вернуться, их ничего не связывало, кроме того невероятного вечера, когда она поцеловала его в ладонь. Глядя на нее, трудно представить, что она была способна на такое.

Наконец она появилась, сообщила, что к вечеру тетя Зина номер обещала, пока же вещи можно оставить в гардеробе у дяди Леши. Тетя Зина была не родственница, не администратор, обыкновенная дежурная по этажу. Кроме того официального механизма, которым обычно пользовался Лосев, существовал, оказывается, другой, тоже слаженный механизм. Лосев вдруг вспылил, решил звонить в горисполком и обличить безобразия. Тане удалось его успокоить, она рассказала, что то же самое происходит в Лыкове, надо просто строить новые гостиницы и сказать спасибо тете Зине, а не подводить ее.

Это были два огромных дня. Время это составило отдельную жизнь, почти не связанную ни с прошлой, ни с будущей жизнью каждого из них. Обычно два дня проскакивают почти неприметно. Здесь же все было крупно, важно. Холмистые улочки, сбегające к озеру. Большой курорт, где вечером играла музыка. Рыбацкие сейнеры. Рынок, собор, ресторан; кладбище... Лосева тут никто не знал, никому не было дела до этой пары — мужчина в шерстяной рубашке и молодая женщина в голубеньком платьице, с курткой через плечо. Они затерялись среди туристов, курортников, спортсменов — участников водных соревнований. Они могли ходить в обнимку, могли растянуться на шезлонгах над озером, лежать на дощатых причалах, грызть орехи. Разумеется, кафе, столовые, закусочные были переполнены, всюду стояли очереди. Единственно чего было вдоволь — мороженого. Внезапно набегал дождь — короткий и шумный. Желтые потоки неслись по улицам к озеру. Можно было сесть на корточке, строить запруды, пускать по каменным стокам щепки, спичечные коробки. Лосев вспомнил себя совсем маленьким, взрослые были далеко наверху, а самым интересным было то, что происходило на земле — ползущие жуки, черви, лужи, осколки стекла... Удивление холодной тенью коснулось его — каким образом так быстро проделан был путь оттуда, снизу, в эту взрость? И почему он не остался там, у земли, возиться с жуками, строить плотины?

Два волшебных дня, где не было ничего предусмотренного. Если что и портило их — неизбежность предстоящего разговора. Между ним и Тучковой притаилось ожидание. Она ждала, когда он расскажет ей, ради этого она поехала. Она ни о чем не спрашивала, но иногда он замечал ее взгляд, испытующий, заполненный ожиданием, где не оставалось места прежним восторгам и робости.

Собор предстал из-за поворота внезапно, скрытый до этого новыми многоэтажными корпусами. Белый, вытянутый вверх, он от соседства новых домов нисколько не терял своей громадности. По мере приближения он становился внушительней. Сквер, некогда окружавший его, был залит асфальтом и присоединен к площади. Колокольня сквозила пустыми пролетами. Купола были изуродованы грязно-зеле-

ной краской. Вплотную к паперти стояли грузовики и автобусы. Стоило подойти к глухим белым его стенам — и все другое отстранялось, высота нарастала, уходила в синеву, нависала оттуда каменной тяжестью. Человек становился маленьким, слабым.

Тесные плиты паперти кое-где покосились, приоткрыв могучую кладку. Неохватные колонны давили своей массивностью, вблизи все выявляло вес, нерасчетливую прочность, хотя, может, тут был высший расчет на впечатление незыблемости, вечности. Дверь собора была открыта.

— Зайдем, — предложила Таня.

Лосев сбился с ноги, зачем-то посмотрел на часы.

Не ожидая его, она поднялась по ступеням мимо инвалида с выставленной культей, мимо двух цыганок.

Некоторое время он стоял на паперти. Молодая цыганка подмигнула ему: «Одно сердце в камень, другое в пламень». Сдернув кепку, вошел через низенькую дверь.

Дохнуло прохладой, внутри собор казался еще выше, объемнее. Внизу, в полутьме, под сводами, лучились желтые огни свечей, лампад, несильных электрических ламп. Зыбкое подвижное пламя отражалось золотом иконостаса, серебряными подсвечниками, окладами, игра огней наполняла воздух. А наверху, под голубым куполом, скрепчивались широкие лучи солнца.

Шла служба. Где-то у алтаря пел невидимый хор. Лосев огляделся, ища Таню. Народу было немного, больше старики, старухи да несколько любопытных.

Голоса женские звучали затерянно, и от малосильности их возникала жалость, даже трогательность.

Никогда раньше Лосев не бывал в действующих соборах таких больших, да еще во время службы. В Казанском соборе в Ленинграде он был и в кремлевских соборах, но то были музеи, а у них в лыковской церквушке все выглядело мелко и несерьезно.

То, что творилось у алтаря, появление, входы и уходы одетых в белое служек, дьякон, помахивающий кадиллом, шествие молодых священников в парчовых ризах было ему откуда-то известно, он вспомнил ощущение жесткой золотой нити шитья и вспомнил слово «стихарь» — так называлась какая-то часть их одежды. Еще вспомнил — клирос... Неизвестно откуда всплывали слова, которых он никогда не употреблял, казалось, не знал и не мог знать...

В боковом притворе у высокого подсвечника он высмотрел Таню, она перешептывалась с какой-то старушкой, помогла ей поставить тонкую рыжую свечку.

Он подошел, Таня шепнула ему, что сегодня служит сам митрополит, и показала на сутулого старичка в высокой шапке с вышитым крестом. Митрополит двигался по проходу, сопровождаемый служками. Таня взяла Лосева за руку и подвела ближе к проходу, устланному ковровой дорожкой.

Несмотря на митрополита, народу не прибывало. Митрополит с трудом влачил тяжелое облачение. Когда он проходил мимо, видно было маленькое умное личико над тускло-золотым шитьем его ризы. У служки, что нес свечу, руки были пухлые, женственные. Митрополит что-то брезгливо выговорил дьякону насчет воды. Лицо у дьякона было больное, безнадежное. От плохих свечек пахло тухлым, от старух шел тряпичный запах старости, кадилница в руках дьякона не могла разогнать эти запахи, чувствовалось, что митрополиту неинтересно служить старикам и старухам, которые плохо слышат и плохо слушают. Митрополит поглядывал на Таню, на Лосева, выделив их двоих, особенно же Таню.

— ...слава отцу, и сыну, и святому духу всегда, ныне и присно и вовеки веков!..

Лосев смотрел на молодых священников, не понимая, как могут люди истратить свою жизнь на заведомое надувательство, ежедневно участвовать в подобных представлениях.

Снова запел хор. Смиренные и грустные голоса поднимались к высокому куполу, уходили в синеву, разрисованную ангелами и облаками. Простая мелодия казалась когда-то слышанной и волновала, как может волновать неясное воспоминание о давнем, навсегда избытом. Чувство это соседствовало с плохими мыслями о священниках. Становилось жалко всех этих людей, и Поливанова, и тетю Варю, и Аркадия Матвеевича — всех уходящих.

Он покосился на Таню, плечи их соприкоснулись, Таня внизу взяла его за руку, они стояли вытянувшись, соединенные музыкой этого бедного хора, малопонятными словами. Царские врата, резные, с малиновым шелком, открылись, там опять произошло движение, мягкие старушечьи фигурки опустились на колени, посыпалась сухой молитвенный шепот, все закрестились, что-то приговаривая, и снова крестились. Было таинственно и хорошо стоять и чувствовать горячую Танину руку.

Голоса уходили все выше, не жалуясь, не скорбя, они поднимались над землею, над этой брэнностью, исполненные пусть тщетной, но надежды...

Все-таки во всем этом что-то было, в прикопченных, телесного золота ликах, в гулком небесном своде, в мыслях о короткой своей жизни и о том, что же будет после нее.

Обычная жизнь Лосева — горячка, бумаги, заботы не оставляли места для таких размышлений, люди кругом него не ведали настроения отрешенности. Разве что изредка нечто похожее настигало их на природе, вроде того рассветного красноперого утра на Жмуркиной заводи, но то было скорее любованье и наслаждение. «Господи, неужели они верят? — подумал он. — Нет, они надеются, а не верят, потому что ведь там ничего нет, это уже ясно, но если ничего нет, тогда что же взамен?» Мысли его были путаны и непривычны. Думал он о том, как быстро проходит его жизнь и хорошо бы жить помедленнее, для этого нужны такие минуты, чтобы покинуть свою обычность и оглянуться. Думал он и о своей смерти. Она представлялась ему в образе Поливанова, такое впечатление произвела их последняя встреча. Высокая, костистая, она перетряхивала палкой годы, заполненные делами, бумагами, хитростями, и оставалось так мало того, что имело смысл.

Брови Тани были сурово сдвинуты, глаза же смотрели растроганно. Было ли жалко ей старенького митрополита и старенького бесильного бога, который выглядел, наверное, так же устало от непосильных своих нош? А может, ее охватило совсем другое чувство? «Зачем откладывать, надо рассказать сейчас же, — подумал он, — да, это неприятно, но я откладываю не потому, что придется ее огорчить, а потому, что мне самому неприятно. Почему же мне неприятно?»

Таня вздохнула прерывисто.

— Как хорошо. Не верю, а хорошо. Тайна есть. И какая-то важная...

Служба кончилась. Таня не уходила, удерживала Лосева, смотрела, как пустел собор, кто-то темный ходил, гасил свечи. Оставались красные робкие огоньки лампад.

— Я ведь тоже молилась с ними. А чему — не знаю. А вы?

— Я? — Лосев хмыкнул. — Нет, я не верю, — решительно сказал он. — И им я не верю, что они верят.

— Почему же? У них как раз чистая и бескорыстная вера. Они нас жалеют. Считают несчастными. Это потому, что мы не можем поверить вот так, бескорыстно. Нам подавай чего-то взамен. Будете бегать — спасетесь от инфаркта. Будете отличником — поступите в институт. Ты — мне, я — тебе. За так ничего не бывает.

Рядом в темноте хихикнули.

— Ха, полагаете, у нас по-другому? — веселым певучим голосом спросил кто-то. — Эх, интеллигенты! Модно в церковь ходить! И верю и не верю, и оппозиция — и безопасно. Приятно здесь утешение найти. — И опять нежно захихикал.

В тени колонны обозначилась узкая головка на длинной шее, а затем и весь человек в летной куртке потертой кожи, коротконогий, носатый, похожий на гнома, но с яростно-черными красивыми глазами. Лосев взял Таню под руку.

— Нехорошо. Вы привечать должны в храм входящего, а вы отворачиваете. Какой же вы верующий?

Мужчина взмахнул локтями, как крыльями.

— Случайный вопрос поставили и угадали: какой я верующий? В этом суть! Поскольку верить можно и в сатану и в кукушку. Я, извините, обратился к вашей... — он чуть запнулся, — случайно услышал, как она про бескорыстие, в самую больку попала. Именно тут самая отъявленная корысть и угнездилась. Христос изгонял торговцев из храма, а они вернулись оттуда... — И мужчина кивнул в сторону алтаря, но вдруг съезжился и исчез за колонной.

Таня пожала плечами, и они пошли к выходу.

На паперти им ударило солнце в глаза. Кричали воробьи. По каменным плитам скакала девочка. Мужчина в летной куртке вышел за ними. Белое лицо его на свету показалось Лосеву знакомым.

— Вы небось решили, что я алчных попов разоблачать собираюсь? Ошибаетесь. Я сам на эти денежки существую.

Лосев узнал служку, который помогал митрополиту.

— На меня епитимью наложили, — он оглянулся, — пребываю как ослушник. За это самое.

Лосев весело щелкнул себя по горлу, подмигнул. Мужчина покачал головой:

— Вот и нет. Духовные лица, по-вашему, либо пьяницы, либо жулики. Удобно вам живется. — Он обиженно махнул рукой, повернулся, собираясь назад в собор.

— Пожалуйста, погодите, — сказала Таня. — За что вас наказали?

Он буркнул с издевкой то ли над собой, то ли над Таней:

— Как ересиарха.

— Как? — переспросил Лосев.

— От слова «еретик», «ересь», — торопливо пояснила Таня. — А в чем ваша ересь?

Мужчина подозрительно уперся в нее угольно блистающими глазами:

— Интересуетесь?.. Обвиняют, что учение свое выдвинул.

— Учение?

— Да какое там учение, — дернул локтями, точно крылышками, — не учение, а мучение. Не дали как следует углубиться. Мне вообще запрещено излагать.

Он долго отнекивался, то страдая их, то прикидываясь дурачком, пугливо оглядываясь, уверял, что никакого в наши дни нового учения быть не может, все всем известно, человек не развивается, человек пребывает... Что, любопытно диковинкой угоститься, духовную потеху устроить?.. На его выпады Таня не обижалась и Лосеву не позволяла, терпела весело и упрямо, и вскоре Илья Самсонович — так его зва-

ли — смирился, пригласил к себе, и вот они уже сидят в его узкой, как коридор, белой пустой комнатке.

На столе лежали огурцы, зеленый лук, хлеб, появилось пиво. Но пиво почти не пили, казалось оно неуместным. У себя в комнате Илья Самсонович стал приветливей. Он скинул куртку, уродливая его фигура имела что-то верблюжье. Уродство, однако, почти исчезало, когда он говорил, — глаза его горели черным огнем, белозубый рот соответствовал чистому голосу, который шел оттуда. Он весело жонглировал словами, не заботясь, подхватят их или же они безответно упадут, разлетятся на блестящие осколки.

— У меня вся биография движется от сомнений. Другие боятся сомнений. Засомневаются и от религии отпадут. Я обратным ходом, я в атеизме усомнился. Категоричны атеисты. Доводы у них куцые, неглубокие. Бога нет, потому что в Библии противоречия. Потому что в небе не обнаружено. И всякое такое. А я всерьез стал искать — откуда следует, что нет его? А как начнешь сомневаться — так пойдет-покатится. Стоит раз усомниться — и станешь замечать повсюду несообразности. — Он ходил по комнате, вскидывая локтями, но тут вдруг задержался перед Лосевым. — Вы учтите. Не допускайте его, не то пошатнется и сгинет благополучие. Дух отрицания, дух сомнения! Бегите его! А стронешься — и невесть куда потащит тебя, захочешь назад, да не сможешь.

Слова его почему-то задели Лосева.

— Все брать под сомнение и не надо. Если во всем сомневаться, то ни верить нельзя, ни действовать.

Рука Тани легла ему на колено, и Лосев замолчал, взял огурец. Было приятно уступить, подчиниться, делать то, что ей хочется. Можно было расслабиться, интересно было просто послушать этого чудака, не торопясь возражать.

Илья Самсонович наклонился к Тане, шепнул заговорщицки:

— Слыхали? Бойтись неверия. Значит, тоже дошел.

→ До чего дошел?

— До того... Карл Маркс говорил — сомневайся во всем. Так что я в этом смысле больше вашего марксист. Хочешь прийти к богу — откажись от бога. Откажешься — и через сомнения придешь... Вы книгу Иова читали?

— Нет, не читала.

— Как же так, важнейшая книга Библии.

— Обязательно прочитаю, — сказала Таня, — но вы лучше про вашу ересь...

— Да вы напрасно надеетесь, не вероотступник я. Я за укрепление веры. Вот результат моих сомнений... Пришел я к тому, что необходимо поменять назначением ад и рай. — Он замолчал, взял стакан пива, отпил бережно глоточек, точно чаю горячего.

— То есть как поменять... зачем? — спросила Таня, ошеломленно следя за ним.

— Для достижения подлинного бескорыстия. Вы в соборе упомянули, что у них чистая молитва. Ох, заглянули бы вы внутрь к ним. Страх и сделки. Пусть во очищение, пусть морально, но если в высшем смысле, то это же торговля. Приходят договориться. На тебе, господи, дай мне. Я тебе веру, хвалу, ты мне — прощение и вечное блаженство. Сделка с распродажей на небесах. Я на земле буду соблюдать — значит, попаду в рай, я буду жрать, хапать, распутничать — тогда мне гореть и страдать. Значит, все на страхе основано... Кнут и пряник? Не согласен. Унизительно! — Он выпрямился, устремился вверх, руку поднял, стал выше, звучный голос его закачался нараспев. — Напротив, считаю божественным и справедливым отправлять в ад праведников!

Им муки обещать. Не огненные, с котлами кипящими, им — муки несправедливости! За добро — шиш! То есть не воздавать. Ты добро, а тебе... — И он повертел перед Лосевым кукишем. — Отныне и присно не воздастся! А? Что, не ндравится? — И, оскалив замечательно белые, как искусственные, зубы, захохотал, ликуя и любуясь произведенным впечатлением.

— Так это же бесчеловечно!

Илья Самсонович присел перед Таней на корточки, заглянул ей в глаза.

— Так ведь вы же атеистка? И все равно — не по душе, верно? А для верующего и вовсе...

— Зачем вам это, в чем смысл? — нетерпеливо прервала его Таня.

— Чтобы обнаружить. Неужели не поняли? Человека надо обнаружить! В этом двуногом хищнике, обжигающем землю. Пора узнать, кто мы есть. — Илья Самсонович вскочил, рванулся к Лосеву, схватил его за руку в полном упоении. — Кто мы? Барышники или же вложено в нас что-то божественное? А может, один голый расчет? Ведь если только расчет, то мы машины, мы только разуму подчиняемся... Как узнать? Возьмем и удалим всякую выгоду. Не оставим никакой надежды. И тем, кто живет на земле в грехах, в алчности, тем тоже не будет надежды на покаяние, потому что они будут и там пребывать в вечном раю и изобилии. Очищающего страдания не будет. Никому не воздастся. Без вознаграждений, без премий. Праведник блаженства не увидит, грешник покаяния не получит. Моим начальникам тоже куда как не понравилось.

Глаза Тани расширились, темный румянец затопил лицо.

— Потому что несправедливо! Вы хотите бога сделать совсем несправедливым.

— А-а! Это мне сразу объявили. Действительная жизнь тоже не поощряет добрых и честных. Это как — справедливо? Нет, тут справедливостью ничего не выяснить. Для проверочки давайте отнимем у всех утешение и страх возмездия и посмотрим, что станет с человеком? Тут все и выяснится. Тут вы и ахнете. Зашныряете. А некуда! Куда ни кинь — добро осуждено. И деться ему некуда. Кто посмеет быть справедливым? — От восторга он вскинул руки, затряс ими. — Кто осмелится на доброту? А уж призывать-то, проповедовать что будете? Невозможно! Никаких к тому прав у наших попов не будет. И обнаружится. Все, все выяснится. Все мы друг перед дружкой выявимся. Все человечество оголится!

В углу перед маленьким киотом дрожало крохотное бесцветное пламя. На стене висело длинное анатомическое изображение человека с обнаженными красными пучками мышц, открытым животом, с извилами лиловых и желтых кишок, с ветвистыми трубами сосудов. Рядом висел портрет Льва Толстого. Стояла железная кровать, заправленная серым одеялом, на одеяле дремал тощий кот. Иногда он приоткрывал глаза и смотрел на Лосева золотыми глазами с черной щелью. Голоса Ильи Самсоновича и Тани сшибались. Таня приводила в пример святых, называла их по именам, говорила про Швейцера, про революционеров. Коротким движением откидывала тяжелую прядь волос, и они снова спадали, затемняя блеск ее глаз. Лосев не вмешивался. Он радовался своей свободе. Горячая волна спора обдавала его, но он не позволил ей подхватить, унести. Приятно было видеть усилия Таниного ума, слышать, как разбиралась она в Евангелии, в библейских сюжетах, которых не изучали ни в каких институтах, в вещах, казалось бы, начисто исключенных из обихода. Признавалась и в своем невежестве, признавалась легко, как позволяют себе только люди знающие. Дед у Тани был священник, а кое-что она сама изучала, что-

бы разобраться в картинах, написанных на библейские сюжеты. Было заметно, как Илья Самсонович расцвел от ее интереса и уже не грубил, не отмахивался, старался убедить отчаянной своей ересью.

— Но разве вас не пугает, что люди хуже станут от такой идеи? — спросила она.

— Нет хуже нынешнего безверия. Посмотрите, что делается. Вы лучше спросите — как с верой будет? Вот в чем вопрос! Что останется от праведников? Всех старых святых придется пересмотреть. Среди них такие, что лишь о вечном своем блаженстве пеклись. Отказывали себе во всем, чтобы там все иметь по первому классу. Самые чистые и те тайне рай себе зарабатывали. Два пишут, один в уме. Да не в них дело. Главное — узнать, есть ли в нас душа? Вот я и хочу из человека выгоду выпарить, удалить, посмотреть, что же в остатке. Если ничего — тогда конец. Тогда всякая надежда и доброта кончатся. Никаких сказок. Сила, хитрость и выгода! Кончится святая ложь, и откроется взорам человек в неприкрытой своей корысти. И мы ужаснемся!

Таня призадумалась. То, что она могла принимать этот разговор всерьез, удивило и развеселило Лосева настолько, что он стал спрашивать, каким образом будет произведена перестановка ада ирая, есть ли у Ильи Самсоновича проект реконструкции и как отнесется к замене клиентов персонал преисподней... Они шуток не приняли, смотрели без улыбки, затуманенно.

— Вы знаете, что за праздник сегодня? — спросил Илья Самсонович. — Успение!

И стал говорить о великом знаке, заключенном в этом дне, как свидетельстве грядущего возведения человечества на высшую ступень бытия. Потом вспомнил Преображение, когда трое учеников увидели на горе Фаворе Иисуса, излучающего сияние, поняли, кто перед ними, а затем все исчезло, они спустились вниз, и снова их окружили люди в своей суете и лукавстве, словно и не было ничего...

Видно было, что он искренне верил в то, что когда-то так и было, события эти волновали его до слез. Он невольно заражал своим чувством. Впервые религия, к которой Лосев относился свысока, как к безобидному старушечьему утешению, предстала перед ним в своем опасном очаровании.

Таня вдруг сказала:

— Ошибка у вас, Илья Самсонович.

— Какая? Ты покажи.

— Позабыли вы одно чувство. Есть у людей, кроме выгоды и пользы... Вы говорите — праведников нет. А матери? Вы про свою мать вспомните.

Илья Самсонович дернулся, хотел что-то сказать, но не сказал.

— А жены? Любая женщина любящая, она может все человечество вытащить и спасти ради любви! Вы ей чем угодно грозите на том свете за эту любовь — ее не испугаешь. Жгите ее, в котлы ваши кидайте — она от любви не отступится и спасет... Вы знаете, моя мать что сделала? Она брата моего... он в сорок первом родился в Ленинграде, потом блокада началась, ему годика не было, он кричит, есть хочет, а у нее ни молока, ни крошки хлеба нет, так она вену себе надрезала и ему руку прикладывала, он пососет кровь ее и утихнет, заснет, тем и спасла его. Сильнее любви ничего нет. Любовь — вот вся ее выгода. Что ей ад или рай? Я потому так, что та же кровь во мне, ее кровь, я поэтому знаю...

Она подняла голову, вытянулась, что-то вспыхнуло в ней, дохнуло жаром таким, что Лосев внутренне отпрянул. Где-то там бушевало пламя, что-то плавилось и сгорало. Такая сила была в ней, что



встань она сейчас, прикажи — и они бы подчинились, пошли... Илья Самсонович поклонился низко, жидкие волосы его свесились до пола.

— Твоя правда! Твоя! До чего права... — Он распрямился, утер рукою нос, глаза, изумленно показал Лосеву на Таню. — Смотри, сама дошла... Я-то из тьмы. Меня никто не любил. Мать из интерната брать не хотела. Кляла меня! — Он сглотнул подступившую горечь. — Я не через любовь добрался, я из отчаянья. Но она-то через любовь! — восхищенно перебил он себя. — Женская любовь — это особика, это инстинкт. А вот когда кроме нее объявятся... Будут люди, что не убоятся! Будут!.. И станут добро творить, зная, что претерпят. Выгоду переступят ради совести своей. Потому что захотят душу оживить. Они всей церкви нынешней вызов бросят. Они-то и оправдают всех нас. Люди кругом, может, готовы взлететь душой, ищут, за что бы на костер взойти. Дайте им, скажите им...

Пот катился по его бледному узкому лицу. Таким он и запомнился и остался в памяти — нелепая его, толстая книзу фигура и угольно сверкающие глаза на фоне меловой стены.

Довольно долго они шли в молчании, потом Таня сердито сказала:

— Не то... А хорош, потому что ищет.

Через несколько шагов она снова сказала:

— Нет, не то, опять не то. — И тут же усмехнулась. — Как моя Нонна, утром подойдет к зеркалу, посмотрит на себя и вздохнет — опять не то.

Со всех сторон она пыталась жизнь, что-то ища, кидаясь прежде всего к необычному, запретному. И город этот она пробовала с такой жадностью, что Лосев заразился ее аппетитом.

С каким-то облегчением они устремились в павильон игровых автоматов. Там все было просто: выстрел, попадание, вспыхивает свет, падает самолет, выскакивает очко. Лосев стрелял безошибочно, восхищая местных мальчишек.

Ресторан над озером был переполнен. Обслуживали иностранцев и спортсменов.

— А мы просто голодные люди, — грустно сказала Таня.

Лосев взял ее под руку, прошел мимо швейцара с тем властным лицом, когда его не могли остановить, швейцар даже поздоровался. В зале Лосев обратился к старшему официанту и с той же непреклонностью попросил посадить их, ничего не объясняя, но уже знал, что не откажут. Так и было. Старший извинился, что отдельного столика нет, подсадил к какой-то паре.

Над головами крутились легкие конструкции из медных лепестков. Таня радовалась, как ребенок, в ресторанах она бывала считанные разы, в таком шикарном впервые. На ее учительскую зарплату не разгуляешься.

За столом сидели усатый задумчивый грузин и с ним блондинка, сочная, пышная. Блондинка покровительственно улыбалась, слушая Танины восторги, и поглядывала на Лосева влажно-синими глазами с загнутыми толстыми черными ресницами. Когда-то Лосеву нравились такие гладкие ухоженные кошки, с ними было просто, он знал наперед все, что она скажет, знал весь вечер, который они провели бы, до самого конца.

Таня рядом с ней сильно проигрывала. Невольно сравнивая, Лосев видел, насколько ему труднее с этой чуть странной, порывистой девушкой, у которой нельзя ничего предугадать. Ему интересны были ее суждения, и в чем-то он побаивался ее независимости. Было в ней глубоко запрятанное, никак не доказывающее себя превосход-

ство... Нет, не ума, ума Лосеву своего хватало,— тонкости, что ли? Развитого вкуса? Интеллигентности? Но Лосев не любил этого слова, применял его больше пренебрежительно и все же сейчас другого слова не находил. Он вдруг иначе увидел ее — и поведение с Каменевым, и то, как она поцеловала руку, и уход ее от Поливанова, все эти резкие движения ее души, исполненные всегда благородства. И даже во внешности ее Лосев находил превосходство естественности. Куда милее были ее некрашенные ногти, чистые губы, матовый природный блеск ее коричневых, выгоревших сверху волос. Оттого что никто кругом, кроме него, этого не видел, не представлял, а все видели лишь одетую в дешевенькое платьице невзрачную очкастую девушку, от этого сердце его затопило нежностью, она была его открытием и тем трогательнее и краше казалась ему.

Отрешенность, задумчивость сменялись вдруг у нее детским любопытством, жадностью, восторгом, бесцеремонностью. Она не стесняясь восхищалась красной икрой, шашлыком на шампурах, горячими лепешками. Откровенность ее умилила официанта, он поставил водку в металлическое ведро со льдом, тарелки принес подогретые, чем окончательно потряс Таню. Лосев сиял. Лосев чувствовал свое могущество и щедрость. Ему хотелось осчастливить всех. Он начал с соседей — подняв рюмку, провозгласил тост во славу красоты блондинок, красоты, не зависимой от моды, губительной для мужчин всех времен и народов, и, выяснив, что она работает медсестрой в яслях, доказал, что это самая ответственная и благородная специальность. Характер человека формируется в первые три года жизни, следовательно, она лепит своими пухлыми сильными руками человека, она скульптор, она художник, она тра-та-та... Он загнал себя на такую вершину, откуда не просто было спуститься к ее спутнику. Впрочем, и грузину он соорудил неплохой венок из скромности и обаяния. Похвалил радушие грузинского народа, культуру его застолья, его музыкальность. Он был в ударе. Он чувствовал, что Таня любит его. Compliments его отличались не лестью, а скорее наблюдательностью. В который раз он убеждался, что поднять человека, сделать лучше можно, показав ему, что в нем есть хорошего. Что мешало ему пользоваться этим в своей работе? Почему он рассказывал людям про их достоинства только на юбилеях или провожая на пенсию?..

Постепенно он становился тем Сергеем Лосевым, который мог болтать, трепаться, не заботясь, как это будет истолковано, он возвращался к себе от того С. С. Лосева, который в служебном кабинете взвешивает каждое слово.

Выпили немного. Таня ела шашлык, сверкая зубами, хищно, весело, пальцы ее блестели, но все шло ей, все получалось мило, и грузин, зараженный ее непосредственностью, показывал, как надо есть зелень. Лицо Лосева еще смеялось, когда сердце, вдруг словно ударясь обо что-то, полетело вниз, и за ним полетела вся кровь, летело все, покидая Лосева, оставив его где-то наверху.

— Что с вами? — тихо спросила Таня.

Не отводя глаз от той женщины, Лосев похлопал Таню по руке, а сам поднялся и пошел к тому столику.

Седеющие волосы, подстриженные впереди челкой, а позади курчавая грива, толстогубый рот — зубр, форменный зубр, грузин, большой, каким образом у Лосева хватило тогда сил поднять, донести его до дверей и швырнуть на лестницу? Сейчас, глядя на него, Лосев не мог представить, как все произошло. Кажется, они оба при этом не произнесли ни слова. Антонина застыла у буфета с рюмками в руке, она была в халатике на голое тело, а этот был в майке и мохрый от пота. Когда Лосев вернулся, Антонина наливала себе коньяк рюм-

ку за рюмкой и выпивала, запрокидывая голову. Рюмки были тещины, синего стекла, с золотым ободком. А коньяк был «КВ», красные буквы на желтой наклейке, такой же, что стоял сейчас на столике этого. Рядом с ним сидели сухонькая старушка в черной соломенной шляпке и двое мальчиков-близнецов лет по пятнадцати. Сидела еще спиной к Лосеву молодая женщина с распущенными волосами. Она была в брюках, перетянутая широким поясом. Лосеву захотелось, чтобы это была Антонина. Но у этой волосы были гладкие и плечи шире. Они ели, чему-то смеялись. Вдруг этот увидел Лосева, перестал жевать, улыбка сползла с его лица, повисла в углах толстых губ. Странно, что он сразу узнал Лосева. С того единственного момента они больше не виделись, и Лосев так и не узнал ни его имени, ни кто он, откуда, ничего не спрашивал, ждал, что Антонина станет оправдываться, сама расскажет. Должна же была она что-то объяснить. Но она молчала. С того дня она замолчала. Сперва вообще ничего не отвечала. Закаменела. Потом — да, нет. В Лыков вернулись — да, нет. Лежала ночью — каменная, не шевельнется, не вздохнет. Когда он входил в дом, у нее стекленели глаза. Вечерами в доме наступало молчание. Он разговаривал с дочкой, и она разговаривала с дочкой... Так до конца он и не понял, что же произошло. Был случай, когда он готов был простить ее. Он застал ее на кухне у раковины с тарелкой в руке. Лилась вода, брызгала ей в лицо, она не двигалась, точно в столбняке уставясь перед собой. Давно не крашенные ее волосы, черно-пегие, обвисли. По бледному лицу стекали капли. Жалость затопила Лосеву сердце. Озлился на себя, но тут же, оправдывая эту жалость, вспомнил бездетную и яростную Катюку, с которой и после свадьбы продолжал встречаться в Москве, и недавнюю историю в санатории с лазанием через балкон, с глупыми записочками. Раньше это существовало само по себе, отдельно от его семейной жизни. Но разобраться, так ведь это было то же самое. Какое же он право имеет, чем он лучше?

Он подошел к Антонине, взял ее за руку, холодную, мокрую, слезы перехватили ему горло. Она рванулась прочь, выдернула от него руку и стала с отвращением вытирать ее о передник. И такая брезгливость была на ее лице, что он схватил ее за волосы, накрутил их на кулак, принялся мотать ее голову из стороны в сторону с размахом.

Не помнил себя. Если б она закричала, он бы избил ее, изувечил, красная пелена застлала ему глаза, кровь колотила в виски так, что голоса своего он не слышал, знал, что называет ее потаскухой, сукой, дрянью. Ни звука не вырвал у нее. От собственных слов, от ее ненавидящего молчания чувствовал себя униженным, и только крайним усилием, каким-то последним страхом вынырнул из этого безумия, отбросил ее, убежал.

Было стыдно, отвратительно, страшно. Но, по крайней мере, все разрядилось, и, в сущности, на этом супружество их кончилось. Все равно, если бы он ей и простил, не смогли бы они жить вместе.

Теща пыталась беспристрастно разобраться, допытывалась у них, что произошло. Лосев пожимал плечами: пусть Антонина расскажет. Не хотел ни обвинять, ни доказывать, лишь бы не появлялась перед глазами та сцена в Ленинграде. Как Антонина все это преподнесла мамаше, он не знал. Семья отдалась. Была работа, спасительная работа, ничего другого, все остальное остановилось, застыло. Дома безмолвно, все ходили мимо него, опустив глаза. На самом деле дома что-то происходило. Скрыто или явно всегда что-то происходит. Незаметно-незаметно он превращался в виноватого. Вдруг обнаружилось, что Антонине сочувствуют, ее утешают. Собственная тетка осужда-

ла его, не зная никаких обстоятельств. Сестра и та не поддерживала его. Он заметил, что дочь сторонится его, в ответ на упреки она с детской дерзостью спросила, почему он разлюбил маму. Вот как все повернулось — он разлюбил. Покраснев, он пробовал объяснить, что у них с мамой разные взгляды, с возрастом дочь разберется, ма-ла еще, — словом, жевал какую-то кашу, щадя Антонину и спасая эту двенадцатилетнюю девочку от правды. Какой правды? Он сам не знал правды.

Антонина определила дочь в ленинградскую музыкальную школу, хотя никакими особыми способностями Наташа не отличалась, но было решено, что девочке так будет лучше. Антонина ездила к ней в Ленинград, оставаясь там подолгу, и наконец совсем переехала к своей мамочке в ту ленинградскую квартиру, где все произошло, где когда-то справляли многолюдную свадьбу. Считалось, что Антонина помогает своей маме и занимается дочкой. Таким образом, все было соблюдено без суда, развода, скандала, всех это устраивало, и однажды Лосев обнаружил, что его тоже устраивает эта фальшивая семья, иначе произошли бы неприятности по службе, начальство вынуждено было бы как-то реагировать, таков был неписанный порядок. Немало таких мнимых семей существовало в Лыкове. Бывая в этих домах, Лосев делал вид, что ни о чем не знает, и относился с сочувствием к хозяевам, стойко несущим свой крест. Зачем, ради чего это делает-ся? — он никогда не задумывался. И даже сам, страдая от необходимости лгать и притворяться, считал, что делает нужное кому-то и за чем-то дело.

Теперь все сидящие за тем столиком смотрели на Лосева и что-то спрашивали этого. Что-то он им пробормотал, краски уходили с его лица, он весь напряжился. Последние сомнения у Лосева исчезли, это был он. Навероятно, невысказано, все было подстроено, как во сне, Лосев чувствовал, как у него обмирают кончики пальцев.

Мальчики были длинноволосые, в красных свитерочках, в глазах их, устремленных на Лосева, светилось приветливое любопытство. Этот поднялся и пошел навстречу Лосеву, продолжая держать в руке вилку. Был он выше, плечистой Лосева, косой шрам белел на шее. Лосев удивился выбору Антонины — почему этого, почему именно с ним? Прежней злобы Лосев не испытывал и не понимал, почему он должен подойти, наговорить этому человеку оскорблений, может, ударить, и этот человек станет в ответ выкрикивать какие-то гадости и потом будет чего-то врать, оправдываясь своим близким, и оба они будут считать, что все это правильно и так должно было быть.

Старушка поспешно вынимала изо рта рыбы косточки, мальчики перестали смеяться.

Он успел сделать несколько шагов навстречу Лосеву, они сошлись поодаль от столика, у площадки для танцев. Он быстро дожевывал, давился, за чем-то поднял руку с вилкой, и Лосев подумал, что ткнуть вилкой он побоится, будет только заслоняться, закрывать лицо и вилка сделает драку смешной.

Лосев повел его, взяв под руку, в середину пустого танцевального круга. При мысли о том, что когда-то он мог приподнять этого зубра, Лосев улыбнулся. На круге блестел паркет, все смотрели на них.

Этот никак не мог слотнуть и мучительно покраснел.

— Прошу вас, давайте не здесь, — пробормотал он. — Спустимся вниз... Где хотите... У меня тут сыновья, мать.

Сердце у Лосева забилось ровнее. Он смотрел на его масляные

толстые губы, на зеленую укропину, прилипшую к потному подбородку, хотел пожалеть этого человека, но не находил в себе ни жалости, ни доброты. Равно как и гнева. Пусто было и холодно. В таком состоянии драться хорошо, бьешь не сослепу. Ударить в этот подбородок с прилипшей зеленой веточкой? И испортить этот прекрасный единственный день? Испортить себе и Тане, которой невозможно будет ничего объяснить.

При мысли о Тане все взбунтовалось против непонятной силы, которая командовала им. С какой стати он должен подчиняться? Кому? Каким таким правилам? Честь? Побить и восстановить свою честь? Глупо. Перед кем он обязан? Перед Антониной? Перед этим типом? Плевать на них! Спрятав кулак в карман, он сказал:

— Ладно, ничего мне от вас не надо, идите к своей тарелке.

— Позвольте, — наконец он проглотил и произнес звучно и глупо, — зачем же вы подошли?

— Не в вас дело. Во мне все дело. Потерял я охоту. Надо бы стукнуть, а неинтересно. Опоздали вы, всего на один день опоздали. Где вы раньше были?

Он вытер рукой губы, спросил недоуменно:

— То есть в каком смысле?.. — Но тут же обмяк, вздохнул с шумом, облегченно, решил, что, может, обойдется, даже глаза на мгновение прикрыл. — Имейте в виду, за хулиганство в общественном месте с вас спросят. Мне-то что, а вам... Снять вас могут. Более того, я ведь так не оставлю.

Лосев окончательно понял, что не ударит его.

— Ладно, — сказал он. — Не мельтешите.

— И правильно. Чего нам делить-то? — сказал он. — Какие тут могут быть претензии? Если вы на скандал пойдете, знаете, это что значит? Знаете?

Что-то непостижимо ускользающее было в том, как ловко менялся этот человек.

— Значит — что не можете одолеть меня по-другому. У вас нет чувства превосходства. Так? Поэтому вы хотите унижить меня физически.

Он быстро обрел уверенность, даже убежденность. «Что же в нем такое, должно же в нем что-то быть?» — повторял Лосев вопросы, которыми когда-то пытал себя.

— Да плевать мне на вас, — вдруг отмахнулся Лосев и почувствовал, что это правда, что старые болячки отсохли, под ними затянулось, заросло, хоть кожица еще блестит, тонко-чувствительная.

На них переставали смотреть, они замолчали, потеряв нить разговора.

— А вы полысели, — весело сказал Лосев.

— Да, да, у меня это от аллергии... — рассеянно объяснил это тот. — Послушайте, а что я своим скажу?.. — вдруг обеспокоился он.

— Что-нибудь придумаете.

— Нет, вы на меня не взваливайте. Ваш был почин, так что дайте подойдемте, я представлю вас, скажу — вместе служили в армии, а? Опрокинем по одной. Вы тут с кем? Впрочем, пардон, да это и не важно... — Он приобнял Лосева за талию. — Давайте? Подсядете на три минутки.

— Ну зачем же мне пить с вами? Вы уж совсем... — сказал Лосев и с интересом спросил: — Послушайте, неужели вам не стыдно? Передо мной ладно, а вот перед своими, мы подойдем, чокнемся — и вам не будет стыдно?

— Господа сенаторы! Пахнет этикой! Кто бы мог подумать. Какая Сенека. Ай-яй-яй, вы плохо кончите, градоначальничек! — И он

вдруг нагло вато, с намеком подмигнул.— Поздравляю, как говорится — пожар Москвы немало способствовал украшению.— Большое тело его мягко заколыхалось от смеха.— Да, я притворяюсь! Изображаю. Потому что сыновья наблюдают. А вы, значит, не притворяетесь? — Он придвинулся, задышал в лицо Лосеву.— Пойдемте, я вашим дамочкам изложу про наше знакомство. Вашей блондиночке... То-то же! Мы все одним дерьмом мазаны, и некому нас стыдить. Ты, чем ты лучше меня? Такое же падло...

От него остро запахло потом, запах этот Лосев вспомнил, руки у него заломило, он вздохнул, сжал его локоть так, что этот скривился.

— Придется нам спуститься вниз. Ничего не поделаешь. Не хочешь? Тогда чтобы духу твоего здесь не было через три минуты. Твои пусть доедут, а ты чтобы не портил мне вид. Три минуты даю!

И собственная дешевая твердость и его трусость — все это было не то, ничего это не означало, не объясняло.

Когда он вернулся, грузин рассказывал анекдот. Таня наклонилась к Лосеву и, ни о чем не спросив, сказала:

— Вы молодец!

— Не знаю, трудно было удержаться,— признался Лосев, не удивляясь, как если бы она все слышала и знала.

Еще недавно, год назад, он просыпался по ночам, перебирал каждое словечко, сказанное Антониной, пытаясь понять, что произошло; самолюбие его долго страдало. Нанесенная рана казалась неизлечимой. Тогда он все отдал бы, чтобы узнать причину, более всего его возмущала не безнравственность Антонины, а ее уверенность в праве на такую безнравственность. Так он ничего и не узнал. И вот сейчас, когда он мог спросить, оказалось, что ему это уже не важно. Он смотрел на Таню, довольный своей выдержкой, почти позабыв о когда-то томивших его вопросах. К чему были долгие его страдания, зачем он так себя мучил, если все это почти бесследно изгладилось?

...Млеющий от тепла и покоя долгий день привел их в универмаг, где Таня с мгновенной женской зоркостью высмотрела кружевную голландскую кофточку, примерила ее и долго не в силах снять и так и этак рассматривала себя в зеркале. Глаза ее затуманились. В зеркальной глубине отразился не затоптанный торговый зал, а нечто праздничное, там она медленно поворачивалась, кому-то отвечала, чуть приседая, принимая приглашение. Подняла правую руку чисто уже по-учительски, как бы к доске, проверяя, не тянет ли.

Наблюдая издали, Лосев удивился себе: он не испытывал нетерпения. Примерка тоже входила в щедрую протяженность этого дня. День блистал, переливался гранями каждого мгновения. Он сделал важное открытие: если отдельно рассматривать сиюминутность жизни, если погрузиться в нее, тогда открывается равноправие любой крупинки жизни, всего, что происходит. Во всем блистает драгоценность жизни. Примеривание кофточки не перерыв, не подготовка к будущему. Какой же тут пустяк, если обнова — удовольствие, обновление, тут и риск, и надежда, и игра. Жизнь — вся — может состоять из таких чудес, которые надо уметь видеть. Теперь, когда он открыл эту истину, он уверился, что будет жить иначе. Он не понимал, что само по себе знание этой истины мало что дает человеку.

### Глава 18

Проснулся Лосев оттого, что кто-то его позвал. Он открыл глаза, прислушался. Было светло. На высоком лепном потолке шевелились

солнечные разводы. Очнулся его слух, тело еще плыло во сне. Памятью слуха он пробовал узнать голос, который его позвал. Показалось, что это была мать. Он не удивился тому, что она жива. Он вытянул ноги, распрямил их до сладкой ломоты, ожидая, когда мама наклонится над ним, щекоча тонкими волосами, носом и приговаривая: «Серешка, Серешка, готова картошка», станет тихонько стаскивать одеяло, а он будет мычать и, ухватив край простыни, защищать накопленное тепло постели, оберегая самые лакомые остатки сна. Мать уходила на кухню, изображая сердитость, там звякала бутылка с подсолнечным маслом, доносился парок вареной картошки, дрема разреживалась, утекала, но была еще нега, тающие картины ночных снов, ощущение маминной улыбки там, на кухне. Вся детскость его детства собиралась в эти блаженные, теплейшие, растянутые до предела минуты просыпания.

...Ветер хлопал мокрой тяжестью простыней. Мать поднималась на цыпочки, вешала белье на веревку. Красные наволочки бились, захваченные прищепками. Мать вытягивалась, как на старой фотографии, где она была в шелковом платье с кружевным воротничком, он помнил скрипучесть полосатого шелка. Он плакал, уткнувшись ей в шелковые колени. Ныл горько и долго, а сам смотрел, как просвечивает шелк синим светом... В воде рядом с поплавком отражался не он, а Петька Пашков, отражение его оторвалось, поплыло, никак не зацепить его было удочкой, Лосев наклонился, ива под ним затрепала, это трещал растил, края его расходились, пропасть надо было перескочить, мать звала его, ствол наклонялся все ближе к воде. В глубине пропасти в высоком вольтеровском кресле сидела Ольга Серафимовна, она была голая, как на рисунках, с большими грудями. Слова, сказанные ею, ошеломили, обидели его, и он окончательно проснулся.

Он лежал на диване в большом гостиничном номере. Смутно представлялось, как поздно вечером они вернулись в гостиницу, ноги гудели, глаза слипались, прошлая бессонная ночь и длинящийся день вконец сморили их, и Лосева первого; каким образом они распределились, как он разделся, лег — он не помнил. Он снова хотел заснуть, но мысль болезненная, резкая, высказанная Ольгой Серафимовной, мешала ему. С момента встречи с Таней на лестнице он так ничего и не сообщил ей про разговор с Уваровым. Явно оттягивал. В чем тут дело? Как будто он боится. Но чего? Разве он в чем-то не прав? Телеграмму Аркадию Матвеевичу он вчера так и не дал. Это он объяснял тем, что не мог придумать текст: надо написать, что ничего не получилось, что Жмуркина заводь обречена. В то же время следовало сообщить, что, несмотря на отказ, ничего плохого не последовало, наоборот, его повышают. Однако обе эти вещи он не мог соединить. Как только он их соединял, возникало что-то неприятное. Он избегал об этом думать. С ртутной легкостью сам от себя ускользывал, никак было не ухватить. Человек он был не слабый, мог заставить себя сказать и сделать все что надо. Работа его требовала постоянных усилий воли — приходилось принуждать людей, говорить не то, что хочешь, приказывать, брать на себя ответственность, решать, отказывать. Лосев заставлял себя все это делать и делал, не считаясь со своими настроениями, поэтому и полагал себя волевым человеком. Время от времени ему нравилось проверить свою волю. С молодых лет это осталось, он вдруг не разрешал себе есть, ни крошки, день, два, приказывал медленно входить под ледяной душой или, например, молча смотреть в глаза какому-нибудь крикуну, пока тот не отводил взгляда.

— Вы спите? — тихо спросил он.

Кровать, на которой лежала Таня, стояла под прямым углом к дивану, так что он не видел ее, но слышал дыхание.

Таня отозвалась не сразу, голос со сна был хриловатый, чуть напряженный.

— С добрым утром.

Прозвучало так доверчиво-близко, что он не решился приподняться. Лежал, улыбаясь. Нежность и благодарность баюкали его. Давно подавленная, казалось, уничтоженная потребность открыться другому человеку ожила в нем. Признаться Тане было легче, чем признаться себе.

— У меня всю память отшибло, лежу, вспоминаю, что это вам хотел рассказать. Как отец мой приговаривал: не о том речь, кого сечь, а где он?

Начал он, балагурия. Так было легче. Простецу все к лицу, где умный призадумается, простак перемахнет за так.

С шуточками изложил подготовку похода своего к Уварову, как советовался, сторонников вербовал, стратегию разрабатывал. Разговор шел, как сражение, долго бились они, и Лосев проиграл. Это Поливанову чудится, что до сих пор можно криком да нахрапом брать. Сегодня, при всеобщем наивысшем образовании, убеждай расчетами, цифрами. Уваров имел свои аргументы, к тому же Уварова подпирала необходимость государственная, мотивы, которые снизу не видны. Можно было бы еще побороться, если б Пашков ножку не подставил. Про Пашкова Лосев выдал не стесняясь — пусть в Лыкове знают, как пакостит землячок. Короче говоря, Уварова склонить не удалось, не достало доводов.

Таня молчала. В лосевском рассказе вместо горечи поражения была неловкость. Чего-то он недоговаривал. Подождав, она сказала, что, может, Уварову надо было показать в натуре и Жмуркину завод и картину? Подействовало же это на Каменева. На любого это действует. Искусство, оно действует вопреки расчетам. На одного сильнее, на другого меньше, но все равно.

— ...должно было в душе его что-то откликнуться!

Слышно было, как она приподнялась на локте. Так, по крайней мере, он представил.

В словах ее слышался упрек. Не тот, которого Лосев втайне остерегался, а другой, наивный, школьный, — будто к Уварову можно найти психологический ход. Ответить ей было просто, почти приятно: не имеет Уваров психологии, не поедет Уваров смотреть никакую картину, до фени ему картины, Уваров — он другой; надо знать его отношение к живописи, для него наша картина — одна докука. Не смягчая Лосев передал мнение Уварова о художниках. Кстати, и о прочих деятелях искусства. Как правило, Лосев не позволял ссылаться на частные высказывания начальства. Никогда никому не разбалтывал. Не полагалось. Люди ни под каким секретом не удержат, обязательно похвалятся своей осведомленностью, да еще исказят, и поползет... Но тут Лосев разоткровенничался; счел себя вправе, поскольку и Уварову высказал свое несогласие. Не хотел, чтобы Таня строила себе иллюзии.

Она выпрыгнула из постели, как была, в длинной ночной рубашке, забегала по номеру. Босые ноги стучали по ковру глухо, на линолеуме — шлепая...

— Ваш Уваров — чудовище! Ну как вы с таким дуболомом... — Она не находила слов, наэлектризованная гневом, искры летели от нее. — Называется — руководитель. Тот не может руководить, кто не понимает искусства! Целые народы исчезали из истории, потому что у них не было искусства! Им нечего было оставить потомкам. Он дол-



жен уйти! Сколько мы теряем из-за таких начальников, у них одни проценты да кубометры. Душу-то этим не согреть! Душа от этого сохнет...

Лосев и любовался ее пылом и успокаивал, напоминая о нехватке жилья, о первоочередных простейших нуждах человеческих. Самые что ни на есть ходячие фразы употреблял, а получилось, словно бензину в огонь плеснул.

— Сколько можно! При чем тут жилье? Все заслоняются жильем! Чуть что — квартира! Автомобиль! А у молодых, соответственно, цветной телевизор — цветничок! Маги! Джинсы! Моторки!.. Вот на что работает ваш Уваров. Это он признает, поощряет! А куда ехать на этом автомобиле? Неужели вы тоже к этому сводите человека? Я учу детей, чтобы они живопись ставили выше автомобиля. Да, да, противопоставляю! Искусство — это бог. Отнимите у меня музыку — мне и квартиры вашей не надо. Что я буду там делать? Водку жрать, хоккей смотреть? От этого души зарастают. И человека нет. План вы выполните, а зачем? Вы смеялись над Ильей Самсоновичем, а Уваров бедней его. Я могу ему в лицо сказать! Я понимаю, вы зависите от него, вам приходится терпеть его...

Щеки ее жарко покраснелись, она была сейчас как никогда хороша, но в ее словах начались те крайности, которых Лосев не терпел. О каком искусстве она говорит, когда у людей нет элементарных условий, детских садов не хватает?.. Человеку одинокому рассуждать легче, чем семейному. Когда пять человек в одной комнате толкуются — не до музыки, и стихи тут не помогут...

— У нас любителей искусства все больше, а работников... Музыку слушают, книжки читают. И что толку? Думаете — от этого лучше относятся к работе?

— Думаю! — в запале, не приостановившись, подтвердила Таня.

— Если бы.

— А музыку не для этого пишут!

— Пока пишут, кому-то надо строить, кому-то уголь возить. Так вот, Уваров — работник! Таких мало. На таких хозяйство наше держится. Заводы работать должны, согласны?

— Художник, к вашему сведению, тоже завод.

— Ха!

— Да, завод, вырабатывающий счастье!.. Так сказал Маяковский, — добавила она.

Следовало бы остановиться, перевести разговор в шутку, но она задела его больное место.

— Где это сказано, что каждый обязан любить ваших художников? Почему вы требуете от Уварова — ах стихи, ах музыка! Ему не до них, так нельзя!

— Нет лзя! Раз он руководитель, он не имеет права Искусство, по-вашему, только для материально обеспеченных?

Они кричали, не слушая друг друга.

Через несколько часов, улыбаясь, они вспомнят начало этого утра, когда они лежали голова к голове, она на кровати, он на диване, как запальчиво опровергали, спорили — о чем? — сердились всерьез, ничего не замечая, оставаясь слепыми.

Лосев успел привыкнуть к ее восхищению. Сейчас он удивился, встретив ее несогласие. Не поверил. Повысил голос — не помогло, он натолкнулся на упорство. Между тем она поносила человека, у которого Лосев учился, которого чтит. Что она понимала в деловых людях, в руководителях? Что она, они, обыватели, потребители, знали об их жизни, где так мало возможностей и так много обязанностей? Знала ли она, как приходится им лезчить, химичить, нарушать? В лю-

бую минуту его могут спросить, каким образом у него израсходовано в полтора раза больше цемента, чем отпущено по фундам? Привлечь могут. Все эти интеллигенты, особенно от искусства, относились к ним, деловым людям, с тайным предубеждением. В лучшем случае терпели и никогда не чтили. Никогда. И в прежние времена деловых людей в России изображали обязательно несимпатичными; не то чтобы реакционеры, пошехонцы какие-нибудь старались, господа литераторы высмеивали, выводили на манер гончаровского Штольца. И Лесков сюда добавлял, и Чехов, и Тургенев — каждый деловых людей, предпринимателей, бездушными делал, человеческое отнимал. Видели в них представителей наступающего капитализма, а откладывалось это в сознании русского человека неприязню к хозяйственным людям. Недавно как раз Лосев обсуждал с Аркадием Матвеевичем несправедливость эту... Вспомнив, как в сквере Аркадий Матвеевич закрылся газетой, Лосев разозлился и сообщил Тане, что получил предложение уйти первым замом к Уварову, работать с ним вместе, и ничего плохого, кстати говоря, в этом не видит.

Наступило молчание. Таня отошла к окну.

— Значит, вы уедете от нас... А вот я отказалась!

— От чего?

— Мне тоже предлагали. В музей перейти. Для этого и вызывали.

— Это, наверное, Каменев интригует.

— Не знаю. Научным сотрудником предлагали.

— Подбирается...

— К кому?

— Не к вам, — язвительно сказал Лосев. — Скорее к астаховской картине.

Она рассмеялась — не тому, что он сказал, а тому, как он это сказал. Подняла руки, приглаживая разлохмаченные волосы, и от света окна рубашка ее стала прозрачной. Внутри обозначилась высокая грудь, длинные полные ноги.

Лосев сбился с мысли и, еще не думая зачем, встал, подошел к ней, но Таня отстранила его — подождите.

Наморщив лоб, застыла, вдумываясь, словно вслушиваясь, и, наконец что-то найдя, похолодела лицом и твердо, убежденно стала доказывать, что Уваров нарочно забирает Лосева к себе, чтобы легче прошло черное дело со Жмуркиной заводью. Ей все стало ясно, вся дьявольская механика этого коварного хода. В итоге на Лосева свалят вину, замарают его честное имя перед лыковцами, выставят так, что Лосев пошел на сделку, его купили повышением в должности, Уварову только и надо — лишь бы отвести от себя все упреки.

Пылая гневом, она разоблачала низкие замыслы Уварова, так истолковывала его слова, что Лосев прислушался. Злость помогла ей, злость делает людей проницательными. За преувеличенными ее страхами и подозрениями Лосеву кое-что увиделось. Легко было представить, как будущий председатель горисполкома пожмет плечами: «Я тут ни при чем, товарищи, Жмуркину заводь взяли у нас по согласию Сергея Степановича, хотелось ему уважить своего шефа». И далее будет смешок: сами, мол, понимаете — преподнес в ответ на назначение... А то, как Лосев протестовал, хлопотал, бился, — об этом не вспомнят. Останется одно — уважил шефа, и смешок. Чего доброго, прилепится, потянется за ним запашок сделки. Можно убеждать себя, что плевать на сплетни с высокого дерева, поскольку он чист и знает, как было на самом деле. Однако все равно запахнет. Его могли ругать сухарем, невеждой, выскочкой, считали, что он заносится, хамит — разного по дороге цеплялось репья, он внимания не обращал, на всякий чих не наздравствуешься. Но то, что касалось порядочности,

Лосев воспринимал с чувствительностью повышенной. Характер у человека, считал он, может быть любой, а вот репутация должна быть незапятнанной. Когда кто-нибудь из его работников совершал поступок сомнительный, Лосев становился неумолим. Понятие порядочности было туманным, бесформенным, но каким-то образом все понимали, что Лосев имел в виду, когда спрашивал, порядочный ли тот человек.

После истории с Антониной мир качнулся. Что-то подозрительное стало твориться вокруг его имени. Растекалась приторная жалость, вздохи, поднимали брови, отмалчивались, если говорили, то как-то смутно. Ему чудилось, что в городе узнали, слух расползается. Ни у кого, даже у своей сестры Лосев не спрашивал, не проверял. Прав он или не прав, ничего не значило, важно было, что у него в семье что-то произошло.

Тогда он справился с собою, но с тех пор многое перестало для него быть бесспорным, он обнаруживал противоречия там, где раньше все было так просто. С годами, казалось, все сложное должно было проясняться, а у него наоборот...

Если уж Таня про сделку упомянула, то другие, вроде Поливанова или Пашкова, наверняка это усмотрят и постараются расписать. С той разницей, что Таня все валила на Уварова, не допускала, что Лосев сам согласился, считала, что его заставили, обманули, вынудили... Ах, как ловко она выгораживала Лосева! Оправдывала, бессознательно перевертывала факты и жалела его.

И ему тоже стало жалко себя.

Обхватив руками колени, сидел он на диване в пижаме, расцветочной желтыми полосками вроде тех, что были на обоях. Небритый. Неуклюжий. Нелепый рядом с Таней. Не знающий, что ответить.

Взять и отказаться от этой должности? Он вполне способен пойти и позвонить сейчас Уварову, сказать, что передумал, не хочет, отказывается — и точка. Отчетливо, с удовольствием слышал свой разговор отчаянного человека, которому все нипочем, ничего не жаль. Но следом кто-то показал ему диапозитив: стройка на берегу Плясы — изрытый берег, штабеля плит, высокий железобетонный каркас нового здания над заводью. Был в этой картинке и сам Лосев. Его сопровождал новый председатель горисполкома, прорабы, инженеры, Лосев что-то указывал, они записывали.

Видеть себя в роли первого зама было приятно, хотя в итоге получалась какая-то насмешка: вертись не вертись, никуда не пойдешь, а все будет так.

Тут вспомнилась ему запись в тетрадке отца про будущее, которое, возможно, существует, заранее приготовленное. Как в поезде. Стоишь у окна и смотришь, как появляется платформа, на ней девушка с рюкзаком. Будущее вдвигается в оконную раму. Оно ждет за краем окна уже готовое. Нам кажется, что оно возникло, а на самом деле мы доехали до него, то есть дожили. Оно давно было приготовлено там, впереди.

Так появился другой диапозитив, другая картинка, в которой ему предстоит очутиться, — новоселье. Перевезет на новую квартиру сестру с племянником, сестра напечет пирогов с капустой, с мясом, он пригласит Гриценко, Аркадия Матвеевича, Наталью. Пригласит и Уварова, да тот не придет, и все будут поздравлять Лосева с повышением... Жизнь просматривалась вперед вплоть до мелких подробностей, как в сильный бинокль. Стоило подвернуть окуляры — и можно было увидеть его командировки в Москву в Госплан, его новый кабинет, который он хорошо знал, потому что это был кабинет бывшего первого зама, ныне пенсионера. Виделось, каким станет ка-

бинет, когда стол переставят к окну и на подоконник поставят китайскую розу. Все было известно наперед. Например, в какой санаторий ему теперь будут давать путевку.

Предстоящая жизнь его была расписана, распорядок ее был нарушим, он выдавался с должностью.

Лосев вскочил. Если б была гитара, он сыграл бы, спел назло принуде, которая управляла им, лишая его всякого выбора. Сделать бы что-нибудь такое ни с того ни с сего.

Но сколько он ни прислушивался к себе, ничего не возникало такого необязательного, непредусмотренного; придумать, конечно, можно было, но это не то.

Он опустил на четвереньки, устался на затоптанные разводы ковра. Пахло пылью. Пижамы с желтыми полосками делала его похожим на ряженого тигра.

Год за годом он делал то, что положено, привык, окончательно привык. Неизвестно, что мешало ему нарушить, словно наткнулся на какую-то силу...

Неуклюже уселся на диван. Таня не поняла, но смотрела на него весело, готовая принять участие в игре. Никакой игры не последовало. Он сидел печальный, поджав ноги.

— Ну и что же вы придумали? Как вы решили бороться? — спросила она.

Лосев не откликнулся. Тогда она посоветовала ехать в Москву хлопотать, можно еще успеть, во время экскурсий многие предлагали ей свою помощь — дочь одного министра, заместитель редактора московского журнала. Стоит бросить клич, и люди помогут, на Уварова ополчатся со всех сторон.

— Я сама к ним обращусь, если вам неудобно. Мне удобно. Мне бояться нечего.

Неосмотрительные ее слова взорвали его:

— А мне тоже нечего бояться, к вашему сведению! Я к Уварову иду не ради карьеры! И не потому, что меня обкрутили. Я все понимаю! — Он стукнул себя кулаком по колену. — И если я так делаю, значит, так надо!

Таня зябко съежилась, укрылась на кровати.

— ...Уважительная у меня причина! — говорил он победно. — Знаете, ради чего я иду?.. Хотите, скажу?

Хотя причина пришла ему в голову только что, но он верил, что она существовала и раньше, такая она была простая, убедительная. Заключалась она в проекте туристского центра, который он изложил Уварову и сейчас стал повторять Тане. Расписывал ожесточенно, свободней, чем в уваровском кабинете, как все надо устроить, возводил монастырские стены, реставрировал башенки, терема, золотил маковки церквей, малевал вывески, пока не вырос сказочно-пряничный, сочиненный из всех мечтаний, и ее, Таниных, в том числе, старинный городок, притом весьма практичный, коммерчески выгодный — с трактирами, медовой брагой, с блинами и забытыми ремеслами вроде гончарных, берестяных, кузнечных, с производством изразцов на местных глинах, с «красками большого огня». Реализовать такое поможет его новая должность. Оттуда, сверху, легче протолкнуть, средства изыскать. Ради этого и согласился он. Вот в чем его оправдание. Чем власти больше, тем скорее можно осуществить его план. Не ради себя он старался. Он готов был, если угодно, перетерпеть за такое благородное дело, пострадать от всяких сплетен...

Таня не перебивала, слушала внимательно, пока он не выдохся.

— Теперь понятно? — спросил он.

Она опечаленно кивнула.

— Почему вы не согласны? Чем-то приходится жертвовать. В данном случае — Жмуркиной заводью. А вы как думали?..

Он увидел ее взгляд и воскликнул:

— Ну не мог я отбить ее! Не мог! Невозможно было!

Таня покраснела, сказала, стыдась:

— Так-то так... Извините, но нехорошо, что это совпадает с вашей выгодой. Вы-то сами ничем не жертвуете. Я вам, конечно, верю, дивная идея, но она вас ведет вверх. Вы отдаете Жмуркину заводь, а получаете взамен... Это не совсем честно. — Она испуганно замерла, стиснула руками щеки.

— Что нечестно? — растерянно спросил он.

— Ну, этот туристский центр, вы же из-за него меняетесь. А какое право у вас на такой обмен?

— Хорошо же вы обо мне думаете!

— Вы не виноваты, вам расставили ловушку, — умоляюще сказала Таня. — Вы попались на расчеты: столько-то пользы, столько-то вреда. Но вы же не сможете пойти против своей совести, Сергей Степаныч, пусть польза, выгода, пусть ради города — все равно не сумеете! — Она сцепила пальцы, глаза подняла, моля подтвердить, не зная, какие еще слова найти. — Вы и не такого заслуживаете повышения, я рада за вас, честное слово! Но не так. Не уступая. Ведь можно еще бороться...

Он увидел, как она страдает за него. Нашлась живая душа, которой важно то, что с ним происходит. Какое это счастье! В той машине деловой жизни, что крутила его столько лет, редко кто интересовался им самим, каждый занят был собою, своими переживаниями и каждый мечтал, чтобы кто-то другой вник в его заботы и чувства. За ее волнение он прощал неприятное, горькое в ее словах. Он смотрел с нежностью на ее стиснутые руки, слушал ее теплый голос:

— Я помогу вам, вот увидите, это справедливое дело, с ним можно пойти куда угодно!

Потом он вспомнит ее слова, но тогда не обратил на них внимания. Что она могла, эта пигалица? Наивный энтузиазм ее мог сколько угодно биться о стеклянную вежливость внимающих консультантов, референтов, помощников, молодых людей, готовых пойти навстречу, разобраться, выяснить, помочь, поскольку обратился рядовой труженник из провинции, готовых даже на звонок Пашкову: «Что у вас там?..» Слишком хорошо он знал этих вышколенных, неуловимо увертливых ребят...

То неприятное, что смутно беспокоило Лосева во всей этой истории, теперь Таня произнесла вслух, она определила больное место, и с этой минуты Лосев стал ощущать дурное, стыдное в своем согласии. С любым другим Лосев перевел бы разговор на дело и логически доказал бы правильность своего решения, никакого иного решения не существовало, в сущности, Таня ничего другого и не могла подсказать. Совесть, душа... все это для Лосева оставалось милым детским лепетом. Действовало скорее то, что Таня в ы г о р а ж и в а л а его.

В мыслях его наступила путаница. Слышался кликушеский голос Ильи Самсоновича: «Дух сомнения! Беги его! Не допускай, строишься — и невесть куда потащит!..» Но он не хотел сомневаться...

Хмурые тени бродили по его лицу. Он не умел спорить с собой, он умел приказывать себе, делать выводы, взвешивать пользу и вред, подавлять ненужные колебания. Сейчас он перестал быть хозяином положения, то, что происходило, происходило с ним самим, и он уже не мог ни подавить, ни взвесить...

— Бедный вы мой, — сказала она, тронутая его печалью.

Взгляды их встретились, ударились друг о друга. Лосев облизнул пересохшие губы, и в этот момент Таня произнесла голосом, который он потом помнил всю жизнь:

— Идите ко мне.

### Глава 19

Зрение медленно возвращалось к нему.

И слух.

Он услышал стук своего сердца.

Оно билось, колотилось с размаху о грудную клетку. Рядом он слышал, как бьётся ее сердце.

Только что они составляли одно, у них было одно сердце, они были единым существом, то, что было хорошо одному, то было хорошо и другому, каждый старался угадать желание другого, сделать другого счастливым. Каждым своим изгибом тело старалось соединиться с другим телом. Казалось, ничто не могло отдалить их друг от друга. Они были вдвоем на пустынной голой земле. На ней не осталось ни городов, ни рек. Остановились стрелки всех часов. Время кончилось. Ни звука не проникало к ним. Жизнь взлетела к тому пределу чувств, когда все, кроме любви, потеряло смысл. То, что их волновало, еле различалось с высоты. Маленькие крохотные предметы — и эта заводь и этот Уваров — ничего не стоили в сравнении со счастьем, которое они испытывали. Это был взрыв жизни, окончательная истра́та ее, состояние наибольшей полноты и наибольшего опустошения.

Горячие тела их лежали обессиленно, впитывая покой. Плечи, ноги еще соприкасались, но течение уже разносило их. Они медленно всплывали, поднимались к свету. Разлука брезжила где-то наверху. Так бывало всегда. Близость, предельная, казалось, близость — и расхождение.

Опытность ее была неожиданной. Опытность и откровенность. Лосеву это нравилось и было жаль приходящего отчуждения.

Лицо Тани поднялось над ним, возшло, влажное и счастливое. Грудь ее с алыми сосками. Капельки пота блестя на верхней губе. Лосев разглядывал ее лицо, учился читать его. Без очков зрачки ее стали большие, жгуче черные.

Оказалось, она была замужем, вышла на последнем курсе института. Через год разошлись. Скучно было с ним. И в постели скучно, несмотря на то, что видный был парень и спортивный. Рассказывала она без смущения, простыми словами, которые сперва казались грубоватыми, но после них всё остальное становилось манерным. Зачем-то Лосев расспрашивал ее о том, что было, не сразу почувствовав ее неохоту.

Забудем клятвы, данные другим,  
Запомним клятвы, данные друг другу.

Она знала много стихов, произносила их вместо ответа, иногда невпопад, хотя потом какой-то смысл появлялся. Стихи объясняли больше обычных слов. И подходили они к ним обоим поразительно ловко.

Какое счастье — сон вдвоем,  
Кто нам позволил это?

Лосев удивлялся количеству существующих на свете стихов о всем том, что происходило между ними. Обозначить это словом «любовь» было неинтересно, оно обезличивало. Да и слова этого он опасался. То, что происходило между ними, было так тонко и переменчиво, что только стихи могли это как-то уловить, назвать.

Серенький морозящий денек прильнул к окну. Утро двигалось медленно. Они засыпали и просыпались под дозорный перестук капель у водостока. В старой гостинице были толстые стены. От них возникало чувство покоя и защищенности. И двери в номере были массивные, и ручка на них была бронзовая, литая, тяжелая.

Они жили здесь долго, давным-давно отделенные от всего мира. Иногда она будила его, шепча на ухо стихи или напевая своим теплым замшевым голосом:

Она лежала на спине,  
Нагие раздвоивши груди.—  
И тихо, как вода в сосуде,  
Стояла жизнь ее во сне.

Последние строчки она заставила его повторить и восхититься их красотой. Впервые после школы он произносил стихи. Язык его ворочался неуклюже, теряя ритм, сбиваясь. Слыша свой голос, он усмехался. Уж больно необычны были для него слова, если бы кто-нибудь услышал его...

Есть минуты, когда не тревожит  
Роковая нас жизни гроза,  
Кто-то на плечи руки положит,  
Кто-то ясно заглянет в глаза...

Она распахнула окно, стала, раскинув руки, в своей прозрачной рубашке. Позвала его, поддразнивая: побойтса? И он пошел на эту детскую подначку, встал рядом с ней на виду улицы. Внизу шли воскресные люди, ели мороженое, несли арбузы, с неба прикрапывало, тонкие блестящие проносились мимо, соединяя их с небом и землей. Люди не смотрели на них, занятые делами собственной важности, хотя кто-то, конечно, видел их, и этому обязательному соглядатаю Лосев показал язык...

В молодости, да и позже, начав работать в районе, Лосев гулял крепко и жадно. Девки любили не хмельное его веселье, а решительность. Считали его ходоком и тем не менее липли к нему. И никаких сплетен о нем не бродило, никого, кроме своих ребят, эти шашни не интересовали. Став начальством, он почувствовал, как все осложнилось. И женщины так просто не отставали, и все делалось известным. Дошел до того, что его вызвали, предупредили, и он себе раз навсегда запретил. Либо служить, либо гулять. А когда женился, надолго завязал. Во всяком случае, у себя в городе больше ничего себе не позволял, глаз даже не клал. Нельзя так нельзя. Власть и должность налагали свои ограничения, и Лосев давно усвоил, что за все приходится платить. Правда, уезжая в отпуск куда-нибудь на побережье, он не сторонился женщин. Получалось это само собой, опять-таки без усилий с его стороны. Ни разу эти увлечения не захватывали его всерьез. Он вообще не очень представлял, как это чувство может быть сильнее человека, конечно серьезного человека. Женщины нравились ему разные, лишь бы фигура была хорошая. Эта сторона существования была ясна, женщины были украшением жизни, источником радостей. После разрыва с Антониной уверенность в себе пропала. Впервые женщины предстали существами сложными, опасными. Он перестал ценить свои краткие победы. Никакие это не были победы, в сущности, он никогда не завоевывал сердце женщины. То, что они ложились с ним в постель, не означало, что они любили его. Вполне возможно, что не он, а они играли им, получали его, когда сами хотели, и оставляли... В Москве он еще раз убедился, что не понимает женщин. Произошло это с Галей, крымской его знакомой, рослой, чрезвычайно ак-

тивной особой, которая в первый же вечер после танцев, когда они остались вдвоем, предложила спуститься на пляж и купаться голыми. Она была кандидатом химических наук, лихая на язык, знающая все обо всем и обо всех, типичная московская дамочка. Приехав зимой в Москву, он встретился с ней в гостинице, и она пригласила назавтра к себе. Он приехал, ни о чем не подозревая, она открыла дверь, чмокнула его в щеку, ввела в комнаты, где были какая-то пара и высокий блондин с доверчивым приятным лицом. Звали его Олег, оказалось, что он муж Гали. Она знакомила их, прикусив в улыбке губы. У Лосева хватило выдержки не смутиться, он даже на гитаре сыграл и завязал с Олегом разговор о причинах пьянства, поскольку Олег занимался психологией. У Олега на сей счет имелись остроумные идеи. Слушая его, Лосев казался себе провинциалом — и статью недопека и умом недотыка, — чего Галину завело? Какого рожна ей не хватает? Снова и снова женская натура ставила его в тупик.

На следующий день она явилась к нему в гостиницу как ни в чем не бывало, в новом парике. Лосев спросил, зачем ей понадобилось вчерашнее представление. Она рассмеялась: друг дома — это всегда считалось пикантным, создавало остроту. Но у Лосева маячил Олег перед глазами и быть с ней он уже не мог.

— ...Сказать, с чего я стихи полюбила? В меня студент-практикант влюбился. Я тогда в десятый класс перешла. Он уроки истории у нас давал. Я была той девочкой. Это я теперь по-учительски понимаю. Трудновоспитуемой. У нас была компания. Я ходила каждый вечер с ними. Студент этот клеился ко мне с большой силой. Морочила я его и так и этак, однажды говорю: достань мне жвачку или хипповую сумку — торбу, — тогда посмотрим. Я прежде всего хотела наших ребят поразить. Приходит он к нам на торчок и вместо жвачки приносит мне цветы. В той обстановке это вызвало смех. Его обсмеяли и меня. Я озлилась, что мне с вашими цветами делать, говорю, у нас цветов полный огород. Вовсю ради публики старалась, выкинула цветы. А там в букете стихи были. После их нашли. Хорошие стихи. Я читала и плакала. Никто мне цветов больше не дарил. Ученики только в день Восьмого марта приносят...

— Я тебя давно хотел спросить — почему ты заплакала, когда у меня в кабинете картину увидела?

— Ох, лучше не надо об этом.

— Не надо так не надо...

— А ты что тогда подумал?

— Я, честно говоря, подумал — блажная. Нельзя из-за картины плакать.

— Я не от картины. Я над собой плакала... В училище я мечтала художником стать. Много писала. Меня хвалили. У меня было не хуже других. А чувствовала, что все это не то, не то. Чего-то не хватает. Утешала себя — придет с возрастом, нужен опыт жизни, культура... В учительницы пошла, но все же втайне не теряла надежды. А когда увидела астаховскую картину, я все поняла. Ведь я этот вид сколько раз писала. Мои утешения, что учителя у меня были плохие, что мне что-то откроется, — все рухнуло. Я недостижимость поняла. Всю разницу между посредственностью и настоящим талантом... Нет, нет, не бойся, это уже не слезы, так... Я рада, что так получилось. Астахов мне помог. На меня и раньше, как смотрю великую картину, тоска нападала. Счастье и одновременно тоска. И руки опускаются. Я часто думала об этом. Теперь поняла — это тоска от совершенства. Видишь, как ты мала. То, что зрело в тебе смутно и неосознанно, уже существует. Оно сделано. Твоя мечта. Твои сны. Значит, то, не состоявшееся,



то, не возросшее в тебе — убито. Я сразу увидела, что вот так надо было написать дом Кислых, только так, это моя картина... Хотя что-то в ней кроме того еще есть, какой-то дополнительный секрет...

— Все-таки почему ты отказалась перейти в музей?

— А мне в школе сейчас хорошо. И экскурсии, и кружок. Я ребят люблю.

— Надо вперед смотреть. Так и будешь учительницей?

— Ты как моя мама.

— Ты про будущее думаешь?

— Не думаю, а мечтаю.

— О чем?

— Не важно. Пока мне хорошо, я не хочу ничего рассчитывать. Перестанет быть хорошо — уеду.

— У человека должна быть цель, идея жизни. Ведь ты учишь ребят идти вперед. Мне казалось, что работа в музее — это рост, перспектива.

Она потянулась, погладила себя по бедрам. Лосев что-то еще говорил про способности, а она, тихо смеясь, прижалась к нему.

— Выше этого ничего нет и не было, — затуманенно говорила она. — И быть не должно.

Самоуверенное «не должно» поразило Лосева. Все его воспитание, вся привычность его суждений возмутились, и в то же время втайне со сладким стыдом, прижимая ее, он признавался себе, что да, так оно и есть...

Как ни крутись, личная жизнь для большинства людей, которых он знал, в конце концов была самым главным. И для него самого. Потому что жизнь, которую он вел после ухода Антонины, которая вся состояла из работы, была не жизнь, нельзя подобного требовать от других людей...

Как-то пришел к нему на прием инженер Пименов из промкомбината, просил комнату для дочери. Стал излагать, вдруг горло у него перехватило, чуть не разрыдался, выбежал, так и не договорив. Вечером Лосев зашел к нему домой, все-таки человек заслуженный, активист. Посидели, чай попили, вышли во двор, и Пименов рассказал. С дочерью у него отношения разладились. И раньше она росла диковатая, с людьми сходитья не умела, страдала от этого. С возрастом совсем замкнулась. На работе ее не выносят, но он-то чувствует, что внутри у нее душа живая томится, чахнет и гибнет, а высвободить ее нет возможности. Когда, из-за чего это получилось, он один знает. Его отцовская вина. Мать болела, все по больницам, а он дочкой не занимался, не до семьи было, каждую минуту общественной работе отдавал, семьей жертвовал. А зачем? Жена так и умерла в больнице на чужих руках, навещал ее наспех — то актив, то комиссия... Зачем это все было? — допытывался у Лосева этот седеющий, с хорошо поставленным голосом человек, безотказный, аккуратно записывающий выступления на семинарах, на заседаниях... Лосев как мог утешил его и с комнатой дочери помог, но после этого, слушая на каком-нибудь активе его горячее выступление, всегда испытывал неловкость.

— Какая ж у тебя личная жизнь?

— Бурная. Ребята. Я люблю возиться с ними. Потом родные. У нас семья большая. Потом сватаются ко мне... И вообще.

— Кто сватается?

— Да хоть бы Рогинский.

— Рогинский?.. И что ж ты?

— Он хороший, честный, но ему жена нужна для семьи, а не для любви... Мне любовь хочется испытать. Настоящую. Великую и вечную. Как по-вашему, была у Астахова такая любовь? Я кругом себя не могу обнаружить. У всех какая-то синтетика. Неужели я не в состоянии внушить такую любовь? Как по-вашему?

— Можешь, конечно, но лучше самой полюбить.

— Наконец-то получила указание... Еще бы сообщили, кого и как... А если я не умею? Эх, знали бы вы, какая гадость у меня на душе от замужества осталась. Нет уж.

— И что же?

— Погуляю еще годик и рожу сына. Или замуж выйду.

— За кого же?

— Может, за Рогинского. Может, еще за кого-нибудь... А может, за вас!

Лосев рассмеялся, но ничего не успел сказать.

— ...Нет, пожалуй, лучше за Рогинского. Вам я не нужна. Вам никто не нужен, вы все сами можете. А мне куда-то силы надо приложить, я бы столько могла... Рогинский меня к дому приключит, я ему сделаю, как он мечтает, первый дом в городе в славянско-тexasском стиле. Приемы с пирожками, виски. Смотрим телевизор, все по очереди говорят тосты... Или как теперь принято — поднимают тосты. Приезжие артисты и поэты расписываются в альбоме, а не то еще на скатерти, и на завтра я вышиваю их высказывания.

— С чего ты взяла, что мне никто не нужен? Ты вообще про меня ничего не знаешь.

— Ошибаетесь. Во-первых, я у Поливанова расспрашивала. У него на всех председателей собраны данные.

— Что же он про меня сказал?

— Он все перетолковал не так. Например, он считает вас карьеристом. Что вас побуждала с самого начала не смелость, а карьеризм. Но ведь так можно все переиначить. Если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко ушли... У вас другая, совсем другая погонялка. Знаете, чем дети от взрослых отличаются? Дети уверены, что они все могут. Им все подвластно. По-ихнему, можно всех победить, всего добиться, совершить любые подвиги. И никогда ничего не бывает поздно. Вот в вас это сохранилось.

— Если бы...

Он заглянул туда, в мир, который когда-то принадлежал ему полностью. Откуда она узнала?.. С дальними странами, звездами, с неоткрытыми закоулками природы. Он был в нем и летчиком, и серым волком, и парусником, и волшебником.

— А я адрес знаю, где вы жили маленьким! Ходила от школы до вашего дома. Представила, как вы мальчишкой домой возвращались, в столярную заглядывали, палкой сшибали крапиву, трещали по железной ограде. Я этот народец хорошо понимаю. И вас через школьность поняла...

— Да зачем тебе это?

— Интересно... Я знала, что мы вместе будем.

Она откинула лохмы тяжелых своих волос, подставляя себя внезапной его настроенности. Что-то поймав в его глазах, сказала, подтверждая:

— Точно! Меня многие считают того... с приветом.

Чуть заметно подмигнула. Лосев принужденно рассмеялся. Милые странности ее поведения опасно накренились, он поразился тому, как легко можно все перетолковать.

— Вы пробовали долго-долго стоять перед астаховской картиной? Так, чтобы уйти в нее?

— Да, да.— Лосев обрадовался перемене разговора.— Было дело, я на выставке, когда второй раз пришел...— Он даже сконфузился, вспоминая.

— Верно, она заговорила? Один человек сказал, что к настоящим произведениям живописи надо относиться, как к высочайшим особам. Надо стоять перед ними и ждать, пока они удостоят заговорить с нами. Я тоже дождалась...

Что-то яростное, беспощадное и от этого еще более прекрасное появлялось из глубины ее лица. Она смотрела на него, видела и не видела. Что было перед ней в эти минуты? Теперь он знал, какая она бывает, и знал, что всегда будет добиваться, чтобы ее лицо стало таким.

Иногда на нее накатывала грубость, она подзадоривала его, Лосев хохотал и радовался, он и не подозревал в ней такого.

Они все знали, какой он,— и Таня, и Поливанов, и другие. Они приписывали ему добродетели и пороки, о которых он не задумывался. Был ли он тщеславным? Карьеристом? Наверное. Он замечал в себе и это. Она уверяла, что он чуткий, смелый, искренний. Но он находил в себе и злого, и хитрого, и равнодушного. Девицы в облисполкоме считали его веселым и добрым, а лыковские девицы — сухарем и нелюбезным. Все зависело от обстоятельств. По-видимому, он мог быть, каким требовалось. Какой он на самом деле? Может, никакой? Когда-то характера хватало, но со временем он убедился, что характер иметь невыгодно. Качествами характера пользовались. Играли одно время его вспыльчивостью, пользовались и отходчивостью. Он стал сдерживать себя, заставлял себя быть строгим. Анализировал каждый срыв. Он делал себя таким, каким полагалось быть руководителю. Нравился ли он себе таким, сделанным? Он не задумывался над этим. Слыл он человеком с характером, во всяком случае — не бесхарактерным. Но какой именно характер преобладал у него? Поливанов чернил его, Таня рисовала его восторженно-отзывчивым, самоотверженным, у каждого был свой Лосев, не схожий с другими; сам же Лосев не мог никого из них поправить и сказать — я на самом деле такой, а не такой. Потому что неизвестно, что значило «на самом деле» и что значит «быть самим собой», если он им не бывает. Он попробовал все это выложить Тане и привел несколько примеров из своей биографии. Но Таня, смеясь, отвергала его примеры, она видела сокровенную изнанку его поведения, в которой всегда было какое-то благородство или честность. Казалось, что все превратности его жизни со взлетами, неудачами, разочарованиями, всю бестолковость, случайность — все она сумеет соединить в стройность, увидеть смысл...

Все, все за исключением разлуки, которая их ожидает. И обмена, как она назвала. Слово обмен было так близко к слову обман. Ни она, ни он не возвращались к этому. Глаза ее светились ровным коричневым светом. Рука ее лежала у него на голове, перебирала волосы, гладила, и он не заметил, как заснул. Однажды он вынырнул из темной дремы и увидел, что Таня сидит над ним, щеки ее мокры от слез, он хотел проснуться и не мог, она прикрыла ему глаза ладонью, и он, вдыхая запах, который стал родным, снова забылся, приняв это за извив сна, который он видел и в котором тревоги их счастливо разрешились, все каким-то образом уладилось...

Вечером он проводил ее на вокзал. Она уезжала в Москву к сестре на остаток отпуска.

Сквозь порыжелую листву чисто и ярко светили фонари. Троллейбусы, машины мчались, разбрызгивая лужи. В вокзале было люд-

но. Сколько Лосев себя помнил, на всех вокзалах было душно и пахло кислым, скамейки были заняты спящими, люди сидели на чемоданах, ели, пили, бегали дети, всегда было переполнено, всегда казалось, что идет какое-то переселение.

Таня держала его под руку, они ходили по платформе вдоль поезда, у зеленых, омытых дождем вагонов стояли провожающие и те, кто уезжал, возбужденные, ошпаренные. Все ели мороженое, и Лосев тоже купил два стаканчика. В Москве Таня собиралась навестить Ольгу Серафимовну, посмотреть письма Астахова, может, найдется какой след и удастся понять секрет лыковской картины. У нее была мечта написать об астаховских пейзажах. Лосев просил передать привет Ольге Серафимовне, он будет рад принять ее в Лыкове, ежели она пожелает...

— Хотя...— он вспомнил и вздохнул.

— То-то и оно,— сказала Таня и посмотрела на часы.

Припудренная, гладко причесанная, в глухом черном свитерочке, она показалась сейчас Лосеву далекой, недоступной. Невозможно было представить, что недавно она принадлежала ему...

— Приедет, а вас уже не будет,— добавила она строго.

Лосев удрученно кивнул. Последние минуты они стояли у вагона молча. Проводница смотрела на них, и Лосев отпустил Танину руку.

— Не огорчайтесь, я все устрою,— сказала она и поцеловала его в щеку.

Запекшиеся губы ее прижались к его щеке и замерли. Было в этом долгом неподвижном прикосновении доверие, от которого у Лосева защемило в груди; она провела пальцем по щеке, стирая следы помады.

«Что же я стою, надо же сказать ей, обязательно надо, я не должен сомневаться, я решил...» — твердил он и продолжал стоять со слабой улыбкой.

Поезд тронулся, он пошел, не отпуская ее глаз за двойным окном. Она еще ждала, он сделал веселое лицо, помахал рукой. Она смотрела серьезно, запоминающе.

Красные огни растаяли в темноте, и на душе у него стало пусто, как на этой зашарпанной дощатой платформе. Лосев пошел в буфет, взял с какими-то двумя работягами бутылку портвейна, задумчиво пил свой стакан.

Что же будет? — спрашивал он себя. Он ничего не мог изменить. Когда она вернется, все будет совершенно, утверждено. Она посмотрит на него так, как смотрела на Поливанова, уходя.

— Напрасно ты выражаешься,— сказал ему один из алкашей.— Нельзя выпивку портить матерщиной. Выпивка выше этого.

## Глава 20

Многие полагали, что Лосева с его хваткой, опытом вскоре возьмут наверх, в нем виделся работник большего масштаба, в Лыкове для него напряжения не хватает, вполнеাকা горит... Вероятно, так оно и было бы, если бы Лосев всегда делал то, что нужно было ему делать, если бы он следовал правилам, которые он выработал для себя, которым его учил Фигуровский да и последующий опыт. Но, к сожалению, время от времени он почему-то срывался, поступал вопреки своим правилам, своей пользе, делал то, что ни в коем случае нельзя было делать, и нужды на то не было, а делал.

Во время приезда очередного начальника из министерства директор ресторана осведомился, что готовить на обед — шашлыки, плое рагу?.. Он перечислял, красуясь, пока Лосев не поинтересовался —

откуда мясо? Горд уже месяц сидел без мяса, выбрав свои лимиты. Все это Лосев тут же пояснил гостю. Директор ресторана удовлетворенно засмеялся — о чем разговор, это не проблема для такого случая. У Лосева глаза металлически взблеснули, прыгающим голосом он приказал директору немедленно сдать мясо в детский сад, и раз он такой доставала, то впредь обеспечивать заводской детсад мясом. Пообедать же придется по-вегетариански, как и до сих пор обедали, полагаясь на искусство повара... Он извинился перед гостем, и гость просил ни о чем не беспокоиться, похоже, что ему понравилась такая революционность. Однако на следующий же день Чистякова возмущенно упрекнула Лосева за бестактность, негостеприимство, назвала это копеечной принципиальностью. Дошло до области, оттуда позвонили — что случилось? Посмеялись, но когда Лосев туда приехал, пожарили мягко и настороженно.

Местные политики считали, что такие курбеты мешали его продвижению.

В другой раз, вспомнив, видимо, школьные годы, стал на гитаре играть, выступил на концерте самодеятельности. Ему аплодировали особенно бурно, и разговоров было множество. Начальство же пришло в смущение, повторяли формулу, брошенную Чистяковой: «гонится за популярностью». Ладно в районном масштабе, а что как, став областным начальником, он позволит себе выйти на сцену с гитарой?

Считалось, что город по числу больничных коек чуть ли не в передовых. Но что это были за койки! Главная больница помещалась в бывшем постоялом дворе. В палатах от сырости плесневели стены, флигели темные, весь день при электричестве. Когда Лосев хотел закрыть оба флигеля, ему сказали, что делать этого нельзя, закрыть койки можно лишь с разрешения министра, а министр не разрешит, больница числится как образцовая, зачем ухудшать районные показатели, не только районные, но и областные. До него пытались этот вопрос пробить — не получилось, но Лосев вынес вопрос на исполком, привлек депутатов и показал, что больница никакая не передовая, а невозможная для пребывания. Молодежь сняла ему фильм, где были плесень и потеки на стенах, вросшие в землю бывшие конюшни, холод в палатах — больные в пальто... Лосев с этим фильмом добрался до министра здравоохранения, пятьдесят коек были закрыты, и после этого удалось внести в план строительства новую больницу.

Конечно, он мог сорваться на этом деле, это был риск, он сам себе отрезал пути отступления; если б он вернулся ни с чем, ему пришлось бы уйти.

Время от времени что-то такое в нем взбрыкивало, он и сам не понимал почему.

В остальном же он вел себя умно и расчетливо и многого добился. С помощью депутатов пересмотрел городские показатели. Выяснилось, что не у двадцати, а у всех тридцати пяти процентов населения нет водопровода, что посадочных мест в столовых и ресторанах меньше, чем числится, что на каждого жителя бытовых услуг приходится всего на двенадцать рублей. Город сполз на предпоследнее место в области. Правда обходилась дорого. Но зато, как говорил Лосев, она и стояла того. Горожанам нравилась его открытость, нравилось, что он боролся с враньем, понимали, что простодушие его — прием, что на самом деле он себе на уме. Выше головы он не прыгал, действовал «в рамках» и, если чего не мог, признавался не без цинизма. Когда, допустим, его критиковали за загрязнение реки, он откровенно объяснял, что строить очистные сооружения ему невыгодно, потому что плана они не дают, план дают дома. Нравилось и то, что был скуп на обещания, зря не сулил, умел отказывать сразу, без проволочек.

Последние годы он стал уставать от людей. Летом в воскресные дни он уходил далеко вверх по берегу Плясы, в глухие камышовые заросли, туда, где Пляса сужалась до ручья, там были места с каменистыми берегами и отлогими плитами. Он подолгу сидел, опустив руку в воду. Нити воды местами запутывались, кончики пальцев скользили по вздутым узлам, выскивали тугие сплетения, клубки, над которыми вспыхивала пена. Большой частью нити струились ровно в своем ламинарном движении. Он вспоминал эти красивые термины из гидравлики — ламинарное, турбулентное движение...

Струи воды колыхались всем потоком. Рукопожатие воды всегда было дружеским, как бы ни сводило пальцы от холода. Слои воды были разной температуры, и это он тоже ощущал. Удочки лежали на берегу, он их брал с собою, чтобы избавиться от расспросов.

Вода успокаивала. Он начинал чувствовать, как устали мускулы лица. Что-то они изображали. Какое-то выражение. Невозможно было от него избавиться, содрать его.

Уставал он оттого, что работать становилось все труднее. Верхний слой работы он снял, теперь надо было зарываться глубже и глубже. Все больше времени уходило на то, чтобы кого-то убедить, уволить, отбиться от очередной перестройки, требовалось все больше отчетов, сводок, бумаг, иногда ему казалось, что люди работают все хуже, и у него все меньше было времени следить, проверять, заставлять переделывать...

Иногда он обнаруживал, что к нему относятся неприязненно только потому, что он начальник. На сессии в перерыве он подошел к Марии Завьяловой, закройщице швейной фабрики, женщине крупной, красивой. Она стояла с подругами в длинном синем платье.

— Привет, — сказал Лосев, — как дела, Завьялова? Как жизнь молодая? Смотри, платье длинное надела. На сессии это необязательно.

Он засмеялся, и собеседницы Завьяловой засмеялись, она же стала почему-то серьезной. Лосев заметил это, но, не придав значения, продолжал прежним покровительственно-хозяйским тоном, как до этого обращался к другим, как когда-то обращались к нему:

— Ну, как с планом?

— Нормально.

— А на личном фронте?

Завьялова землянично покраснела и произнесла звонко:

— А как ваши дела, Лосев? Как у вас с супругой?

Он растерялся, а она с напором, наступая, продолжала:

— Не привыкли? Что касается платья, так я тоже могу... Разве идет розовенький галстук к черному костюму?..

Те же женщины прыснули искренне, невольно.

С трудом, кое-как он вышел из положения, выставив свою огромную простецкую улыбку:

— Правильно!.. Вы молодец! Так мне и надо!..

Но когда Морщихин, зав коммунальным отделом, стал возмущаться бестактностью Завьяловой, назвал это выпадом, добавил про ее предстоящий развод — дело, недостойное звания депутата, — Лосев не одернул его.

Негодование Морщихина было приятно, успокаивало.

В отношениях с женщинами, особенно нестарыми, интересными, какой бы ни шел разговор, у Лосева с молодости присутствовала какая-то добавочная, не мешающая делу игра, хоть самая малая, но все же она происходила. Независимо от его воли что-то проскальзывало из глаз в глаза. Завьялова же смотрела на него иначе, поэтому и не приняла его тона. Он для нее не существовал как мужчина, существовал исключительно как должностное лицо, не больше.

Такое существование было печальным открытием, предстояло обитать в точно очерченных служебных рамках, где есть свой юмор, своя фамильярность и — ничего за пределами. Он стал суше, не рисковал, все чаще превращая разговор в чисто деловое общение. И шутки его, байки, которые он умел преподносить, все больше вставлялись для дела.

...Бритва, чуть подвывая, срезала жесткую щетину на подбородке. Лосев следил в зеркале, как щеки становились гладкими и большой, тяжелый его подбородок начинал блестеть. Он растирал лицо одеколоном, чтобы щипало и жгло, и в эти минуты его всегда останавливала неприятная мысль, что он только что и брился и натирался одеколоном. То есть вчера. Вчерашнее утро было только что. Сутки промелькнули незаметно, и вновь он оказался у зеркала. Каждый раз он ужасался, что ничего не успел. Прошли те времена, когда он горделиво шествовал по городу, любуясь своим хозяйством. Ныне он повсюду натывался на то, что не сумел, не успел сделать. Не смог построить овощехранилище с хорошей вентиляцией, получилось черт те что. В столовых летом не было зелени, никак было не заставить директоров. Любая мелочь требовала все больше энергии, а главное — времени, времени...

Отчасти он даже обрадовался, попав в больницу после спазма. Недели две он лежал неподвижно. Врачи спрашивали, не было ли у него нервного потрясения, он слабо мотал головой. Решили, что спазм от переутомления, — много работал, два года без отпуска, ненормальный режим... Он не спорил. Никто не догадывался об истинной причине, ни врачи, никто в исполкоме. Хотя все произошло на виду два месяца назад...

К нему никого не пускали. Ни записок, ни книг, ни радио, лежите и сосите лапу, как сказал пожилой невропатолог. Он лежал один в маленькой палате с почему-то зарешеченным окном. Стоило резко поднять голову — стены шатались, пол накренился и в голове что-то переливалось тяжелое, как ртуть. Впервые он остался надолго наедине с собой. «Не думайте о делах» — но, кроме дел, он не знал, о чем думать. О себе он думать не привык. К нему пытались пробиться все больше по служебным вопросам, сестра присылала пирожки. Лосев гадал — кто приходил навестить его просто так, по дружбе? Кроме военкома, про остальных думалось неуверенно. Последний год, до отъезда Антонины, они перестали звать к себе и сами ни к кому не ходили. Когда она уехала, Лосев не возобновил прежнее гостевание, рад был каждому спокойному одинокому вечеру.

Как ни избегал он думать, мысли его вновь и вновь возвращались к той аварии на хлебозаводе, которая произошла месяца два назад, в начале зимы. К Лосеву примчался директор Ширяев — авария, завод остановился! Он долго путался, запинаясь от страха, пока не удалось выяснить, что ремонт, который Ширяев вызвался провести хозспособом, своими силами, он провести не сумел, доложить побоялся, понадеялся на авось, и теперь что-то обвалилось, печи встали. К тому же он послал в область паническую телеграмму, что окончательно вывело Лосева из себя, Лосев пообещал отдать Ширяева под суд, он кричал на него, стараясь перекрыть плаксивый его, скрипучий голос, и Журавлев тоже орал на Ширяева, на него кричали все, потому что он был виноват, потому что авария грозила городу бедой, потому что он держался глупо, бессмысленно твердил: «Передоверился», сваливал вину на мастеров... Ширяева тут же отстранили от работы, несколько суток Лосев провел на хлебозаводе, организуя ремонт, и в той горячке смерть Ширяева от инфаркта прошла почти незамеченной. Потом на прием к Лосеву пришла вдова Ширяева, рассказала,

как, вернувшись из исполкома, муж лег на диван, накрыл лицо газетой, ничего не говорил, потом что-то закричал, она вбежала, а он уже не дышит. Она ни в чем не винила Лосева, рассказывая, как бы мирила Лосева с покойным. Грузная, рыхлая, она была похожа на Ширяева, стул под ней скрипел, напоминая пронзительный вопль Ширяева. Вспомнил Лосев свой безобразный крик. Зачем он орал на старого человека? Криком ничего нельзя было исправить! Но в том-то и штука, что хотелось прежде всего выместить, наказать, сделать ему побольнее. И когда Ширяев схватился за сердце — господи, да ведь он же схватился за сердце! — появилось злое удовлетворение, а, кажется, Журавлев крикнул: «Не прикидывайся!»

Понимали, что инфаркт был от расстройства, но никто не ставил это Лосеву в вину. Считалось, что Ширяеву не повезло, сердце оказалось слабеньким, накануне грипп перенес. Вдова пригласила Лосева на сороковины. Неожиданно для себя он заехал к Ширяевым раньше. Жили они в блочном доме на первом этаже. В большой комнате занимались взрослые дети, в маленькой вдова писала открытки одинакового содержания: сообщала о смерти мужа фронтовым его друзьям. Во время войны Ширяев служил оружейным техником, воевал, имел два ордена. На стене висел раскрашенный его фотопортрет в черных лентах. Под стеклом розовощекий Ширяев выглядел лихо, самоуверенно, глядя на него, Лосев не чувствовал раскаяния. Диван, на котором умер Ширяев, был новенький. Лосев расспрашивал вдову, не говорил ли что Ширяев перед смертью. Наверное, если бы Ширяев пожаловался на него, Лосеву было бы легче. Ночью Лосев проснулся оттого, что стучали в дверь. Он встал, открыл дверь, никого не было. На завтра в кабинете посреди дня повторилось то же самое. Он заметил, что стал говорить тихо. Мысли его возвращались к тому дню: если бы он проявил сдержанность, Ширяев не умер бы? Следовательно, стоило чуть пожалеть этого человека, и все обошлось бы? Немного сочувствия к тому, против кого выступаешь, говорил Фигуровский. Теперь он понял эти слова...

Лежа в больнице, он думал о том, что выговоры, разносы, которые он устраивал у себя в кабинете, — как это смертельно опасно. Так легко, невзначай словом убить человека — вот что его ужасало.

Больничные ночи длинные, бессонные. Слышно, как стонут, страдают люди, жизнь человеческая трепещет, словно пламя, задуваемое ветром, слабая и короткая. Лосев слушал, как билось его сердце, брал зеркальце и видел там человека с лицом болезненным, неприветливым, глаза испуганные, от этого подозрительные. Как только человек его замечал, он подбирался, разглаживался, появлялось уверенно-бодрое — все в порядке! В следующий раз человек в зеркале так просто не поддавался, враспloh его уже застать было нельзя. Внутри того Лосева, которого видели все, был другой Лосев. Но большей частью другого Лосева нельзя было обнаружить, казалось, его не существует. Из глубины зеркальца его разглядывал взрослый мужчина... Неужели он — это Серега Лосев, неужели его мама считала красавцем, расчесывала, счастливо терлась щекой о его лицо?

Он смотрел на себя не узнавая — какое отношение он имеет к этому человеку? Почему он в больнице? Он изумлялся своей жизни, которая вынесла его именно сюда, на эту отбель, на эту палату.

Вечерами к нему проникал Матвей, городской забулдыга, которого Лосев давно грозился направить на принудлечение. Был он лет сорока, богатырского сложения, с печатью пьяницы на умном и безвольном лице. Страдал он какой-то костной болезнью и, кутаясь во фланелевый, мышиноного цвета больничный халат, садился в угол к



батареи. Оттуда тихо и мечтательно развивал очередную свою идею всеобщего счастья.

— Ты зачем пьешь, Матвей? — спрашивал его Лосев, которого подобные проекты мало занимали.

— Пью? Чтобы выпить, — не задумываясь отвечал Матвей.

— А не работаешь почему?

Когда Матвея удавалось вывести из елейно-мечтательного состояния, он становился занятно едким.

— Не работаю?.. Потому что честный человек.

— Как это?

— Вы меня тунеядцем числите, а я почестнее ваших бюрократов. Что они у тебя делают? По телефонам болтают, по магазинам шмыгают. В рабочее время свои единоличные делишки обделывают. А я, между прочим, за свой счет бездельничаю, бесплатно для государства!

Однажды он признался, что считает себя виновником смерти жены, загубил ее и с того времени запил.

— Пью вместо покаяния. Заливаю совесть. Растолкуй мне, пожалуйста, — почему мы не каемся? Безобразничаем и не каемся?

— Кому каяться?

— Хоть бы людьми другим. Встать перед ними и повиниться. Так, мол, и так, вор я, мошенник. Топчите меня, я человека замучил...

«Это верно, он прав, — думал Лосев, — почему я не могу признаться, ведь виноват же я в смерти Ширяева, а не могу сказать это, Матвей может про жену свою, а я не смею хотя бы так, как он...» Он вспоминал разные происшествия, какие происходили вокруг него, и с удивлением не мог найти случая, чтобы люди каялись оттого, что их замучила совесть, признались бы сами в злоупотреблениях, в том, что грубы, злы; несправедливы... Как-то даже было смешно, странно представить такое.

— Вот ты призываешь меня к работе, — рассуждал Матвей. — Согласен. Но ты сперва мне растолкуй — для чего работать?

Выслушав Лосева, он разочарованно вздыхал. Подхалтурить, схватить шабашку, чтобы прокормиться, это он понимал. Сверх того — пустое.

— Люди разделяются на две графы. Одни при жизни все стараются получить. Им должность подавай, а не уважение. Все выше, все больше, хватай, одна живем. Другие хотят осчастливить других людей, им важно — что о них подумают. Осчастливить можно по-разному...

— Я в какой графе числюсь?

— Про тебя все вначале радовались — наконец-то повезло нам. Квартиры инвалидам войны распределил — думаешь, не знаем? Родом и без тебя бы отгрохали. А жилье воякам — твоя единоличная заслуга. Не стал бы грудью — и цедили бы по квартирке в год. Другие и не дожили бы. Роль личности в истории, между прочим, велика.

— Ну а теперь?

— Теперь, Сергей Степанович, вы на вторую роль отодвинуты. Возьмем наш парикмахерский салон. Раньше чистоту наводят: сегодня сам Лосев придет! Стараются холопские души, себя показать хотят. Сегодня, знаешь, перед кем мастер крутится? Больше, чем перед вами, начальниками? Перед директором гастронома! Ему специальную голубую салфетку держат. Маникюр ему делают. Представляешь? Сейчас они, завмаги, первые люди.

Бывали дни, когда у Матвея обострялись боли в ногах, он кусал подушку, хрипел по-лошадиному, после этого приходил измученный, злой.

— Лежишь? Тебе-то что. У тебя и болезнь начальническая. Хорошо вам, начальникам. Все тебе приносят яблочки, компотики... Думаешь, это к тебе рвутся? Это они к начальнику идут.

— Почему же так? Ты, например, ко мне ходишь.

— Я человек отдельный. Я без правил живу. До конца если вникнуть, так и я притягиваюсь твоею должностью. Лестно. Последний человек, можно сказать, самая отстающая личность имеет диспуты с головой города. На равных. Был бы ты рядовым — неизвестно, тянуло бы меня... И врачи не вертелись бы так вокруг твоих спазмов...

— А ты как думал, — соглашался Лосев. — Отец города, к тому же хороший, заслуживает внимания. Ты, например, ничего обществу не даешь, никакой пользы, а требуешь к себе заботы одинаковой со мной.

— Ежели я никудышный, зачем со мной разговариваешь?

— Хороших людей я изучил, а ты явление непредусмотренное, побочный продукт нашего развития, к тому же злой, от тебя можно кое-что услышать.

— Ты меня, значит, к отходам причисляешь? Меня ценить надо, я независимый, я, может, самый свободный человек в твоём улье.

— Кому радость от твоей свободы?

Лосева разбирала досада при виде этого могучего тела, ума, силы, которые могли бы столько сотворить прекрасного. Что другое, кроме работы, может оправдать отпущенную человеку жизнь?

Работа была для Лосева мерилom человеческих достоинств. Человек прежде всего существо работающее. Кто не работает, тот не мыслит, человек без труда гниет. Лосев был убежден, что труд и лечит, и учит, и заставляет думать, и делает человека лучше. Когда-нибудь людей будут наказывать лишением работы. Приговаривать к ничого-неделанию.

Повсюду не хватало рабочих рук, надо было строить детские сады, ремонтировать дома, в этой же больнице не хватало санитарок, привозили больных из района — от этого городским жителям не хватало коек... Привести в порядок парк... Засыпать овраг... Канализация за счет долевого участия предприятий... Эх, директора непробивные...

Все работают вполсилы. Парню восемнадцать лет, а он ни разу не работал. Растим бездельников. С детства надо начинать. Сейчас вполне можно найти труд под силу подростку... Постоянно и больно он наткнулся на беспорядок, на безобразничание таких, как Матвей, на тех, кто зачем-то ломал скамейки в парке, портил дорогу, бил фонари, на то, что не мог построить овощехранилище с современной вентиляцией, что не сумел достать битума дорожникам, не мог раздобыть городу толкового архитектора...

Он излагал Матвею свои исполкомовские заботы, проблемы, и Матвей на какое-то время заинтересовывался, но Лосев понимал, что никуда работать Матвей не пойдет, не образумится. Сколько ни пытался Лосев, не мог он передать Матвею свои чувства. Он понимал, что Матвей так и останется забудыгой, растратит впустую свою жизнь. При этом сам себя он считает мыслителем, свободным и бескорыстным, достойным сочувствия — вот в чем фокус! Был ли к Матвею какой-нибудь ключ? Каждый человек загадка. Есть люди, которых вообще никто никогда не может отгадать. Ключ от них утерян. Другие раскрываются просто, но там, внутри, оказывается новый секрет...

Однажды, в дреме приоткрыв глаза, он увидел в дверях палаты Чистякову. Белый халат накинут был на плечи, она стояла, прислонясь к дверному косяку, смотрела на него с выражением странным, не свойственным ей, он не сразу понял, что это было. Лоб ее, всегда хму-

роватый, разгладил, стал высоким и чистым, глаза потеплели, и слабый нежный свет скользил по лицу. Он вдруг понял, что подсматривает из-под смеженных век, и открыл глаза. Она нахмурилась, мгновенно вернулась к обычной суровости: у нее здесь лежит брат, заглянула... Объяснения ее были отрывисты и строги, и, пожелав выздоровления, она удалилась.

За окном бесшумно падал снег. Пушистая чистота белила крыши, заборы, ветки, всякую малость этого городка, затерянного среди снежных полей и лесов.

Лосев лежал, улыбался, вспоминал, как недавно обсуждали представление Завьяловой на орден и Чистякова выступила против, накануне она беседовала с Завьяловой, просила ее не разводиться, поскольку такое дело и надо писать характеристику: морально устойчивая в бытовом отношении. Лосев заметил на это: раз она отказалась от вашего предложения, она и есть морально устойчивая. Члены бюро поддержали его, а Чистякова обиделась, что-то прошипела... Человек — загадка. И жизнь — загадка. Сколько таких городков раскинуто по России, в сущности, малый город и есть главный город страны. Почему же Лыков милее ему любых других городов? Со всей своей неказистостью, бедностью. Душа его томилась желанием сделать его краше, лучше, томилась любовью к людям, которые жили в нем...

## Глава 21

Одним из первых вошел-влетел Морщихин, заведующий коммунальным отделом, как всегда гибко-упругий, сияющий, докладывал отчетливо и весело, от него исходила приятная бодрость. И — готовность. И — «мы справимся». И — «положитесь на меня». И привлекающее к нему всех — «это не проблема!».

Лосев слушал его вполуха, смотрел, как пружинисто подрагивают его кудрявые волосы, и переживал встречу с дочкой, тот миг, когда она увидела его в гулком вестибюле, и то, как спустя час с лишним она уходила и обернулась в полутьме глубокой подворотни, и он не мог разглядеть ее лица, но важно было, что она обернулась. Оба эти мига были совсем разные: первый — полный ожидания, страха, второй — печали. Помнились же они вместе, каким-то образом соединились...

В вестибюль доносились звуки роялей и скрипок. Он сидел там в ожидании, готовясь, и чем дольше ждал, тем больше страшился. Так страшился, что выходил, слонялся по Кировскому проспекту, длинному, прямому, парадно-торжественному. Музыкальная школа, где училась Наташа, помещалась в бывшем особняке Витте, министра, государственного деятеля России. Когда-то Лосев с интересом прочел три синеньких тома воспоминаний Витте, человека способного, разностороннего и умницы. Было хорошо, что дом этот переполнен музыкальными гаммами и упражнениями. Лосев ходил по проспекту до угла, сворачивал к голубой мечети и возвращался обратно в вестибюль. После отъезда Тани на него вдруг нахлынуло желание увидеть дочь. Желание не отпускало, как тревога, без раздумий он купил билет на Ленинград, ночью уже лежал в общем вагоне на самой верхней багажной полке, как когда-то в молодости. Из Ленинграда позвонил в Лыков, предупредил, что задержится. Дела в Ленинграде имелись, утро проезжал по учреждениям, а с часу дня томился возле школы.

День стоял осенний, весь в крапинах желтых, красных листьев, чаще всего кленовых, разлапистых. Над летящим шумным листопадом поднимался золотой шпиль Петропавловской крепости. В Ленинграде Лосев чувствовал себя стройнее и выше, хотя за последнее вре-

мя в его любви к этому городу появился привкус обиды. Голубая керамика мечети зияла серыми щербинами. Стоило свернуть с проспекта — и появлялись дома облупленные, запущенные. Наметанный его глаз цепко подмечал давно не штукатуренные стены во дворах, переломанные узорчатые решетки, побитые кариатиды. Былые красавицы дома — любой из них был бы украшением Лыкова — выглядели дряхлыми, опустившимися. Блокада и война наложили на них неизгладимый отпечаток. Странное дело — в Москве Лосев любовался новизной, радовался виду реставрированных особняков, растущей красе города, в Ленинграде же виделось прежде всего утраченное, неухоженность, безденежье и оттого обидная приниженность его все еще прекрасных ансамблей. Наверное, потому и разлюбил он бывать в Ленинграде, особенно с тех пор, как здесь поселилась Антонина.

Наташа вытянулась, потемнела, разумеется, он узнал ее сразу и все-таки с какой-то заминкой, она же, увидев его, сбилась с ноги, вот это-то мгновение и было самое страшное. Они оба замерли, он увидел свои глаза на ее лице, свой взгляд, безжалостный и в то же время беспомощный, борение, из которого могло проистечь любое. Он не смел двинуться первый, сейчас все зависело от нее, впервые он зависел от своего ребенка...

Потом вдруг что-то произошло, что-то треснуло, оборвалось, и она как спущенная помчалась на него, раскинув руки. Она летела, как когда-то, завидев его издали, неслась, не разбирая дороги: папа, папа! И сейчас громко, на весь вестибюль — папа! — так, чтобы подружки слышали, это он позже сообразил — папа! — повисла на шее, объясняла кому-то: «Это мой папа!» — не спешила из вестибюля. Хорошо, что он оставил чемоданчик в камере хранения на вокзале, была с ним только пластиковая обложка с бумагами, как будто он зашел с работы, ничего особенного, все как у других, у нее тоже есть папа, еще молодой, крепкий, они идут рука об руку не торопясь, подкидывая ногой палые листья...

Какие саперы? Для чего саперы? Они приедут сегодня ночным поездом. Для них левое дело взорвать такой домик, фукнут — как и не было. Морщихин заговорщицки щурил глаз, все подготовлено, заряжено, к утру и следа не останется, вам нечего беспокоиться, Сергей Степанович, положитесь на меня, на рассвете самосвалы вывезут весь мусор, бульдозерами сровняем, как говорится, сожжем все корабли — и ищи ветра в поле... Вместо дома Кислых завтра будет ровная площадка... Морщихин красовался своей расторопностью — все у него наготове, на старте: самосвалы, бульдозеры, экскаватор; к утру, было или не было, следов нет, плачь не плачь, назад не родишь.

Словно в брешь ворвался обжигающий холод, выдувая тепло, накопленное Лосевым за эти счастливые дни. Справился как бы безразлично, между прочим:

- Чего решили такую горячку пороть?
- Так будет лучше, — со значением сказал Морщихин.
- Почему же лучше?
- Да потому, что с маху. И все само собою заглохнет.
- Что заглохнет?
- Не стоит вам вникать, Сергей Степанович, вас не было, вы не

в курсе.

Очень настоятельно предостерегал он, с заботливостью неподдельной, за которую пользовался всеобщим расположением. Хлопотлив, энергичен, безотказен, не гнушался с рабочими мусор вывозить, лез сам канализационный люк исправлять, лишь бы Лосев не тревожился. Не то чтобы услужлив, а именно заботлив от расположения

к Лосеву. Хотя и к другим тоже. Имелась, однако, в его облике какая-то несогласованность, и раньше Лосев ее смутно ощущал, сейчас же она особенно мешала, путала.

Лосев продолжал спрашивать, Морщихин отвечал, успокаивая, заверяя, на все у него были причины, все было правильно.

— Кончай темнить, выкладывай,— вдруг сказал Лосев тоном, которого послушаться было нельзя.

И Морщихин, вздыхая, сообщил про телеграмму в область от Поливанова с требованием сохранить дом Кислых, может, и не только в область, а и в Москву послал, еще намечалось письмо-протест, которое организует Рогинский, опять же вкупе с Поливановым, по линии Общества охраны памятников, хуже всего, что они подбили группу депутатов и те собираются обратиться официально с запросом, поставить на исполкоме вопрос против сноса дома... Пока Лосев был в отсуствии, слухи пошли, этот анархист и демагог Поливанов раскачал стихию, и страсти разыгрались.

— Не хотели мы вас вовлечь, я думал, вы в Ленинграде задержитесь и мы успеем рубануть.

Признавался с неохотой, еще надеясь как-то избавить Лосева, уберечь от подробностей, видимо, ядовитых, злых. Пухлые губы его кривились возмущенно, а вот глаза оставались холодными. Они не участвовали в этих признаниях, в движениях лица, бесстрастно следя за происходящим.

— Итак, вы решили ночью бабахнуть и таким образом разрешить все претензии? — выяснял Лосев.

— Вот именно. Поскольку положение критическое. Применить, так сказать, прессинг.

— Кто же это решил? Вы лично?

— Не один я... Мы с Чистяковой и с областью согласовали.

— Так, значит — и с областью.

— Подготовлено освещение участка, будет оцепление, представители военной части объект уже осмотрели.

Наверное, и впрямь Лосеву лучше было не углубляться. Каждая подробность делала его сообщником. Морщихин выкладывал сведения неохотно, все порывался остановить Лосева, но глаза взирали безучастно, как будто Морщихин предусмотрел и эти вопросы и все свои ответы. Якобы уступая, он словно куда-то заманивал Лосева шаг за шагом...

Была в Морщихине некая излишняя уверенность. С кем он в области согласовал? Не следовало об этом спрашивать, зачем себе руки связывать?

И все же Лосев спросил. Не удержался.

Через стройуправление, то есть через заместителей Грищенко, вышли на военный округ, на инженерное управление, отдел снабжения... Морщихин насторожился, называл имена, но от сути уходил.

Вот и все. Подошло. К самому краю подошло.

Лосев встал к окну, посмотрел наискось на тот берег, на медную крышу старого дома. Сквозь купы, подпаленные осенью, сквозь догорающую отжитую листву светлая зелень патины казалась молодой и сильной. Зимой, в хмурые короткие дни, зелень крыши выглядела еще ярче, снег не удерживался на крутых скатах, и зеленое пятно украшало черно-белое однообразие города.

Вокруг дома было пусто. Ни души. И на берегу никого.

— Морщихин, а вам не жалко? — не оборачиваясь спросил Лосев.

Проследив за его взглядом, Морщихин ответил с торжеством:

— Насчет крыши? Предусмотрено! А как же! Инженер обещал мне, что поднимет и спустит ее как на парашюте. Рядышком. В полной целости. У них всякие направленные взрывы — искусство! Я все обговорил, они гарантируют.— Он любовался своею хозяйственностью. Еще бы, медные листы, цветной металл.

— Крепы они уже срезали, все подготовили,— сказал он.

Лосев пригнул голову, уши его побелели, он обернулся и пошел на Морщихина, впечатывая шаг.

— Ка-акие крепы? Ка-ак срезали? — Он отшвырнул по дороге тяжелый стул так, что тот грохнулся о стену, завопил пронзительно-режущим голосом: — Кто разрешил? Воспользовались... О-отменить! Все отменить!

Неслышно вошел Журавлев, заместитель Лосева, встал, прижав спиной дверь, чтобы кто-нибудь не заглянул в кабинет на этот остервенелый крик председателя. По опыту знал, что в такие минуты надо молчать и смотреть на Лосева, не успокаивать, смотреть и ждать. Морщихин тоже стоял, опустил руки, по стойке «смирно», холодно-прозрачные глаза его смотрели невозмутимо.

— Слышал? Ты в курсе? Ты почему позволил хозяйничать? — накинулся Лосев на Журавлева и, не дожидаясь ответа, притопнул ногой.— Отменить! Все отменить! Саперов ваших, инженеров, всех — к чертовой матери!.. Ясно? — Он вплотную подступил к Морщихину.— Отвечайте!

— Ясно! — отчеканил Морщихин с солдатской бравостью.

— Что ясно?

— К чертовой матери! — подсказал Журавлев.

— К чертовой матери! — повторил Морщихин.

— Отправляйтесь,— буркнул Лосев, отошел к столу.

— По какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?— спросил Морщихин.

— А по той, что негоже нам тайком от людей, от наших депутатов, от исполкома действовать.

Морщихин повел бровями разочарованно, с некоторым презрением.

— Чего их бояться, Сергей Степанович? Тут характер проявить надо. Я же предлагал — я все беру на себя.

— Какого мы храбреца вырастили, Журавлев, все ему нипочем — ни народ, ни депутаты... Народ безмолвствует? Так по-вашему, Эдуард Павлович?

Морщихин улыбнулся, но глаза его не улыбались; как ни щурился, они сохраняли холодную тусклость.

— Зря вы, Сергей Степанович, на них оглядываетесь. С них спрашивать не станут. А нам все равно взрывать придется. Как ни вертись. Зачем откладывать?

— Я вам все сказал, Морщихин. Жаль, что вы не поняли. Идите и отмените. А самосвалы на картошку послать.

Морщихин покачал головой, как при виде капризного ребенка: самосвалы куда не пошлешь, уже не предупредить, люди выйдут в ночную смену, кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогна-ли, бульдозер и всякую технику сняли с других объектов. И с военными ничего нельзя изменить, поздно, все через область делалось, с таким трудом организовывали, увязывали. Мягко и доказательно отводил он всякую попытку Лосева нарушить безукоризненно разработанную операцию. Вышло, что ничего нельзя было ни аннулировать, ни отложить. Фитиль подожжен, как он выразился не без щегольства, и надо отойти в сторонку.

...Был момент у ворот, когда он собрался пойти вместе с Наташей домой, присидеть с ней вечер, послушать, как она на пианино играет... Не мог отпустить ее.

Наташа висела у него на руке всей тяжестью, всем телом, которое он еще недавно мог подбросить, подкинуть вверх. Шла, напевая, без умолку рассказывала про школу, про то, как летом жила в лагере. Счастьем было слушать неумолчное ее верещание. Кожаные ее подметки звонко и чисто стучали по асфальту. В такт этому стуку в душе Лосева дробно забила барабаны, заиграли оркестры, гранитные парапеты набережной засверкали мелким блеском.

— Что с тобой? — спросила Наташа.

Счастье мешало ему ответить, он пригнул Наташу к себе. Поцеловал ее в голову. Потребность любви, что открылась в нем, не могла насытиться. Бежал гремучий красный трамвай, и за ним, догоняя и кружась, неслись желтые листья. В саду мальчишки собирали желуди, и эти желуди, тугие, коричневого блеска, напомнили Танины глаза. Лосев приложил палец к закоптелой коре дуба и сделал отпечаток на театральной афише. «Дактилоскопия», — повторяла за ним Наташа и делала то же самое. За чугунной решеткой стоял маленький черный бюст Петра Первого.

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн...—

стал читать Лосев вслух, удивляясь тому, откуда всплыли эти стихи.

— Пап, не надо, — взмолилась Наташа, но он не мог остановиться.

Показался их дом, Наташа замолчала. Они шли в молчании до самых ворот. Это было важное молчание, нужное им обоим.

У ворот они остановились, и тут произошел толчок, явственный толчок изнутри: остаться! Вернее: не ехать в Лыков! задержаться! Именно это вспомнилось ему сейчас в том неясном подземном сигнале. Наташа поднялась на цыпочки, ткнулась губами в его щеку, и на него дохнуло ее детским запахом, памятным со времен, когда он купал ее в тазу. Фигурка ее в тени глубокой подворотни растаяла, потом вспыхнуло белое лицо — она обернулась, и его словно обдало теплой волной счастья. Все-таки у него была дочь. Несмотря ни на что. Он отец и не может не чувствовать себя отцом. А вот сыном чувствовал себя мало. Отца в нем больше, чем сына. Воспоминание о его отце прошло легкой жалостью, он сравнил себя мальчика с Наташей и подумал, что свидание это будет ей помниться. И попробовал вообразить, каким он представится Наташе, когда она будет совсем взрослой, а его уже не станет...

Мысль об Антонине остановила его... Все же Антонина существовала в его жизни, ресторанный встреча мало помогла. Все было не такто просто, он постоянно будет связан с Антониной через дочь. Есть Наташа, и, значит, они всегда будут втроем, с кем бы он ни был. Впервые он признался себе, что на плечи Антонины легло все воспитание Наташи, все хлопоты, болезни, заботы. Но мысль об Антонине помешала ему остаться.

Господи, чего он испугался, почему все-таки не послушался того призыва! Вернулся бы завтра утречком, как тут и рассчитывали, и все было бы уже кончено, все решилось бы в Лыкове без него сегодня ночью — и привет, потому что на нет и суда нет, ему осталось бы сердиться, кричать на Морщихина, на всех на них, сам бы он был чист и непричастен.

Лосев посмотрел на Журавлева, но тот ничем не мог помочь ему, смущенно пожал плечами, показывая, что трудно опровергнуть Морщихина, рад бы, да не знает как.

— Передоверил, отпихнулся,— сказал Лосев.— Драндулетом занимался. Вот что взорвать пора, так это твой драндулет.

Лицо у Журавлева стало распаренное, малиновое, как после бани. Он сидел верхом на стуле и неловко смеялся. Каждую свободную минуту он ковырялся в своей старой «Волге». Проедет день и потом неделю ремонтирует эту колымагу. Наверняка он обрадовался, что можно устранился, что Морщихин все взял на себя.

— Что будем делать? — спросил Лосев.

Никто ему не ответил.

— Так ведь все равно отменить заставлю,— сказал Лосев.

— Лично я ничего не могу отменить.— Морщихин развел руками.— Надо в область сообщать.

Он стоял посреди комнаты как бы в позе виноватого. Глаза его следили за Лосевым.

— К кому звонить?

— Придется к Пашкову.

— Значит, вы с ним вели переговоры?.. — Лосев нажал кнопку селектора.— С Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым,— сказал он секретарше.

— К вам Анфилов,— сказала секретарша.

— Пусть войдет,— сказал Лосев.— Кто из депутатов будет, пусть входят.

Холодный тусклый взгляд Морщихина не отпускал его, возбуждая странную мысль, что и звонок к Пашкову был предусмотрен.

Вспомнилось, как Журавлев когда-то рассказывал со смехом про их разговор: «„И куда ты рвешься, Морщихин?“ Так он головой покачал: без полета, мол, живешь, Журавлев, без мечты, так и прокукуешь в микромире, а я, Эдуард Морщихин, во что бы то ни стало выйду на орбиту, и не просто в начальники, а — запомни мои слова — интервью буду давать, ленточки разрезать на выставках. Областной слет открою. Увидишь меня по телевизору! Буду в аэропорту с представителем иностранной державы вдоль строя идти и цветы принимать, и прошелся передо мной куриным шагом, представляешь, уже репетирует, сукин сын, готовится». Журавлев начал со смехом, а кончил нервно, удрученный уверенностью Морщихина. Рассказ позабавил Лосева, не больше, а вот сейчас припомнился.

Вошел Анфилов, мастер с подстанции, начал про свои дела, но Лосев остановил его — садись и слушай.

В селекторе фонировала, попискивала подключенная даль, потом щелкнуло, голос секретарши сказал:

— Пашков у телефона.

Журавлев перегнулся через стол, тронул Лосева за рукав:

— Ты... не горячись. Пожалуйста.

Он никогда не обижался на Лосева, он был преданный, верный человек, но, к сожалению, Морщихин прав — вечный зам.

— Еще бы,— сказал Лосев,— сам Пашков.

Он снял трубку, подбросил ее в руке. Взгляд его еще не отпускал Журавлева. Добрый, порядочный, работающий, а на свое место Лосев порекомендовать его не посмеет, язык не повернется, так и останется замом. Он и не рвется — вот что плохо.

Все обеспокоенно смотрели, как вертелась в его руке трубка, светло-серая гантель с рыкающим в ней Пашковым...

Тем временем Лосев деловой, Лосев предусмотрительный, Лосев опытный соображал, как держаться с Пашковым. Кто затеял, заварил



эту кашу? Сам Пашков? Тогда проще, надо дать понять Пашкову, что ошибку еще можно исправить. Хуже, если команда идет от Уварова, тогда придется аккуратнее... Судя по всему, Морщихин уверен, что ничего не выйдет. Чем-то доволен, звонил к Пашкову... О чем-то они договорились. Надо помягче, пока не прояснится.

Но Лосев никакого внимания не обратил на предостережения своей предусмотрительности, плечом чуть дернул, отмахнулся, заговорил властно, так же, как говорил с Морщихиным, единственное, что удалось, это вставить слово помочь: «Необходимо помочь отменить приезд взрывников». — и то невыразительно, словно телефонограмму диктовал.

— Чье распоряжение? Да, мое, мое. Не будем мы делать такие вещи втихаря, обманывать людей... словно тать в ночи... Тем более... Вот я и говорю: тем более что есть заявления и телеграммы.

На это Пашков ответил жестко:

— Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. Наше дело пособить. Ты там сам у себя, я вижу, разобраться не можешь.

— Я разберусь,— пообещал Лосев.— За мной не залежится. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.

— Не понял.

— Что ты не понял?

— Ты что, откладываешь? На сколько?

— Это я сам решу.

— Ишь ты какой удельный князь. Тебе, по-моему, ясно было у Уварова сказано.

— Уваров на месте?

— Нет, уехал, будет завтра.

— Так вот я с Уваровым сам договорюсь.— Лосев посмотрел на Морщихина и сказал четко: — Вы же, Петр Георгиевич, запомните: вы не Уваров, разница есть между вами, и от его имени глупости вытворять не следует.

— Да ты что!.. — рявкнул Пашков.— Ты что крутишь-вертишь? Ты думаешь, неизвестно, что ты с Грищенко хитрил-мудрил? Известно. Тоже соображаем. Ты мне мозги не пудри! Хочешь взвалить все на Уварова? Силой, мол, заставили. Целочкой отстаться? Не выйдет!..

— Па-а-прашу не лезть не в свое дело! С каких это пор вы хозяйничаєте над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Ясно?

— Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь! Сами, сами отсылайте их назад! Сами! Раз вы такой большой хозяин!

— Вот что, Пашков,— сказал Лосев тихо, совершенно непреклонным голосом, каким ему не положено было говорить с областью, тем более с Пашковым,— выполняйте и через час доложите мне.

В кабинете все замерли, выпрямились, не веря своим ушам, начиная понимать, что за этим стоит что-то необычное. И в трубке длилось молчание, которое все слышали.

— Ясно,— наконец сказал Пашков.— Ну что ж, вам отвечать. А что ж сказать военным?

— Можете сослаться на мое распоряжение.

— Ладно... Если успею,— добавил он с приглушенной угрозой.

— Успеете. Все.— Лосев положил трубку. Ему хотелось прикрыть глаза, побыть одному, в тишине.

Натужно улыбаясь, он заставил себя оглядеть всех без нервов, без особого торжества. Когда взгляд его остановился на Морщихине, тот вскинул обе руки вверх:

— Сдаюсь! Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович! Вот это прессинг! Прижали вы этого Пашкова. Кто бы мог подумать, а?

И он захохотал, прикрыв холодные глаза, где не было никакой радости. Лосев изумился: ну и реакция у сукина сына, — и тем не менее не удержался, улыбнулся ему даже с признательностью.

За Морщихиным, словно очнувшись, заговорили остальные, принялись хвалить Лосева, одобрять его решение, доказывали, что ни в коем случае нельзя было разрешать ночную акцию, получилось бы некрасиво, так поступают те, у кого совесть не чиста. Теперь же будет демократично и нравственно. Никто, однако, не спросил, как все-таки будет дальше. Всех занимала прежде всего схватка с Пашковым, ощущение победы. Как будто у Лосева имелся определенный план, согласно которому Лосев и действовал столь уверенно и бесстрашно. Директор леспромхоза с чувством пожал ему руку. Внезапно почтение, даже восхищение окружило Лосева, он и сам ощутил приятность своей безрассудности. Впрочем, не только безрассудности, но еще и прелесть новой власти, никому здесь пока не известной, не видной и от этого особо сладостной.

Тут же он заказал Москву, разговор с Орешниковым, тот в прошлом году приезжал в Лыков осматривать место, выбранное для филиала. К Орешникову-то и боялся подступиться Уваров. Обращаться к Орешникову через голову Уварова было не положено, Лосев делал тот шаг, после которого отступить было некуда, и, сделав этот шаг, испытал облегчение.

## Глава 22

Никогда еще время в этом кабинете не двигалось так медленно. Оно растягивалось, разрывалось на мелкие события, а в промежутках оно останавливалось. Люди входили, выходили, произносили слова, приносили бумаги, уносили бумаги, время же не шло. Оно застряло в этих стенах. Ни туда, ни сюда, словно бы пробка образовалась.

И все люди вокруг Лосева словно бы с трудом продвигались сквозь плотную толщу — так замедленны были их движения, их слова.

Как и большинство людей, Лосев не задумывался над природой времени. С годами ему все больше не хватало времени, ощущал он это не как нехватку его, а как обилие дел, все большую занятость. Иногда ему начинало казаться, что время несколько замедлило ход, иногда — что убыстрило. Иногда оно просто куда-то исчезало, обнаруживалась недостача нескольких часов, а то и дней. Зависело ли это от него самого и можно ли было повлиять на время своей жизни, то есть как-то увеличить его, — этого он не знал. Время было для него вместительным всяких дел, а не временем его собственной жизни. Он никогда не вникал в эти вопросы, все это было философствование, бесплодное умствование, которое ничего не в состоянии изменить, ничем помочь, мудри не мудри, работа от этого ни на грош не продвинется.

В их прежнем доме в кухне над длинным некрашеным столом тикали цветастые ходики с подвязанной гирей в виде медного цилиндра, из которого он как-то извлек целую кучу свинцовой дроби, дивные гладкие шарики графитного блеска, мягко плющившиеся под утюгом. Его высекали, на цилиндр потом подвешивали гайки, болты. Стоило их чуть приподнять — и стук маятника смягчался и утихал. Время соединилось у него с понятием тяжести, его можно было взвесить, время было ощутимо, оно словно состояло из тяжелых дробинок.

Он не умел оторваться от сиюминутности, отстраниться, представить, как это все будет выглядеть через год, другой, и сейчас впервые ощутил, как это тяжело.

К нему обращались как к победителю, Журавлев гордился им, никто не догадывался, что вскоре все может обернуться скандалом. Последняя фразочка Пашкова не выходила у Лосева из головы. Пашков был не из тех, кто легко сдается. Что-то он попытается предпринять. Если он кое-что и почувял, все равно рискнет пакость устроить. Хоть и трус. Именно потому, что трус. Кому-нибудь доложит, может, Уварова разыщет и преподнесет ему, все переиначив.

При мысли об Уварове победное ощущение померкло. Вас, товарищ Лосев, еще не утвердили, не оформили, и все может приостановиться, а то и вовсе... Рано пташечка запела. Пока что без резких движений следовало бы: не выносивши не родишь, а выкинешь. Все может рухнуть. Мысль об этом угнетала Лосева. Бояться он не боялся, тем не менее свербило унизительное беспокойство: а что там сейчас происходит? что затевает Пашков? Разумеется, Морщихин побежал зvonить от себя Пашкову, выясняет, как быть, спешит выведать, понять, в чем тут секрет, сориентироваться. В любом случае Пашков для него человек нужный, такую заручку в области куда как полезно иметь.

С Орешниковым поговорить не удалось. Помощник выслушал, сказал, что доложит и в случае надобности сам соединит его с Корнеем Корнеевичем. А Пашков не звонил. Прошел час, прошло еще десять минут — Пашков не звонил. Заглянул Журавлев, спросить не посмел и по лицу Лосева ничего не понял, лицо у Лосева было озабоченно-деловое.

Обостренным своим чутьем Лосев ощущал растущее вокруг напряжение. Возможно, оно исходило от него самого и действовало на людей. Все чего-то ждали. Где-то там, в своем кабинетике, Пашков наверняка сидел и ждал, когда Лосев не вытерпит и позвонит. Времени, чтобы все отменить, оставалось в обрез. Несколько раз Лосев брался за трубку и клал ее назад. Он не знал, как выждать этот час, избавиться от неведенья, что бы там ни было, но узнать, нет хуже, чем ждать...

Переборов себя, он отправился наискосок через дорогу, в районкомат.

На улице, оказывается, шел дождь, сильный, шумный. Город наполнился плеском воды. Звенели крыши, барабанило на площади по фанерной обшивке трибуны, разрисованной под мрамор. На тротуарах быстро росли лужи. Тротуары были только что заасфальтированы и без наклона наружу, так что вода застаивалась у стен и люди бежали по мостовой. Мокрые пятна расплзались по стенам. Дождь был как обличитель. Он влезал во все щели, выискивал плохую работу, указывал, напоминал. Надвигалась осень с ее извечными протечками, неготовностью отопления, жалобами, которые посыплются, сколько бы к ней ни готовился. Лосев подумал об этом с тоской, как думал каждый год, но, может быть, все это будут уже не его заботы, не его...

На другой стороне улицы Лосев увидел начальника ремонтно-дорожной конторы Ивашкевича, подозвал его, показал на глубокие лужи, Ивашкевич ежился от дождя, приводил фантастические отговорки, проверить которые было невозможно. Единственное, чем Лосев мог его наказать, это держать под дождем, и он это делал без пощады.

...Лосев шел обычным своим шагом, и тяжелые капли дождя обегали его плечи, голову, Лосев прыгал через кипящие лужи, куда неслись вытянутой пулей капли, с мальчишества он помнил, наблюдая чуть не лежа на земле, как они входят в воду, сохраняя еще свою отдельность, и выныривают не слитые с лужей.

Военком был в тире. В полном одиночестве он стрелял из пистолета. Выстрелы оглушительно грохотали под низкими подвальными сводами. Свирепо прищурясь, военком поднимал руку и что-то производил под звук выстрела.

— Кого стреляешь? — спросил Лосев.

— Разнообразную мерзость жизни.

— Например?

— Вранье, взяточничество.

— Истребил?

— Патронов мало.

— Полезное занятие.

— Успокаивает. Спустишься сюда, отведешь душу — и стрессом меньше. Рекомендую. Хочешь? — Он протянул Лосеву пистолет.

Военком при своем колючем характере отличался двумя качествами, высоко ценимыми Лосевым: он умел слушать и умел молчать. Ему можно было доверить любой секрет, никуда дальше это не уходило. Время от времени они отводили друг у друга душу.

Теплая рубчатая рукоятка пистолета удобно легла в ладонь. Сквозь сизо-задымленную даль тира смотрели черные зрачки мишеней. Поигрывая приятной тяжестью пистолета, Лосев рассказывал военкому про подготовленный взрыв, попросил связаться с военными, выяснить обстановку.

Военком согласно кивнул. Бритая голова его посверкивала, маслянистая и шершавая, как абразивный камень.

— Хорошо, что ты решился, — сказал военком. — Силу надо употребить. Силу... Раз есть что взорвать, сломать — не удержишь, это у нас обожают.

Лосев прицелился, выстрелил и, не глядя на мишень, приставил дуло себе к виску. Прикрыл глаза.

— Не балуй, — сказал военком. — У меня неприятности будут.

— Зато у меня кончатся.

Палец Лосева лежал на спусковом крючке. С пугающей ясностью он ощутил всю малость расстояния между виском и гладким манящим изгибом крючка. Легкость нажатия притягивала точно магнит. Было странно, что ничтожное движение могло прервать ход жизни в самом ее разгаре. И вместе с тем манило сделать это движение, заглянуть туда, за тонкую занавеску тьмы.

С трудом он оторвал от себя пистолет, положил на барьер. С помощью пистолета все просто решить, военным вообще хорошо — приказано, и никаких рассуждений. Он вспомнил свою солдатскую службу, вздохнул...

Военком не задавал лишних вопросов. Ему достаточно было понять, что Лосев нуждается в помощи, и, поняв это, он стал действовать: названивал по каким-то каналам своей спецсвязи, искал знакомых однополчан. Узнал, что в округе еще никакой отмены приказа не получали и инженерное управление то ли готовило своих ребят, то ли они уже выехали, уточнить не удалось. По неприятной улыбочке Лосева военком понял, что Лосев на этом не остановится, попробовал как-то образумить его, остановить, потому что Пашков явно провоцировал на скандал. Впрочем, Лосева не надо было успокаивать, он восхищался и без того своим спокойствием, даже некоторая ленивость появилась в его движениях. Тут же из кабинета военкома он распорядился отправить в область Пашкову телефонограмму, подтверждая в ней отмену взрыва. Бумажка что твоя броня, подмигнул он военному. Они договорились, что в случае приезда взрывников военком лично встретит их и попробует уладить дело без актов и прочих претензий, примет их по всем нормам гостеприимства и отправит назад.

Зная щепетильность военкома, Лосев не представлял, как тот организует подобный прием. Но военком, оказывается, рассчитывал на своего Лапочку, умеющего проводить подобные мероприятия с блеском. Ужин, он же пикник, он же закусон с дороги — как хотите назовите,— может быть проведен на квартире военкома, в клубе, в задней комнате ресторана, все будет дешево и красиво. Поэтому деньги, которые предложил Лосев, военком отверг. Деньги ничего не решали. Лапочка вообще, оказывается, презирал применение денежных знаков в своих операциях. От денег все зло и неприятности, утверждал он, отношения между людьми должны строиться не на деньгах, а на услугах. Обмениваться надо услугами, а не деньгами. Военком повторял его плутоватые рассуждения, и Лосев смеялся.

— Ничего не вижу смешного, — обижался военком. — Ты думаешь, он хапуга? Ничуть. Ему нравится ощущение власти. Он может то, что не могут старшие по званию. Он достает большей частью не для себя — копирку машинисткам, шипованную резину водителям, путевку в Кисловодск инвалидам. За это я должен посылать солдат чего-то разгружать, кому-то давать отсрочку, за какого-то ветерана просить без очереди. Иногда кажется, что я у него работаю. Черт знает что творится. Представляешь, Лапочка — двигатель прогресса! Но не забудем! И не карьерист, как твой Морщичин.

Он стоял перед Лосевым широкий, крепкий, излучая отрадное чувство надежности.

— Андрей, ты согласился бы пойти на мое место? — вдруг спросил Лосев. — Председателем?

Военком погладил его, как ребенка, по голове.

— Ни за какие коврижки.

Они посмотрели друг другу в глаза, но военком ничего не спросил. Лосев ткнул его в каменно твердое плечо.

— А жаль!

В это время позвонили из приемной Лосева и сообщили, что на телефоне Пашков. Лосев потянулся, зевнул и попросил передать, чтобы Пашков позвонил через четверть часа.

В вестибюле исполкома он столкнулся с Морщихиным и Рогинским. Полуобняв Рогинского за талию, Морщихин подталкивал его к выходу. Поля шляпы у Рогинского мокро обвисли, желтый плащ был дотемна вымочен дождем, вид у Рогинского был сконфуженный. При виде Лосева он рванулся к нему, но Морщихин крепенько придержал его и сам сквозь зубы представил Лосеву как главу жалобщиков, явился от имени и по поручению с протестами, никому не верит, повторяет слухи...

Пока поднимались к Лосеву, Рогинский, заикаясь от волнения, отвергал обвинения Морщихина. Он делал это, сохраняя высокомерие образованного, воспитанного человека, вынужденного объяснить азы, отвечать на хамство, на ложь презрительной учтивостью. Он никакой не жалобщик; проситель — да, и на то имеет право как председатель Общества охраны памятников, более того, обязан, и бо к нему обращаются члены правления. Коли на то пошло, товарищ Морщихин накануне заверил их, что вопрос рассматривается со всем тщанием, и вдруг стало известно, что сегодня ночью дом Кислых снесут, чуть ли не взорвут, и на участке начинается строительство.

— Им стало известно! Откуда вам это стало известно? — въедался в него Морщихин. — Слыхали, Сергей Степанович, что делается? Осведомители задействовали.

Перед входом в кабинет Рогинский тщательно вытер ноги, снял шляпу, отряхнул, плащ скинул, приводя себя в порядок. Мокрые волосы облепили его бледный лоб. Он вынул расческу, поправил тща-

тельно уложенную прядь, маскирующую плешивость и переходящую в пышные длинные баки. Движения его были машинальны, его расстроило молчание Лосева, отсутствие поддержки.

— Да погодите вы, разве в этом суть, — повторял он, страдальчески останавливая Морщихина, но Морщихин напирал все грубее:

— Кто это ваш осведомитель, зачем вы его покрываете? Мы с ним разберемся! Давайте-давайте, а может, это вы сами, а?

Рогинский, несколько теряясь, соглашался, что, возможно, это слухи, возможно, затем он и пришел в исполком, чтобы спросить.

Все трое как вошли — не садились. Лосев стоял за своим дубовым письменным столом, львиные морды скалились на пузатых тумбах. — стол, который он отказался сменить, несмотря на все уговоры. Стоял, опираясь пальцами в зеленое сукно, и лицо его было так же неподвижно, как дубовые морды львов.

Но в этот момент он заинтересовался. Ну и что? Что ответил на ваш вопрос Морщихин? Он выяснил это быстро, не дав Морщихину вмешаться. Разумеется, тот отпасовал на Лосева. «Этим вопросом теперь ведает сам шеф» — вот что сказал Морщихин, переадресовал на всякий пожарный случай, добавил, что Лосеву известны сигналы общественности и нечего поднимать волну и будоражить население. По тому, как Рогинский, комкая шляпу, подбирал слова, ясно было, что говорилась куда грубее, но Рогинский брезговал повторять эти слова.

— Та-ак, — протянул Лосев и улыбнулся улыбкой, в которой не было ничего веселого, лишь прищурились глаза и обнаружилась стиснутые зубы.

Не тот был момент, чтобы уличать Морщихина. Где можно Лосев избегал полностью разоблачать человека, надо оставлять ему путь отступления, надо позволить ему как-то спасти свое достоинство.

— Сергей Степанович только что приехал, — сказал Морщихин, нервничая и не заботясь о логике. — Вы, Рогинский, кого проверяете? Кого? Исполком? Он и вам, Сергей Степанович, не поверит, я знаю эту публику, видите, как уклоняется от прямого ответа. Кто вас накрутил?

— Да, господа, что вы тут устраиваете, не все ли вам равно? Ну пожалуйста, Юрий Емельянович Поливанов сказал, он выяснил насчет взрыва, я прошу, Сергей Степанович, сохранить антр ну, ради бога, — к Поливанову без претензий, он сейчас в критическом состоянии.

Вошла секретарша, молча прошла весь кабинет, на ухо сказала что-то Лосеву, остановилась, ожидая ответа. Он взглянул на часы — прошло ровно два часа с тех пор, как он звонил Пашкову. Он поднял трубку.

С этого момента события стали происходить без промежутка, двинулись одно за другим, как лавина, которая наконец прорвалась, опрокинула, понеслась.

В ответ на телефонограмму (Пашков подчеркнул!) он связался с Уваровым, и Уваров подтвердил и велел передать Лосеву, что нечего откладывать и мудрить, машина запущена и пусть действует. Дошло? Вот так-то, голуба! И нечего было орать и выпендриваться. Пашков грохотал не стесняясь, вымещая недавнюю свою оторопь. Бесплезно было спрашивать Пашкова, как связаться с Уваровым, все же Лосев спросил для порядку, разумеется, Пашков не знал, где-то на линии Уваров, в пути, завтра к вечеру вернется. Судя по вызывающему тону Пашкова, Уваров не осадил его, не намекнул. Это кое-что значило. Не бывает у Уварова случайностей. Это звучало как предупреждение: не зарывайся, Лосев, не обгоняй на повороте, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...

Секретарша прибирала бумаги на столе, не понимала, из-за кого сыр-бор — из-за Морщихина? или Рогинского? Оба стояли в ожидании.

Рогинский, тот ничего не взял в толк, а Морщихин учуял, прислушивался, оценивал каждое слово.

— Прояснилось тебе, Сергей Степанович?

— Более или менее.

— Ты не финти, если Уваров позвонит, что ему доложить, чтобы больше никаких уверток?

Пашков загонял Лосева в тупик, требовал канитуляции. Ссылаться было не на что, получено прямое указание, и все, конец. Лосев задумчиво смотрел на Рогинского. Неожиданная мысль осенила его.

— Не знаю, не знаю, — сказал он, — опоздал ты, надо было вовремя позвонить, не позвонил — пеняй на себя.

— Это не причина, — спокойно сказал Пашков. — Отказываешься выполнять? Так и сообщим.

— Ни в коем случае не отказываюсь. Я безоговорочно. Видишь ли, появились некоторые обстоятельства, так и передай...

Лосев положил трубку и, как бы продолжая прерванный разговор, спросил, что там с Поливановым. Рогинский сказал, что Поливанов лютует, возбужден, готов на крайние меры, убежден, что их дурачат, следует его как-то успокоить, удержать. На что Лосев пожал плечами: стоит ли удерживать? Он повторил, подчеркивая: почему Рогинский считает, что надо удерживать? Себя удерживает, других удерживает, для чего, зачем? И без того кругом одни удержанные. Рогинский моргал не понимая. Морщихин попробовал было вмешаться, но Лосев предупреждающе поднял палец и предложил Рогинскому пройти, допустим, к Журавлеву и письменно изложить свое мнение. Секретарша проводила его к Журавлеву, а Лосев спросил у Морщихина, все ли улажено с отменой взрыва. Морщихин изумился, он полагал, что все остается в силе, как было подготовлено. При этом он выразительно смотрел на телефон, и Лосев как бы рассеянно спросил, откуда Морщихин взял, что все остается в силе? И попросил на всякий случай выставить у дома Кислых милицейский пост, чтобы никого не допускать. Тогда Морщихин не выдержал, это ведь прямое нарушение приказа Уварова, самого Уварова, Лосев же слышал, что сейчас передал Пашков.

Лосев-то слышал, а вот откуда слышал Морщихин? Между прочим, ни имени, ни фамилии Пашкова ни разу Лосев не назвал. Проговорился Морщихин, проговорился... Деваться было некуда, Лосев его схватил, как говорится, с поличным. Прижимая руки к груди, источая преданность, Морщихин подтвердил, что беспокоился, время идет, положенный час истек, и он не выдержал, сам позвонил Пашкову, тот и сказал про Уварова. В конце концов, дела это не меняло, есть распоряжение Уварова, и Морщихин не понимал, как можно его нарушить...

В это время зашла Чистякова, за ней с вопросом насчет Рогинского Журавлев. Получилось нечто вроде совещания. Морщихин, продолжая настаивать, заявил, что не к чему поощрять Рогинского и ему подобных, гнать их надо, цыкнуть на них, чтобы воли не набирали, не думали о себе много, иначе работать невозможно будет. В любом случае, считал он, даже если, например, отменить, то не по их требованию, а по соображениям исполкомовским. Поливанов и прочие, они даже не депутаты, они не должны вмешиваться... Чистякова чуть поморщилась от его слов, но в целом приняла его сторону. Во всяком случае, Поливанова следует приструнить, потому что он уже обком беспокоит и Москву. Все стали уговаривать Лосева, чтобы он подчинился Уварову и не упрямялся, теперь, поскольку есть прямое указание Уварова, с него снимается ответственность. Государственная дисциплина, ничего не попишешь, и Журавлев тоже готов был признать

факт капитуляции. Печально, но факт, жалеть потом будем, как водится... В случае чего будешь ссылаться на Уварова...

Но Лосев ссылаться ни на кого не хотел и Уварова подставлять не собирался, всю ответственность брал на себя. О чем шум, взорвать никогда не поздно, Уварову он объяснит, что момент сейчас самый невыгодный... Оказалось, однако, что Пашков и с Чистяковой переговорил, заручился ее поддержкой, настойчивость его была чрезмерна и непонятна. Что им там приспичило? Капризы? А вернее всего, Пашков сводит личные счета.

Не все тут сходилось, но Лосев умел убеждать, и с Чистяковой он был мил как никогда, а Морщикина предупредил, что звонков к Пашкову больше не потерпит. Подтвердил указание поставить милицейский пост. Журавлев сигнализировал ему глазами — есть срочное дело, но помешала Чистякова, отвела Лосева в сторону, тихо спросила, правда ли, что Лосев уходит первым замом к Уварову. Лосев неопределенно двинул бровями, Чистякова понимающе кивнула и трижды постучала по подоконнику. Она изобразила грусть Старого Верного Соратника. Она всегда что-то изображала. В ней жила актриса. По крайней мере с Лосевым она каждый раз принимала какую-то позу. Она была Старшим Другом, Воплощением Принципиальности, Волевой, Непримируемой Женщиной, которая мечтает быть Слабой... Она и впрямь работала много, добросовестно и переживала городские дела, может быть, острее всех. Поглаживая лацкан лосевского пиджака, она спросила то, что может спросить женщина: «Зачем вам это нужно?» А так как Лосев промолчал, ответила за него: «Не хотите, чтобы при вас?» Это она понимала, это объяснение ее удовлетворило бы, Лосеву ничего не стоило кивнуть, сделать маленькое движение, избавив себя от лишних разговоров, вместо этого он загорячился: ни при нем и ни после него, он вообще против сноса дома, он за перенос филиала в другое место и будет бороться за это всеми силами! Недоверчиво щуря кошачьи свои глаза, Чистякова поиграла ключиком от кабинета, принужденно согласилась, поскольку дело сугубо исполкомовское, Лосев хозяин... Было в этом не свойственное ей повиновение, и Лосеву стало стыдно, как будто он применил недозволенный прием.

Журавлев повел Лосева к себе в конец коридора. С Рогинским не получается, раскис, написал какую-то слезницу. Журавлев понимал, что Лосеву нужно возмущенное письмо, негодующее, категорическое. Вот это-то Журавлев и спешил уточнить. Лосев подтвердил. Чем больше таких протестов будет, тем лучше. Задание было ясное, и Журавлев воодушевился, круглая щекастая его физиономия оживилась, он любил поручения конкретные и короткие, чтобы взяться и сделать зараз. Он так и сказал Лосеву: не беспокойся, я Рогинского приготовлю, я из него сделаю наступательное оружие. Лосев чесал затылок, ерошил волосы, стал похож на куст. Не-е-ет, Журавлеву не следует нажимать, мало ли, как дело повернется, узнают, что обрабатывал Рогинского, попадет, не стоит ему, должностному лицу, заниматься такими заговорами. Журавлев настаивал. Кому-то ведь надо, пусть лучше он, чем Лосев, с него спрос меньше.

— Как сказать, со мной потруднее справиться, я все же в тяжелом весе. Хороший ты парень... По праздникам.

— То есть?

— Где ты раньше был? Куда смотрел? Позволил Морщикину хвост распустить.

— Я позволил? — Журавлев остановился посреди коридора, оттянул на себе ворот беленького свитерочка. — Я? Извини-подвинься, Морщикин продукт твоего производства. На твоей доброте этот



фрукт вырос. Ты когда определился? Сегодня? Ну, вчера. До этого все тянул, уклонялся, думал, обойдется. А впрочем, что ты думал, никому не известно. Меня, твоего зама, не посвящаешь. У тебя высшие соображения. Неведомые простым служащим. Откуда я знал, как действовать?

— Я и сам не знал.

— Признался наконец.

— Ты привык, что у меня всегда готово решение. Приходишь и получаешь. Сам-то тоже мог высказаться. Твой город. Все это время ты меня осуждал или, наоборот, одобрял?

— Я тебя поддерживал и буду поддерживать.

— Я не про то. Что ты сам-то думал? Что-то я не припомню твоих высказываний.

— Сергей Степанович, ты сам меня учил не высказываться. Когда я пришел — к чему ты меня приучал? С начальством не спорить, с ним соглашаться надо. Начинай с похвалы, с одобрения... Не высказывайся, не лезь выступать, выискивать ошибки... Вкалывай, и не задумывайся, и не сомневайся. Твои заповеди? Чего ж ты требуешь? Я не сомневался. «Делай, как я!» — знаешь команду в танковых войсках? Я делал, как ты.

— А теперь призадумался?

Журавлев подбоченился.

— Представь себе — нет! И не собираюсь. Полагаю, в основном и целом ты прав был. Может, оно и лучше, что ты не посвящал меня в свои одинокие думы. Помнишь, мы гнали план по сдаче домов? Лишь бы приняли. Закрывали глаза на качество, на недоделки строителей. Только бы сдать и выполнить план. Я тебе показывал, как трубы перекосены, а ты мне — не стоит вникать и огорчаться, если мы хотим, и так далее... И что в результате? В результате ты был прав. Мы получили знамя, нам за это подкинули фондов, мы забили в титулы мост, хлебопекарню. Потом и те трубы переложили...

Похвала была с горчинкой. От этого пухлого добряка, ухажера, любителя озорных частушек, никак не ожидал такого. Все годы Вася Журавлев был удобнейшим замом, возился с бессчетной писаниной, отчетами, умел отвечать на всякие письма, приказы. Кого другого, а его Лосев знал насквозь, и знать-то там было нечего, все прозрачно, как протертое стеклышко... Оказалось, не так-то он прост, чувствовалось, что в нем еще немало всякого; в который раз убеждался Лосев, что никогда нельзя полагать, что знаешь человека; как говорила мать про отца — слаб да прост, а поднял хвост.

Жаль, что они не договорили, Лосев торопился к Рогинскому, и вернуться к этому разговору им больше не пришлось.

Почерк у Рогинского был крупный, уверенный, учительский. По содержанию бумага получилась просительной, не было в ней настоятельности, возмущения, мы против сноса и предупреждаем... — то, что вызывает у начальства беспокойство, досаду. Растолковать Рогинскому, что от него требуется, было нелегко. То ли он прикидывался, то ли не понимал намеков. Хотя время не терпело. Лосев не нажимал, дело было деликатное. Мало ли как повернется, Рогинский мог покатить на исполком — мол, его заставили написать, — мог отказаться от своего письма. При всей его напыщенности в нем не чувствовалось надежности. Движения его вялого рта, уклончивый взгляд выдавали податливость. Лицо Рогинского невольно начинало повторять выражение, с каким смотрел собеседник: строго — и он становился строгим, бодро — и он смотрел бодро, ему не хватало собственного выражения.

Осторожно Лосев изложил, что требуется от письма. Рогинский

завздыхал. Он признался, что Поливанов также требовал от него писать резче, до этого Таня Тучкова уговаривала его, он же отказывался, ссылаясь на то, что не хотел подставлять Лосева, пришлось бы жаловаться на него, между тем Лосев больше всех других печется о памятниках культуры. Поливанов назвал его мотивы подхалимскими. Тучкова рассердилась на него. Несмотря на давление, Рогинский не поддался. В итоге сам Лосев имеет надобность в том же. Парадокс. К тому же еще на область требуется пальцем указывать, чуть ли не на самого Уварова ополчиться, нет уж, увольте!

Лосев совсем забыл, что между Таней и Рогинским что-то было. Интересно, как далеко зашло у них? Сразу бросилось в глаза, какая у него под затейливой прической уныло-симметричная физиономия. Как у карточного валета. Стала раздражать вычурная его манера говорить со вздохами и театральными жестами. Сила этой внезапной неприязни смутила Лосева. Он вспомнил тон, каким Таня говорила ему про Рогинского, вспомнил номер в гостинице и как все это было... Взгляд его смягчился сознанием своего превосходства. Тщеславие, чванливое чувство, уродливое дитя унижения, причиненного Антониной, оно еще шевелилось.

Рогинский понятия не имел о том, что на самом деле связывало их. Но, может, и Лосев понятия не имел? Так же как не имел он понятия о тайной жизни Антонины. И Антонина не знала о том, что у него было... Никто не знает, что о нем известно другим.

— Что вас смущает? — спросил Лосев. — Дело же правое, святое. Вы же сами возмущаетесь. Кому как не вам, председателю общества?..

— Одно дело устно, другое на бумаге. Мне это может повредить.

Выбранное им слово рассмешило Лосева.

— Чему повредить, чему?

— У каждого свои планы, свои надежды, — оскорбленно сказал Рогинский. — У вас свои масштабы, у меня свои. Я не вы, я не защищен ответственной должностью. Да и что значит мое письмо? Ничего оно не изменит. Все предопределено. В наше время действия отдельного человека ничего не могут изменить. — Он обрадованно ухватился за эту мысль. — Вы же сами знаете, действует порядок, независимый от нас, как солнечная система.

— Вы просто боитесь.

Рогинский покачал головой, подражая Лосеву, укоризненно и так же свысока.

— Пусть будет так. Не хочу связываться. Да, боюсь.

— Кого?

— Не знаю. Просто боюсь.

Все-таки он покраснел и засмеялся быстренько, приниженно, напомним Лосеву этим смехом главного инженера на Севере Устина Любушкина, которого перевели туда за что-то из Москвы. Обычно он встречал Лосева какой-то скороговорочкой: как вы ко двору-придворью, в добром здоровье? И хохотнет быстренько — надолго ли приехали? Чтобы ответить не успели ему, а глазки сияют от восторга, и говорит, говорит, вертится на стуле — и все приятное, все милое, лишь бы вернуться и не сделать ничего, потом протянет руку, а она у него вся мокрая от пота, такого страху он натерпелся за это время, и сразу заметно становится, какая задница у него — огромная, рыхлая, задница-бегемот, задница сама по себе... У того-то понятно, отчего страх засел, а у Рогинского, молодого человека, он откуда?

Кабинет у Журавлева был темноватый, окнами во двор, днем горела настольная лампа. Под ее светом на столе лежали руки Рогинского, большие, белые, на обоих мизинцах длинный ноготь. Он сплетал и расплетал пальцы, вид у него был несчастный.

— Со мной тоже бываает, — мягко сказал Лосев. — Но это надо преодолеть. Иначе пакостно будет, сами себя не уважать станете.

— Хорошо, преодолею, напишу. А потом что будет? На этом ведь не кончится, потом все и начнется: что там скажут, как отнесутся? Возьмут и вызовут? Снова, значит, преодолевать? Вам-то что, лишь бы заполучить от меня... Нет, Сергей Степанович, не втягивайте меня, я не борец. Вы борец, а я нет! И не обязан!

Он изнывал от брезгливой grimасы Лосева. Чайный стакан в просторном подстаканнике мелко позвякивал на столе. Заглушая предательский звук, Рогинский повысил голос:

— У меня в армии шесть прыжков парашютных было! Прыгал, хоть бы что. Без страха. Что вы от меня хотите, я лекции читаю, я все исполняю, что требуется. Почему вы так? Знаете, у каждого свои слабости.

Таких, как Рогинский, легко было брать нахрапом, на испуг. Страх проще всего вышибать другим страхом, пригрозить, что его с председателей снимут за беспринципность, — да мало ли чем.

В глубине души Лосев рад был бы, если б Рогинский взбунтовался, не подчинился, вышел, хлопнув дверью. Но нужно было получить бумагу. Важно было заполучить бумагу, категоричную, на которую можно опереться, и тут нечего было стесняться.

Вместо этого он сказал:

— Не хотите — не надо. Так оно и лучше. Вы мудрый человек, Рогинский. Тишком, да бочком, да в полном согласии...

Его охватило отвращение к себе, к Рогинскому, ко всей этой маете, к этой чертовой мороке — изворачиваться, уговаривать, рассчитывать.

— К едрене фене! Идите вы все туда-то и туда-то! Что мне, больше всех надо?—Он через стол крепко взял Рогинского за отвороты куртки, сказал свистяще, с наслаждением: — И я на все это дело...— Он снова выругался. — Пусть взрывают. Пусть сносят. Морщихин прав. Вы чего явились? Отметиться. Для проформы. Интеллигенция! Покровители культуры! Мне-то что, я сделал что мог.

Как будто сбрасывал с себя тяжесть, распрямился, плечами повел с таким нескрываемым удовлетворением, что Рогинский рот приоткрыл.

— Сегодня ночью бабахнут — и привет! Помните, у Поливанова все меня уговаривали? Вы тоже. А что я вам ответил? Так оно и вышло. Ладно, извините, что помытарили вас.

— Вы это серьезно? — спросил Рогинский.

— Еще как серьезно. — Лосев любовался его растерянностью. — Вам по в р е д и т, а мне тем более. Выхожу из боя. Мне сейчас с Уваровым ссориться вовсе не с руки.

— Почему?

Слушая его, Рогинский нахмурился, непримиримо, по-судейски свел брови, точно как Лосев.

— Вы, Сергей Степанович, идете на компромисс... Должность, карьера — все понятно, но согласитесь, что ваше решение уязвимо с точки зрения совести.

— Шут с ней, с совестью. Успокоим ее чем-нибудь другим.

Напыщенность вдруг слетела с Рогинского, он прерывисто вздохнул.

— Погодите, а если... я напишу... как вы предлагали?

— Стоит ли? Обречь себя на новые страхи?

Рогинский прислушался и вдруг с каким-то тоскливым беспокойством сказал:

— Поливанов проклянет меня.

И снова, торопясь, заговорил о Поливанове; впоследствии Лосев не раз задумывался — почему именно в эту минуту?

— Не отговаривайте меня, я обязан от имени общества, — настаивал Рогинский все более горячо. — Что мне могут сделать? Дом Кислых нужен для музея. В этом доме бывал Короленко, я показывал материалы Морщихину. Нет, нет, Сергей Степанович, коли взялись, надо идти до конца.

Он медленно придвинул бумагу. Лосев молчал. Рогинский щелкнул шариковой ручкой и начал писать. Лосев смотрел, как его крупная белая рука все быстрее скользила по бумаге.

Внезапно Рогинский поднял голову, сказал застенчиво и серьезно: — Когда-то надо совершить поступок. Что-то такое. . . Выпал такой час, может, другого не выпадет? Как по-вашему?

— Да, это вы хорошо сказали. — Лосев улыбнулся ему, все прощая. — Может, другого и не выпадет... Я не буду вам мешать.

Осторожно притворив дверь, Лосев вышел в коридор. Он шел, все еще улыбаясь, когда на пути у него вырос Николай Никитич и тихо доложил:

— Поливанову плохо. Похоже, что помирает. На улице Бакунина. Затеял шествие. Форменный скандал. На улице лежит. Трогать нельзя...

### Глава 23

У палисадника двухэтажного деревянного дома на улице Бакунина, не доходя квартала до Жмуркиной заводи, на широкой лавке лежал Поливанов, обратив к вечеряющему небу свое лицо. Ступни его свисали не уместаясь, черные туфли были почему-то расшнурованы, и концы шнурков болтались. Верхние пуговицы защитного кителя расстегнуты, на бортах кителя блестели ордена, медали, с краю стояла прислоненная палка, под голову подложена фуражка.

За последние недели Поливанов еще больше исхудал, стал длиннее, и сейчас на лавке лежал огромный его остов, торчал нос, торчал кадык, выпирали челюсти, лицо опустело, не осталось на нем ни страданий, ни затаенного прислушивания к себе. Проступило что-то прежнее, памятное Лосеву с юности, но едва обозначилось, словно не успело, прихваченное смертью.

Начальника милиции Лосев послал за главным врачом, зашел к Журавлеву предупредить. Журавлев все знал, ему сообщили, что Поливанов умер. Машины, как всегда, на месте не оказалось. Всю дорогу Лосев бежал, неизвестно, что его гнало, как будто к умершему можно опоздать.

Люди стояли кучками, искоса поглядывая в сторону лавки, где на коленях перед телом плакала сестра Поливанова. При виде Лосева тихий разговор замолкал, шикали друг на друга, провожали его глазами.

Надежда Николаевна, друг поливановского дома, хлопотала над покойным, не выпуская изо рта изжеванной погасшей папиросы.

— Как же так, отчего он? Почему здесь? — спрашивал Лосев. Все вопросы были глупые, не надо было их задавать, но он не находил других.

— Да вот торопился, — сказала Надежда Николаевна и, подняв голову, добавила, глядя на Лосева, со злостью: — По вашей милости.

Лосев не ответил. С того момента, как Николай Никитич ошелом-

мил его вестью о Поливанове, Лосеву стало очевидно, что все, что произошло, каким-то роковым, несчастным образом связано с ним, Лосевым, и сейчас все внимание его устремилось к тому, что всегда было Поливановым и еще не воспринималось как мертвое. Варя обнимала брата, медали и ордена на его груди позвякивали. Тело было безмолвно, но отлетевшая жизнь витала еще где-то рядом. Лосев не отводил глаз от лица Поливанова, потрясенный не смертью, а тем, что не застал Поливанова в живых, что Поливанов исчез, и навсегда, и невозможно его вернуть, невозможно ничего объяснить...

Появился Журавлев, происходило какое-то движение, оказалось, что машина неотложной помощи поехала по привычке к дому Поливановых.

— Девять градусов сейчас, — сказал кто-то, — а ночью обещали четыре.

За спиной Лосева шушукались. Упрек Надежды Николаевны был всеми услышан, его передавали, растолковывали, одни посматривали на Лосева с укором, другие как бы проверяя. Он чувствовал, что за ним наблюдают, холодное внимание оцепило его полукругом, перед ним же лежал человек, который должен был его выслушать и сказать: «Молодец, Серега!» — и обнять его, и все поняли бы... Но Поливанов скрылся, ускользнул, вместо него остался холодеющий предмет. Лосев знал, что Поливанов умирает, что болезнь его неизлечима, но знание это ничем не помогало теперь, тот Поливанов, которого он любил — не любил — боялся — чтил, — Поливанов, который был всегда со дня рождения Лосева, весь этот Поливанов разом исчез.

Перед Лосевым разверзлось не бытие. Понять его было нельзя, оно было как насмешка. Оно посмеивалось поливановским голосом, свистя, задыхаясь, как это было в последнюю их встречу.

Лосев смотрел с тоской, с отчаяньем на большой остроносый профиль с оскалом длинных зубов. Ему было жаль Поливанова и жаль себя, потому что Поливанов оставил его в несправности, ушел в самую решающую минуту, словно нарочно, не давая оправдаться.

Только что Поливанов был здесь во всем гневе своем, со своими тайнами, угрозами, силой — и вдруг ничего не стало. Не насмешка ли это? Куда ж исчезло то, что было Поливановым? Отлетело? Но тогда оно есть, оно просто летит, так же как куда-то летит свет умершей звезды. Но в том-то и беда, что и этого нет... Он вдруг почувствовал в себе холодок смерти, приближение своего конца, увидел себя, свое коченеющее ненужное тело, людей, занятых после первых минут горя уже мыслями о том, где положить покойника, когда хоронить, и нынешняя жизнь накренилась, потеряла значение. Если все должно кончиться этим, любые мечты, любая правда, неправда, — разве это не насмешка? Все кругом зашаталось, не за что было ухватиться. И новое назначение и возня с Жмуркиной заводью — все лишилось смысла. Зачем страдал, бежал сюда Поливанов, если в итоге — тело, вытянутое на широкой лавке у палисадника, которое никогда ничего не узнает? Таков финиш у всех, что у Пашкова, что у Лосева. И даже Наташа, даже Таня, которые заплачут над ним, как плачет сейчас тетя Варя, не смогут сохранить память, потому что они тоже умрут и это ничто поглотит всякий след. Пусть это закон природы, но для чего этот закон, какой в нем умысел?

Миг этот ничего не открывал Лосеву, с таким сознанием жить было нельзя, и, когда он обернулся, встретил взгляды людей, в которых не было сочувствия, все вернулось к прежнему существованию, к тем мелким смыслам, которые позволяли не задумываться о главном, о том, что он только что увидел.

Обстоятельства смерти Поливанова выяснялись постепенно, вплоть до дня похорон, и на похоронах еще всплывали некоторые подробности.

Что заставило его выйти из дому, не дождавшись Рогинского? Они условились, что Рогинский или позвонит, а скорее всего вернется от Лосева и сообщит ответ. Между тем Рогинский, занятый разговором с Лосевым и писанием бумаги, не успел позвонить, был какой-то другой звонок, как говорила тетя Варя, после чего Поливанов страшно возбудился и потребовал свой парадный китель. То есть сперва он хотел идти так, как был, в шерстяной кофте, накинув ватник, но потом передумал, заставил Варю достать из шкафа китель. Последнее время он редко вставал, уж и в сад не выходил, совсем ослабел, но эти два дня названивал по телефону, что стоял у его дивана, стучил письма, телеграммы отправлял. А тут, откуда силы взялись, он встал, чистую рубашку сам надел, сам полез в нижние ящики стола, стал вынимать бумаги, складывать в сумку. Бумаги эти были — военный билет, удостоверение батальонного комиссара, какие-то старые справки, наградные грамоты. Были еще именные часы. Все это он сложил в обшарпанную полевую сумку, где лежал его именной браунинг.

Надежда Николаевна и Варя пробовали его остановить, уговаривали дождаться Рогинского, он только пуще разъярился. Стучал палкой, кричал нехорошее про Лосева, про Уварова. Заявил, что идет оборонять дом Кислых, там бесчинствуют, он стрелять будет. Дорога от его дома была не близкая, женщины шли за ним. Поначалу Поливанов двигался бодро, удивляя их, даже радуя своей силой. Палкой стучал в окна, знакомым кричал, что шпана громит дом Кислых, а жулки ночью взрывать его хотят! Люди не сразу понимали, о ком речь. За ним уже следовали мальчишки и любопытные. Надежда Николаевна полагала, что у него эйфория, хотела ему укол сделать, шприц с собой взяла, но он не дался, палкой пригрозил. Жулики, террористы, вредители — были и более сильные выражения в адрес Лосева и его «банды». Уварова он называл подстрекателем, известной стала фраза его про Серегу-иуду, продавшего родной город за тридцать сребреников. Многие воспринимали это как пьяный бред. Перед выходом Поливанов выпил рюмку настойки для бодрости, Надежда Николаевна не давала, но тут Варя вдруг ослушалась и сама налила брату рюмку. Так что от него припахивало. Загулял старик напоследок.

Примерно у базарной площади голос Поливанова пресекался, движения замедлились, свободной рукой он стал хвататься за стены, Варя подставила ему плечо, сперва он оттолкнул ее, потом ухватился. У канцелярского магазина присел на ступеньку передохнул, весь в поту. Уговоров не слушал. Старики — к тому времени набралось несколько его приспешников — подняли его, провели через мост, и дальше не по лестнице, а прямо по дороге в гору он шел, поддерживаемый стариком Ипатьевым, лодочником и инвалидом войны Гурьяновым. Взбирался, ругаясь, кляня свои ноги, свою немощь, всех врачей, старика Ипатьева, какого-то недобитого инженера Татарчука за этот подъем; пот лил с него, колени подгибались, прислонился к стене, не мог стоять, сползал на землю. Остановить его было невозможно. Пробовали его усадить. Он, рыча и сквернословя, начинал ползти по мостовой через лужи, во что бы то ни стало хотел добраться к дому Кислых. Любым способом. Он умолял Ипатьева, обещал ему денег, лишь бы дотасили. Какие-то курсанты вызвались на руках пронести его, подняли, он обнял их за шеи и запрокинулся, сил у него уже не было. Надежда Николаевна заставила уложить его на ту самую лавку. Не дошли до дома Кислых метров полтора.

Откуда он знал, что в это время дом Кислых громили? Несколько дружков Кости Анисимова добивали камнями стекла, били внутри кафель; подспела милиция, их попросту разогнали и, как просил Лосев, выставили у дома двух милиционеров. Поливанов уверял всех, что отлежится и дойдет, чуть передохнуть надо, и замороженные его настойчивостью, этим всплеском сил, все, даже Надежда Николаевна, поверили, что доберется. «Все на защиту!..» — слабо вскрикивал он. С лавки он уже подняться не смог. Заплакал от бессилья, все просил не трогать, не увозить, оставить в покое. Некоторое время лежал молча лицом вверх, потом позвал сестру, забормотал: «Варька, помирай я. Не дошел. Вот где пришлось. Здесь в нас стреляли. Бандюги...»

Надежда Николаевна засуетилась со шприцем, но Поливанов отмахнулся, чтоб не мешала, смотрел на Варю, на то, как слезы бегут по сморщенным ее щекам, взял за руку: «Это хорошо, что ты тут, одна ты осталась, Варька, прости меня... — губы его задрожали, — не успел я, не успел»; больше ничего не сказал, сложил руки, смотрел на небо с перламутровыми тучками, словно что-то высматривал. Надежда Николаевна наклонилась над ним, сказала, что сейчас «скорая» приедет, домой отвезут, все будет хорошо, он чуть скосил глаз на нее и прошептал...

...пришло точное ощущение смерти, внутри у Поливанова что-то обмерло, как бы лопнуло, и жизнь стала устремляться, высыпаться в эту прореху. Он пытался ее заткнуть, но все разлезалось, как прохудившаяся мешковина. Замелькали давно забытые лица ушедших людей, которых никто уже, кроме него, не помнил, какие-то бабы раздетые на соломе, крынка горячего молока, которую он опрокинул, ошпарив братика, заиграла гармонь, застучали шары в бильярдной, приезжий из Москвы, маленький, беззубый, кричал на него и засовывал ему в издрию дуло нагана... События, казалось навсегда исчезнувшие, мчались мимо него, сыпались вперемешку, навалом, все быстрее, грузовик, подпрыгивая, куда-то мчался по морозному проселку, Поливанов стоял в кузове с питерцами и солдатами, когда по ним полоснул пулемет. Застрочило толчками, ударами, а он стоял. Дизентерийных ребятишек тащил на себе, перетаскивал их, как кошка, в горком, где было тепло и вода была. Все боялись, а он таскал, в нижнем зале госпиталь открыл. Своих у него никогда не было, нянчился с чужими, при детдоме устроил того же Петьку Пашкова, поднял, и Сереге Лосеву помог, будь он неладен... Недавняя ярость растаяла, отдалилась, и увидел он Серегу Лосева совсем малым, в белой рубашечке, как он влезал на Поливанова, карабкался по нему, как по дереву... Было все легче, воздух подхватил его, утягивая ввысь, увидел свою жизнь всю враз, до последнего дня, громадный, изжитый век, в котором было много работы, много крику, смеха, две войны, много наговорено, выпито, была кровь, были женщины, он увидел обеих своих жен, ту, первую, лицо которой он давно хотел вспомнить и не мог, она все путалась с Настей, второй женой, а сейчас он увидел, как та, первая, лежала в красном гробу, видел, как она расчесывала длинные свои волосы, все узрелось ему одновременно с его дружками Гошей Пашковым, Степкой Лосевым, с Шустовым, впутался к чему-то доктор Цандер, врачебное имущество которого они конфисковали и тащили в больницу, он видел себя молодого, в ремнях, и мельком пожалел старого доктора. Вся эта разная жизнь принадлежала ему, и никак было не соединить ее в одно. Ночные совещания, задушенные табачным дымом, доклады, аплодисменты — все то, что когда-то так ценилось, а теперь отдалялось, сгинывало, не причиняя ни боли, ни тоски. Были и другие радости, были загулы, слезы, обман, была ложь, было

горе, которое он причинял, люди, которые его боялись, ненавидели. На какой-то момент он пожалел Варю, девочку с жидкими косичками, некрасивую свою сестру, но жалость эта была мимолетной, потому что жизнь Вари тоже была кончена и она скоро должна была последовать за ним. На войнах про смерть не думалось. Впервые стал думать про нее, заболев, представлял себе, как будет умирать, как страшно будет. Самыми страшными ему казались последние минуты ухода. При мысли о том, что ему предстоит умирать, он испытывал ужас. Но то, что происходило сейчас, было нестрашно, это было не умирание, а исчезновение жизни, ее становилось все меньше, боль таяла, тело его пропадало, он не чувствовал под собою жесткость доски.

Старики, что стояли кругом него, были безобразны. Куда лучше были умершие. Они были молодые. Свежие лица их возникали среди морщинистых, беззубых, мутноглазых своих одногодков. Какие-то женщины смешливые, грудастые. Когда-то они волновали, казались счастьем все эти бабы, девицы, женщины, которые потом куда-то бесследно исчезали. Вспомнилась Лиза Кислых, как он вытащил ее из реки и на руках понес к середине плота. С нее текла вода, Лиза всхлипывала, прижималась к нему, ее чуть не убило, зажало между бревнами двухрядных гонок. Вытаскивая, он порвал черный ее полотсатый купальник. Он увидел себя молодого, сильного, с рыжеватой шевелюрой, голого до пояса, в мокрых штанах из чертовой кожи, закатанных до колен. Июльский раскаленный этот день и следующие несколько дней, шалых от поцелуев и коротких прижиманий в пахучей вечерней тьме, дохнули на Поливанова неслабеющим жаром. Плескала рыба, пахло смолистым дымом из дегтярной. На губах горел соленый вкус ее ранки, вкус плеча, они лежали на липком от жилицы плоту, смотрели друг на друга. Плоты плыли мимо садов, откосов, где кружили привязанные к кольям грязно-белые козы. Неотступно гудели матово-серые хрустящие слепни. Тяжелые мокрые волосы ее лежали на его руке. Сквозь разорванный купальник нежно светилось ее тело. Лиза положила ему на глаза свою руку... На базарной площади каждый день шумели митинги против Временного правительства. Солдаты Люблинского учебного полка сшибали с оград чугунных двуглавых орлов. Повсюду клеили желтые, розовые листовки. Солнце просвечивало Лизину ладошку слабым светом. Ему было восемнадцать, а Лизе, наверное, шестнадцать лет. Никогда больше он не был так счастлив, мокрая ее ладонь лежала на его глазах, просвечивая розовым пульсирующим светом.

Только-только это было — и, глядь, пора на погост. Как оно так проскочило? Кого спросить, кто ответит? Люди, что топчутся над ним, принялись бы лгать, они не поняли бы, почему именно то юное, мимолетное вырезалось ему из промелькнувшей жизни. Они все стояли на другой стороне. Скрипучие звуки их голосов были неприятны, где-то играло радио, мелодия тоже была неприятна. Ему хотелось слышать, как переливается, журчит вода между счаленных бревен.

Розовый свет стал разгораться сильнее, теплая влажная ладонь Лизы лежала на глазах, жизнь была большая, долгая, а не хватило ерунды, малости, чтобы добраться...

## Глава 24

Кончина Поливанова взбудоражила город. Обстоятельства его смерти обрастали слухами. Ожили полузабытые легенды поливановской биографии, соединились с историей предсмертных часов, проис-



шествием загадочным, скандальным, которое все толковали по-разному, и так и этак, склоняя имя Лосева.

Смерть всегда привлекает внимание людей. Особенно момент расставания с жизнью. Последнее слово, желание, жест, любые подробности разглядываются пристально, словно через них надеются разгадать тайну ухода... Человек то же самое в обычной жизни говорил — никто внимания не обращал, а при смерти оно обретает значительность; неужели ничего не открывается умирающему?

Никто не подозревал, в каком недоумении умер Поливанов. Говорили, что он стремился во что бы то ни стало добраться до дома Кислых, для того чтобы защитить, отстоять этот дом. От кого? Прежде всего от властей местных, от Лосева, имя которого он прямо выкрикивал, называя не стесняясь.

О Поливанове за последние годы в городе подзабыли, как забывают всех бывших. Не все знали, жив он или нет, теперь же смерть как бы оживила его, начиналось новое существование Ю. Е. Поливанова — Защитника Справедливости, Патриота Города, Патриарха Лыковских Обычаев. Не важно, что факты не сходились, никто не считался с противоречиями.

«Народ хочет иметь своего героя», — пояснил Лосеву военком, он явился утром доложить, что благополучно отправил саперов назад. Голова у него трещала, и он вовсе не был склонен заниматься утешительством. «Подорвал старик тебе репутацию. Именно потому, что безупречная она, поэтому и обиделся народишко на тебя. А Поливанова жалеют, нравится, что он взбунтовался против тебя. Не важно, что он был вздорный, склочный старик, сам много разрушил... А умер красиво, и смерть эту не переспоришь. Ты можешь завоевывать переходящие знамена, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями, а все равно героем тебя не сочтут... Чем тебе еще помочь?»

Телефон со вчерашнего вечера у Лосева не умолкал. Не было возможности заниматься делами. Звонили то из области, то из Москвы — из Союза художников, из Министерства культуры, какие-то девицы из Радиокomiteта, куда только Поливанов не разослал телеграмм с просьбой помочь, спасти, бог знает чего он там нагородил.

Столичные защитники негодовали, грозили Лосеву, объясняли ему про Астахова, старину, архитектуру, он обещал, аккуратно записывал, кто звонил, откуда, наиболее настырных адресовал в обком, в облисполком. Звонки, так же как и ответные телеграммы, которые шли на его имя, копия Поливанову, устраивали Лосева, были, что называется, на руку. Девица из Радиокomiteта назвала его пошехонцем. Слушая ее надменный московский выговор, отменно вежливый и бесконечно презирающий его провинциальную тупость, Лосев припомнил девицу на выставке — и тон и словечки были схожи.

Позвонил генерал Фомин, к нему дошло через Седых известие о смерти Поливанова при трагических обстоятельствах; не дослушав ответ Лосева, он сам стал рассказывать, как Поливанов поднял на защиту памятников старины ветеранов войны и революции, повел их и пал, поскольку сердце не выдержало. Из слов его возникал Герой, Павший на поле боя.

Образ этот Фомину был дороже тех фактов, что сообщал Лосев, Фомин уже гордился Поливановым и осуждал Лосева, обещал приехать на его похороны, выступить, забыв, что прежде терпеть Поливанова не мог.

Лосев был со всеми неистово любезен и терпелив. Казалось, его невозможно вывести из себя. Секретарша принесла кипяток, и

он приготовил кофе военкому и себе. Кофе у него получался с белой ароматной пеной, он кидал туда крупинку соли и прикрывал на несколько секунд крышкой.

— Ты знаешь, кто может быть героем? — рассуждал военком. — Тот, кто пострадал за свою идею. Или за веру. Идея должна быть симпатичной. Желательно еще поразить воображение. Тебя героем не сделают, потому что не видно, как ты пострадал. Никто не видит, сколько ты хлебаешь. Ты для всех преуспевающий. А Поливанов, хотя двигала им тщеславная мыслишка сохранить дом Кислых под музей и чтоб его портрет висел, он героем станет. Потому что претерпел. Народишко наш любить кого-то хочет. Ищем, кому бы любовь свою отдать. Не дальнему дяде, а местному желательно. Как своих святых имели наши деды...

Лосев маленькими глотками пил горячий кофе. Голова его проснилась. Глядя на него, военком завидовал его выносливости.

— Я не знаю, на что ты рассчитываешь, — сказал он. — Я знаю одно — ты не должен из-за этой штуки рисковать. Шут с ней. Ты городу нужнее, чем все заводы и пейзажи. Усек?

— Дороже, дешевле... Что у тебя за ценник?

— Но это так.

Лосев вспомнил Таню.

— Видишь ли, кроме этой штуки и города, есть еще я, Сергей Лосев.

— И что из этого следует?

— А то, что охота быть в ладу с... с самим собой.

Почему-то он постеснялся произнести слово «совесть».

Усталость навалилась к вечеру, когда надо было идти на конференцию работников культуры. То была не обычная рабочая усталость. Он устал ждать, его изнурила какая-то злая тоска ожидания, и нечем было отвлечься. Сидеть пришлось в президиуме, в первом ряду, под сотнями глаз. Лицо его стягивала гримаса приветливости, словно засохшая мыльная пена. Он пробовал слушать выступающих, убеждался в ненужности этого совещания. Оно было не нужно ни тем, кто сидел в зале, ни организаторам. Оно принадлежало к тем бесчисленным совещаниям, слетам, конференциям, на которых ничего не обсуждается, не решается, проводят их неизвестно зачем то красные следопыты, то руководители спортивных коллективов, то дружинники, заготовители, садоводы, книголюбы, строители... Юпитеры слепили ему глаза. В перерыве фотографии щелкали затворами. Его ставили в центр, его просили беседовать. Тоска одиночества росла в нем. К каждому он должен проявлять интерес, сочувствие, каждого помнить по имени-отчеству («Ибо нет для человека ничего приятней своего имени»), слушать про тех, кого ему представляли («Ибо человек жаждет, чтобы о нем знали, особенно наверху»), кивать, удивляться, поздравлять. «Беседуйте, беседуйте!» — просили фотографии. Рядом с ним оказалась Любовь Вадимовна. Наконец-то он мог сообщить ей, что, кажется, удалось добиться прибавки, к сожалению, затянулось, но что поделаешь, раньше не получалось. Все улыбались для коллективного художественного портрета одной большой коллективной улыбкой. И Любовь Вадимовна тоже улыбалась общей улыбкой и при этом сказала ему:

— Спасибо вам, Сергей Степанович. Мне теперь не нужно.

— Почему? Как так не нужно?

— Говорите, говорите, — сказал фотограф, — не наклоняйте головы.

— Мне тогда приходилось... платить сиделке... Я не могла. Теперь все. Теперь мама умерла. И ничего мне не надо.

...Асфальт кончился, пошел мягкий бесшумный проселок, огни стали низкими, редкими, дальше тянулись темные поля, шоссе, по которому, слепя фарами, мчались машины, огибая городок. Можно было выйти на шоссе, проголосовать, забраться в кузов и ехать, ехать на юг. Оставив все, не спрашивая разрешения, не объясняя, уйти... Фотограф отщелкал, все делали вид, что не слушают их разговора, но никто не расходился. Лосев ничего не знал про ее мать, ей бы в заявлении написать.

— Зачем? Ведь все равно раньше не получилось бы. У вас другие, более важные вопросы.

Он сказал, что хлопотал не только за Любовь Вадимовну, а и за остальных сотрудников. Но это ее нисколько не устыдило. Гладко причесанная на пробор, в черном костюме, она была строга, недоступна, как будто он снова был школьником. В ней не было обиды. Она просто объясняла Лосеву, что он сделал.

— Вы, Сергей Степанович, на первое место ставите интересы коллектива, потом уже интересы отдельного человека. А для меня жизнь матери была дороже всего на свете. Всех ваших коллективов. Если бы я рабочей на заводе вкальвала, я бы ушла туда, где больше платят. А из библиотеки мне уйти некуда. Библиотекарь. Подождет. Хотя бы позвонили мне, сказали — не выходит, Любовь Вадимовна, переbeitесь какое-то время. Ах, Сергей Степанович, ведь так мало надо нам... Но вам не разорваться, конечно, тем более от нас ничего не зависит, ни плана, ни дохода от нас.

Грубить она не могла, не умела. Но грустная вежливость ее звучала убийственно. Он стоял за перильцами библиотеки в суконном перелицованном пальто, слушая ее советы, что читать... С. С. Лосев взял Любовь Вадимовну под руку. Он провел ее в буфет. Он провел ее в зал. Он скрылся в своем великолепном осточертевшем убежище — кающийся простак, затырканый, но славный мужик. Ехать на юг, наниматься по дороге в рыбацкие артели. Ехать на юг, догоняя лето, которое миновало неизвестно когда. Всю жизнь мечтал он поехать на Каспий, пожить под Астраханью. Почему так — и сам не знал. Выходить в море на сейнерах. Староват для матроса, да небось и там людей не хватает. Руки-ноги есть, головой тоже к любой работе может пристать кающийся простак, миляга наш председатель, отец города, можно его огорошить, можно с ним поспорить, что может быть приятнее такого начальника. А что может быть лучше свободы — посмотреть мир, пока не навалились немощи, шататься по краю моря и земли, под солнышком...

Дом был освещен, разноцветные стекла веранды светились изнутри зыбкими, непривычными огнями. Присмотревшись, Лосев увидел свечи, множество свечей. Он стоял перед домом Поливанова. Неизвестно, как он очутился здесь. В доме ходили люди, двери, окна открыты, хотя на улице было холодно.

Лосев стоял в тени, у штакетника, хотелось войти, но не мог, пожалуй, это был единственный дом в Лыкове, куда он не мог войти.

Городские руководители были разгневаны тем, что Поливанов выкинул перед смертью. Дискредитировал себя и других. Особенно возмутили Чистякову выпады против Лосева и Уварова. Действия Поливанова лишали его права на внимание. Никакие прошлые заслуги не искупали его выходки по отношению к руководству. Глаза Чистяковой непримиримо сузились, в своем возмущении она была искренна, она не понимала Лосева, которого Поливанов оскорбил столь неза-

служенно, а Лосев хлопотал насчет венков и оркестра. К тому же выяснилось, что Поливанов нес с собой браунинг, события могли принять трагический оборот. Состояние эйфории нисколько не оправдывает. Пора, кстати, проявить принципиальность и закончить вопрос с Жмуркиной заводью, речей не тратить по-пустому, как писал поэт Иван Андреевич Крылов, где надо власть употребить. Но тут ей стали возражать некоторые члены бюро. Лосев же молчал, не откликнулся, сидел грыз спичку. Под глазами у него была синева, он упорно думал о чем-то своем, и Чистякова и остальные заметили в нем неприятную отчужденность.

Тяжелые звезды висели над яблонями. Из сада пахло грибной сыростью. Желтые мотыльки вылетали на свет и скрывались в лиловой бархатной тьме. В дверях появилась женская фигура, спустилась по ступеням крыльца, пыхнула папироской. Слабо высветило красным лицо Надежды Николаевны.

— Господи,— сказала она, подняв голову к холодному небу,— упокой его душу!

Штакетник скрипнул под Лосевым. Он кашлянул... Надежда Николаевна подошла, взгляделась.

— А, это вы.— Она тонкой стружкой выпустила дым.— Совесть мучает?

— За что? — спросил Лосев.

— Потому что он из-за вас.

— Ну что вы говорите! Вы же врач.

— Считаете, что он все равно должен был умереть? Так мы все должны умереть. Вы через тридцать лет, я через год, сроки безразличны. Именно как врач я привыкла бороться за каждый день жизни. Если его лишили нескольких дней, это уже преступление.

Жестокость ее слов было как раз то, в чем он сейчас нуждался.

— А может, так легче. Вроде как на ходу. Ведь он боялся умереть. Смерть у него получилась красивой.

— Вы отлучили от него молодых. Последнюю мольбу не удовлетворили — дом Кислых отдали. Обездолили его, чего ж тут красивого. Это вам не простится, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятный.

— Нет, не в этом моя вина. Это вы с горя. Я бы и сам хотел знать, в чем виноват.

Надежда Николаевна вдруг судорожно, хрипло всхлинула.

— Знаете, что он напоследок сказал? Я наклонилась, а он шепнул: «Глупые мы были». К чему это? А? Увидел он что-нибудь за углом? Почему глупые?

— Нет там ничего, за углом, пусто. Одна астрономия,— возразил он с запальчивостью, смутившей его самого.— Самому надо вину искать. Кто прав, кто виноват — как узнать? — сказал он, думая о Любви Вадимовне.

Надежда Николаевна докурила, по-мужски придавила окурочек ногой.

— Совестью своей, видно, давно не занимались. Вы, конечно, простите меня.

— А почему я вас должен прощать? Почему?

— Я к тому,— смутилась Надежда Николаевна,— что люди раньше как-то не задумывались над своей совестью. Общей она была, что ли, одна на всех? Как Поливанов говорил — каков век, таков и человек. Не надо было мне при всех вам... возводить на вас. Извините меня. Ведь если по-честному, он любил вас...

Лосев усмехнулся, подумал о том, что извинилась Надежда Николаевна ему лично, никто про это не узнает, и сам он не раз обижал публично, а извинялся лично.

## Глава 25

«Сентябрь. 1951. Париж.

Алешенька!..

Так я Вас много лет мысленно называю, дорогой Алексей Гаврилович! Наконец решилась буквами изобразить мое обращение. Только что отметили мне пятьдесят лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу не стесняться признаваться во всем, все женские запреты сняты. Господи — пятьдесят! Никогда не думала, что доживу до такого. Здесь-то никто не знает, что на самом деле мне больше. Один Вы, дорогой друг, можете знать это. Письмо пересылаю Вам с оказией, ничего, ничегошеньки не зная о Вас — где Вы, что с Вами, как выжили Вы в этой страшной войне. То, что войну Вы пережили, это известно мне, читала в газетах в 1947 году про Ваш юбилей, а в 1948-м Вам за что-то опять попало, и у нас про это сообщили. Верю, что Вы живы, сегодня видела Вас во сне веселым, так взволновалась, что решила не откладывая написать, тем более оказия подходящая.

Прежде всего снова, еще и еще, спасибо за портрет. Как он меня выручил. Я дважды закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Пришел день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось... Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я, но я, когда смотрела, не себя видела, а Вас! Это Вы себя тоже написали. Видела Вас — громадного, мужикастого, ручищи сильные, золотым волосом поросшие, рукава чесучовые закатаны. А в другой раз коломянковая рубаха была на Вас. Вы оставались все тем же, я же отдалялась от своего портрета, уходила, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с ним отношения установились: я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, которая встречается с Вами, сопровождает Вас, приходит в Москве к Тырсе, к Вам, и мы заходим за Гавриловыми и все к Вахтанговым... Тпр-ру! Перебирать бисер прошлого — запрещено! Что во мне не изменилось — я такая же хохотушка, как и была. Несколько лет назад меня еще уговаривали, что я выгляжу не хуже, чем на портрете. А до того — что даже лучше, по-другому. Я не спорила. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисована та, русская моя жизнь. Кроме портрета, у нас висела большая картина Мстислава Добужинского, он подарил, — Москва, — и несколько рисунков Александра Бенуа. Все это в сравнение с Вашим портретом не идет, и сам Добужинский признавался. Они ко мне ходят смотреть. Впрочем, все это было давно.

У Вас образовалась слава, имя Ваше известно не только среди русских эмигрантов, но и среди французских художников. Я собрала несколько книг, где пишут о Вас, и фотографии приводят, и мой портрет печатают. Мне, конечно, лестно, реклама, цена портрета повышается... Тпр-ру! Я опять не о том, слишком большой кусок жизни прошел, столько было, отчего же мелочь пустячная приходит на ум, а так, чтобы главное оценить, не умею, да и боюсь. Очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была, как Вы знаете, семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия, все было и сейчас есть радости. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла, язык помню, преподаю, перевожу. В России, почитай, все, кого знала, поумирали, погибли, все там у Вас изменилось. Улицы по-другому называются. Пана-

лей нет. Церквей нет. Магазинов частных нет... Старой моей России осталось мало. Она для меня в Вас сосредоточилась. И еще в Лыкове. Говорят, фашисты туда не дошли.

Я вдруг поняла, как Вы меня могли любить, если бы не эта разлука. Поняла после тех нескольких дней, что Вы пробыли в Париже. И потом, когда Вы прислали через несколько лет мой портрет взамен дома нашего,— еще раз подумала. Но несмело, нерешительно. И вот сейчас поняла. Поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть. Может, ныне оно уже отцвело бы и мы прожили бы его, истратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, что была предназначена Вам, ни на что другое я не сумела ее истратить.

Раз в месяц еду я на кладбище св. Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, цветы, аллейки, по ним гуляют русские. Старики и старушки — неподалеку русский дом призрания, оттуда идут гулять среди милых могил. Церквушка для отпевания, расписанная, между прочим, Александром Бенуа. Не так давно хоронили мы тут нашу славу, Ивана Алексеевича Бунина, а недавно и супругу его, Веру Николаевну. В один год с Буниным отпели и нашего Николая Николаевича Евреинова, похоронены здесь и братья Мозжухины, Александр и Иван, Надя Тэффи и художник, которого Вы, наверное, знали, Чехонин. Вообще, как говорила мама,— здесь что ни имя, то прибыль Европе. Какие есть имена — Бахметьев, Тимошенко, Ипатьев, Зворыкин, классики, корифеи и в химии, и в гидравлике, и в электронике. Лежат здесь, конечно, и малопочтенные деятели разных союзов и организаций: дроздовцы, марковцы, колчаковцы и прочие оголтелые. И эпитафии у них тоже оголтелые. Хотя сейчас хожу и их жалею. Многие среди них заблудшие, одуроченные, так и умерли, боясь посмотреть правде в глаза.

Я купила себе место рядом с мамой, если приедете в Париж, а меня уже не будет, стало быть, приходите сюда. Все может быть, я часто повторяю Пушкина: «Вот так и мы, мой друг, предполагаем жить, а глядь, как раз умрем». Видно, мне уж не свидеться с родными местами. Несправедливо. Еще несправедливей, что мы с Вами не могли больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл от этого? Мы с Вами, Алешенька, попали под самое колесо Истории, прокатилось оно ободом по нашим судьбам, переломало косточки... Я ведь и писать Вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную Вашу жизнь. Так хотела узнать о пребывании Вашем в Лыкове, когда Вы рисовали наш дом. Я никак не надеялась. Когда мне привезли фотокарточку с Вашей картины, боже, какая это была радость. Стало быть, поехали, сделали, ради меня поехали, спасибо Вам. И эту благодарность свою побоялась послать. Потом передавала через дипломатов и через Ваших, советских. Зато я, когда портрет на выставку давала, оговорила, чтоб в каталог поместили фотографию лыковской картины, будто она была на выставке, ее фотография висела там рядом с ларионовскими пейзажами, я полагала, что Вам приятно будет.

Какая коротенькая оказалась жизнь. И какое большое место заняла в ней разлука с Вами. Почему нынче все, что было после юности, после отъезда, сгнуло и осталась только русская юность и я, смотрящая на нее с другого берега? А между нами река, та вода утекла, унесла все, что было, что соединяло, что происходило в эти десятилетия, ничего не осталось, а есть тот берег, где я сбегая к Плясве к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотках лежала, и есть этот берег, мой, на котором кончается мое путешествие.

С тех пор как Вы были у меня, я сменила много квартир, та стала мне не по карману, живу, однако, в том же районе, под окнами Блошинный рынок, летом я с племянницей уезжаю на юг, там у меня дачка — крохотный домик с цветником. С детьми вижу редко, шлем друг другу открытки, сообщая главным образом о здоровье. Существование обыкновенное, от которого ничего не останется. Разве что портрет. Он висит в частной галерее мадам Л. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает, эгоистично скрывать его от глаз людских. Расставание было нелегким. Стена стала пустой, и квартирка моя превратилась в обычную мещанскую обитель. Дети недовольны, сын подыскал американского коллекционера русской живописи, он давал вдвое больше, чем музей, но я не могу отослать ее за океан, видите ли, не могу отказать себе в удовольствии изредка заходить в галерею и садиться в этом зале. Служители меня знают, один «торгует» мной, показывает исподтишка посетителям «натуру», присоединяя к этому какую-то сентиментальную легенду. Но большей частью мне никто не мешает. Я пробую угадать, что люди думают, глядя на портрет. Судя по их словам, они любят искусство художника и меньше думают о том, кого он нарисовал. А если говорят о нарисованной девушке, то представляют ее все по-разному и почти никто не думает о ее судьбе. Иногда спорят — чему я там смеюсь? красивая я или хорошенькая? Мною живой интересовались иначе, никто в меня так не вглядывался, не изучал мои черты. Рассказать бы им, что написали Вы его по памяти, если не считать нескольких набросков, что сделали Вы в Париже, не так ли? Меня на свете не станет, а перед портретом все так же будут останавливаться, смотреть мне в лицо каждый день десятки, может, сотни лет. Стоит подумать об этом — голова кружится. А знаете, Алешенька, внутри я не постарела, в душе не появились морщины, суставы ума не скрипят, по крайней мере — пока. Душа разве что загустела. Старость — это когда кругом все молодые. Молодые становятся еще моложе. Парни не замечают меня. Недавно еще нахальные, они стали дурашливыми мальчишками. Я нравлюсь солидным вдовцам и почему-то преподавателям колледжей.

Однажды в галерее я видела Андре Мальро, министра культуры, известного нашего писателя. Он заинтересовался портретом, ему что-то объяснили, я смутилась и тихонько вышла из зала, потом я прочла у него фразу, которая меня поразила: «Художник не копирует мир, а соперничает с ним». Вы помните Чекрыгина? Он попал под поезд и не успел написать фреску «Восстание и Вознесение», о переселении человека в космос. Он тоже соперничал. И Вы. Но если соперничали, то изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, ту, о какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу Вас, и люди, которые смотрят, они больше говорят о Вас, они тоже Вас видят во мне.

Письмо мое настолько запоздало, что не должно раздосадовать Вас. Оно не для ответа, оно всего лишь весточка из Вашей молодости, которую, надеюсь, всегда приятно вспомнить. Странно, что ныне Вы больше значите для меня, чем когда Вы были рядом.

Благодарю Вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых».

## Глава 26

Давно в Лыкове не было таких похорон. Длинная процессия тянулась через город. Шли медленно, потому что много было старых людей. Генерал Фомин сказал: «Правильно, что пешком идем. По-человечески. А то в Москве у нас провожающие на машинах». Играл духовой оркестр. Фомин шел в сизой генеральской шинели, держал

под руку тетю Варю. Видно было, какие они старенькие. Приехали военные отставники в мешковатых просторных мундирах, из Москвы — несколько друзей Поливанова, бывшие лыковские, бывшие однополчане, бывшие сослуживцы по Наркомату продовольствия. Одни знали Поливанова храбрым артиллеристом, другие уполномоченным в кожанке, который носился на пролетке по деревьям. Одни знали его жестоким, беспощадным, другие беспечным заводилой. У третьих он сохранился в памяти как мечтатель, обуреваемый революционными замыслами создать международные кооперативы, что-то в этом роде. У каждого был свой Поливанов, и было бы трудно сложить из их описаний одного цельного человека.

Денек был серенький, слезливый. Дождя не было, но мостовые и стены влажно блестили. Оркестр играл «Варяга», и генерал Фомин вспоминал вслух слова старой песни: «...последний парад наступает» — и сморкался, не стесняясь своих слез. На кладбище выступили от старых большевиков, от фронтовых друзей, выступил Фомин, вспоминал, как Поливанов послал его в летную школу, как Поливанов прилетел на самолете в Лыков и лыковцы впервые увидели у себя аэроплан и катались на нем. Тогда определилась военная судьба Фомина.

После него в круг вышел Лосев. Появление его было неожиданным. «Позвольте мне», — сказал он и, не дожидаясь разрешения, нарушив предусмотренный распорядок, заговорил. В толпе произошло движение, зашикали, но голос у Лосева был сильный, привычный. Лосев не собирался идти на похороны, тем более выступать. Но когда он из кабинета услышал звуки духового оркестра, ухающие глухие удары барабана, то работать уже не мог. Он позвонил Чистяковой, предупредил, что пойдет на кладбище. «Но мы же договорились», — сказала Чистякова, ее удивила эта непоследовательность, что значит как частное лицо — он не может быть частным лицом, во всех смыслах ему не следует там быть. «Ты и без того себе много напортил», — прорвалось у нее с неожиданным участием.

Он шел в задних рядах, затерянный в толпе, подавленный скорбной силой траурного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

Роковая борьба — он шел и думал о том, как точно жизнь человеческая определяется этими двумя словами — борьба и рок, исход борьбы... Он вспоминал Поливанова прошлых лет. Всегда старый и всегда богатырь, которому, казалось, сноса не будет. Сколько он себя помнил, всегда был Поливанов, Поливанов был обязательной принадлежностью города, как Предтеченские ворота, Поливанов был частью его, лосевской, жизни. Облик молодого отца, пересказанные истории их молодости, пятилеток и первых колхозов, мальчишка Серега Лосев, каким он себя не помнил, каким видел его Поливанов, — все это исчезло навсегда, умерло, оркестр оплакивал и его, Лосева, его родителей, погибшие сцены его детства.

На панихиде Лосева подтолкнули, выжали вперед, к раскрытой могиле, где на козлах стоял в бумажных кружевах гроб без крышки.

Начал он вызывающе, несвойственно панихидным речам. На него смотрели хмуро, некоторые из приезжих с алчным любопытством, покачивали головой — оправдаться хочет, что ли?

Уже после выступления Лосев объяснил Чистяковой, что, взвесив, он решил, что нельзя не произнести прощальных слов от города, которому Поливанов столько сделал хорошего. Вся долгая жизнь Поливанова была отдана революции, партии, людям, дети которых стояли здесь. Неправильно судить человека по последней ошибке, она не может весь свет застыть.

На самом деле Лосев ничего не взвешивал, он подошел к гробу и вдруг услышал свой голос: «Дядя Юра», огромные руки подброси-



ли его... И он заговорил об этой жизни путаной, счастливой, азартной, боевой... Время сейчас, что ли, такое — больше видны огрехи того же Поливанова, кого обидели, где погубили впустую людей, где зря разрушили. Но было и другое, было. Почему-то невидное теперь. Сколько школ настроили, сколько знаний дали. Газета в районе выходит. Кто ее наладил, кто типографию привез? Тех касс наборных давно нет, а о поливановских заслугах забыть нельзя. Последние годы и Лосев считал его брюзгливым, ограниченным человеком. Но имел ли он право судить его, не судя себя? У Поливанова была мечта, идея, он жил пусть наивными иногда, но красивыми идеями. И не было в нем равнодушия. Никогда... Может, в наивности сила и преимущество поливановского поколения. Оно не повторится. Оно выплавлено революцией, оно уходит. Невольно он сравнивал их с собой, сейчас, перед раскрытой сырой песчаной могилой, он видел не приобретения, а потери. Слушали хмуро, сочувствия своим словам он не ощутил. Он понял, что все ищут в его словах оправданий и, что бы он ни сказал, будут считать, что он оправдывается. И тогда, не умалчивая обстоятельств смерти Поливанова, заговорил напрямую, о чем шептались: Поливанов хотел сохранить для музея дом Кислых, по-своему из последних сил боролся за это, и правильно делал, надо такой музей создать. В минувшие годы Поливанов много собрал экспонатов, теперь дело за городом. Жаль, что при жизни Поливанова не сделали такой музей.

— Надорвался... погиб, добиваясь,— отозвался кто-то позади Лосева.

— Лучшего здания для нашего музея не придумаешь,— продолжал Лосев и твердо сказал ни с кем не согласованное, не обговоренное: — Следует сохранить этот дом для музея, это будет лучшая память Юрию Емельяновичу...

— Правильно! — разгоряченно крикнул кто-то, нарушая торжественность панихиды.

— ...это будет по-хозяйски, по-человечески,— все тверже говорил Лосев.— Раз мы так считаем, мы с вами, хозяева города!

Перед ним с обнаженными головами стояли среди черных мраморных крестов, красных пирамидок, у посеребренных оград люди, которых он знал, коренные лыковцы, которые выросли здесь, у которых родные лежали здесь же, которые когда-то и его придут хоронить сюда. Поколения лыковцев, которые стали землей России, вот и Поливанов тоже. Немного меньше, немного больше — все равно мало, слишком мало отпущено человеку. Что-то у него разладилось с ними. Но он знал, что это надо перетерпеть. Без злости и обиды. Лучше в обиженных ходить, чем в обидчиках, вспомнились ему слова Фигуровского. Хотя обида была, некуда было от нее деться.

Если б он сумел им сказать о самом главном. О короткой вспышке человеческой жизни, о шатком мостике между той вечностью, пока тебя не было, и той вечностью, когда тебя не станет. О том, что человеку дается на короткий срок немало — эта земля, этот родной город, близкие, работа, любовь,— как со всем этим обращаться?

Что-то слабо озарилось на миг, мелькнуло Лосеву во тьме, в которую он заглянул. Но он не мог понять, что это было, не мог выразить это словами, но что-то было, ощущение сокровенного смысла, которое появилось и исчезло.

Срываясь на вой, заголосила тетя Варя, за ней женщины. Стали подходить прощаться с покойным. В это время где-то позади, в толпе, произошло движение, кто-то пробивался вперед, и вдруг Лосев увидел перед собой Таню. Всклипывая, она склонилась к гробу, поцеловала то холодное, твердое, что было когда-то Поливановым, сле-

зы бежали по ее щекам, по шее, и в то же время, когда она отошла, и это поразило Лосева, лицо ее неприлично светилось счастьем. Она смотрела на Лосева, плакала и сияла. Невозможное это соединение счастья и горя было странным, потому что оба эти чувства пылали в ней с полной силой. Слезы вскипали в глазах и скорбных и восторженных, она сжимала руки у груди одновременно в тоске, в ужасе от перестука молотков, заколачивающих крышку гроба, и в радостном нетерпении, что kloкотало и прорывалось в ней.

## Глава 27

Прежде чем они остались на кладбище вдвоем, могильный холм был обшлепан лопатами, обложен цветами, тяжелыми венками, траурные ленты были расправлены, и наступили те неловкие минуты, когда ничего больше сделать для покойного было нельзя, и живые стали расходиться.

Таня и Лосев стояли рядом. Она еще ничего не успела сказать, сияла, устремленная к нему своей непонятной радостью. К ним подошел Рогинский, вид у него был торжественно-траурный, черное пальто, черный шарф, зонтик с загнутой ручкой висел на руке. Опустив глаза, он пригласил Таню на поминки в дом Поливановых.

— Почему меня? А Сергея Степановича? — удивилась Таня.

У Лосева короткая неподвижная усмешка выгнулась на губах. Он смотрел на Рогинского, который, не поднимая глаз, сказал со значением:

— Я думаю, что Сергей Степанович все равно отказался бы.

— Это почему? — несколько рассеянно спросила Таня.

Рогинский поднял глаза на Лосева и снова опустил. Лосев сказал, что в с е р а в н о он не сумел бы; ему и в самом деле предстояло ехать к Уварову, важно было прибыть сегодня и доложиться.

На это Рогинский тонко улыбнулся, взял Таню за руку, с какой-то особой настойчивостью отделяя ее от Лосева и торопя. Таня не двинулась, она даже нахмурилась на Рогинского, сказала, что ей надо поговорить с Лосевым, а там видно будет. Рогинский вызвался подождать. Таня отняла руку, сказала, что сама найдет дорогу. Сказала нетерпеливо, резко, так что Рогинский растерялся:

— Напрасно ты, я потому Сергея Степановича, чтобы не поставить в бестактное положение, потому что он сам себя поставил...

Таня неприятно прищурилась.

— Оставь нас. Неужели не понятно, что ты мешаешь?

Тон ее был невыносим, Рогинский снял шляпу. Узкий лоб пересекала красная полоса, стало видно, как он бледен. Он оглядел их с выразительностью, которая должна была предостеречь их.

— Я считал что все сплетни поскольку вы Сергей Степанович зачем ей позволять она безрассудна наглядно видно не ведает что творит я не могу не вмешиваться затронуты обе судьбы моя и ее вы подвергаете всеобщему...— Он говорил без знаков препинания, сперва ровно, потом все быстрее.

— Простите, Рогинский, я не понимаю, о чем вы, — устало и безразлично сказал Лосев. — И не хочу понимать.

Одной рукой Рогинский оперся о ближний каменный крест, другой оперся о зонтик, выставив ногу, поза получилась вычурно-развязной, и заговорил он иначе:

— Не хотите? Почему же? Неприемные часы? Когда уговорить меня надо было — не жалели времени? Теперь не нужен, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

— Какой мавр? — тупо спросил Лосев.

Рогинский театрально рассмеялся:

— Представьте, был такой, все было. Жертва доверчивости. Я тоже поверил вам. И преодолел. Не боюсь. Знаю, что попомнится мне, но не боюсь!

— Вот и хорошо,— сказал Лосев.— Только мне сейчас не до вашего мавра и не до вас. Да и не место здесь.

— У свежей могилы? — подхватил Рогинский.— Вот вы ей и напомните. Стыдно. Как можно так, сразу же предаться?

— Кончай,— оборвала его Таня.— Будешь потом жалеть. Прощения прибежишь просить.

— Признаю, у меня глупое положение. Вы оба сейчас против меня. Но вы, Сергей Степанович, в ответе. На вас падет. Вы пользуетесь своим преимуществом. У нас неравные возможности. Поливанов предупреждал, что вы вскружили ей голову. За вами сила. Картина, борьба, то-се...

— Сергей Степанович тут ни при чем! Это я, я сама! — Она взяла Лосева под руку, прижалась к нему.

Презрительная улыбка Рогинского не удержалась, лицо искривилось, он загородил им дорогу.

— Вы... вы не имели права. На его могиле выступать! Это вы довели Поливанова. Все из-за вас. И Таня ушла от него. Это тоже его убило... Ваше выступление в истинном свете, оно... для репутации... В силу, чего вы наобещали над гробом. Ты, Таня, думаешь, у него порыв? Как бы не так. Он наверх идет! Зачем ты ему? Вашей карьере, Сергей Степанович, она помешает. Таня может выкинуть любое. Скомпрометирует! А вам этого не нужно. У вас семья.

Он обращался то к Тане, то к Лосеву, выпаливая фразы, от которых сам приходил в ужас, правильные рисовано-валетные черты лица его сбились, при этом он еще косился по сторонам, боясь привлечь чье-нибудь внимание. Последние провожающие покидали кладбище. Издали могло показаться, что они мирно беседуют втроем, черный зонтик покачивался на руке Рогинского. Лосев спокойно кивал на его слова, и Таня стояла тоже на удивление спокойно. Разве что нетерпеливо притоптывая каблук.

— Ох, как мне сейчас не до тебя,— сказала она.— Ты очень стал смелый, поэтому можешь выслушать. У нас с тобой ничего не будет. Никогда. Что бы ты ни делал. Не потому, что есть Сергей Степанович, а потому что ты мне не нужен. Ты мне ясен со всеми твоими поворотами. Я сквозь тебя свою жизнь до этого кладбища вижу. Хватит.

Она унижала Рогинского без гнева, спокойно. Лосеву стало жаль его, непонятно было, как эта кроткая, милая, сияющая женщина могла быть такой жестокой, надменность проступила в высоко поднятой голове, во взгляде, напоминая о старинном новгородском роде Тучковых.

— Все кончилось, Стась. Помнишь, как я тебя просила помочь мне? Вот тогда и кончилось.

— Таня...

— Уйди. Уйди, а то я не постесняюсь, я еще кое-что выложу.

— Да, боялся, потому что имел. А теперь не боюсь. И нет ничего. Непонятно...— Плечи его поникли, он поднял руку, посмотрел рисунок ладони и сказал тихо, ни к кому не обращаясь:— Что же мне теперь делать? — Обвел их незрячими глазами и пошел к воротам.

Таня провела пальцами по лицу, словно умываясь, и вдруг без перехода обняла Лосева, сплела руки у него на шее, повисла, прильнув всем телом.

— Бедный мой,— приговаривала она, лаская глазами его осунувшееся, почерневшее лицо.

Лосев нахмурился, попробовал снять ее руки, она не позволила, еще крепче прижалась.

— ...Любить не умеет и ревновать не умеет. Прости, это из-за меня, никогда не думала, что он решится.

Какое-то время еще он наслаждался ее теплом, ее радостью, не веря, что можно так радоваться из-за него, из-за того, что она увидела его, затем он оторвался, и Таня засмеялась, переносица ее сморщилась, нос вздернулся, теперь уже счастье, ничем не сдерживаемое, вырвалось наружу.

— Ну его, идиот! Я ведь его уговаривала написать эту статью. Он заблажил — ах, да ох, да что с нами сделают! Слава богу, что без него обошлись!

— Какую статью? — спросил Лосев.

— Да эту самую! Ты что, не знаешь? Я боялась, что вам звонили, они в область звонили, проверяли, не снесли ли дом, они с Пашковым говорили, он тебе не передал? Значит, ты до сих пор не знаешь? — Она удивлялась, смотрела на него с еще большим восторгом. — Так это ты сам решил? Я-то думала, что ты узнал, а это ты сам не позволил, какой ты молодец! — Она подпрыгнула, поцеловала его, она была сейчас самым счастливым человеком на свете. — Ты отчаянный. Все висело на волоске, верно? Ты, значит, сам им запретил, вступил с ними в бой, только на себя надеясь?

Радость ее так кипела, что Лосев невольно залюбовался, не придавая значения ее словам. Впервые за эти дни блеснул просвет — нежная отрада ее похвал, если бы можно принять эту отраду без распросов.

— ...теперь все позади, теперь они убедятся!

— Теперь-то самое сложное и начнется,— сказал он, думая про Уварова.

Пока они говорили, Таня рылась в большой желтой своей сумке. Наконец она нашла сложенный во много раз пухлый газетный лист, развернула его. Это была верстка статьи, озаглавленной большими черными буквами: «Беречь красоту».

Глаза Лосева небрежно скользнули, отметив знакомый шрифт центральной «Правды», споткнулись, выхватив фамилию Астахова, рядом — Уваров, метнулись назад — Лыков... Жмуркина заводь... — заторопился ухватить суть, долго никак не мог связать, снова возвращался, еще не веря, опять перескакивал.

В статье приводились примеры ненужных, непродуманных перестроек, реконструкций, губительных для городских пейзажей. В результате нарушались, исчезали знаменитые драгоценные архитектурные ансамбли, которые складывались столетиями. В числе других примеров автор довольно подробно разобрал угрозу, которая нависла над неповторимым уголком центра старинного города Лыкова, где Жмуркину заводь отвели под строительство филиала завода вычислительных машин. Городские организации ныне опомнились и хлопочут, предлагая другое место. Но они не в силах переубедить некоторых товарищей. Вот тут упоминался Уваров, который, с психологией в этом смысле типичной, не признает красоты, без тени сомнения готов пожертвовать ею во имя сиюминутных целей. Деловой азарт мешает таким руководителям понять, «как дорог бывает традиционный городской центр, особенно теперь, когда нас окружило море новостроек». Мимоходом автор ссылается на художников, они точно выделяют поэтические центры города, источники романтики, как это сделал, например, Астахов в том же Лыкове. Далее шло о том, что

у нас немало сделано за последние годы для сохранения памятников старины, надо научиться так же беречь красоту традиционного городского пейзажа, как делают, например, ленинградцы, сохраняя нетронутым Невский проспект, который, кстати, ценится горожанами как место пребывания и более того, как место ничего не делания — «...это необходимо горожанину, по утверждению психологов, не менее, чем любые формы досуга».

В другое время Лосев вскрикивал бы — а я что говорил! ...а ты! — торжествовал бы от того, как совпадало прочитанное с его собственным мнением, как подтверждались мысли Аркадия Матвеевича, все это наполнило бы его гордостью, сейчас же все соскальзывало, он и себя не слышал и не слушал, как Таня рассказывала про свои злоключения, как удалось ей зажечь мужа сестры, который давно собирал материал и все не решался, приезжал в Лыков, смотрел картину, и как отказ Уварова подтолкнул его, но тут начались всякие трудности. Позднее ухищрениями памяти Лосев попробует восстановить ее рассказ, у него всплывет что-то про завотделом и собственного корреспондента, которые поначалу хотели смягчить, про какую-то стенограмму выступления Уварова — бессвязные клочья зацепившихся фраз.

Единственное, что он успел тогда спросить: можно ли задержать статью, если это верстка?..

— Нет, нет, это в сегодняшнем номере стояло, он уже вышел, — победно ответила Таня, ничего не чувствуя в его голосе.

Его словно подбросило. Что это было — налетело пыльным смерчем, мгновенно ослеп, оглох, выкрикивал в ярости, поднял кулаки, застонал, стиснув голову.

— Что ты наделала! Почему Уваров, почему один Уваров? А где я? Что он подумает?

Счастье еще переполняло Таню и не могло исчезнуть разом, столько его было, оно нелепо кружило ее, мешая понять, что происходит.

— Но я же говорила вам, Сергей Степанович, и про газету говорила, я говорила, что помогу. — Она спешила разъяснить, торопилась, чтобы он понял, уверенная еще, что это какое-то недоразумение.

Лицо ее, высмугленное солнцем, лаково блестело, и крепкие зубы ее блестели, и губы блестели, все в ней цвело, пылало, вскипало соком здоровья, и Лосева хлестнуло, обожгло злобой.

— Да кто тебя просил мне помогать? — вскричал он. — Чего ты влезла? Думаешь, это помощь? — Он скомкал газетный лист, швырнул на землю, притоптал ногами. — Я сам, без тебя... Что со мной будет, ты подумала? Ты мне только хуже сделала. Да, да! Тебе плевать на меня...

Передряги этих дней, все, что скапливалось, что предстояло выслушать от Уварова, опасения, попреки, сплетни, смерть Поливанова — все навалилось, захлестнуло болью нестерпимой, непосильной, он чувствовал, как внутри трещат, ломаются какие-то перегородки, руки его затряслись, он уже не мог сладить с собой, повернулся, побежал. Повсюду натыкался на печальную тесноту могил, ударялся о камень раскинутых крестов, бежал, боясь остановиться, чтоб не рыдаться. Постыдные необъяснимые слезы отчаянья настигали его, душили. Будь он один, заплакал бы, зарыдал в голос, чтобы как-то снять эту острую боль под левым соском. Так бывают инфаркты, мелькнуло будто со стороны, обреченно, и он поразился тому, как нельзя бывает ничего предотвратить даже под страхом смерти, нельзя себя успокоить, взять в руки. А на него продолжало рушиться, низвергалось обвалом... Стало ясно, зачем Уваров вызвал его так сроч-

но, и то, что он отказался немедленно выехать, выглядело совсем некрасиво. Да что этот отказ, а остальные поступки? Один за другим они выворачивались наизнанку. Все будет истолковано как 'непорядочное... И вдруг его ослепила мысль: «Она обо мне не думала!..» — выросла, заслонила все остальное. «Что будет со мной, не думала, не думала!..» И сразу покатился, обрастая, ком горчайшей обиды, одинокости... Ей надо было добиться своего, у нее свой интерес, он, Лосев, был для нее орудием, она его использовала, для этого все делалось. Как сказал Рогинский, «увлеклась картиной, борьбой», ничего другого, о нем самом она не думала, он только что видел, какой она может быть жестокой.

Позади в шелесте палых листьев слышались шаги, Таня следовала за ним по пятам.

— Оставь меня, уходи,— бросил он не оборачиваясь.

Внутри у него померкло, только звенела дрожащая, натянутая до предела струна, он чувствовал — главная струна его существования.

Слабея, он опустился на голубенькую скамеечку у пирамидки, сваренной из железных трубок.

Что ни надгробье, то либо родные, либо соседи, знакомые, здесь лежали те, кто держал его на руках, кормил, угощал... Что-то оставалось в нем от каждого, что-то безымянное, стертое, как надписи на крестах, на сером камне, поросшем мхом. Подумалось ему — а что, если это могила Гоши Пашкова? Если стоял здесь его, Лосева, отец и плакал над смертью дружка своего? Как знать, может, и впрямь у камня этого есть память?... Студеный сквознячок поддувал из каждой могилы.

Мать лежала где-то неподалеку. И Поливанов. Отшумели речи, звуки оркестра, и началось новое существование Поливанова, мудро и гнусно уравненного смертью со всеми остальными лыковцами.

Вечность утешала Лосева серенькой тишиной кладбища, щебетом синиц, поздними осенними цветами.

Таня стояла преданно и упрямо поодаль и, ощутив момент, когда отхлынуло, отпустило Лосева, произнесла с осторожностью медицинской сестры:

— Неужели у тебя неприятности будут? Это ужасно.— Помолчала, убитым голосом предложила: — Я скажу, что это я сама, вы же меня отговаривали. Так это и было,— уговаривая, сказала она.— Я же не послушалась, при чем тут вы?

— Они узнают, узнают. Тот же Рогинский скажет, твой Рогинский.

Наконец он отозвался, и она ухватилась за его слова в надежде, что он всплыл из-за нее.

— Мне-то что, мне терять нечего, то есть я ничего из себя не представляю,— говорила она, путаясь и торопясь,— в конце концов, я в музей уйду, я думаю, что это облегчит тебе, ведь статья принципиальное значение имеет для всех, для того, что ты задумал...

Он вдруг увидел надпись на пирамидке, прямо перед собой,— «Ширяев», это поразило его как примета. Он повернулся к Тане, боль вернулась.

— Тебе, может, терять нечего, а мне есть что. Выходит, в благодарности тебе я должен был отказаться от назначения и прочее? Ты делала это все ради себя, тебе нравится красоваться, быть спасительницей...— Снова он несся черт знает куда уже не в силах остановиться.— Тебе нужен победитель! А если я... Вот лежит здесь...— Его било изнутри, задушенные рыдания рвали его грудь.

— Ну, ты идиот,— хлестко сказала Таня.— Не думала, что ты такой идиот!

Он сник, позволил взять себя за руку, повести домой. На них оглядывались. Лосев шел, никого не видя, не здороваясь, почерневший, словно обугленный, ему прощали, понимая, что идет с похорон.

Дома никого не было, сестра с племянником ушли на поминки. Тучкова дала ему валерианку, уложила, позвонила по его просьбе в гараж, чтобы машина была готова через час, не раньше.

Она сделала чай, напоила его. Он пришел в себя, извинился. Но все это было как-то вяло, притушено.

— Ты слыхала,— бормотал он,— я не имел права выступать. Думаешь, это только Рогинский? Многие так думают, я видел, как они смотрели.

— Другой бы побоялся выступить. А ты сказал что хотел. По совести. Это выше всяких соображений.

— Они не позвали на поминки.

— Это Рогинский. Я уверена, что это он сам. Но если даже и так, пренебреги, ты же знаешь, как есть на самом деле.

Он сел на диван.

— А если я виноват? Такая незаметная, как мышка, вина, всего-навсего хотел уклониться. Избегал, а?

Слова утешения не доходили до него. Он не хотел утешаться. Все было плохо. Даже Рогинскому он не мог ответить. Он чувствовал, как менялось отношение к нему... Появление статьи в «Правде» и то припишут Поливанову и тем более будут винить Лосева, перед Уваровым тоже стыдно, куда ни кинь, везде клин, ни статья, ни сестра, ни заспать, ни заесть.

Они молча сидели у окна, ожидая машину, так же молча вышли на лестницу. Лосев не мог простить ей, что она видела его в таком состоянии.

Машина шла сквозь вечерние пустые поля, позади догорал закат, у водителя громко играло радио, ухал ударник. Лосев сел позади, чтобы водитель не мог его видеть. Кружились вечеряющие поля, рощи, озера, каждый куст здесь был знаком, каждый проселок искожен, и неизменность эта убаюкивала. Сердце еще болело, он слушал, как медленно утихает боль. Вновь проступили строки газетной статьи, мысленно он перечитывал их и вдруг почувствовал на губах улыбку. Статья могла значить одно — что все оттяжки, ухищрения, которые он применял, все, что он отодвигал, все теперь решилось. Жмуркина заводь спасена. Не посмеют. Значит, все было не зря, не напрасно, действия его получали как бы оправдание. Перед Уваровым было, конечно, неудобно, но, думая об Уварове, о предстоящем разговоре, Лосев думал об этом все спокойнее, жалея не себя, а Уварова, все меньше понимал, чего, собственно говоря, на него так накатило на кладбище. Что случилось? Чего он взбелелился на Таню, слова хорошего не сказал? Но и от этого он не испытывал ни боли, ни стыда, была лишь печаль, была усталость и хотелось быть свободным от всего, как эти осенние поля, сжатые, скошенные, отдыхающие, позабытые. Он подумал, что для встречи с Уваровым так оно и лучше.

## Глава 28

Дежурный по исполкому, молодой, болезненного вида инспектор из отдела сельского хозяйства, пил чай с бутербродами и решал шахматную задачу. Голос его воспроизвел интонацию Уварова, строгую и машинно ровную, с такой точностью, что Лосев улыбнулся.

— Похоже. У тебя талант.

Было без четверти девять вечера. Лосеву надо было отправлять-

ся в аэропорт. Уваров встречал начальство из Москвы, самолет задерживался по метеоусловиям, и Уваров распорядился, чтобы Лосев, не заезжая в гостиницу, ехал к нему в аэропорт.

Лосев отлил из чашки дежурного чаю в стакан, глотнул, споласкивая пересохшее горло, кивнул на «Правду», лежащую на столе:

— Читал?

— Без Лосева тут не обошлось. Ладненко, мы его выявим,— произнес дежурный голосом Пашкова,— мы его растолкуем.

— Тебе бы в филармонию, выступал бы, как Андроников.

— А сельское хозяйство?

— Давал бы концерты труженикам села.

— Имитация это, не искусство, это всего лишь тень.

Он опять кому-то подражал, но кому, Лосев не знал. Ехать в аэропорт не хотелось, Лосев попробовал сослаться на отсутствие бензина, но, как всегда, у Уварова все было предусмотрено, исподкомовская машина ждала внизу. Черная «Волга» с радиотелефоном, желтыми фарами неслась посередине улицы, не снижая скорости на поворотах, с визгом, как в приключенческих фильмах.

В депутатской комнате перед телевизором сидел Уваров в окружении нескольких человек, среди которых были Грищенко, Сечихин, Пашенко, директор НИИ, симпатичный усач, недавно избранный в члены-корреспонденты. Передавали соревнования тяжелоатлетов. Штанга поднималась в воздух высоко или невысоко и бухалась на помост. Опять поднималась и опять падала.

Уваров, не отрываясь от экрана, кивнул.

— Успел,— сказал он без одобрения.— Везет тебе. Ну что ж, до прилета начальства...— он взглянул на часы,— у нас есть ровно час.

— Ого, а вы говорите — везет.— Лосев вздохнул, но Уваров шутки не принял, и никто не улыбнулся.

Все с любопытством разглядывали Лосева, словно видели его впервые. Один Грищенко незаметно подмигнул, поднял пальцем кончик носа — не вешай, мол!

Уваров накинул короткий синий плащ, пахло одеколоном, коротко стриженные волосы его блестели, был он особенно подтянут, четок.

— Пройдемся.

На летном поле, как на всех аэродромах, было ветрено. Аллеи низких огней пунктиром уходили вдаль, гроздь прожекторов вырезали из тьмы косые объемы света.

— Ты про статью знал? — спросил Уваров резко, без предисловий.

— Не знал, но все равно получилось нехорошо.

Лосев был доволен, что разговор начался сразу по существу. Не дожидаясь вопросов, он сформулировал сам, почему нехорошо — потому что статья обошла его, Лосева, вину. Виноват же он был с самого начала, когда выбирали место. Что касается взрыва, то наперед, не ожидая вопросов, он признался Уварову в сомнениях, какие начались у него после их последнего разговора. Неприятно ему стало, вроде отступные принял, нет, не Уваров их давал, сам Лосев воспринял это как сделку со своей совестью и одумался. Рассуждения свои изложил он несколько смущаясь, звучали они как абстрактные понятия и не подходили в разговоре с Уваровым, и действительно Уваров, нарушив свое правило, раздраженно прервал его:

— Совесть обычно появляется, когда нет конкретных оправданий. Не понимаю я этого. Честность понимаю, это можно проверить. Правда — неправда, полезно — вредно, приятно — неприятно, все понимаю, а совесть — эфир, бесконтрольное состояние.



Разумеется, уваровское предложение, от которого тогда Лосев затрепетал, остается и приятным и честным, тогда почему же появились у Лосева сомнения, на каком основании? Можно подумать, что подговорили его на сделку — Уваров больше всего на это обиделся. И тем не менее Лосев продолжал со всей откровенностью, ничего не смягчая, чтобы Уваров знал о его взглядах, прежде чем брать его в замы. Говорил, ничего не обходя. Но Уварову не взгляды были важны, тем более не переживания. Поведение человека, считал он, зависит прежде всего от двух вещей: первое — от обстоятельств и второе — от положения, которое тоже многое диктует. В положении Лосева для Уварова важны были работоспособность, дисциплина и честность. Поэтому Уварову хотелось прежде всего уточнить некоторые обстоятельства, и, не давая больше Лосеву уклониться, он задавал вопрос за вопросом, требуя деловых ответов. О Поливанове, о Морцихине, о том, что же все-таки сообщал Лосев в газету, передавал ли кому содержание их последнего разговора. Дело в том, что по статье чувствуется, что автору известны некоторые подробности именно этого разговора.

Лосев удрученно признался, что рассказывал — разумеется, не как материал для газеты.

— Кому же?

— С моей стороны было неосмотрительно, бестактно.

— А все-таки?

Какая-то нотка в его голосе насторожила Лосева, жаль, что в темноте лица уваровского не было видно.

— Других выгораживаешь? Благородный. Почему же на меня тебе наплевать?

Лосев смутился, никогда не слышал он от Уварова грубостей.

— Виноват,— повторил Лосев.— Мой зад, ваш ремень!

— А что мне с твоего зада, вместо своего не подставляю,— с сердцем сказал Уваров.— Ты вот говоришь, что не знал про статью, почему же предупреждал меня, что собираются писать?

— Ходили разговоры. Меня предупреждали.

— Кто?

— Поливанов, например.

Уваров ехидно фыркнул.

— На Поливанова не вали. Он ни при чем. А вот как понять твои действия? Ты знать не знал про статью, а приехав откуда-то, сразу отменил снос дома. Да еще с таким напором. Кричал на Пашкова.

Факты у Лосева были подготовлены, выложил их один за другим вплоть до смерти Поливанова — вот такая обстановочка складывалась в городе, другого решения у него не было, поступал по своему разумению, поскольку личную ответственность несет.

Намек подействовал, Уваров попятился, признавая, что Лосев хозяин, что он обязан учитывать местные обстоятельства, никто не покушается на его права, ему решать, — обычное учтивое предисловие, после которого у него следовало «но я бы на твоём месте... (воздержался, не торопился, подумал, учел...)».

— Значит, ты не знал про статью. Не знал и не организовывал. Ну что ж, я тебе верю... — Помолчал, заполнив паузу невидимой усмешкой, как будто что-то ему было известно про Лосева. — Но ты в д о х н о в и л на нее. Что, не так?

Лосев оторопел, не нашелся с ответом.

— И чужими руками... а теперь отказываешься: я не я и хата не моя?

Изворот был унижающий, обидный, все выглядело куда некрасивей, чем предполагал Лосев, и брезгливость в голосе Уварова звучала оправданно, вот что было ужасно.

— Не хотел я, мне вовсе не нужна была эта статья, — с чувством сказал Лосев. — Я бы и без нее... Вот вы про совесть, а тайком взрывать — это как? Это же стыдоба!

— Безнравственно?

— Да, безнравственно, — повторил Лосев, укрепляясь.

— О нравственности печешься, а глупость совершаешь. От глупости ведь больше вреда, Сергей Степанович. За безнравственные поступки мы с тобой расплатимся на том свете, а за глупость на этом.

— В чем же моя глупость?

— В том, что ты меня подвел. Плевать мне, где будет филиал. Мне важно, чтобы он был. Ничего я к твоей заводи не имею. Что я, против красоты? Чушь ведь это. Хотя могу сказать где угодно, и тому же Орешникову, которого мы встречаем, что не до этого нам сейчас. Неужели тебя не беспокоит, что мы церкви — надо не надо — повсюду восстанавливаем? Строителей нет, материалов нет, а на церкви — пожалуйста. Мне на твой роддом было труднее средства выделить, чем на реставрацию собора. Надоело мне это увлечение. Да и, если уж пользоваться твоим словарем, безнравственное это дело, безбожное...

Говорил он с болью, и Лосев вынужден был согласиться с ним. Не хотел соглашаться, а тем не менее призадумался, услышав наконец то, что самого смущало. К Лыкову это, конечно, не относилось, в Лыкове ничего еще не восстановили...

— ...Я-то после разговора с тобой уверился в тебе, подтвердил Орешникову, что все о'кей, к стройке приступаем. Между прочим, у меня репутация человека слова. Я считал, что и на тебя можно полагаться. Теперь выходит, я Орешникова подвел. Может, и он кого повыше подвел. Такое не прощают.

— Вы-то что могли? Это я вас подвел.

— Они со мной дело имеют.

— А может, статья, она как раз кстати? — с надеждой спросил Лосев. — Статья показывает, почему тянули, сопротивлялись, что мешало. Так что она кстати.

— Она кстати. — Уваров горько крикнул. — Кой-кому! Мне лично критика в центральной печати сейчас совсем некстати, все испортит! Все задуманное, все планы. Вроде бы ерунда, а мно-о-гое может погореть!.. Знал бы ты... — Он остановился, отвернулся, поднял кулак. — Сколько готовил... Эх, руки у меня связаны. Ты-то видишь, какой у нас еще кавардак, мы же задыхаемся от бесхозяйственности, смотреть больно! Эх, Лосев, Лосев, не ожидал я от тебя, с какой угодно стороны ждал, но не с твоей.

Зашагал тяжело, вбивая ногой вес свой в бетонные плиты, в их многотонный массив, пронизанный железной решеткой арматуры. Бетонная плита и шов, плита и шов. Вся земля была надежно укрыта глухой их толщей.

— Тебя что толкнуло? Тщеславие? Боюсь, что так. Надеялся оставить о себе долгую память, благодарность граждан и тому подобное? К сожалению, Сергей Степанович, помнят лишь того, кто наверх идет. Нет, слава, почет, память — все это суета. Порядок бы навести — вот чего хочется! Теперь неизвестно, что будет, что состоится...

— Разрешите, я Орешникову проясню, как все было.

— Нет уж. Я не привык подчиненных подставлять.

— Зачем вы меня вызывали, Дмитрий Иванович?

— Такие вопросы задавать не положено.

— В новой-то должности, на правах будущего зама, мне должно иногда позволяться,— не удержался Лосев и даже подмигнул.

Молчание наступило мгновенно, словно Лосев замкнул накоротко и все выключилось.

— Позвольте тогда мне по существу спросить кое о чем,— сказал Лосев.

— Попробуй.

— Если бы я не стал возражать Пашкову и разрешил бы взорвать, как бы сейчас это выглядело?

— Выглядело бы как обычная строительная площадка.

— А мы с вами? Получилось бы неудобно...— Лосев говорил задумчиво, как бы выискивая след.

— Для кого неудобно?— Некоторое напряжение прозвучало в голосе Уварова, и Лосев вспомнил замечание Тани.

— Не следовало Пашкову так настаивать.

— Почему же?— не сразу спросил Уваров.

— Потому что он настаивал после звонка из газеты.

— Откуда тебе известно? Держал связь с газетой?

— Нет, мне сегодня сказали.

— Сегодня?— Уваров невесело рассмеялся, словно бы о чем-то догадался.— Допустим, после звонка, что это меняет?

— А хорошо ли это?

— Ты специалист по нравственности, ты и оценивай. Дальше что?

— Выполни я требование Пашкова, вину свалили бы на городские власти. Лично на меня. Вышло бы, что мы и общественность обманули и газету.

— Логично,— неожиданно согласился Уваров.— Теперь бы спрашивали с тебя, точнее с твоих людей, с Морщихина или кто там у тебя. И получили бы взыскания.

— И я получил бы.

— Наверное,— подтвердил Уваров.— Помнится, ты соглашался на это. Сейчас бы я тебя преподнес Орешникову как такого-сякого. Я бы к тебе меры принял. Ты знаешь, меры всегда должны быть приняты. Теперь же и дело не сделано и под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше весит, чем твое. От него и круги дальше идут. Тебе самому полезнее, чтобы я был чист. В твоих это интересах. Цинично? Нисколько. Я ведь знаю себе цену, и ты знаешь. Мои возможности— это и твои возможности. Что, не так? Зачем же ты рискнул? В чем был смысл твоего расчета? Думаю, что твоя победа, Сергей Степанович, в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Плохо ты сосчитал. Ты ввел в расчеты переживания. Оперировать же надо фактами и цифрами, они для всех людей одинаковы. Это у Каменева вкусы, мода, искусство, а у нас с тобой— наука.

Лосев вдруг поймал себя на том, что привычно кивает, и рассмеялся.

— Нет, нет, человека подсчитать невозможно,— весело сказал он.— Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. И я не учел. И в себе и в...— Но вместо «вас» он сказал «в других».

— У нас с тобой разные ошибки,— холодно ответил Уваров.— Человек— устройство сложное, известно, что он может против своей пользы пойти. Но ненадолго. Надо не настроение учитывать, а обстоятельства. Обстоятельства, они сильнее нас, они заставят. Думаю, что ты из тех людей, которым ошибка прибавляет ума. А что же ты в себе не учел?

— Еще не знаю. Я еще думаю, Дмитрий Иванович. Как по-вашему, Пашков действовал по своей инициативе?

Не доходя до полосы света, Уваров остановился в темноте, фигура его растворилась, осталось только слабо белеющее лицо. Он ответил не сразу, с некоторым трудом:

— Инициатива-то была его... Его заверения, его уверенность. Но, конечно, принимал решения я, и ты не дипломатничай, ты знаешь это...

Уваров цедил сквозь зубы, никто его не заставлял, он мог обойти, уклониться, цыкнуть на Лосева, но на неразлично белеющем лице его угадывалась страдальческая гримаса. То чувство виноватости, с которым ехал сюда Лосев, и чувство несогласия, раздражения, которое наплывало на него во время разговора, все сейчас разрешилось жалостью. Было удивительно, что он, Лосев, мог жалеть этого всегда сильного, непогрешимого, неуязвимого человека. Постепенно нехитрый замысел Пашкова прояснился. Полагая, что в запасе до выхода статьи есть еще несколько дней, он торопился дом снести и сообщить в газету: так, мол, и так, не уследили, строители свершили свое дело вместе с городскими властями, поэтому в статье исправить надо и акценты перенести прежде всего на Лосева, его вину подчеркнуть. Что-то в этом роде он затеял, чтобы в результате Уваров перед Орешниковым сдержал свое слово и уж если пострадал, то за дело, за исполнительность...

Подробности комбинаций, затеянных Пашковым, почему-то перестали интересовать Лосева, ему стало скучно. Впервые ему было скучно слушать Уварова. Он смотрел, как взлетали самолеты, отпрываясь в разные стороны неба. Созвездия поглощали их, мир был огромен, и Лосев радовался тому, что он может видеть и понимать эту огромность. Неожиданная мысль кольнула его: не будь статьи, как бы он вел себя сейчас перед Уваровым? Настаивал бы на своем? Хватило бы духу? Ему казалось, что хватило бы, он ощущал в себе какую-то новую, неизвестную ему силу, спокойствие, чуть ли не превосходство над Уваровым, и было досадно, что он не может проверить себя. Вновь сердито подумал о Тане, о непрошеной ее помощи.

Со стороны аэровокзала динамик, хрипя, объявил о прибытии московского самолета. Отделяясь от звездного неба, мигая красными огнями, на посадку шел самолет, на полосе он засеребрился, выделился из тьмы, и, словно выждав этот момент, Уваров заговорил о том, что Орешников, очевидно, будет решать вопрос о переносе места строительства, решение это вынужденное, а не оптимальное. Такой точки зрения следовало бы держаться. Он дал понять, что лучше в этой ситуации единодушно действовать в интересах и будущей стройки и города, личные разногласия можно отложить.

Прежде чем подошли встречающие, Уваров распрямился, поправил галстук, видно, собрался внутренне. Напряжение у Лосева схлынуло, он украдкой зевнул, потянулся, и это не ускользнуло от Уварова.

— А тебя что, не волнует? — спросил он, следя, как подают к самолету трап. — Почему?

— Не знаю, — сказал Лосев и удивился себе. Он удивился тому, что за этот час так и не выяснил, будет ли он замом, что решил Уваров, как сложатся их отношения, и не старался выяснить; то, что было для него так важно, поблекло, отодвинулось, и важным стало совсем иное... Он хотел как-то пояснить это Уварову, но тот властно оборвал его, уже недоступный для споров и признаний.

Лосев не обиделся, наблюдал, как Уваров вел себя с Орешниковым — так же ровно, с достоинством, как и обычно, без всякой суеты, искательства.

Все делали вид, что ничего не произошло, ругали погоду, Орешников шутил, говорил мурлыча, маслено блистая лысиной, впрочем, это никого не обманывало, известна была его манера соглашаться, поддакивать, рассказывать байки и вдруг цоп — ухватить то самое, ту болячку, ту опасность, которую не замечали или которую скрывали.

### Глава 29

С утра Уваров уехал с Орешниковым на предприятия и приказал Лосеву не отлучаться из облисполкома. Лосев сидел у Аркадия Матвеевича.

— ...своевременная, нужная статья. Не понимаю, зачем ты крадешь у себя праздник? — приговаривал Аркадий Матвеевич, продолжая писать. — Радоваться должен. Праздников не так много в жизни. Я лично рад за тебя. Никто тебя не тронет, ты пойми механику выдвигания: Уваров уже рекомендовал тебя, высказался, ему теперь невозможно и неловко бить отбой, да и за что? Он не из тех, кто мстит за ошибки, он понимает, что ты не от зла к нему, что это не интрига. Другое дело, что ты ему, может, повредил, ему кое-что, говорят, светило впереди. Слишком он умен, поэтому нелегко ему. Боятся его. Опасен. А скрывать ум не хочет, гордость мешают. Но это не беда, слабость его в другом, ум у него слишком трезвый...

Отставив на вытянутой руке законченное письмо, он полюбовался, прищелкнул языком.

— Законы российские свирепы. Единственное, что умеряет их неукоснительность и безотложность, это неисполнение!

После обеда Лосев звонил в Лыков. По словам Журавлева, статье в городе обрадовались. То, что полтора года назад обсуждалось на исполкоме и казалось естественным — дать под строительство филиала район завода, снести дом Кислых, — сейчас предстало явным уроном городу, все обнаружили, что это место наиболее красивое в центре, да и дом — украшение, жалко сносить его, дом крепкий и, как выразился Анфилов, «виртуозный». Картина Астахова того не сделала, что сделали несколько строк в газете. В горькоме были довольны, что все обошлось, похвалили военкома, при этом большинство приписывало появление статьи усилиям Поливанова вопреки Лосеву и прочим... Последнее Журавлев преподнес с горькой иронией над людской несправедливостью, он-то был уверен, что все получилось благодаря Лосеву, в том числе и статья, и жаждал подтверждения этого. Но Лосев ничего ему на это не ответил, ему вдруг вспомнилась Ольга Серафимовна, темное предсказание ее, он спустился вниз, в почтовое отделение, и отправил телеграмму: «Дорогая Ольга Серафимовна, еще раз спасибо за ваш щедрый дар, всегда помним о вас с удовольствием» — и подписался полным титулом.

Вечером Лосева пригласили на ужин к Уваровым. За столом, кроме хозяина с женой, были Орешников, Грищенко и две дочери уваровские, толстенские двойняшки, похожие на мать, черноволосую округлую украинку. К Лосеву хозяйка относилась подчеркнута гостеприимно, стараясь скрыть свою неприязнь, видимо считала его виновником неприятностей мужа.

Ели, пили, произносили тосты и при этом смотрели по телевизору футбол. Разговор поржал пустяковый, незначительный, как бы случайно выяснилось, что утром спозаранок поедут в Лыков решать вопрос с филиалом, заодно и с мостом, оттуда уже на строительство шоссе. В работе Орешников не уступал Уварову, без усталости ездил, ходил, выслушивал, осматривал, потом до ночи диктовал, возился с бумагами, готовил письма, отчеты.

Лосев вопросительно посмотрел на Уварова, но тот увел глаза. Грищенко сыпал анекдотами, незаметно подливал себе в рюмку нарзан.

Квартира Уварова сияла чистотой не наведенной к приходу гостей, а той надежной опрятностью, которая образуется от каждодневных тщательных уборок. Любая вещь тут знала свое место, книжные шкафы были заставлены сочинениями классиков и роскошными альбомами по искусству. В соседней комнате на длинном узком столе лежали газеты, журналы, чем-то напоминая служебный кабинет Уварова, все блестело, как хорошо смазанная машина, было продумано, подчинено уваровскому отдыху, уваровской работе, и жена и шестнадцатилетние дочери его казались тоже продолжением работы.

Дочери пели дуэтом песни из кинофильмов, Орешников растроганно подпевал, незабудочно-голубенькие его глазки увлажнились.

От этих мест куда мне деться,  
С любой тропинкой хочется дружить —  
Ведь здесь мое осталось сердце,  
А как на свете без него прожить?..

Скорбный свет озарял девичьи лица. Уваров тихо сказал, что Пашков предупредит, чтобы в городе подготовились, Лосеву надо будет по дороге проинформировать Орешникова, в частности о Поливанове. Орешников недоволен, жалобы Поливанова попали куда-то наверх, и хорошо бы настроение это переменить, показать, что в городе порядок. Он спросил насчет дома Кислых, Лосев сказал, что у дома сейчас вид неважный, но стекла вставили, почистили, здание, кстати, пойдет под музей. Не надейся, остановил его Уваров, он собирался оставить дом филиалу — для управления, для конструкторов, словом, он рассчитывал этим подарком как-то загладить конфликт. Они разговаривали, не глядя друг на друга, как бы следя за песней, за футболом, перекидывались словно бы незначащими словечками.

— Но я обещал перед всем народом на похоронах.

— Поторопился, — жестко сказал Уваров.

— Может быть, но так получилось.

— Попробуй язычка, — сказал Уваров, — копченый.

— Нет уж, пожалуйста, я перед вами виноват, но тут мне податься некуда, если вы будете настаивать, Дмитрий Иванович, то как я буду выглядеть, хоть подавай в отставку, — сказал Лосев.

Уваров улыбнулся:

— У нас в отставку не подают.

Незабудочные глаза Орешникова прошлись по ним.

— Недавно любопытный у меня произошел разговор, — громко начал Уваров. — Приезжала ко мне одна ленинградка-химик. Она заводами искусственных белков занимается. Десять лет пробивала эту идею. Здоровье на этом потеряла. Два тома переписки своей показала. Куда только не добиралась, десятки комиссий работали, совещания, статьи в газетах, двух начальников главков сняли, один от нее insult получил. В итоге добилась. Рассказывает мне, глаза сияют, сама изможденная, руки трясутся, типичный фанат. Но умница. И дело полезное. А все-таки послушал я и спрашиваю: а если бы вы не боролись, идея ваша сама по себе пробилась бы? Подумала она и честно говорит — наверняка пробилась бы. Когда? Года на два, говорит, позже. И вот я думаю: столько она людей от дела отрывала, такую сумятицу вносила, сама эти годы потеряла, оправданно ли это? Если, допустим, система этой промышленности имеет свою инерционность, свой период, зачем ее насиловать? Был ли смысл в стараниях, в кипении этой особы?

Задача была, как сказал Орешников, не в один вопрос, из тех, что и ответа точного не имеют и всех задавают, да еще был в ней и некоторый намек, к Лосеву относящийся.

В квартире Уварова и назавтра в Лыкове Лосев порой чувствовал на себе незабудочно-небесный взгляд и никак не отзывался, присутствие Орешникова не вызывало у него ни напряжения, ни особого интереса. Уваров был для него фигурой куда более самобытной и значительной. Давно прошли те времена, когда Лосев судил о людях по их должности. Орешников хоть и слыл службистом, неплохо разбирался в людях, действовал не торопясь, осторожно, привлекал мягкостью, говорливостью и был приятно сентиментален. Ему нравился этот городок с его игрой заросших лопухами улочек, травянистых спусков к реке, дощатыми заборами и легшими на них яблонями. Орешников родился в такой же старинной провинции — в Старой Руссе, которая была сожжена, разбита в войну, и теперь, увидев лыковский гостинный двор с рядами, которые еще сохранили названия — пряничный, квасной, кожевенный, — он вспомнил довоенный старорусский гостинный двор и прослезился.

— Провинциальные наши городки, помяните мое слово, станут дороги своей провинциальностью. Стремиться сюда будут, в эту тишь, в малолюдь.

Слушали его почтительно, и Журавлев удивился, почему Лосев не подхватил любимую тему.

Новую площадку для филиала Лосев показывал, ни на чем не настаивая, позволил Грищенко бранить ее, жаловаться на грунты, на узкие подъезды, на растянутые коммуникации. Он не возражал, чуть улыбался, тактика Грищенко была ему понятна, так же как и одобрительное молчание Уварова: видите, почему мы настаивали на прежнем месте? Понятно было, что все это делается для Орешникова, для которого, как и для Грищенко, вопрос о переносе сюда строительства был решен. Не возражал Лосев и когда Орешников предложил чуть сдвинуть пятно застройки к Предтеченским воротам. Полуразваленные ворота Орешников, подумав, нежданно-негаданно разрешил восстановить за счет филиала, что вызвало восторги Журавлева и Чистяковой и причитания Грищенко: «Кому блин, кому клин, кому просто шиш!»

И это Лосев понимал: Орешников приехал, уточнил, следовательно, меры приняты, лично подобрал новое место, наилучший выход из положения — и подправили товарищей и посчитались с ними, восстановление же Предтеченских ворот — серьезный ответ на статью: учли критику, ответили делом. Понимая все это, Лосев не мог скрыть радости от нечаянного счастливого приобретения. Реставрированные ворота украсят западный район города и помогут быстрее снести скособоченные, барачного типа дома тридцатых годов. Он пояснял все это Грищенко, наспех утешая его: ты же понимаешь, ты должен понять.

— Ты должен понять и реставрировать! — обращался Грищенко к себе, смиренно склоняя лохматую свою голову. — То есть тебя, Грищенко, надо повесить, и ты должен понять, как это необходимо. Если тебя повесить, то нам полегчает. Пойми, Грищенко, ты человек разумный, широкий, давай свою шею, ты же знаешь, как мы тебя ценим...

Все смеялись, громче других Сечихин, которому накануне попало. Причина льстивых слов и улыбок Сечихина была Лосеву так удручающе ясна, словно Сечихин был прозрачен, видно было любое движение его душевного механизма. И милые уловки Грищенко, его

хитрости — все-все Лосеву стало слишком явно и не доставляло того удовольствия борьбы, как прежде.

В школе произошла заминка, не могли найти Тучкову, Журавлев шепнул об этом Лосеву неприметно для других.

— Как же так? — спросил Лосев. — Как же так? — повторил он, тревожась, и вдруг остановился, как будто завод внутри его кончился, и на лице его все остановилось, и взгляд замер.

Журавлев подошел к Уварову и Орешникову, извинился, учительницу-экскурсовода еще не нашли...

— Татьяну Леонтьевну? — спросил Уваров. — Не будем ее ждать, не стоит, Сергей Степанович сам сообщит не хуже.

То, что Уваров знал ее имя-отчество и произнес их сразу, словно думал о ней, было неожиданно, Лосев покраснел как застигнутый врасплох. Он видел, что все смотрят на него с острым интересом, и ничего не мог поделать с собой.

Некоторое время картину разглядывали молча, тактично выжидая мнения Орешникова. Он не спешил, жмурился, мурлыкал свое загадочное «хурды-мурды», потом спросил неопределенно:

— Ну-с, как вам? — И каверзно подмигнул Лосеву.

— Я-то думал, солидное полотно, — не удержался Сечихин.

— Да-с, размеры подкачали, это вы точно подметили, — сказал Орешников так, что все засмеялись. — Эх, Лосев, Лосев, что ж вы раньше не доложили, это же редкостный ансамбль!

Лосев посмотрел в незабудочно-чистые глаза Орешникова.

— Это теперь она вам нравится, — произнес он без вызова, грустно, но все равно вышло дерзко.

— У тебя нет оснований так говорить, — строго сказал Уваров.

Но Орешников миролюбиво рассмеялся:

— Кто его знает, может, и есть. Попытайся следовало.

— Пытался, — сказал Лосев. — Звонил вам в Москву.

— Не соединили? Это бывает, — согласился Орешников и вдруг перешел на тон, не сулящий ничего хорошего. Все вытянулись, замерли, стараясь в эти минуты ничем не привлечь внимания. — Куда же товарищи смотрели? Ждали, пока газета подправит? Сами не могли разобраться? В результате стройку затягиваем! Придется кое-кому ответить за это. Придется. Да разве допустимо замахиваться на художественные ценности? Красоту в наших городах создавали и отбирали великими трудами, и не от жиру, как полагают некоторые товарищи! Красоту такую беречь надо. Это богатство, это, между прочим, валюта! Работаем плохо! Руки заняты. В ладоши хлопаем!

Проговорив в таком духе, Орешников так же внезапно успокоился и любезно попросил Лосева рассказать про картину.

...Утренний свет, движение воздуха над водой, движение красок, игра теней, переходы зеленого цвета. Кусок кирпичной стены — как открытая рана, как плоть дома. Краски — это они движут воздух. Астахов соединил деревья, реку с причудливым этим домом в одно целое, создал гармонию природы и фантазии человека.

Повторяя фразы Тучковой, он ощущал сладостный их вкус, ее дыхание, движение ее губ. В глубине картины из темной зелени блестело ее лицо. Оно вдруг задрожало, и он увидел ее там, на кладбище, и себя в бешенстве, обуянного неистовой злостью. Как же он мог, как мог так несправедливо, так гадко обойтись с ней? За что? Почему? Прошло всего два дня, и он уже перестал понимать себя, остался только ужас от того, что сделал он с их не окрепшим еще чувством.



Пора было кончать объяснения, он безошибочно почувствовал этот момент, но продолжал, жалея расставаться с Таней.

Мельком отметил незрячее лицо Сечихина и скуку каких-то приезжих помощников Орешникова, которым был неинтересен этот бедный городок, где ничего нельзя ни купить, ни увидеть. Но и Лосеву они были безразличны, даже приятно было заставить их слушать и стоять перед картиной, а заодно и Пашкова и Уварова, чтобы смотрели, изображая внимание, интерес...

Нарушая этикет, то есть не дожидаясь начальства, Грищенко простонал изумленно:

— Хорошо рассказываешь.

И все стали нахваливать картину, понравился и весь вид на завод. Поскольку с переносом стройки определилось, никто не осторожничал, Грищенко проявил себя знатоком архитектуры, показал, какой отличный силуэт имеет дом Кислых, если же его отремонтировать, засияет, как бриллиант. Один лишь Уваров отмалчивался и на вопрос Орешникова ответил сдержанно, что пейзаж как пейзаж, ничего особенного. Почему-то эта непреклонность Лосеву была симпатична.

— Счастье ваше, что не снесли,— сказал Орешников.— Как так получилось?

— Затянули,— сказал Уваров.

— Поливанов писал, что взорвать хотели.— Орешников вдруг повернулся к Лосеву.— Правда это?

— Было дело.

— Кто же хотел?

— Мы хотели. Мы и раздумали,— не отводя глаз, ответил Лосев.

— Не ухватишь его,— сказал Орешников Уварову.

— За это и ценим,— сказал Уваров, и набрякшее усталостью малоподвижное лицо его разгладилось, повеселело, напряженную фигуру отпустило.

— Дом этот, натурально, город хочет под музей использовать,— как бы между прочим проинформировал Лосев.

— А у нас, натурально, на него другие виды,— опережая ответ Орешникова, сообщил Уваров.

И Грищенко бурно поддержал его, ибо нацелился взять дом для своего треста, но, избегая спора, Уваров ловко свернул в сторону, к приятному, как он считал, пунктику Лосева, к его заслугам, как Лосев предложил здесь выставить картину, добавьте к тому же, что он и приобрел ее, поведайте нам, Сергей Степанович, занятная, говорят, история. И Лосев в тон ему изложил историю позанятней, ровно анекдот, что и требовалось. В конце же без перехода Лосев огоршил всех вопросом о начальнике, который дает слово, обещает, заверяет и не держит слово, на попятный идет. Не порядочней ли уйти, подать в отставку? Непохоже было, что он на кого-то намекал, но было неприятно.

Все продолжали улыбаться ему той же улыбкой, с какой слушали его историю.

— Да кто же уходит? — Грищенко пожал плечами.— Этак никого из нас не останется.

— А уходили,— резко сказал Лосев, не принимая их улыбок.— Есть ведь законы чести. Или нет их?

Резкость его и серьезность казались неуместными.

— Да так не бывает, я говорил Сергею Степановичу,— примирительно сказал Уваров, приканчивая это нарушение программы.

Лосеву готовы были простить этот неудачный выпад, но он продолжал упорствовать, его наивное простодушие исчезло, во взгляде, которым он смотрел сразу на всех, была какая-то упорная мысль. Что-то отделяло его от всех.

Быстрый взгляд Орешникова точно высветил обоих — Уварова и Лосева.

— Разногласия? — осведомился он. — Полезная штука, хотя и редкая, а?

— Но бывает, — сказал Лосев.

— У нас бывает, как у плохих купцов, — продолжал Орешников, — честь честью, а дело делом. Это зря. Честь и в деле и в слове надо соблюдать.

Голос его доносился к Лосеву все слабее, словно Лосева куда-то относил все дальше и дальше.

— ...Но, я думаю, Уваров соблюдает?

— Соблюдает, — повторил Лосев безразлично. — В главном Дмитрий Иванович прав.

— Ишь ты, не боится начальству правду в глаза резать. Поэтому в замы его берешь?

Орешников внимательно смотрел, как Уваров смеется, потом спросил как бы невзначай:

— А что, Сергей Степанович, пойдете начальником строительства?..

— Зачем ему? — опережая Лосева, спросил Уваров. — Это не повышение.

— Мало ли что. Вы имейте, Сергей Степанович, в виду.

— Спасибо, дело хорошее.

— Что так? — спросил Уваров.

— Зарплата выше, работа почище, да и почета больше.

Никто не принял его слов всерьез, показались они мальчишеством, но о них вспомнили позже, когда жизнь Лосева так неожиданно изменилась, хотя на самом деле ничего неожиданного в этом не было.

### Глава 30

Однажды летом, возвращаясь с юга на машине вместе с приятелями, Бадин, сбросив скорость у поста ГАИ, увидел на указателе надпись «Лыков — 60 км» и стрелку влево. До свертыва он ехал медленно, припоминая, откуда он знает это название, а вспомнив, предложил заехать в Лыков. Молодые приятели его — бородатый реставратор и аспирантка-историк, — услышав про картину Астахова, охотно согласились. Все они были поклонниками Астахова, к тому же вспомнили еще и статью в «Правде».

Дорогой Бадин рассказывал про забавный визит председателя Лыковского горисполкома к вдове Астахова, живо изобразил Лосева, так что все увидели этого напористого, хитроватого и цепкого мужичка, в котором тем не менее был некий «художественный слух», как выразился Бадин; рассказал он и про учительницу Тучкову, которая приезжала позже к покойной Ольге Серафимовне.

С холмов, на которые вылетала дорога, Лыков показался неказистым по сравнению с расписным Изборском, куда они только что заезжали, уж не говоря об Угличе и Суздале. Городок несколько попорчен был беспорядочной застройкой, новыми скучными корпусами производственных зданий, которые стояли на берегу у въезда в город. Тем не менее прежний его облик, видимо, сохранялся. Было в

нем что-то отдельное. Много определял красивый изгиб реки, излучина, в которой разместилась старая часть города. Обрывистые песчано-зеленые берега и широкая заводь. Сверху были видны остатки земляного вала с огородами на нем, поодаль белый собор и за ним высокая роща.

День был ветренный, разлохмаченный, то набегал мелкий дождь, то выглядывало солнце. На большой площади по разбитому асфальту бродили огромные вороны, стоял памятник Бакунину, сооруженный, по определению Бадина, в первые годы революции. Приезжие приткнули машину на переполненную стоянку и отправились наугад к горисполкому. По дороге они сворачивали на тихие улочки, любясь старыми особняками, со знанием дела отмечали искусную каменную кладку, узоры наличников, ставней, парадные крылечки. Они не спрашивали дорогу, наслаждаясь незнакомостью, сюрпризами, которые ожидали их за поворотом. Чаше им приходилось бывать в городках знаменитых, приготовленных для осмотров и посещений. В Лыкове такой готовности не было. Он занят был своей жизнью, не думая о гостях, не заботясь о впечатлении, и жизнь эта, порой неприглядная, привлекала своей независимостью. Они с улыбкой обнаруживали чучела на огородах, старые уличные колодцы с воротом. На одном из новых домов Бадин заметил по-настоящему красивые балконные решетки.

Аспирантка сделала несколько снимков. Они усмехнулись при виде бетонного памятника в сквере — немыслимая аллегория коротконогих бетонных мужчин.

У сквера стояло розовое трехэтажное здание с флагом. Они вошли, поднялись наверх, в приемную председателя. Секретарше Бадин представился не по фамилии, а просил доложить председателю, что проездом из Москвы к нему знакомые Ольги Серафимовны Астаховой. И хотя в приемной сидел народ, было понятно, что их не могут не принять, им ничего не надо было от председателя, а если им откажут, они повернутся и уйдут без всяких претензий. В их куртках, мягких узконосых сапожках, в рубашках, казалось бы, самых обыкновенных было то, что отделяло их от местных. И в их подчеркнутой вежливости и уверенности была столичность.

В кабинете председателя за длинным столом сидели несколько человек, навстречу Бадину поднялся незнакомый молодой человек в морковного цвета рубашке, кудрявый, с упругой улыбкой на бруснично-румяных щеках.

Бадин оглядел его без интереса, потом оглядел остальных.

— Извините, я имел в виду товарища Лосева...

— Товарищ Лосев у нас больше не работает, я вместо него.

— Ах ты незадача какая, простите, это к вам не относится.— И Бадин недовольно почесал щеку мундштуком трубки.— Я-то решил наконец воспользоваться его приглашением...

Он по всем правилам представился и представил своих спутников и объяснил цель приезда. Произвело впечатление не столько неопределенное звание Бадина — доктор наук, искусствовед,— сколько его холодная невозмутимость, трубка, его внешность — резкие неподвижные черты индейца, вождя краснокожих. В чутко настроенном взгляде председателя горисполкома отразились размышления человека, который ничего не делает зря. Решив для себя задачу, он заговорил радужно, предложил садиться, назвал себя — Морщихин Эдуард Павлович.

— О чем речь? — приговаривал он.— Мы рады таким гостям, как обещано, так и примем.— Оскал его белых зубов блеснул остро и

крепко, светло-серые глаза смотрели холодно.— В этом направлении у нас есть что показать и есть что посмотреть.— И быстро, привычно набросал им программу пребывания: сперва музей, новый, недавно открытый, затем картину Астахова, затем общий обзор города, обед, раскопки, в конце желательно встречу с работниками культуры.

Бадин поблагодарил, к сожалению, времени мало, интересовала его прежде всего работа Астахова.

— Работа, известно, шедевр,— сказал Морщихин с гордостью.— Но для этого нужно в музее побывать, вы уж мне поверьте, она у нас завязана в единый комплекс. Музей у нас редкостный, не пожалеее.

— Если завязана, давайте не будем нарушать,— сказала аспирантка со смешком, различимым только ее спутниками.

Морщихин подвел их к окну, показал влево, на том берегу реки сбоку был виден свежеевыкрашенный двухэтажный, с мезонином дом под медной крышей.

— Позвольте, не этот ли дом изображен на картине Астахова? — не очень уверенно спросил Бадин.

— Узнали? Он самый. Там и помещается наш музей. Недавно открытие было. С него начнете. Дом-то какой красавец стал!

— Дем конца прошлого века,— сказала аспирантка.

Морщихин одобрительно кивнул ей:

— Правильно, девушка, эпоху всегда можно определить по стилю. Дом является достопримечательностью. Принадлежал он некоему Кислых.— И Морщихин стал рассказывать про дом.

— Кислых? — проговорил Бадин.— Где-то я слышал эту фамилию.

— В «Правде» читали. Не иначе,— подсказал Морщихин.— Упомянут он в статье. Борьба за него была. Еле удалось отстоять.

— А что такое? — спросил реставратор.

— Снести хотели. Знаете, как у нас бывает.

Реставратору и аспирантке дом показался еще краше. Бадин молча посасывал потухшую трубку.

— Досталось нам, хлебнули мы! — сокрушенно вспоминал Морщихин.— Что поделаешь, тут себя жалеть не приходится. Искусство в наше время — сила. Искусство победило. Прямо скажем, в результате искусство помогло нам сохранить пейзаж. Руководство города делает все, чтобы сохранить красоту и для искусства создать условия. Специальных средств нам не выделяют, мы, как видите, своими силами.

Его деловитость производила впечатление: тут же позвонил в музей, выделил сопровождающего, заводилом культуры, преподнес наборы цветных открыток — виды города, — сделал дарственные надписи, взял обещание, что Бадин сделает развернутую запись в книге отзывов.

Желтые прокуренные зубы Бадина задумчиво грызли мундштук. Он молчал, будто сравнивал. Морщихина это раздражало, он все не отпускал приезжих, рассказывал о реконструкции и реставрации памятников старины.

— Есть у меня задумка сделать наш город туристским центром. Привлечь туристов не церквями, как другие, а российскими ремеслами. Показать хочу, чем славились наши предки. У нас ведь юфть делаи, чучельники были... Кроме того, Львов — город научно-технической революции. У нас расширяется филиал фирмы электронно-вычислительных машин.— Глаза его оставались холодными, тусклыми.

Бадин бесчувственно посапывал пустой трубкой.

Прощаясь, Бадин спросил, где теперь Лосев.

Возникла пауза. Морщихин гладил кудрявость своих пегих редеющих волос.

— На строительстве у нас работал, теперь куда-то уехал. Откровенно говоря, оно и лучше. Слишком противопоставил он себя. С руководством не сумел наладить отношения, отражалось это на делах города. Кроме того, в моральном вопросе он авторитет подорвал... Такое у нас мнение,— внушительно заключил он. По его суровости можно было понять, как осуждает он Лосева и что не хотел бы продолжать эту тему.— В нашем положении нужна скромность, честность, мы не можем позволять себе никаких поблажек.

На этой фразе, поскольку аспирантка фотографировала его рядом с Бадиным, он принял позу — руку, сжатую в кулак, выбросил вперед, лицо повернул вполборота к объективу.

Завотделом культуры проводил их вниз, там препоручил строгонастрою своему инспектору, тот повел их в музей, так же строго сдал на попечение экскурсоводу, молоденькой девице с распущенными волосами, и отправился по своим делам.

К их удивлению, этот никому не известный музей оказался интересным. Если не считать обязательных краеведческих каменных топоров, тучел лисиц и зайцев, остальное занимали история и предметы быта. Экспозиция была веселая, яркая: висели старые вывески — булочная с золоченым кренделем, трактир братьев Пильщиков, земская управа, врач по внутренним болезням доктор Х. Цандер. Стоял старинный громоздкий почтовый ящик. Лежали дореволюционные гимназические тетради, тетрадки двадцатых годов — с флагами, фигурами рабочего и крестьянина — и тетради времен первых пятилеток. В тетрадях были диктовки тех лет. Была посуда, самая дешевая, которая нигде не сохранялась, — рюмки из мутного пузырчатого стекла, тарелка с надписью: «Украдено из столовой райпотребсоюза». Висел генеральный план развития города, сделанный в 1810 году, после пожара. Изображение потешных огней, учиненных в честь приезда наследника. Старые семейные портреты. Фотография набережной Плясы 1907 года, сплошь застроенной лабазами, складами. Проект этой набережной. Висел фальшивый безмен — из тех, с какими ездили по окрестным деревням перекупщики, выменивая лен. Удостоверения первого революционного хорового общества. Продовольственные карточки. Экскурсовод в знак особого внимания запустила музыкальный ящик — симфоньетту, которая исполнила вальс. Показала большую коллекцию открыток, плакатов, пасхальных яиц — стеклянных, фарфоровых, деревянных; детские расписные грабли — как пояснила девица, для привлечения детей к тяжелому крестьянскому труду. Тут же был ловко сплетенный из бересты мячик — игрушка, не виденная Бадиным, — имелись первые радиоприемники, желудевый кофе, портрет О. Ю. Шмидта с дарственной надписью местному Дому культуры.

В историческом отделе среди фотографий они обратили внимание на фотографию некоего Жмурина, дореволюционного градоначальника, экскурсовод показала также фотопортрет основателя музея Ю. Е. Поливанова и материалы, связанные с его революционной деятельностью.

Среди разных мандатов и значков был карандашный рисунок на обрывке рисовой бумаги — Поливанов в профиль, сбоку была женская головка и затылок черта.

— Чей это рисунок? — заинтересовался Бадин.

— Автор неизвестен. Поскольку рисунок выразителен, мы сочли возможным дополнить им иконографический материал,— виновато сказала девушка.

Рядом висела групповая фотография: Поливанов в центре и кругом несколько молодых людей в галифе, в косоворотках.

— Это кто? — спросил Бадин.

— Рядом с ним Пашков Георгий Авдеевич, революционер. У нас названа его именем улица. А этого я не знаю, мы еще не всех выяснили. Кстати говоря, нами установлено, что Поливанов был знаком с художником Астаховым, который приезжал в город примерно в тридцать шестом году и написал свою известную картину «У реки», которую вы увидите. Картина была подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой. Вот ее портрет и копии с нескольких рисунков художника.

— Послушайте, милая девушка,— сказал Бадин,— все это прекрасно, но почему ж вы не сообщаете, что раздобыла картину городу ваш бывший мэр — Лосев?

Девушка улыбнулась:

— Лосев? На обороте картины имеется надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной Астаховой: «В дар городу Лыкову».

— Но при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?

— Какое это имеет значение? — досадливо сказала она, но тотчас приветливо улыбнулась Бадину матово накрашенными губами. Она объяснила, что текст ее экскурсии утвержден специальной комиссией под руководством Эдуарда Павловича, если у товарищей есть какие-нибудь дополнительные сведения, то можно обратиться к Константину Дмитриевичу, заведующему музеем.

— А где он, Лосев?

— Не знаю, это вы у старожиллов спросите.

На улице разгулялось горячее лето. Пахло цветущей липой. Они обошли дом со стороны реки. Там стояли чугунные кнехты. Песчаные отмели были чисты, река блестела, нежилая на солнце. У черного хода, в жарком затишке, так же нежилась мужчина в тельняшке, лежал, угретый солнцем, раскинув могучие руки.

— Дядя Матвей, тут товарищи интересуются Лосевым, вы знали его?

Матвей привстал, осмотрел их разомлевшими светлыми глазками.

— Про Сергея Степановича?

— Они из Москвы, реставраторы.

— Реставрировать — это у нас могут,— сказал Матвей.— Делать не умеют, а реставрировать могут. Было б что.

— Диоген,— сказал реставратор.— Главный философ города!

Матвей зевнул, прислонился к стенке.

— Обиделся? Думаешь, я не знаю, в связи с чем Диогеном меня назвал? Хоть ты и реставратор, но не имеешь подхода. Нетерпелив. Я про Лосева все знаю. У меня с ним много дискуссий было. Самостоятельный был начальник.

— Что же с ним стало? — спросил Бадин.

— Человек из легенды! Вот он кто! От своей должности добровольно отказался. Повышение ему предлагали. Он ни в какуюю.

— Это почему?

— То-то и оно! Такой был круговорот событий. А если все взвесить — загадка. Задуматься надо бы, да некому.

— А теперь где он?

— Филиал строил. Потом уехал. Исчез с поля зрения. Но я полагаю, что он вернется. А знаешь почему?

— Ну?

Матвей наклонился, доверительно произнес:

— Потому что обстоятельства именно такого человека требуют!

Пешком прошли они через мост к школе. На мосту стояли. Река текла внизу, плавно выгибаясь, видная далеко. За городом началась нежная, набравшая цвет зелень полей, перелесков, в солнечном дрожании блестело новое шоссе и над всем большое, вздутое теплым ветром синее небо.

В школе на первом этаже была выделена специальная комната с отдельным ходом. В комнате висели лучшие работы юных художников, фотографии из жизни Астахова и в простенке картина. Взяв указку, экскурсовод показывала соответствие картины с натурой. Все обрадованно занялись сличением, каким всегда занимались вперые пришедшие сюда.

— ...потому сходство не буквально фотографическое, а художественное. Полная безмятежность пейзажа похожа на счастливое воспоминание детства. Мирно, спокойно течет река, осененная зеленью. Все напоено воздухом. Художник сознательно заостряет контуры дома Кислых, в этот период для него характерны поиски новых средств выразительности. Решения его спорны, тем не менее в этой картине он достиг...

— Милая девушка,— мягко прервал ее Бадин,— моя старая статья в вашем исполнении выигрывает, но все равно я вижу, насколько она стала плоха. Не пользуйтесь ею, пожалуйста.

Она подняла на него длинные, толсто накрашенные ресницы.

— Я не знала, что это вы. Нам ведь дают методичку... А вот наш директор!

Тоненький паренек в синей спецовке поставил стремянку («Карниз надо приделать для занавески»), представился («Исполняющий обязанности директора») — Анисимов Константин Дмитриевич. Был он сдержан и очень серьезен.

Услышав фамилию Бадин, он несколько оживился:

— Мне о вас рассказывала... Тучкова.

— Это та, что к Астаховой приезжала? Учительница, маленькая такая? Да, да.

Бадин вынул трубку, они помолчали, улыбаясь друг другу с внезапной симпатией.

— Погодите, она ведь здешняя?

— Она переехала в Белоруссию,— сказал Анисимов.

— Экая досада. И Лосева нет. Вы его знали?

Анисимов молча кивнул.

— Вам известно, как эта картина к вам в город попала? Я как раз был свидетелем...

— Известно,— остановил его Анисимов.— Тучкова все записала, сколько, например, вы запросили за картину. Две тысячи?— Он произнес это быстро, тихо, так что один Бадин разобрал.— У нас хорошие фонды. Про Лосева тоже записано. Знать-то мы знаем...

Он расставил стремянку. Обе девушки посматривали на него. В его сдержанной неторопливости, не по возрасту серьезной, Бадину чувствовалась напряженная внутренняя работа. Он довольно похлопал трубкой, ему нравилось то, что недоговорил этот парень.

Разглядывая в открытое окно дом Кислых, реставратор поскребывал бородку, доказывая, что дом окрашен слишком грубо, оттенок не подобран и нарушает гармонию.

— Обещали, что к концу лета выцветет.

— А иву зачем спилили? Торчит огрызком.

— Надломилась она весной,— пояснил Анисимов.— Ствол надпилен был.

Реставратор покачал головой и прицокнул, выражая осуждение невежеству.

— Эх вы, способны есть стволы укреплять. Что же вы, надо бы такие вещи знать. Элементарно. Такую ценную деталь нарушили. Дом отстояли, а дерево профукали! Упущение.

— Брось ты цепляться!— воскликнула аспирантка.— Все равно это чудо. Дом — прелесть! Силуэт смело как сделан, а крыша... Ваш Морщихин молодец, сохранил подлинное украшение.

— Он все понимает,— с гордостью сказала девушка-экскурсовод,— нам повезло, он много для музея делает; он понимает в искусстве.

— Да, да,— сказала аспирантка.— Эстетический уровень вырос. В такой глуши люди могут оценить сложную живопись, мало того, наладить ее взаимодействие со средой.

— Картина помогла сохранить историческое место,— изрекла девушка-экскурсовод,— оно, в свою очередь, обогатило картину и наше видение природы и искусства.

Наступил момент, когда Бадин перестал слышать, что говорили вокруг. Картина забрала его. Так происходило всегда перед настоящей живописью. Терпеливо он дожидался толчка, или это настигало плавно, словно раскрывался занавес, оставались только картина и он. Хорошую картину недостаточно знать, время от времени ее надо смотреть. Эту картину Астахова он знал давно. Но за это время с ней что-то произошло. Здесь, в Лыкове, она стала иной. Конечно, было поучительно сличать картину с натурой. Определить расхождение — что художник изменил, зачем подчеркнул кирпичное пятно на стене, как написал медную крышу и слепящие окна, сохранив их форму. Бадин привычно анализировал детали, где что понадобилось художнику уравновесить, столкнуть, но все это не помогало понять того жара и печали, которые он ощущал в картине. И раньше он выделял ее из астаховских пейзажей. Теперь же он ощутил скрытую силу этой картины, каждый мазок, линия были вызваны чувством, которое Бадин не умел определить. Кислых... Ему вспомнилось, что фамилию эту упоминала Тучкова в своем рассказе о женщине, которую любил художник. Любовь?..— спрашивал он себя. Одна природа не может так взволновать художника, думал он, и ему вспомнилось, как потрясла его когда-то картина Эль Греко «Вид на Толедо», как он ходил на выставку, простаивал перед ней не в состоянии разобраться, чем достигнуто чувство тоски и тревоги. Какая-то мистика была в этом пейзаже. Картина мучила его, и он снова приходил, чтобы испытать смятение и отчаяние от вида этого яростного темно-синего неба, холмов, взбаламученного синего города.

В прошлом году Бадин был в Толедо, смотрел с холма на сонный, светло-желтый, расплавленный от жары город с приплюснутыми домами, собором. Панорама раскинулась та же, что и на картине, в точности. Она вызывала разочарование и скуку.

В астаховском пейзаже художник повторил подробности природы с дотошностью, ему не свойственной: и флюгер и кнехты — сдви-



нудое, надломленное — все, однако ж, было. Кроме мастерства, было и другое, чем затягивала картина. Бадин начал ощущать таинственное тепло этого создания, живущего собственной жизнью. С той поры как он не видел ее, картина словно поздоровела, окрепла, стала ярче. Не так, как бывает после реставрации, не краски посвежели, а берег, дом, каланча — все открылось в своем значении. Бадин захотел представить себе отношения Астахова и этой Лизы Кислых, что это была за любовь. Но он слишком мало знал. Он подумал, как плохо известны подробности создания великих полотен, редко мы знаем, что вызвало их появление.

В левой стороне картины, под ивой, в ее солнечной пятнистой тени, над водой показалось лицо. Он взгляделся: в глубине у берега он различил купающегося мальчика. У Бадина была чисто профессиональная зрительная память, он готов был поклясться, что раньше этого в картине не было. На всякий случай он подошел, проверяя поверхность полотна, нет ли там свежих мазков, мало ли.. вновь отошел, выбирая наилучшее освещение, и явственно увидел голову мальчика. Это был маленький мальчик, он плыл, тело его смутно светилось в коричневой текучей воде. Казалось, что он-то и придавал жизнь этому безлюдному пейзажу. Мелкая рябь расходилась от него по застылой утренней воде, подернутой туманом, он должен был вот-вот выплыть из тени.. «Наверное, все же это игра света», — успокаивая себя, думал Бадин, и ему стало грустно оттого, что все кончится таким объяснением.



---

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА



## САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

*Рассказ акселерантки*

**Н**ам задали классное сочинение на тему «Самый счастливый день в моей жизни».

Я раскрыла тетрадь и стала думать — какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке. Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти. Я могла бы иметь и тройку в четверти, но тогда меня не переведут в девятый класс. Марья Ефремовна предупредила, что сейчас в стране переизбыток интеллигенции и дефицит в рабочем классе, так что из нас будут создавать фонд квалифицированной рабочей силы.

Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее принимали в пионеры.

Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в музее погранвойск и мне не хватило пионерского значка. Шефы и вожатые забегали, но значка так и не нашли. Я сказала: «Да ладно, ничего...» Однако настроение у меня испортилось и я потом была невнимательна. Нас повели по музею и стали рассказывать его историю, но я ничего не запомнила. Я такие вещи вообще плохо запоминаю.

Однажды мы с мамой отвели домой пьяного ханурика. Он потерял ботинок и сидел на снегу в одном носке. Мама сказала: нельзя его бросать на улице, может, у него несчастье. Мы спросили, где он живет, и отвели его по адресу. От этого поступка была наверняка большая польза, потому что человек спал не на сугробе, а у себя дома и семья не волновалась. Но самым счастливым днем это не назовешь: ну, отвели и отвели...

Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый счастливый день был тот, когда в кабинете взорвался испорченный синхро—азотрон и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у меня единственное, что есть, это большой словарный запас и я легко им апеллирую. Поэтому мне в музыкальной школе поручают доклады о жизни и творчестве композиторов. Доклад пишет учитель по музыке, а я его зачитываю по бумажке. Например: «Бетховен — плебей, но все, чего он достиг в жизни, он достиг своим

трудом...» И еще я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи, играет Катя Шубина, класс педагога Россоловского». И это звучит убедительно, потому что у меня рост, цвет лица и фирменные вещи. Цвет лица и фирма мне перешли от мамы, а рост непонятно откуда. Я где-то читала, что в современных панельно-блочных домах, не пропускающих воздух, созданы условия, близкие к парниковым, и поэтому дети растут, как парниковые огурцы.

Машка Гвоздева безусловно попадет в интеллигенцию, потому что от ее мозгов гораздо больше пользы, чем от ее рук. А у меня ни рук, ни мозгов — один словарный запас. Это даже не литературные способности, просто я много знаю слов, потому что много читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк, нормалек, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то...» и «Ну, в общем-то, конечно...» И этого оказывается вполне достаточно: во-первых, она дает возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно; во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то...», «Ну, в общем-то, конечно».

Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали: счастье — это когда чего-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье — это когда чего-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, счастье кончается, потому что счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление.

Чего я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дубленку вместо своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике. Хотя мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и срезают пуговицы. Так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я нигде не хожу.

А чего я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в МГУ на филологический и познакомиться с артистом В. В. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс сходил с ума. А сейчас этот артист разжирел, и просто диву даешься — что время делает с людьми.

Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в В. В. Просто он играет д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто В. В. — это и есть сам д'Артаньян, талантливый, неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк», «нормалек» и ниже меня на два сантиметра.

Я смотрела «Мушкетеров» шесть раз. А Рита Кияшко десять раз. Ее мама работает в универсаме и может доставать билеты куда угодно, не то что мои родители — ничего достать не могут, живут на общих основаниях.

Однажды мы с Ритой дождались В. В. после спектакля, отправились за ним следом, сели в один вагон метро и стали его разглядывать. А когда он смотрел в нашу сторону, мы тут же отводили глаза и фыркали. Рита через знакомых выяснила: В. В. женат и у него есть маленький сын. Хорошо, что сын, а не дочка, потому что девочек любят больше, а на мальчишек тратится меньше нежности, и, значит, часть души остается свободной для новой любви.

Рита выяснила, что В. В. — карьерист. Но его неизвестно, отрицательная это черта или положительная. Мой папа, например, не карьерист, но что-то большого счастья на его лице я не вижу. У него нет жизненного стимула и маленькая зарплата. А деньги — это оценки взрослых людей. Недавно я на классном часе докладывала о политической обстановке в Гондурасе. Честно сказать, какое мне дело до

Гондураса, а ему до меня, но Марья Ефремовна сказала, что аполитичных не будут переводить в девятый класс. Я подготовилась как миленькая и провела политинформацию. Буду я рисковать из-за Гондураса...

Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже половину тетради. А я все сижу и шарю в памяти свой самый счастливый день.

Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это не то. Она, например, ужасно неаккуратно ставит иглу на пластинку, и через динамики раздается оглушительный треск, и мне кажется, что иголка царапает мое сердце. Я спрашиваю: «Нормально ставить ты не можешь?» Она отвечает: «Я нормально ставлю». И так каждый раз.

Когда ее нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».

Я читала в газете, что Москва занимает последнее место в мире по проценту преступности. То есть Москва — самая спокойная столица в мире. И это правда. Я убедилась на собственном опыте. Если бы самый плохонький воришка-дилетант и даже просто любопытный, с дурными наклонностями человек прошел по нашей лестнице и прочитал мамину записку, то получил бы точную инструкцию: ключи под ковриком — открывай дверь и заходи, еда на плите — разогревай и обедай, а хозяева явятся в шесть. Так что можно не торопиться и даже отдохнуть в кресле с газетой, а около шести уйти, прихватив папины джинсы, кожаный пиджак и мамину дубленку. Больше ничего ценного в нашем доме нет, потому что мы интеллигенция и живем только на то, что зарабатываем.

Мама говорит: когда человек боится, что его обворуют, его обязательно обворуют. В жизни всегда случается именно то, чего человек боится. Поэтому никогда не надо бояться. И это точно. Если я боюсь, что меня спросят, меня обязательно спрашивают.

Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить как хочу и ни к кому не приспосабливаться. Я вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе. И стоя. Холодное гораздо вкуснее. Горячее отбивает вкус.

Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамнины платья, начинаем мерить их и танцевать. Мы танцуем в длинных платьях, а ансамбль «Синяя птица» надрывается: «Не о-би-жайся на меня, не обижа-а-а-йся, и не жалея, и не зови, не достучишься до любви». А в окно хлещет солнце.

Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. Сейчас я читаю две книги: рассказы Хулио Кортасара и пьесы Александра Вампилова. У Вампилова мне очень нравится: «Папа, к нам пришел гость и еще один». А папа отвечает: «Васенька, гость и еще один — это два гостя...» Я читаю и вижу перед глазами В. В. — и мне бывает грустно, что все-таки он женат и у нас большая разница в возрасте.

А у Кортасара в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо прекрасно». Они так действуют на меня, что я поднимаю глаза и думаю. Иногда мне кажется, что жить невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы:

— А зачем люди живут?

Она говорит:

— Для страданий. Страдания — это норма.

А папа говорит:

— Это норма для дураков. Человек создан для счастья.

Мама говорит:

— Ты забыл добавить — как птица для полета. И еще можешь сказать — жалость унижает человека.

Папа говорит:

— Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя.

А мама говорит, что жалость — это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен не многим даже умным.

Но спорят они редко, потому что редко видятся. Когда папа вечерами дома — мамы нет. И наоборот. Если мамы нет — папа читает газеты и смотрит по телевизору хоккей. (У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея».) Посмотрев «фокею», прочитав газеты, папа требует мой дневник и начинает орать на меня так, будто я глухая или нахожусь в соседней квартире, а он хочет, чтобы я услышала его через стенку. Когда папа кричит, я почему-то не боюсь, а просто хуже понимаю. Мне хочется попросить: «Не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Но я молчу и только моргаю.

Иногда мама приходит довольно поздно, однако раньше отца. Она видит, что его дубленки нет на вешалке, ужасно радуется.

А когда у мамы библиотечные дни и она целый день дома, готовит еду на несколько дней, а отца нет до позднего вечера — вот тут-то она появляется у меня в комнате, не учитывая, что мне надо спать, а не разговаривать, и начинает из меня варить воду. Она говорит:

— По-моему, он от нас ушел.

Я говорю:

— А как же кожаный пиджак и джинсы? Без них он не уйдет.

— Но он может прийти за ними позже.

— Глупости, — говорю я. — От меня он никуда не денется.

Однако я пугаюсь и у меня начинает гудеть под ложечкой и щипать в носу. Я не представляю своей жизни без отца. Я скачусь на одни тройки и двойки. Я вообще брошу школу и разложусь на элементы. Я получаю хорошие оценки исключительно ради отца, чтобы ему было приятно. А мне самой хватило бы и троек. И маме тоже хватило бы. Она рассуждает так: «Три — это удовлетворительно. Значит, государство удовлетворено».

— Я с ним разведусь, — говорит мама.

— Причина?

— Он мне не помогает. Я сама зарабатываю деньги. Сама стою в очередях и сама таскаю кошелки.

— А раньше было по-другому?

— Нет. Так было всегда.

— Тогда почему ты не развелась с ним раньше, десять лет назад?

— Я хотела обеспечить тебе детство.

— Значит, когда я была маленькая и ничего не понимала — ты обеспечивала мне детство. А сейчас, когда я выросла, ты хочешь лишить меня близкого человека. Это предательство с твоей стороны.

— Ну и пусть.

— Нет не пусть. Тогда я тоже не буду с тобой считаться.

— У тебя впереди вся жизнь. А мне тоже хочется счастья.

Я не понимаю, как можно в тридцать пять лет, имея ребенка, хотеть какого-то еще счастья для себя. Но сказать так нетактично. И я говорю:

— А где ты видела счастливых на все сто процентов? Вон тетя

Нина моложе тебя на пять лет, худее на десять килограмм, однако без мужа живет и ездит каждый день на работу на двух видах транспорта, полтора часа в один конец. И занимается каким-то химическим машиностроением, чтобы заработать на кусок хлеба. А ты — работаешь через дорогу, любишь свою работу, все тебя уважают. Занимаешь свое место в жизни. Вот уже пятьдесят процентов. Я удачный ребенок. Здоровый и развитый. Еще сорок пять процентов. Ничем не болеешь — процент. Вот тебе уже девяносто шесть процентов счастья. Остается четыре процента. Но где ты видела счастливых на сто процентов? Назови хоть кого-нибудь.

Мама молчит, раздумывает — кого назвать. И в самом деле — никто не счастлив на сто процентов. В каждой избушке свои погремушки. Или, как говорят англичане, у каждого в шкафу свой скелет. Но маму не утешает чужое несчастье. Она хочет свои недостающие четыре процента вместо первых пятидесяти. Сидит на моей постели и дрожит, как сирота. Я говорю:

— Ложись со мной.

Она ложится ко мне под одеяло. Ступни у нее холодные, и она сует их мне в ноги, как эгоистка. Но я терплю. На мой глаз капает ее слеза. Я опять терплю. Я ее очень люблю. У меня даже все болит внутри от любви. Но я понимаю, что если ее начать жалеть, она раскиснет еще больше. И я говорю:

— Поди посмотри на себя в зеркало при свете дня. Ну кому ты нужна, кроме нас с папой? Ты должна жить для нас.

Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоист. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. Потому что когда ему хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него его ближние водили хороводы.

Тихо скрипит ключ, это папа осторожно вводит ключ в замок, чтобы нас не разбудить. Потом он на цыпочках входит в прихожую, стоит какое-то время, видимо раздевается. И так же на цыпочках идет в свою комнату, и половицы виновато поскрипывают. Как-то бабушка сказала, что папа себя не нашел. И когда он ступает на цыпочках, мне кажется — он ходит и ищет себя, не зажигая свет, заглядывая во все углы. И мне его ужасно жалко. А вдруг и я не найду себя до сорока лет и не буду знать — куда себя девать?

Заслышав папины шаги, мама успокаивается и засыпает на моем плече, дышит мне в щеку. Я обнимаю ее и держу как драгоценность. Я лежу и думаю: хоть бы она скорее растолстела, что ли... Я мечтаю, чтобы мои родители постарели и растолстели — тогда кому они будут нужны, толстые и старые? Только друг другу. И мне. А сейчас они носятся колбасой, худые и в джинсах. Мне иногда кажется, что одна нога каждого из них зарыта, а другой они бегут в разные стороны. Но куда убежишь с зарытой ногой? А еще мне кажется, что если бы им освободить обе ноги, то они растерялись бы и не знали, что делать со своей свободой, и побежали бы навстречу друг другу, потому что они любят друг друга, но не отдают себе в этом отчета.

Между прочим, у Ленкиной мамы вообще нет мужа, трое детей — все от разных отцов, — слепая бабка, две кошки и щенок. Однако у них в доме шумно, хламно и весело. Может быть, потому, что Ленкиной мамаше некогда в гору глянуть. Когда у человека остается свободное время, он начинает думать. А если начать думать — обязательно до чего-нибудь додумаешься.

Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь:

вдруг со мной что-нибудь случится — попаду под машину или вырасту и выйду замуж? На кого я их оставляю? И что они будут делать без меня?..

Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Наверное, для него самый счастливый день будет тот, когда «Битлсы» снова объединятся в ансамбль. Загоруйко знает все современные зарубежные ансамбли: «Киссы», «Квины», «Бони М». А я только знаю: «Бетховен — плебей...» Серенаду Шумана по нотам и кое-что по слуху.

Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс. Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Где-то я прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и написать книгу о времени, в котором он жил. Я вспомнила, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил:

— Давай помогу.

— Обойдусь,— отказалась я и поволокла ведро дальше.

Потом я высыпала землю в лунку и разжала ладони. На ладонях был след от дужки ведра — глубокий и синий. Плечи ныли, и даже ныли кишки в животе.

— Устала,— сообщила я окружающим с трагическим достоинством.

— Так и знал,— ехидно обрадовался Загоруйко.— Сначала пижила, а теперь хвастаться будет.

Противный этот Загоруйко. Что думает, то и говорит, хотя воспитание дано человеку именно для того, чтобы скрывать свои истинные чувства. В том случае, когда они неуместны.

Но что бы там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколением. И, значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность.

Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я встряхнула ручкой, она у меня перьевая, а не шариковая, и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне что хочет. Все равно ни эгоистки, ни карьеристки из меня не получится. Буду жить на общих основаниях.

Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с де Фюнесом в главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались и кто-то постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы бабушкины — карие, брови домиком. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево: бабушка — корни, папа — ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу.

И это было невыразимо прекрасно.

Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня — впереди.



---

---

ЛУИС КОРВАЛАН,  
*Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили*



## НАШ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ\*

### НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ЧИЛИ

**Б**ольшинство чилийцев не согласны с политикой фашистского режима. Оппозиция ведет борьбу против нее на всех фронтах, добивается большей координации действий своих сил. Вместе с тем в ее рядах происходит богатый обмен мнениями по вопросам, касающимся будущего страны.

Эта сторона дела заслуживает специального внимания. Среди всех классов и социальных слоев наблюдается растущий интерес к тому, что настанет после устранения фашизма, какая общественная система и политический строй установятся, какую программу социальных преобразований предстоит тогда проводить в жизнь. Стало быть, вести речь об этих проблемах означает не заниматься игрой в футурологию, а прилагать усилия к тому, чтобы разъяснить не нашедшие ответа вопросы, способствуя тем самым достижению договоренности и развертыванию нынешней борьбы. Это означает содействовать выдвигению реальной альтернативы фашизму, которая облегчит вовлечение в битву широких кругов, чья позиция пока что характеризуется нерешительностью.

К проблемам, касающимся завтрашнего дня Чили, нельзя подходить субъективно. Их правильное решение требует строгого учета прошлого и настоящего нашей страны, различных социальных и политических компонентов, главных и второстепенных противоречий, существующих и проявляющихся в обществе, потребностей общественного развития, характера исторической эпохи, переживаемой человечеством, настоятельных нужд сегодняшнего дня, содержания нынешней борьбы.

Принимая во внимание совокупность этих факторов, не ставится вопрос об установлении вместо фашистского — социалистического государства. Речь не идет также об установлении типично буржуазного строя. Другими словами, нет дилеммы фашизм или социализм, либо фашизм или буржуазная демократия. Сложившемуся положению отвечает установление нового, демократического, народного и национального строя, который будет благоприятствовать переменам, вытекающим из объективных потребностей социального прогресса, и побуждать к ним.

Мы, разумеется, имеем в виду строй, который следовало бы создать в условиях, когда народ осуществляет суверенитет, а не режим или правительство, которые могут возникнуть сразу после падения фашизма. Если не будет достигнуто согласия о широко представленном временном правительстве, то мы не исключаем, а предполагаем возможность возникновения одного или сменяющих друг друга правительств — де-факто и переходных.

Характер будущего демократического устройства зависит от различных факторов, в особенности же от организованности, зрелости и силы, с которыми народ выйдет из мрака фашистской тирании, от борьбы рабочего класса и от того, насколько способным будет его политическое руководство.

В этом отношении мы, коммунисты, выступаем за столь глубокие преобразования, какие только окажутся возможными при неизменно тесном согласии с нашими союзниками по Народному единству и при открытой и ясной договоренности с остальными демократическими силами, прежде всего с христианскими демократами. Это означает

---

\* Публикуемая статья написана Л. Корваланом в июле 1979 года и специально предназначена для распространения в Чили. Она передана чилийскими коммунистами на рассмотрение всех демократических сил страны.



также, что, не отказываясь от самых дорогих для нас целей, мы готовы учитывать социальные и политические реальности и прийти к более или менее ограниченным компромиссам, которые, однако, могли бы сыграть потом большую роль.

В заявлении нашей партии в сентябре 1976 года мы сформулировали три предложения: первое — действовать совместно, чтобы прервать с диктатурой Пиночета; второе — добиться договоренности об установлении на завтра нового институционального строя, избегая опасности повторения раздоров между силами, которые могли бы достигнуть согласия; и третье — договориться о создании представительного правительства, образованного в основном Народным единством и христианской демократией.

Речь идет о предложениях, которые могут рассматриваться в совокупности или отдельно, хотя, по нашему мнению, исходя из интересов страны, к ним следовало бы отнестись как к единому целому.

Мы движимы горячим и естественным желанием максимально сократить дни страдания нашего народа, а также стремлением к установлению новых отношений между общественными и политическими кругами, согласие между которыми становится необходимым, для того чтобы возможно быстрее покончить с тиранией и приступить к совместному решению проблем периода переустройства.

Думаем, что важной частью этого единения является и должно быть примирение вооруженных сил с народом Чили на той основе, что они будут служить исключительно делу независимости и прогресса страны. Мы протягиваем им руку и желаем помочь им освободиться от фашизма.

Мы не хотим, чтобы нация раскололась на три части — левые, правые и центр — или на две половины. Мы желаем видеть ее объединенной вокруг ценностей политической и социальной демократии, чтобы она единым блоком противостояла внутренним и внешним врагам ее независимости и прогресса.

Диктатура оставит нам ужасное наследие, страну с деформированной экономикой, с отданными на разграбление богатствами, страну, с головой увязшую в долгах, страдающую от огромной безработицы, от острой нехватки специалистов, страну с плачевным положением здравоохранения и образования, с крайне высоким дефицитом жилья, с жалким уровнем развития сельского хозяйства, страну, где часть населения заражена «потребительством» и широкие слои населения стали жертвой несправедливостей этих лет, принесших огромные страдания. Исправить такое положение — задача, требующая сейчас и в будущем объединенных усилий всех сыновей и дочерей народа.

Демократия, которую мы знали до 11 сентября 1973 года, была плодом длительной борьбы прогрессивных сил и особенно тех битв, которые вел рабочий класс с начала этого века. Она пала в результате заговора империализма и внутренней реакции, а также вследствие того, что большинство христианских демократов встали на позиции слепого противоборства, из-за образования, так сказать, антител, порожденных авантюристическими действиями ультралиевых элементов, из-за сектанства и оппортунизма правого толка со стороны Народного единства, а в связи со всем этим и потому, что демократический строй, который установился в стране, оказался недостаточно эффективным, узким для того, чтобы возникавшие конфликты могли быть разрешены в его рамках. Более того, возникновение некоторых конфликтов частично обуславливалось или облегчалось самим этим строем. Например, проведение в разные сроки выборов президента республики и выборов в парламент способствовало тому, что определенные социальные противоречия проявлялись в форме разногласий между различными видами власти в государстве. Это случалось при прежних правительствах и вылилось в кризис при правительстве президента Альенде.

Нельзя сказать, что чилийская демократия была образцовой. Но благодаря многим своим завоеваниям и ценным достижениям она пользовалась известным международным престижем. На смену ограниченному цензами, а затем непрямому голосованию пришла относительно передовая и демократическая система всеобщего избирательного права. Времена принудительной подачи голосов за определенного кандидата и подкупа избирателей, а также запрета компартии остались в прошлом. Политика, понимаемая как деятельность, связанная с делами общества, превратилась в повседневное занятие сотен тысяч и миллионов людей. В ней участвовали широко народные массы. Из их гущи вышли многие тысячи мужчин, женщин, юношей и девушек.

которые видят единственный смысл жизни в борьбе за социальный прогресс, за человеческое счастье, за процветание своей страны.

Вместе с тем имелись некоторые буржуазные или мелкобуржуазные политики, которые выше интересов народа и страны ставили то, что выгодно реакционным классам и кучке корыстных финансово-экономических групп. Для части этих политиков целью было получить ответственный пост в правительстве или в парламенте, чтобы служить сильным мира сего, добиться лучшего социального положения и извлечь личные выгоды. Такие вещи — а наряду с ними некоторые безответственные действия и эксцессы в социальной борьбе — способствовали эрозии демократической системы, и их негативное влияние ощущается до сих пор среди определенных слоев населения.

Фашистская диктатура задалась целью «деполитизировать» страну, то есть превратить чилийцев в людей, у которых не было бы других забот, кроме личных, покончить с партиями, искоренить любовь народа к свободе и стремление к справедливости, сокрушить его боевой дух, тягу к организованности и чувство социальной солидарности. Ничего этого она не добилась и не добьется. Об этом свидетельствуют факты. Однако усилия диктатуры не остались бесследными. Наша страна сегодня иная, чем вчера. Не только претерпела регрессивные изменения ее экономическая структура. Произошли также изменения в образе мыслей многих людей, изменения как положительные, так и отрицательные. В то время как некоторые люди поддаются мелкобуржуазным настроениям, ослепленные блеском мишуры общества потребления, думают, как лучше устроиться, большинство народа осознает беспочвенность мифов, которые затуманивали его зрение, и развивается политически.

Второстепенная роль государства, какой ее изображают представители тирании, в действительности не является таковой. Фашизм максимально усиливает функцию принуждения в деятельности всего государственного аппарата в интересах империализма и горстки магнатов, в особенности финансовых, и вместе с тем ставит им на службу весь механизм управления экономикой.

При прогрессивных правительствах государство играло в Чили важную роль в деле развития национальной промышленности, образования, здравоохранения, жилищного строительства, расширения инфраструктуры. Будущий демократический строй должен будет вернуть себе эти функции, хотя в течение более или менее длительного времени будет он не в состоянии осуществлять их в масштабах, полностью отвечающих реальным потребностям. Надо будет пересмотреть очередность мер, определить действительные возможности страны и изменить некоторые установки. Например, в области образования необходимо обеспечить для всех получение образования в основной школе<sup>1</sup> и развитие самых разнообразных форм обучения и профессиональной подготовки молодежи в соответствии с имеющимися потребностями и возможностями. Это потребует значительного расширения системы профессионально-технического образования и открытия доступа в университеты наиболее способным молодым людям независимо от их социального и материального положения. Предприятия, которые пользуются трудом специалистов, подготовленных университетами, должны участвовать в создании фонда, за счет которого будут предоставляться стипендии студентам из семей со скромными доходами, особенно рабочих. Это, а не что-то иное следует понимать под требованием «университет для всех», ибо если воспринимать его буквально, оно окажется нереальным. Нет причин, чтобы университетское образование было совершенно бесплатным также для студентов — выходцев из состоятельных семей. Эти семьи должны вносить плату соразмерно своим доходам. Лозунг «дифференцированная плата при поступлении», выдвинутый Союзом коммунистической молодежи, более справедлив, чем всеобщее освобождение от платы.

Если учитывать всю ситуацию в целом, нельзя будет вернуться к тому же, что было вчера. Не умаляя значения периода правительства Народного единства, мы хотим сказать, что речь не идет о возвращении к тому времени, как нет речи и о возврате к предшествовавшему ему периоду. Будущий демократический строй обязательно должен будет восстановить лучшие демократические традиции Чили, а также вобрать в себя новые ценности и строить их из более прочных материалов.

<sup>1</sup> Основная школа в Чили охватывает восемь классов. (Здесь и далее примечания переводчика.)

На протяжении нескольких десятилетий Чили испытывает структурный кризис<sup>2</sup>. Это побудило к определенным реформам при правительстве президента Фрея и к глубоким революционным преобразованиям при президенте Альеде. Контрреволюция, которую возглавил Пиночет, усугубила отрицательное воздействие всех факторов структурного кризиса, сделав еще более неотложными перемены, за которые боролись большинство чилийцев. События последних шести лет ясно показали необходимость и других изменений. Парламент из-за позиции образовавшегося там большинства содействовал сокрушению демократического строя, чтобы сразу же самому быть похороненным теми, кому помогло это большинство. Вооруженные силы, судебная власть и контрольное управление отказались даже от видимости общенациональных органов, чтобы предстать перед лицом всей страны как защитники буржуазной власти, а затем как опора фашистской диктатуры. Все это означает также, что созрели условия для изменений в сфере надстройки, для проведения в жизнь программы радикальных преобразований как в экономической структуре, так и в области государственных институтов.

Изучение и обсуждение проблем, проведенные партиями Народного единства, христианской демократией, комиссией 24-х<sup>3</sup>, профсоюзными федерациями, другими организациями и отдельными лицами, уже позволяют констатировать совпадение взглядов по ряду важных вопросов. Можно сказать, что существует согласие относительно признания суверенитета как верховной власти, исходящей от народа, а также относительно того, чтобы новая конституция рассматривалась и принималась Учредительным собранием (это не исключает вынесения ее затем на референдум) и чтобы в ее текст были включены права человека, фигурирующие во Всеобщей декларации прав человека<sup>4</sup>, чтобы были оговорены экономические, социальные и культурные права с соответствующими гарантиями, чтобы выборы президента, членов парламента и муниципальных советников проводились одновременно, чтобы президент избирался абсолютным большинством, а в случае необходимости предусматривался второй тур голосования; чтобы было отменено проведение промежуточных выборов и были установлены нормы, позволяющие облегчить законодательный процесс.

Остается, однако, немало проблем, требующих выяснения и тоже нуждающихся в достижении согласия.

Прежде всего все относящееся к правам человека, закрепленным во Всеобщей декларации и в международных пактах<sup>5</sup>, должно быть совершенно четко гарантировано.

Другой жизненно важный вопрос касается собственности на средства производства. В этой области необходимы глубокие преобразования, чтобы открыть путь прогрессивному развитию страны, удовлетворить насущные нужды масс и чтобы права и свободы народа обрели не формальный, а более реальный характер. Существующее сегодня острое социальное неравенство не может сохраняться, если мы хотим создать демократический строй, который был бы таковым не только согласно конституции, закону.

Мы, коммунисты, выступаем за демократический строй, при котором будут признаны пять секторов собственности: государственный, секторы смешанной, частной, кооперативной собственности и предприятий на режиме самоуправления, или предприятий трудящихся. При этом строе должен быть положен конец привилегиям империалистов и олигархии, а также восстановлены положения о социальной функции собственности, действовавшие до переворота 1973 года.

<sup>2</sup> Имеется в виду кризис общественной структуры, то есть социально-экономического строя.

<sup>3</sup> «Комиссия по изучению конституционных вопросов», созданная в Чили в 1978 году в противовес официальной политике.

<sup>4</sup> Всеобщая декларация прав человека — принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, содержит перечень основных свобод и прав человека и подчеркивает необходимость их соблюдения.

<sup>5</sup> Имеются в виду одобренные Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Как и везде, здесь речь идет не о повторении того, что мы делали или пытались сделать вчера. В этом отношении представляется разумным, по крайней мере на первом этапе, соображение группы экономистов из Каракаса во главе с Карлосом Матусом о том, что сейчас — по сравнению с тем, что было при правительстве президента Альенде, — нужно идти дальше в деле политических, а не экономических перемен. Мы стоим за возвращение в государственный сектор экономики крупных предприятий, находящихся в собственности империалистов и олигархии, а также за возвращение крестьянам земель, вновь отданных латифундистам.

Должны быть предоставлены полные гарантии мелким и средним собственникам промышленных предприятий, землевладельцам и торговцам. Лишь на добровольных началах, через создание смешанных предприятий совместно с мелкими и средними собственниками и через кооперирование землевладельцев и торговцев эти слои могли бы быть включены в планированное развитие национальной экономики.

Очень важно также достижение договоренности относительно участия народа в управлении. Народ должен иметь право участвовать во всех общественных делах непосредственно или через своих представителей. Его прямое участие должно проявляться во всех органах государственного управления, а также на предприятиях и в учреждениях. В частности, трудящиеся через свои профсоюзы — организации на предприятиях, — федерации и конфедерации должны участвовать в управлении органами социального обеспечения, в планировании национальной экономики и руководстве ею, а также располагать функциями контроля за санитарным состоянием и безопасностью труда на производстве. Комитеты жильцов должны быть наделены правами в своей сфере деятельности. Политический строй, который сводит участие народа в делах страны только к всеобщему голосованию через определенные промежутки времени, не является и не может быть демократическим или же представляет собой лишь демократию буржуазного типа.

Что касается президентского строя, судебной власти, парламента, контрольного управления, органов коммунального управления, региональных и провинциальных властей, то имеется широкий круг проблем, также требующих демократического решения.

Хотя мы не ставим себе целью затронуть все вопросы, нельзя не отметить, что судебная власть, пожалуй, больше, чем какой-либо другой государственный институт, была в прошлом окружена ореолом серьезности и порядочности. Ныне — особенно из-за позиции Верховного суда — она показывает себя как главный соучастник преступлений тирании. Мы полагаем необходимым провести коренное преобразование этой власти, которая должна находиться под надзором органа, создаваемого демократическим путем.

В вопросе о парламенте мы считаем нужным по крайней мере пояснить, что однопалатная система не является, как утверждалось, свойственной или присущей исключительно социалистическим странам. Но если бы это было и так, то и тогда не за чем отвергать ее, руководствуясь предвзятым мнением. Такая система существует в социалистических странах, а также и в некоторых капиталистических, как, например, Коста-Рика и Португалия. В Советском же Союзе существуют две палаты, хотя и не по западному образцу: Совет Союза и Совет Национальностей. Мы думаем, что для Чили лучше иметь в парламенте только одну палату. Но это тоже не главное. Если их будет две, то они должны бы избираться одновременно, а компетенция одной из них — сената — распространяться только на некоторые вопросы (как во Франции или Италии), чтобы избежать дублирования функций, затяжек и крючкотворства при рассмотрении законопроектов.

Некоторые люди хотят знать, что думают коммунисты о партийной системе и так называемом чередовании у власти. Мы категорически заявляем: будущий демократический строй должен предусматривать многопартийность, включая существование оппозиционных партий. Вместе с тем мы решительно высказываемся против того, чтобы какое-нибудь лицо либо группа гражданских или военных лиц могли предпринимать шаги и осуществлять действия, направленные на подрыв суверенитета народа либо на ликвидацию демократических свобод и прав, которые закреплены в конституции. Это еще раз говорит о том, что фашизм должен быть запрещен. И, наоборот, мы считаем, что все течения, уважающие народный суверенитет, должны располагать полной воз-

возможностью выражать свое мнение и что это сохраняет силу. — в условиях Чили и других стран — также для социалистического общества, к строительству которого мы в свой час приступим.

Вопрос о чередовании у власти стоит по-разному, когда дело касается смены правительства или смены строя.

Есть чередование правящих групп в рамках самой капиталистической системы. Например, в США демократы сменяют республиканцев и наоборот. В Англии консерваторы приходят на смену лейбористам, а последние сменяют первых. В этих случаях чередование равнозначно распределению ролей, игре с выбыванием, правило которой можно было бы сформулировать так: сегодня моя очередь, а завтра твоя.

Для значительной части чилийской буржуазии такая ситуация идеальна. Для народа нет, так как не означает никакого реального изменения в его положении.

В нашей стране чередование правительственной власти происходило непросто. В прошлом веке реакционеры не так легко пошли на признание некоторых прогрессивных правительств и подняли мятеж против самого передового из них — правительства Хосе Мануэля Бальмаседы. В 1920 году Артуро Алессандри пришлось ползти в драку, чтобы признали его победу над кандидатом консерваторов Барросом Боргоньо. В 1938 году, когда Педро Агирре Серда, получив большинство, взял на выборах верх над Густаво Россом, часть правых стала стучаться в ворота казарм и обратила взоры к тому же Алессандри, который стал президентом в третий раз, стремясь помешать кандидату Народного фронта занять президентский пост. В 1970 году, когда победу одержал Сальвадор Альенде, чилийская реакция в сговоре с ЦРУ и ИТТ<sup>6</sup> попыталась сначала совершить государственный переворот, а затем предпринять маневр на пленарном заседании конгресса, с тем чтобы последний назначил президентом Хорхе Алессандри, занявшего на выборах второе место по числу полученных голосов, при условии, что он сразу подаст в отставку и тогда будут проведены новые выборы для избрания Эдуардо Фрей. Фрей и его партия отвергли этот план.

Из этих фактов следует, что когда смена правительства ставила под угрозу хотя бы частично интересы и привилегии реакционных классов, они не принимали добровольно неудобную им смену власти. Народ, наоборот, проявлял больше уважения к нормам, установленным конституцией. Но одно дело чередование власти, не затрагивающее систему, — это реальность, которая имеет место и допускается, хотя бы того или нет. Иначе и более сложно обстоит дело, когда речь идет о смене системы, когда страна совершает исторический скачок и переходит от одного статуса к другому, от одной общественной формации к другой. Есть страны, которые перешли от феодального строя к капитализму, другие — от капитализма к социализму, а намного большее число — от колониального положения к национальной независимости, причем некоторые из них встали на путь, ведущий также к обществу без антагонистических классов.

В таких случаях объективные законы, которые определяют развитие общества, законы классовой борьбы берут верх над законами, изданными людьми для пережившего себя статуса. Классы, завоевавшие власть, защищают ее всеми своими силами, тогда как оттесненные от власти пытаются вернуть ее любыми средствами. Именно этому учит история.

При правительстве президента Альенде обострилась классовая борьба за власть. С приходом Альенде на пост президента народ завоевал лишь часть власти. Опираясь на эти позиции, удалось осуществить крупные демократические и революционные преобразования. Важнейшая задача, которую не удалось выполнить, состояла в завоевании для народа всей полноты власти, чтобы развертывать дальше и сделать необратимым процесс преобразований. Со своей стороны чилийская реакция, действовавшая в сговоре с империализмом, оставила всякую надежду вернуть демократическими методами утраченные позиции и вступила на путь террористической деятельности и мятежа. Произошел переворот 11 сентября, и началась кровавая контрреволюция, во время которой народ, полностью или частично завоевавший власть, отстраняют от нее. Поэтому

<sup>6</sup> ИТТ — контролируемая монополистическим капиталом США транснациональная корпорация «Интернешнл телеграф энф телефон компани».

всякий раз, когда прогрессивные силы добиваются важного успеха в социальной борьбе, их главной целью является и должно являться дальнейшее продвижение вперед — развитие демократии, расширение прав и завоеваний народа, чтобы сделать невозможным возврат к прошлому.

Завтра Чили освободится от фашистского угнетения и создаст новый, демократический строй, который не может допускать чередования у власти ведущего к возвращению фашизма и, напротив, должен предусмотреть необходимые охранительные меры, исключающие установление когда-либо в стране тирании, подобной нынешней.

Мы хотим, чтобы демократия в максимально возможной степени была реальной. Но не принимаем мираж за действительность. Придавая большое значение демократическим принципам, мы видим разрыв, существующий в классовом обществе между тем, что провозглашается и что осуществляется, между абстрактным и конкретным. К примеру, мы поддерживаем демократическую формулу «один человек — один голос», но учитываем, что, как говорил Грамши, при буржуазной демократии, при капиталистическом строе не все люди имеют одинаковый вес. Те, кто располагает властью, хозяева богатств, кто держит в своих руках средства информации, значат больше, больше влияют на общественное мнение, сила их влияния на избирателей умножается. Поэтому необходимо, чтобы будущий демократический порядок покоился на более справедливом общественном устройстве. Только тогда он по праву будет называться демократическим.

### ИСКОРЕНЕНИЕ И ЗАПРЕЩЕНИЕ ФАШИЗМА, НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ

Фашизм возник в Чили как последнее и единственное средство, к которому могли прибегнуть внутренняя реакция и империализм, чтобы приостановить прогрессивное развитие страны, сорвать и подавить борьбу нашего народа, совершавшего первые шаги на пути создания социалистического общества; фашизм возник, чтобы поставить все органы государства на службу олигархии и кучке транснациональных монополий.

Фашистский характер строя стал очевиден уже 11 сентября 1973 года. Была установлена террористическая диктатура на службе финансовой олигархии и империализма и тем самым повержена демократия, которой чилийский народ добился в результате продолжительной борьбы. Политика фашистской диктатуры на протяжении шести лет, отделяющих нас от дня переворота, лишь подтверждает этот ее характер.

Запрет всех политических партий, Единого профсоюзного центра трудящихся, традиционных организаций учителей и федераций студентов, закрытие парламента, роспуск муниципальных органов власти, конфискация типографий, радиостанций, помещений политических партий, профсоюзных организаций и даже принадлежащих частным лицам, закрытие газет, цензура печати, отмена гражданских прав и завоеваний рабочих, установление военного контроля над университетами, систематические преследования, самые варварские пытки, убийство тысяч людей, исчезновение тысяч арестованных, разбой и произвол, возведенные в норму управления, — таковы типично фашистские методы, применяемые на протяжении всего этого периода.

Вред, причиненный развитию экономики, образования, здравоохранения, культуры и науки, огромен. Несопоставим и еще более ужасен ущерб, нанесенный сотням тысяч или миллионам человеческих существ, родителям и детям, которые стали жертвами репрессий, безработицы и голода. Нет ни одной семьи из народа, которая прямо или косвенно не была бы затронута действиями фашистского режима. Многим пришлось испытать утрату или высылку из страны своих близких.

Значительная часть населения страны не знает правду или знает ее наполовину, не осознала в достаточной мере того, что произошло в эти годы. Монополия фашистской хунты и поддерживающих ее финансово-экономических кланов на средства информации сыграла свою роль в воздействии на широкие слои общества. Манипулирование этими средствами и склонность некоторых людей не верить сообщениям о зверствах или думать, что при описании фактов стучают краски, также способствовали непоследовательности в позиции либо непониманию со стороны относительно большого числа чилийцев. Нам известно немало случаев, когда наши соотечественники, лишь

выехав за границу, смогли узнать о подлинных масштабах преступлений, совершенных фашизмом.

Сколько чилийцев поняли с самого начала, что убийство Орландо Летельера осуществлено по приказу Пиночета и было делом рук ДИНА? Скольким уже ясно, что генерал Карлос Пратс и его жена были убиты по приказу, отданному из здания Диего Порталеса<sup>1</sup>? Сколько чилийцев знают, что покушение на Бернардо Лейтона<sup>2</sup> и его жене было организовано оттуда же?

Исчезновение сотен, тысяч арестованных упорно отрицалось Пиночетом и его приспешниками. По утверждению тирана, это был вымысел его противников, выдумка коммунистов. Мол, исчезнувшие — это всего лишь призраки или люди, тайно покинувшие страну либо укрывшиеся в подполье, или, наконец, люди, погибшие в столкновениях с «силами порядка».

Мы убеждены, что значительная часть наших соотечественников жила, не ведая правды.

Но истина начинает выходить наружу. Судебное разбирательство убийства Летельера и обнаружение человеческих останков в Лонкене, Куэста Баррига и Куэста Чада, причем некоторые из людей были закопаны живыми, а другие с руками, связанными проволокой, и со следами, оставленными на их теле пулями, потрясли чилийскую общественность и раскрыли перед всем миром фашистские преступления.

Высшие соображения, долг сделать все возможное для спасения исчезнувших, которые могут оказаться в живых, и для того, чтобы вся страна и особенно молодое поколение четко представляли, что такое фашизм, обязывают нас бороться за полное выяснение фактов трагической действительности, которую мы пережили в последние годы. Это для нас основное.

Весь народ Чили должен знать, какое чудовищное разложение и деградация сопутствуют фашизму. У него должен выработаться иммунитет к фашистской заразе. Отсюда вытекает, что в первую очередь следует раскрыть все злодеяния, все зверства, все преступления Пиночета и его гестапо.

Нужно, кроме того, чтобы сегодняшнее и будущее поколения чилийцев узнали во всей полноте о героизме народа в годы фашистского террора. Есть тысячи борцов, которые, будучи подвергнуты самым жестоким истязаниям, не дрогнули и не проронили ни слова. Многие из них предпочли умереть, нежели уступить принуждению палачей.

Доминго Амунатеги Солар говорил более полувека назад, что написана «история правительства, государственных властей, известных людей, главных семей, а не история народных классов, скромных земледельцев, ремесленников, домашней прислуги, рабочих».

В последние десятилетия появились прекрасные исследователи и историки жизни и борьбы пролетариата и народа. Есть также писатели и журналисты, рассказавшие в своих книгах и статьях о концентрационных лагерях, и замечательные кинематографисты, которые перенесли на экран драму и борьбу этих лет.

Это только начало. В свое время должна увидеть свет эпопея подпольной борьбы, жизни подлинных народных героев нашего времени. Предстоит воздвигнуть памятник Исидоро Каррильо, первому рабочему — управляющему Национальной угольной компанией, и товарищам, которые погибли вместе с ним, — Данило Гонсалесу, Владимиру Аранеде и Бернабе Кабрере. Товарищ Марта Угарте, замученная до смерти, и крестьянин Серхио Маурейра Лильо с его четырьмя сыновьями — Серхио Мигелем, Сегундо Армандо, Хосе Мануэлем и Родольфо Антонио, — убитые в Лонкене, заслуживают таких же почестей, как заслуживает их и множество других жертв по всей нашей стране.

В каждом городе и деревне Чили будут чтить память тех, кто пал в борьбе, став примером для чилийцев нынешнего и завтрашнего дня.

И, конечно, подвиг Сальвадора Альенде и тех, кто вместе с ним пал во дворце Ла-Монеда, будет запечатлен не только в камне и бронзе и отображен в картинах ху-

<sup>1</sup> Здание Диего Порталеса — резиденция фашистской хунты.

<sup>2</sup> Бернардо Лейтон — видный деятель христианско-демократической партии Чили, противник фашистского режима.

дожников. Он уже вошел в историю Чили и будет вечным примером героизма, верности народу.

Все это должно стать частью завтрашней справедливости, восстановления нравственного и политического достоинства жертв тирании, а также необходимого антифашистского воспитания нашего народа.

Слишком мучительно пережита трагедия, чтобы не извлечь из нее заключение о необходимости создания нового, демократического строя, который не допустит фашистской деятельности. Португалия дала нам пример в этом отношении. В августе 1978 года португальский парламент принял закон, запрещающий деятельность фашистов.

Речь, разумеется, не идет о том, чтобы без разбора называть людей фашистами или чтобы создалось такое положение, когда во имя борьбы с фашизмом применялись бы меры против тех, на кого они не должны распространяться. Мы не будем путать людей правых взглядов с фашистами. Есть фашисты, вышедшие из рядов правых политических сил, и те, что были завербованы среди средних слоев и на дне общества.

Фашизм должен быть запрещен, поскольку он представляет реальную опасность для демократии, для прав и благополучия народа.

Объявление фашизма вне закона означает, с нашей точки зрения, запрет его организации и его преступной деятельности, включая пропаганду ненависти между расами и народами, шовинизма, расизма и войны.

Было бы непростительной глупостью, если бы после случившегося было возможно существование организаций вроде «Родина и свобода», которая, по признанию ее собственных лидеров, занималась проведением террористических актов в 1972 и 1973 годах, или если была бы разрешена фашистская пропаганда, открыто заявлявшая, что «единственно хорошие марксисты — это мертвые марксисты». В соответствии с этим лозунгом фашист Пиночет стал расправляться со многими из своих противников, убивая их десятками тысяч.

Наша позиция перед лицом врага непреклонна, но одновременно человечна. Она предполагает принятие в должное время со стороны демократической власти мер по перевоспитанию тех, кто совершал бесчинства, действуя в качестве простого орудия тирании.

Некоторые возражают против запрета фашизма, говоря, что не хотят нового «закона о защите демократии»<sup>9</sup> наоборот. Это люди, которые верят в чистую демократию, в «демократию вообще», в неделимую свободу. Но в таком обществе, как наше, где существуют антагонистические классы, это иллюзия, просто химера. Это подтверждает опыт.

Никогда не существовала и не будет существовать надклассовая свобода. Не было и никогда не будет абсолютной свободы для личности. Поскольку человек живет в обществе и имеет не только права, но и обязанности, для него существуют ограничения. Строго говоря, свобода связана с прогрессом, позволяющим удовлетворять потребности человека, с овладением законами природы и общества и с нормами общечеловечности, которые устанавливаются в соответствии со всем этим. Так думали Маркс и Энгельс. В свою очередь Ленин отметил, что антидемократические тенденции присущи монополиям и противостоят устремлениям масс. Вместе с тем он указал, что задача рабочего класса — развить демократию возможно дальше.

В капиталистическом обществе и в любом государстве, где господствует деспотизм немногих, есть класс или каста, пользующиеся широкой свободой, тогда как у других ее нет или они почти совсем лишены ее.

В некоторых буржуазно-демократических странах — к тому же в немногих из них — трудящиеся завоевали определенные свободы. Но на деле эта свобода намного меньше того, что провозглашается на словах, она скорее формальна, нежели реальна, скорее мнимая, чем подлинная. Свобода труда не существует для миллионов безработных, и она весьма относительна для тех, кто работает. Часто они лишены возможности реализовать свои способности.

<sup>9</sup> «Закон о защите демократии» — циничное название закона, принятого в Чили в 1948 году и запрещающего деятельность компартии и других прогрессивных организаций.



Для немалого числа людей в капиталистических странах главное — это право на протест, право «стучать ногами», как выражаются чилийцы. Эти люди ставят степень свободы или демократии у себя в стране в прямую зависимость от возможности высказывать свое мнение, требовать чего-то, не задумываясь, как правило, какой отклик находят их мнения, каков результат их требований и насколько ограничена сфера, где они могут все это реализовать.

Не все понимают, что, например, свобода печати в капиталистическом мире — это в конечном счете не что иное, как свобода или экономическая возможность для некоторых покупать типографию и финансировать газету.

Наш опыт показывает, что свобода не является неделимой. Более того, он свидетельствует, что было ошибкой правительства Народного единства ставить на одну доску политическую свободу выражения мнения, которую завоевал народ, и права, которых требовала реакция, это вылилось в бесчинства, в попустительство тому, чтобы контрреволюция организовывалась и развертывалась на глазах у всех.

Некоторые полемизируют с Пиночетом, допуская — открыто или молчаливо — мысль, что он якобы стремится к «охраняемой демократии». Такая позиция объективно помогает диктатору, ибо тем самым ему по дешевке уступают знамя, которого у него нет. Что он навязал стране и хочет узаконить, это вовсе не охраняемая демократия, а просто звериный фашистский режим.

Сама по себе идея охраняемой демократии не является ошибочной. Все социальные системы охраняют себя. Вопрос в том, чтобы хорошо определить, от кого и как охраняют. Демократия должна охранять себя от фашизма!

Переворот 11 сентября 1973 года был задуман в Вашингтоне. Об этом свидетельствует доклад комиссии сената США под председательством Френка Чёрча, которая расследовала вмешательство ЦРУ в дела Чили. Указанный доклад подтверждает, что 15 сентября 1970 года состоялась встреча главного владельца газеты «Меркурио» Аугустина Эдвардса, связанного с рядом финансовых кланов, с Генри Киссинджером и генеральным прокурором Джоном Митчеллом. Встреча была организована Дональдом Кендаллом, президентом компании «Пепси-кола» и личным другом Никсона. Позже в тот же день к указанным лицам присоединился тогдашний директор ЦРУ Ричард Хелмс. Тогда-то и был дан зеленый свет военному перевороту с целью воспрепятствовать Сальвадору Альенде вступить на пост президента республики. Попытка переворота провалилась, но заговор оставался в силе на протяжении трех лет, вплоть до падения конституционного правительства Альенде... Пиночетовский фашизм представляет собой концентрированное выражение классовой ненависти империализма США и местной олигархии, которые со страхом смотрели, как рабочий класс и народ Чили ликвидировали их привилегии и стремились к строительству социализма.

Пленум Центрального Комитета нашей партии, состоявшийся в августе 1977 года, указывал: «В последние годы происходит процесс качественных изменений форм зависимости латиноамериканских стран от империализма. Несмотря на имеющиеся между ними противоречия, крупная буржуазия наших стран и империалистический капитал вступили в союз, поэтому часть местной буржуазии, главным образом финансовой, превратилась в элемент системы империалистической эксплуатации, а империализм становится во все большей степени «внутренним фактором» в немалом числе стран континента. Возникла, таким образом, новая классовая база для фашизма в Латинской Америке, а именно: объединение империалистического монополистического капитала и внутренних кланов. Развитие революционного процесса в Чили создало смертельную угрозу для всей этой структуры. Единственной спасительной мерой оказался фашистский переворот».

Пиночет снова открыл двери страны провикновению империалистического капитала и вместе с тем посредством политики денационализации предприятий и применения своей экономической модели вернул и укрепил экономическую власть олигархии.

Более 400 предприятий, которые были государственными на 11 сентября 1973 года, переданы частным владельцам. Некоторые из них прибрали к рукам империалистические концерны. Кроме того, Пиночет отдал трем американским компаниям право на разведку и эксплуатацию в течение тридцати лет нефтяных месторождений на крайнем юге страны.

Все это определяет наднациональный, проимпериалистический и проолигархический характер фашистского режима,<sup>3</sup> и отсюда возникает необходимость ликвидировать материальную базу, которая его порождает, чтобы затем создать передовую и прочную демократию. Непременной необходимостью является также наказание тех, кто несет главную ответственность за преступления этих лет.

Пиночет, газета «Меркурио» и некоторые другие пытаются исказить нашу позицию по этому вопросу. Чтобы запугать командный состав армии и по-прежнему рассчитывать на его поддержку, нас стараются изобразить как сторонников отмщения, помышляющих якобы учинить резню в вооруженных силах.

Правда, в свете наиболее бросающихся в глаза фактов дело представляется таким образом, что на вооруженных силах лежит главная ответственность за ликвидацию конституционного строя и за репрессии. Еще большая правда — это не снимает ответственности с вооруженных сил — состоит в том, что государственный переворот, как уже говорилось, был организован ЦРУ и внутренней реакцией. Имеются гражданские лица — из олигархии или ее прислужников, — которые пытаются или будут пытаться остаться незамеченными и свалить всю вину на военных. Мы должны предохранить себя от опасности смещения людей, одетых в военную форму, за исключением пиночетов и контррасов<sup>10</sup>, с подлинными врагами народа и национального прогресса.

Пиночет, в свою очередь, пытается умыть руки. Это признак трусости — заявлять, как делает он, об «эксцессах со стороны среднего командного состава» с целью свалить на подчиненных ответственность за преступления, совершенные по его приказу. Он хочет превратить их в козла отпущения, в «мальчиков для битья». Но мы не доставим ему такого удовольствия.

В намерения нашей партии и остальных партий Народного единства не входит заставлять подчиненных расплачиваться за содеянное их главарями, не различая степени ответственности. При этом следует учитывать не только то, что люди совершили в прошлом, но и какую позицию они заняли позднее.

Авторы, соучастники преступлений или те, кто покрывает преступников, составляют многие тысячи человек. Если бы речь шла о том, чтобы привлечь всех их к строгой судебной ответственности, то от какого-нибудь наказания не ушли бы даже те, кто выполнял роль охранников или простых караульных там, где заключенных подвергали зверским пыткам и убивали. Это привело бы к вынесению суровых приговоров немалому числу солдат, унтер-офицеров и офицеров, которые действовали, прежде всего подчиняясь приказу. И хотя ссылка на военную дисциплину не могла бы служить основанием для освобождения их от ответственности, это и другие смягчающие обстоятельства должны будут учитываться.

Конституция обязывала вооруженные силы уважать установленную власть, а кодекс военной юстиции позволял подчиненным ставить вопрос о незаконности или нецелесообразности решений их начальников. Были офицеры, унтер-офицеры и солдаты, которые отважились на это. Но они были сразу же изгнаны из армии, а некоторые даже расстреляны или брошены в тюрьму.

Высшие военачальники, подготовившие переворот, совершили преступление — организацию мятежа. Когда произошел мятеж и было свергнуто конституционное правительство, военнослужащие в целом почувствовали себя связанными только военной дисциплиной, подчинением вышестоящим. Последние, не задумываясь о правомерности, использовали принцип «приказ начальника — закон для подчиненного», применяли его строжайшим образом. В этих условиях офицеры и рядовые солдаты, которые испытывали симпатии к правительству президента Альенде или просто не хотели нарушать конституцию, сочли, что у них не было иного выхода, как скрыть свои подлинные чувства и, храня молчание, оставаться в рядах вооруженных сил в надежде, что позиция последних позднее может измениться.

Если мы хотим понять поведение вооруженных сил, то нельзя ограничиться простым анализом их классового происхождения и их связи с определенными социальными слоями. Надо видеть также их классовый характер, который не соответствует полностью их социальному составу. Они были и продолжают оставаться привязанными к военной машине Пентагона. Они воспитывались и воспитываются в течение

<sup>10</sup> Контррас — начальник ДИНА, пиночетовской тайной полиции.

десятилетий на основе фальшивой доктрины «национальной безопасности», на принципах, не имеющих ничего общего с теми, которых придерживался основатель родины и создатель армии и военно-морского флота, освободитель отечества Бернардо О'Хиггинс. Вооруженным силам внушалась антипатриотическая идея о том, что их миссия состоит в борьбе против «внутреннего врага», не настоящего (империализма и олигархии), а воображаемого, выдуманного врага — коммунизма, и в конечном счете, как показали факты, против собственного народа.

Общественность не призвала вооруженные силы выступить, как часто утверждает Пиночет. Это сделала редакция газеты «Меркурио», которая внушала читателям мысль о «законности военного вмешательства». Так, после мартовских выборов 1973 года она писала, «что марксистскую революцию, подобную той, которая развивается в Чили, не остановить ни с помощью пропагандистской кампании, адресованной убежденным, ни посредством традиционной деятельности партий», а также представила свои страницы уволенному в отставку за заговорщическую деятельность генералу Альфредо Каналесу, заявлявшему, что вооруженные силы «не могут продолжать придерживаться конституции, которой не существует», так как, мол, ее уже преступило народное правительство.

Дети богачей разбрасывали зерно у дверей домов, где жили офицеры. Им посылали письма со вложенными перьями. В обоих случаях давали понять, что до сих пор они вели себя трусливо, как курицы. Сам Пиночет признал, что подобные действия создали в армии настроение, благоприятствовавшее его выступлению.

Следовательно, мы стремимся составить о вооруженных силах отнюдь не одностороннее мнение. Мы стараемся раскрыть, чем объясняется их поведение вчера и сегодня. И заключаем, что ответственность за случившееся падает главным образом на тех, кто стоял и стоит за их спиной — на империализм и олигархию, — и на тех, кто, как Пиночет, осуществляет политику последних.

Не от нас одних будет зависеть торжество справедливости. Но мы не выступаем и не будем выступать ни за безнаказанность, ни за поголовное наказание. Думаем, что надо четко отличать одно от другого и что непростительными, подлежащими наказанию являются преступления против человечества, определенные как таковые Организацией Объединенных Наций.

Амнистия, объявленная Пиночетом в 1978 году и направленная прежде всего на то, чтобы обелить преступников из ДИНА, не имеет ни нравственной, ни юридической силы. Преступники не могут быть судьями по делу о своих собственных преступлениях. Тем не менее мы за закон об амнистии, благоприятствующий тем, кто совершил преступные действия, побуждаемый другими. Но этот закон должен быть издан сразу после падения фашистского режима, после того как будут вскрыты его злодеяния и начнутся соответствующие судебные процессы.

Когда меня арестовали, первое время после переворота и в течение нескольких последующих месяцев встречались унтер-офицеры и офицеры, которые относились к нам с уважением. Даже было очевидно, что некоторые из них не одобряли то, что творилось. Но такие не преобладали. Большинство было заранее «натравлено» на Народное единство. Всякий раз, как в казармы прибывал новый заключенный, это большинство ликовало оттого, что поймана новая жертва. Через какое-то время обстановка стала меняться. В целом военные, ведавшие концентрационными лагерями, вели себя более или менее корректно и радовались, когда заключенный выходил на свободу.

Что же произошло? Постепенно они начали понимать, что мы не преступники, как утверждал Пиночет, что «план Z» — это выдумка и то, что им говорилось об Альенде и Народном единстве, было по меньшей мере далеко от правды, что политика диктатора шла на пользу правым силам, в ущерб народу и отделяла от него вооруженные силы, что насущные для страны проблемы не решались, а все более усугублялись и что, наконец, действительность не имеет ничего общего с демократией и свободой, о которой трубили главари переворота.

Все это показывает, что вооруженные силы и корпус карабинеров, вообще говоря, были обмануты. Отсюда видно также, что их нельзя отождествлять с фашистами, хотя последние заняли ключевые позиции в высших командных органах армии.

Мы искренне считаем, что рядовые, унтер-офицеры, средний командный состав и немалое число военных из старшего командного состава могут и должны принести пользу делу национальной обороны завтра, при новом, демократическом строе, своими знаниями и опытом. Из вооруженных сил должны быть устранены лишь фашистские элементы, так как нельзя оставлять оружие в их руках, ибо это чревато угрозой того, что они снова повернут его против народа и демократии, против безопасности страны.

Мы не выступаем за простое возвращение армии в казармы. Мы хотим видеть в ней вооруженные силы, стоящие на страже национального суверенитета и связанные с народом, с осуществлением важных задач, от которых зависит прогресс Чили. На этой основе должна образоваться новая концепция национальной безопасности. Воспитание приверженности к демократии, к демократическим традициям и к демократическим целям страны станет существенной составной частью военного образования. Таким путем будут складываться новые отношения между вооруженными силами и народом. Дружба между ними имеет фундаментальное значение для обороны страны. Правительство, которое будет создано завтра по воле народа, должно располагать абсолютно верными ему военачальниками.

Вооруженные силы, верные народу, будут нуждаться в оснащении самой современной техникой и в овладении ею. Но эту проблему нельзя будет решать при том положении, когда практически весь офицерский состав проходит подготовку в учебных центрах Пентагона, а там обучают не только обращению с военной техникой. Именно отсюда, из этих учебных заведений и из военной миссии США, обосновавшейся на шестом этаже министерства обороны, берет начало идеологическая обработка офицеров в антидемократическом и антинародном духе. Пожалуй, самое подходящее — это чтобы вооруженные силы проявляли готовность установить сотрудничество со всеми, от кого можно чему-либо научиться и с кем можно договориться об оказании самого квалифицированного содействия, в обоих случаях с одной лишь оговоркой: ограничиваться рамками того, что непосредственно касается военного искусства, поставленного на службу интересам Чили и ее народа.

Думаем, что наши соображения правомерны. Если завтра возобладают противоположные взгляды, то могут произойти вещи, которых ни один прогрессивно настроенный чилиец не желает для своей страны. Другими словами, если бы фашизм не был искоренен и запрещен, сторонники террористической диктатуры имели бы в Чили открытое поле для своей деятельности. Если будет принято решение о поголовном наказании всех, то это было бы несправедливостью, которая принесла бы страдания и горе слишком большому числу семей, причем не исключено, что затерялись бы из виду главные виновники, а невинные расплачивались бы за содеянные другими преступления. Если же пойти по пути прощения всех, то народу ничего бы не осталось, как самому чинить суд.

Какой выбор сделать в решении этих жизненно важных вопросов, зависит не только от нас, но от всех демократических сил, гражданских и военных, которым следовало бы достичь согласия и по этим проблемам.

### **БУДЕМ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ ЧИЛИ**

Что остается делать в случае пожара, как не объединиться, чтобы потушить его? В странах Европы, поработанных гитлеровским фашизмом, объединились в борьбе все, кому были дороги свобода и суверенитет своей родины. Ими двигала одна цель — освободить свои народы от угнетения. Следовательно, и в нашем случае после переворота нет ничего более справедливого, чем добиваться объединения всех чилийцев и чилиек, которые выступают за демократию. Коммунистическая партия стала делать это с самого начала борьбы за объединение всех демократических сил.

Но у общественных явлений своя собственная логика. Не всегда все их участники поступают по велению разума. Понадобилось время, чтобы открылось звериное лицо фашизма, чтобы стали видны пагубные результаты его политики, чтобы от преследования Народного единства он перешел к преследованию всех демократических

сил, чтобы стали рассеиваться иллюзии в отношении Картера, — и тогда сразу призыв коммунистов встретил больший отклик и начал складываться антифашистский союз.

Сегодня стало очевидно, что существуют объективные основы для создания движения, охватывающего различные классы и социальные слои, чьи интересы, прогрессивные устремления и национальные чувства попираются тиранией.

Одной из целей репрессивной политики было навязать нищенскую зарплату, чтобы добиться увеличения нормы прибавочной стоимости и усиления капиталистической эксплуатации. Той же цели подчинены сохранение высокого процента безработных, отмена льгот для матерей, сокращение отпуска до и после родов, наем на работу молодых людей за 60 процентов зарплаты, снижение отчислений у хозяев в фонд социального страхования, ужесточение требований при установлении пенсий и ликвидация других завоеваний в области социального обеспечения.

Рабочий класс был и остается классом, более других пострадавшим от фашизма. Однако политика последнего направлена далеко не только против рабочих. Чего он хочет, так это в конечном счете благоприятствовать не капиталистам вообще, а прежде всего империалистическим монополиям и местным финансовым кланам. Ради этого фашистский режим не колеблясь нанес разрушительный удар по ряду отраслей национальной промышленности... Снижение таможенных пошлин открыло путь для вторжения всевозможных импортных товаров, которые бесчестно конкурируют с товарами чилийского производства. Это привело к закрытию или свертыванию предприятий металлообрабатывающей, электронной и текстильной промышленности, к падению производства сахара, отрицательно сказывается на автомобильной промышленности и вообще на всех отраслях национального производства, включая сельское хозяйство. Концентрация капитала в руках крохотной группы, занимающейся спекулятивными инвестициями, углубляет социальные контрасты и расхождение в конкретных интересах между этой группой и империализмом, с одной стороны, и различными кругами немонополистических капиталистов — с другой. Многие из принадлежащих к этим кругам меняют область деятельности, начинают заниматься, например, импортом, и таким образом им удается удержаться, иногда не без успеха. Вместе с тем в немалом числе случаев груз буржуазной идеологии тянет их к тому, чтобы оставаться на стороне диктатуры и еще верить в ее экономическую модель. Однако значительная часть предпринимателей в промышленности, на транспорте, в торговле и сельском хозяйстве не находит места в этой модели и уже видит необходимость сменить ее. Отсутствие или незначительные размеры производительных капиталовложений, недогрузка установленных промышленных мощностей, невозможность для основных продуктов сельского хозяйства конкурировать с иностранной продукцией, высокий уровень безработицы, обнищание широких слоев населения, дефицит платежного баланса и растущая задолженность страны углубляют структурный кризис, расширяют недовольство и побуждают большинство выражать несогласие с экономической политикой режима.

Наряду с этим сокращение общественных работ, отсутствие мер, стимулирующих развитие промышленности, передача в частные руки или свертывание государственных предприятий и услуг, упадок университетского образования, ограничения, наложенные на художественное творчество и культуру, серьезно сужают возможное поле деятельности специалистов, ученых, интеллигенции вообще и сводят на нет их стремление приложить свои знания в интересах общественного блага и прогресса страны. Систематическое же нарушение прав человека, произвол, возведенный в норму управления, преступления ДИНА — СНИ не принимаются демократически настроенным большинством народа.

Политика фашизма, затрагивая интересы всех трудящихся без какого-либо различия, побуждает их разворачивать и координировать свою борьбу. Жив унитарный дух КУТ<sup>11</sup>. Выступления, которые обычно предпринимают совместно Национальная профсоюзная координационная комиссия, Единый фронт трудящихся, Конфедерация частных служащих, «группа десяти»<sup>12</sup> и в некоторых случаях федерации, входящие в

<sup>11</sup> КУТ — Единый профсоюзный центр трудящихся Чили, запрещенный фашистской хунтой.

<sup>12</sup> Группа профсоюзных федераций, находящихся под влиянием христианских демократов.

Союз трудящихся Чили<sup>13</sup>, имеют, таким образом, важное значение. Они представляют собой победу единства над расколом, которого добивался Пинчот, открывают перед трудящимися возможность вернуть себе, по крайней мере, какую-то часть того, что они потеряли, и направлены прямо против режима, против его так называемой экономической модели и репрессий. Стало быть, рабочий класс является стержнем хребтом антифашистского движения и создает условия для сплочения вокруг него большинства чилийцев.

Противостоя фашизму, народные организации, руководители и активисты различных антифашистских и нефашистских партий и групп обнаруживают совпадение своих позиций, распознают общего врага, устанавливают между собой новые отношения и приходят к координации усилий, к действиям сообща. Этот процесс приобретает все больший размах. Развивать его со всей энергией — такова важная задача. Народ, прошедший в движение, добьется победы.

Указанная задача, разумеется, не из легких. Среди народа имеются противоречия и проявляются различные классовые, идеологические и политические тенденции. Некоторые слои находятся во власти антикоммунистических предрассудков. Наряду с этим империализм вмешивается в наши внутренние дела, не только поддерживая фашистскую диктатуру, но и предпринимая шаги к тому, чтобы развитие народной борьбы не поставило под угрозу его интересы.

В этих условиях отдельные деятели оппозиции противятся единству со всеми демократическими силами, соглашаясь или идя на единство только с некоторыми из них, намереваются заставить других отказаться от принципиальных позиций и пытаются привлечь революционные партии к планам, представляющим альтернативу буржуазного типа. В то же время среди левых сил имеются еще сторонники сектантских позиций. Они против договоренности между всеми оппозиционными кругами и высказываются за единство только с частью христианско-демократической партии, утверждая, что установление его со всей ХДП означало бы, мол, соглашательство с буржуазией, договоренность с людьми, которые так или иначе содействовали падению народного правительства, и отказ от гегемонии пролетариата...

Несмотря на все это, сплоченность демократических сил — очень важное, отвечающее интересам большинства людей дело — растет, укрепляется и, мы верим, восторжествует. Ясно, что это зависит не только от желания авангарда и от тех, кто понимает его значение. Но без их участия, без усилий с их стороны успеха не добиться.

Единство народа не складывается само собой. Оно требует постоянных и настойчивых усилий тысяч борцов, придерживающихся правильного и ясного курса, который предполагает знание сложной социальной обстановки, учет необходимости делать упор на главные противоречия — на то, что объединяет, а не разделяет. — и вместе с тем ведение неприменной идеологической борьбы с неверными взглядами, в особенности с антикоммунизмом, этим синонимом раскола.

Чтобы продвигаться по пути антифашистского единства, нужно прежде всего выдвигать на первый план самые неотложные экономические, социальные и политические требования масс, активизировать деятельность существующих рабочих и народных организаций и способствовать на всех уровнях и по всей стране созданию других, целесообразность образования которых подсказывается самой жизнью, развертывать и координировать борьбу за конкретные цели.

Поэтому очень важно образование Комитета защиты прав человека, Комитета защиты прав молодежи и других организаций, объединяющих представителей демократических сил без каких-либо исключений.

Унитарная позиция коммунистов излагалась неоднократно. В первую очередь мы способствуем и оказываем поддержку единству рабочего класса, который является самой важной социальной силой не только по своей численности, но прежде всего потому, что представляет собой незаменимого участника материального производства, отличается высокой степенью организованности, сознательности и дисциплины, а его нынешние и будущие цели совпадают с интересами большинства населения страны.

<sup>13</sup> Союз трудящихся Чили — профсоюзное объединение, созданное сторонниками фашистской жунты.

Благодаря всему этому роль рабочего класса, когда он вступает в действие, имеет решающее значение. Учитывая это, мы стремимся постоянно повышать его идеологический и политический уровень и руководствуемся принципом: один профсоюз на каждом предприятии, одна федерация в каждой отрасли промышленности или услуг и один профсоюзный центр в стране. Такой была традиционная форма организации и единства чилийских трудящихся, и практика показала, что нет другой формы, позволяющей осуществлять в лучших условиях задачи по борьбе за свои требования и права.

Мы выступаем за единство студенческого и вообще молодежного движения, за единство среди женщин, крестьян, специалистов, писателей и деятелей искусства, мелких и средних предпринимателей, не исключая возможности существования в каждом из этих и других слоев населения ряда разнообразных унитарных организаций.

Что касается межпартийных отношений, то мы неизменно стоим за сотрудничество коммунистов и социалистов и всех партий Народного единства. В то же время мы высказываемся за достижение согласия между всеми демократическими силами.

Коммунистическая партия заявляет о своем несогласии со всякой политикой, нацеленной на исключение из совместных действий каких-либо демократических сил, откуда бы она ни исходила. Она подтверждает свое мнение, что установление антифашистского единства требует выдвижения на первый план общих целей и отнюдь не предполагает отказа от своих принципов. Компартия считает, что перед лицом фашистского режима надо смотреть не столько на прошлые, сколько на нынешние позиции партий и деятелей. Она предлагает добиваться взаимопонимания со всеми демократическими партиями, а не с отдельными их кругами, полагает, что главное — это единство снизу, но придает должное значение диалогу и взаимопониманию между руководителями, без чего трудно продвигаться вперед. Наша партия считает, что гегемония рабочего класса достигается не громкими декларациями или наивными требованиями о предварительном признании за ним этой роли, а в самом процессе борьбы, в результате последовательных усилий, направленных на верное толкование действительности и понимание конкретных интересов большинства населения.

Диктатор всякий раз раздражается бранью в адрес политики и политиков. Чудовищная демагогия! Политика — это занятие людей или объединений людей, будь то партии или другие организации, которые действуют в соответствии с интересами классов, к которым принадлежат или которым служат. Как говорится в нашем манифесте от мая 1979 года, «первыми и великими чилийскими политиками были О'Хиггинс и остальные основатели отечества» и «Чили характеризовалась в Латинской Америке наличием партий и политических деятелей, чьими усилиями на протяжении более полутора веков сформировались республика и демократические институты, которые были сокрушены фашизмом и которые должны быть воссозданы». Поэтому нельзя всех политиков ставить на одну доску или мерить одним аршином. Есть революционные и реакционные политики, прогрессивные и ретрограды, честные и бесчестные. Пиночет — один из последних, наихудшего пошиба, завязанный фашист, который не допускает, чтобы кто-либо затемнял его фигуру, чтобы кто-нибудь думал иначе. Он не признает норм демократического общежития и терпимости, которые были признаны в стране и которые следует восстановить, не отказываясь от социальной борьбы и идеологических дебатов.

Некоторые демократические деятели высказывали мнение, что партии переживают кризис и что надо признать это положение и приспособиться к нему, стремясь породить своего рода социальное движение вне рамок партий. Это мнение неправильное.

Пока неизвестно, какая ситуация сложится завтра, какие партии окажутся сильнее других вначале и какие восстановят или увеличат свои силы и свое влияние. Верно, однако, что они существуют, несмотря на репрессии, и не по воле случая или из-за упрямства, а потому, что имеют глубокие корни в истории Чили с первых лет независимой жизни нашей страны и выражают интересы классов и социальных слоев, имеющих в стране.

У народных партий богатые традиции унитарной борьбы. Очень важной вехой было возникновение Народного фронта, позволившее создать демократическое прави-

тельство президента Педро Агирре Серды, образование которого знаменовало начало этапа национального прогресса. Хотя с переменным успехом и под различными названиями, единство народа всегда было решающим орудием борьбы, очень ценным массами завоеванием.

Десять лет назад образовалась коалиция Народное единство. Фашизм на протяжении шести лет обрушивался на нее, но она выстояла. Народное единство познало победу и поражение, продемонстрировав большую жизнеспособность. Те, кто объявляет его устаревшим, руководствуются своим желанием, а не действительным положением. Договоренность между входящими в него партиями не содержит ничего искусственного и отвечает потребности объединения прежде всего самых последовательных и решительных сил в борьбе за интересы народа. Это левый сектор чилийского народного движения, который существует как таковой с давнего времени, и те, кто входит в его состав, знают по собственному опыту, в чем значение и сила их единства.

После переворота Народное единство добилось существенных качественных достижений. Оно руководствуется правильным антифашистским курсом, выработало генеральную, стратегическую линию, основное содержание которой заключается в правильном определении конечной цели — социализма, этапов его, включая сюда характер сегодняшней борьбы, и широкую политику союзов. Его партии и многие из его деятелей вносили и вносят ценный вклад в обогащение этой линии. Проводились и проводятся важные коллективные и индивидуальные исследования, касающиеся структурных преобразований, будущих демократических институтов, предназначения вооруженных сил, роли церкви и других жизненно важных вопросов.

Это, разумеется, не означает, что мы проходим мимо вчерашних или сегодняшних недостатков или даже симптомов разобщенности. Ничего подобного. Мы за то, чтобы вскрыть их и преодолеть посредством откровенной и братской дискуссии, не останавливая борьбы, в самом ходе наших действий.

При всем этом Народное единство, чилийский левый сектор, какими бы ни были его слабости и превратности борьбы, с которыми оно или входящие в него партии могут столкнуться, представляет могучую силу, которую нельзя сбрасывать со счета сейчас и тем более в будущем.

Христианская демократия — другой реальный фактор, партия, которая также оказывала и будет оказывать заметное воздействие на жизнь страны, — пользовалась и будет пользоваться влиянием в средних слоях и среди самих трудящихся. Трудности, которые у нас были в отношениях с этой партией, и различия во взглядах, которые нас с ней разделяют, не мешают признать, что многие из ее членов — мужчины, женщины и молодые люди — ведут смелую борьбу с фашизмом.

Таким образом, возникает следующий вопрос: не начнется ли снова между ХДП и партиями Народного единства соперничество из-за того, чтобы иметь на своей стороне поддержку граждан и завоевать отдельно для себя политическую власть? Есть основания и для такого соперничества. Но есть и для того, чтобы отодвинуть его на второй план и поставить на первое место необходимость договориться относительно общих целей. Потому что соперничество привело бы к раздорам и ссорам среди демократических сил. А это лишь на руку реакции.

Мы открыто выступаем за достижение согласия между Народным единством и ХДП, единения между всеми демократическими силами, гражданскими и военными без исключения. То, что произошло, слишком серьезно, а задачи, которые надо будет решать, слишком велики и трудны, чтобы мы, имея возможность договориться, не сделали бы этого и позволили себе роскошь вести завтра бои, каждый в отдельности, тогда как общий враг старался бы объединить свои силы с целью удержать или вернуть власть и продолжать навязывать стране, хотя и другими средствами, реакционную политику. В конечном счете народ преодолел бы подобное положение. Тем не менее долг всех демократических кругов способствовать этому единству, а не срывать его.

Мы уже говорили, что имеется основа для широкого социального антифашистского движения, для образования широкого союза демократических сил, выступающих за общие цели. В то время как пробивают себе дорогу совместные действия, между этими силами наблюдается сближение позиций относительно системы государственных



институтов и социально-экономической программы-минимум на послефашистский период. Углублять, развивать и конкретизировать взаимопонимание в этих областях имело бы очень большое значение.

В чем до сих пор не просматривается возможность соглашения, так это в вопросе о коалиционном правительстве. ХДП отвергает его, не хочет создания правительства вместе с Народным единством и особенно с Коммунистической партией. Эта позиция выглядит как не могущая претерпеть изменение. Она продиктована определенными классовыми интересами либо мнением, что в Чили нет условий для создания правительства, которое не по вкусу США или высшему военному командованию. Такая позиция не учитывает ни способности народов к борьбе, ни нового положения на мировой арене сегодня. В этом отношении пример Никарагуа очень красноречив... Правительство без участия Народного единства или ХДП не будет достаточно представительным или настолько прочным и деятельным, как требуется. Выступая за договоренность, включающую создание широкого правительства, подлинного выразителя воли большинства чилийцев, мы демонстрируем полную демократическую последовательность и отстаиваем то, что, как мы уверены, лучше всего для народа и страны. Действительно, нет нужды быть провидцем или кем-то в этом роде, чтобы понять не только объем завтрашних задач, но и размах и силу, которые приобретут требования масс. Ни одно правительство, в котором не будет представлен народ или его значительная часть, не может успешно решать возникающие проблемы и предстоящие задачи. Говоря это, мы не собираемся угрожать искусственно вызванными волнениями и не намереваемся наперед отказывать кому-либо во всякой поддержке. Просто мы выполняем свой долг и раскрываем все карты, чтобы каждый с чувством ответственности сознавал, что его ждет, определил свою окончательную позицию.

Со своей стороны мы стремимся к политической власти в союзе со всеми демократическими силами. Но в то же время мы не сторонники того, чтобы входить в любое правительство. Вместе с тем как политики-реалисты мы рассматриваем и готовы рассмотреть различные варианты и содействовать любому шагу, который отвечает интересам народа, если таково будет общее мнение партий Народного единства. Мы не упускаем из виду, что главное сегодня — падение фашистского режима, и расположены к соглашению хотя бы только ради этого.

Изъявление готовности реалистически подойти к ситуации не означает, однако, отказа от наших взглядов. Мы боремся и будем продолжать бороться при любых обстоятельствах за создание демократического и представительного правительства на широкой основе и считаем, что народ Чили прежде всего и в конечном счете должен сказать свое слово.

Если соотношение сил не окажется завтра для нас благоприятным, если в момент крушения диктатуры возникнет правительство, отличное от того, за которое мы выступаем, то мы даже думаем, что Народное единство, сохраняя свою сплоченность и самостоятельность, могло бы оказать какое-то содействие, если бы это правительство обязалось выполнить программу-минимум в интересах трудящихся, народа и страны. Вместе с тем Народное единство должно было бы продолжать борьбу за осуществление своей собственной программы и за создание более широкого правительства, в котором оно примет полное участие.

Нам кажется, что в настоящее время можно было бы прийти к демократическому компромиссу, оставив вопрос о правительстве на последующее рассмотрение.

Широкая унитарная политика коммунистов, согласие между Народным единством, ХДП и всеми, кто выступает за национальный прогресс, соответствует не просто тактической линии, а стратегическому курсу. Другими словами, это не преходящая политика, ни тем более политика, якобы основанная на намерении установить конъюнктурный союз, чтобы, как утверждают некоторые, использовать его в наших интересах.

Будучи сторонниками того, чтобы каждый сказал все, что думает и к чему стремится, мы, разумеется, не скрываем, что нашей конечной целью является социализм и коммунизм. Мы никого не обманываем и не собираемся обманывать. Мы также вновь решительно заявляем, что это не является сегодняшней задачей. Но нам не могут отказать в праве придерживаться наших социалистических идеалов и бороться за них.

В то же время мы убеждены, что развитие производительных сил и продвижение

по пути социального, политического и культурного прогресса побудят народ Чили поставить своей целью строительство нового общества. Мы рассматриваем преобразование как непрерывный процесс, в котором могут и должны участвовать самые широкие демократические силы. Мы настойчиво повторяем, что нет ничего более далекого от наших намерений, как искать союзников сегодня, чтобы разойтись с ними завтра. Сама действительность делает возможным, чтобы завтра к социализму прикнули слои, которые сегодня не высказываются за него.

Пиночет твердит, что представительная демократия не подходит, так как на деле она оказалась бы лишь преддверием социализма. Она, пишет Гонсало Ибаньес, один из его приспешников, «позволила бы нечто столь мало разумное, как приход к власти марксизма». Другие утверждают, что ответом на эту «опасность» должна быть «гуманистическая демократия» или «социализм» по-скандинавски, то есть без социализма, а не фашистская диктатура. Фашизм, по их мнению, кончает тем, что открывает путь коммунизму.

Такая дискуссия лишена смысла.

В докладе Политической комиссии августовскому пленуму ЦК нашей партии<sup>14</sup> говорится:

«Мы, коммунисты, так же как и другие политические силы, считаем, что эпоха, которую переживает мир,— и нет ни одной страны, которая не подвергалась бы ее воздействию,— это эпоха перехода от капитализма к социализму. Переход человечества к капитализму был также всеобщим явлением. Нет ни одного района мира, которого не коснулись бы его последствия, хотя эти последствия не везде вылились в собственно капиталистическое развитие производительных сил. Борьба патриотов 1810 года, войны за независимость Латинской Америки составляли часть этого исторического периода. Всемирный, всеобщий характер социальных изменений, вызванный, если говорить более конкретно, переходом мира к социализму, проявляется еще сильнее вследствие растущей взаимозависимости стран и народов и развития средств общения. Хотя в данном случае речь тоже идет о переустройстве, к которому страны приступают в разное время, совершенно очевидно, что социализм сегодня — путеводная звезда прогрессивного человечества».

Хорошо известно, что путь прогресса далеко не гладкий. В главных капиталистических странах борьба сил, выступающих за социальные преобразования, трудна, и в некоторых из них не видится ясная краткосрочная или среднесрочная перспектива. Почти во всех этих странах широкие круги народа продолжают еще оставаться приверженцами «истэблшмента» или действуют лишь в рамках реформизма. Во всемирном масштабе империализм сохраняет возможность, не такую уж незначительную, сдерживать борьбу народов, наносить удары и контрудары. Всеми силами он помогает Израилю, противодействует суверенитету и независимости арабских народов. Поддерживает расистские режимы Родезии и Южной Африки. Противится освобождению Зимбабве и Намибии. Покровительствует тираниям в Центральной и Южной Америке. Пытается свергнуть народные правительства, которые возникли в Африке и Азии за последнее десятилетие. В этих целях он разжигает любые конфликты, в том числе и религиозные, которые препятствуют единству народов и стран, борющихся за социальный прогресс и полную независимость.

Но ничто из этого не меняет направления развивающихся событий. Империализм не в состоянии удержать систему угнетения. Он терпит поражение там, где народы решительно и бесстрашно поднимаются на борьбу за свободу. Один за другим падают связанные с ним самые реакционные режимы. Сфера его господства и влияния на мировой арене сокращается. Инициатива ускользает из его рук. Его способность к действию становится с каждым разом все меньше...

Социализм, напротив, показывает народам всего мира путь к прогрессу, к социальной справедливости и к подлинной свободе, проявляет активную солидарность со всеми антиимпериалистическими движениями и оказывает решающую помощь странам, которые добились государственной независимости и решают важнейшие социально-экономические задачи.

<sup>14</sup> Имеется в виду пленум ЦК КПЧ, состоявшийся в августе 1977 года.

Путь социализма не свободен от трудностей и проблем... Но неизменно главное: социализм освободил человека от капиталистической эксплуатации и принес всему обществу, помимо высокой степени благосостояния и культуры, уверенность в настоящем и будущем.

Социализм сегодня — это реальность в ряде стран Европы и Азии. Он строится в Америке, на революционной Кубе, а различные народы Африки ориентируются на это строительство. Столь же или еще более показателен факт, что именно эта новая общественная система — а не капиталистическая — оказывает определяющее влияние на весь ход мировых событий. Благодаря ей и в первую очередь благодаря ее главному детищу и оплоту — Союзу Советских Социалистических Республик — Европа уже длительное время живет в мире и создались благоприятные условия для того, чтобы отвести от человечества угрозу атомной катастрофы.

Победа русской революции и позднее победа над фашизмом во второй мировой войне не только сделали возможным, чтобы другие народы вступили на путь социализма, но и положили начало крушению колониализма...

Знаменательна победа социализма на Кубе. Для империализма США Латинская Америка была его задворками, надежным тылом. Более того, немало революционеров не допускали мысли о возможности социалистической революции на нашем континенте и тем более под носом у дяди Сэма.

Кубинская революция во многом обязана уму и прозорливости Фиделя Кастро. Но, как он сам выразился в докладе, посвященном двадцатой годовщине революции, которую он возглавил, «не руководители выковывают народы, а народы выковывают руководителей». И кубинский народ победил не только потому, что выковал вождей, в которых нуждался — Фидель Кастро первый среди них, — но и потому, что его революция отвечала исторической потребности и произошла в историческую эпоху, сделавшую ее возможной, среди прочих причин благодаря существованию Советского Союза и социалистического мира.

В Латинской Америке социализм — идеал миллионов людей. Это цель, к которой пойдут все народы континента, одни раньше, другие позже, после завершения в каждой стране этапа антиимпериалистической и антиолигархической революции, которая стоит в порядке дня во всех них. В рамках капитализма проблемы, с которыми они сталкиваются, не находят реального решения.

Если Чили при правительстве Сальвадора Альенде ориентировалась на социализм, то это произошло потому, что ни один из испробованных в предыдущие десятилетия вариантов решения стоящих перед страной проблем не удовлетворял потребностям народа и его законному стремлению жить в обществе, свободном от бедности и отсталости.

В результате преобразований, осуществленных при правительстве Народного единства, стала просматриваться возможность новой жизни, создание более справедливого и более свободного общества. Нет ни малейшего сомнения, что рабочий класс и народ Чили снова пойдут по этому пути, хотя он, конечно, будет иметь некоторые отличия, которые диктуются опытом и новой ситуацией, созданной фашистской диктатурой.

Таким образом, социализм — общество завтрашнего дня. К нему придет наш народ, как и все народы, которые еще живут при капитализме, каким бы ни был временно господствующий режим. Ни буржуазная демократия, ни фашизм не могут закрыть ему путь к социалистическому будущему.

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Как еще раз подтверждает пример Чили, фашизм обрушивается на любой демократический и гуманистический образ мыслей, используя для этого в качестве излюбленного средства антикоммунизм. Для Пиночета все объясняется происками Советского Союза, сторонников марксизма-ленинизма, международного коммунизма. Все его противники, все, кто критикует его режим, — коммунисты или люди, действующие по наущению коммунистов.

Ликвидация Коммунистической партии была главной целью диктатора. И до него

некоторые тщетно помышляли об этом. Очевидно, что чилийские фашисты, которым не впрок урок, полученный другими, тоже споткнутся на этом.

На 11 сентября 1973 года наша партия и Союз коммунистической молодежи насчитывали вместе 280 тысяч членов. Было бы бахвальством утверждать, что репрессии не причинили нам ущерба. Хотя эти 280 тысяч мужчин, женщин и молодых людей сохраняют верность делу, на путь борьбы за которое вступили, число тех, кто сейчас ведет работу в рядах партии и в молодежной организации, значительно меньше. Это естественно. Убийства, аресты, увольнения, переезд в другие районы страны, высылка или выезда за границу и — почему не сказать об этом — боязнь репрессий привели к уменьшению количества ячеек и действующих членов партии. Несмотря на это, партийная организация сохранилась сверху донизу по всей территории страны и число коммунистов, ведущих регулярную и активную работу, достигает такой цифры, не подлежащей пока оглашению, которая позволяет говорить о нашей партии как о самой многочисленной из всех в стране.

Численность организации имеет свое значение. Но речь не только об этом. Наша партия — и это мы говорим без хвастовства и без пренебрежительного чувства в отношении кого-либо — является самой организованной, сплоченной и активной политической силой из всех существующих в Чили. Система ячеек, опыт подпольной работы, обогатившийся за эти последние годы, и боевой дух, опирающийся на идейную убежденность, позволяют ей не только выстоять, но даже оправиться от нанесенных ударов и оказывать решающее воздействие на подготовку и развертывание народных выступлений.

Партия несокрушима. Ее связи с рабочим классом и другими слоями народа глубоки и неразрывны!

Первые коммунисты вышли из самой гущи пролетариата, когда в центрах добычи угля и селитры с рабочими обращались как со скотом, а тех, кто проявлял непокорность, бросали в тюрьмы... В то время основатель нашей партии Луис Эмилио Рекабаррен и горстка его соратников целиком занялись организацией рабочего класса, продвижением его веры в собственные силы. Они направляли и возглавляли его борьбу за свои требования и в защиту национального суверенитета перед лицом империалистических компаний, которые чеканили свою собственную монету, имели собственную полицию и сделали селитряные прииски государством в государстве.

Восьмичасовой рабочий день, пособие за выслугу лет, оплачиваемый отпуск и другие завоевания трудящихся, часть которых ликвидировал Пиночет, были результатом длительной борьбы, развернутой главным образом по инициативе коммунистов... Развитие профсоюзной организации и классового сознания пролетариата — результат в первую очередь усилий Луиса Эмилио Рекабаррена и нашей партии.

Благодаря Рекабаррену партия укоренилась в главных рабочих центрах того периода. Настали времена диктатуры Ибаньеса. Когда она пала, партия сохранила там свои бастионы. Была установлена диктатура Гонсалеса Виделы. С угольных шахт и других предприятий горной промышленности были изгнаны тысячи коммунистов и сочувствующих. Вместо них на шахты Лоты и Коронеля привезли крестьян с юга, политически отсталых людей. Но мы снова стали там политической силой, пользующейся подавляющим влиянием.

То же самое будет после падения фашистского режима. Ужасна и мучительна трагедия этих лет. И мы причастны к ошибкам, способствовавшим поражению народного правительства. Но именно политика нашей партии была самой верной, самой последовательной, или, точнее говоря, политикой, которая имела и обнаружила меньше просчетов. Среди народа преобладает мнение, что мы являемся серьезной и ответственной, а также боевой и верной своему слову партией. Руководителей и членов нашей партии характеризовала стойкость перед лицом фашистов — как в тюрьмах и концентрационных лагерях, так и у эшафотов. В подпольной и полуподпольной деятельности они продемонстрировали смелость, отвагу и самоотверженность. Все это поднимает и будет поднимать наш престиж.

Никакая другая партия в истории Чили не подвергалась и не подвергается столь яростным преследованиям с применением физического насилия, идеологическим и политическим атакам. Какое только оружие не обращали против коммунистов. Нас пыта-

лись и пытаются представить как антипатриотическую, антидемократическую, иноземную, зависимую силу, придерживающуюся чужеродной идеологии. Но упрямые факты позаботятся установить правду.

В нашу эпоху патриотизм доказывается или опровергается прежде всего отношением к империализму. В истории, которая уже написана или которую предстоит написать, найдутся люди, поддавшиеся на подкуп империалистических компаний, чтобы облегчить их проникновение или осуществление их политики. Но среди них нет и никогда не будет ни одного коммуниста.

Патриотизм заключается также в борьбе за права и благосостояние народа, за всесторонний прогресс страны, в защиту национальных ценностей, за развитие и распространение искусства и культуры своей страны и всего мира. И в этом отношении мы также идем впереди. Пабло Неруда, Виолета Парра, Виктор Хара и многие другие писатели и деятели искусства, которых уже нет с нами, и живые, члены нашей партии или сочувствующие, помимо того, что они являются выдающимися представителями культуры, известными во всем мире, служат и будут служить непреходящим примером любви к своему народу и к родной земле.

Подлинный и последовательный патриотизм предполагает взаимную поддержку народов, которые ведут борьбу против общих врагов, и борьба эта имеет одну общую цель. Бернардо О'Хиггинс был и основателем нашего отечества, и борцом за независимость всех латиноамериканских стран. Мы следуем его примеру. Бенхамин Вилухья Маккена был поборником независимости Кубы, молодые чилийские военные — среди них майор Сотомайор, капитан Марколета и лейтенант Габлер — сражались вместе с кубинцами против испанского колониального господства. Мы верны столь славным традициям.

Мы руководствуемся мудрыми и простыми словами Рекабаррена: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь ненавидел мою родину, и поэтому отношусь с любовью к родине других».

За эти годы чилийский народ смог оценить значение и силу международной солидарности. Он не был одинок в своей трудной борьбе. Прогрессивное человечество на его стороне. Его положение стало предметом постоянного внимания ООН. В худшие времена, когда у него не было достаточно сил, чтобы остановить фашистские преступления, именно международная солидарность спасла жизнь многим чилийцам. Наш народ получает всемерную поддержку и одновременно выражает солидарность с другими. Его долг проявлять эту солидарность так, как это только возможно.

Коммунисты — участники всемирного движения, которое родилось в середине прошлого века и добилось своей первой и великой победы с победой Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя еще до нее социалистические и коммунистические идеи появились в Чили, где капитализм уже достиг определенного развития и, следовательно, возник рабочий класс, но правда состоит в том, что первая победоносная социалистическая революция оказала заметное влияние на нашу страну и на образование нашей партии. То же самое произошло в Аргентине, Уругвае, Мексике, Бразилии, Франции, Италии, Испании, Англии и многих других странах.

Подобное явление имело место в свое время после победы Французской революции. Ее идеи распространились по всему миру. О'Хиггинс и другие предводители борьбы за освобождение восприняли их полностью или частично, и из-за этого их патриотизм не уменьшился, а окреп. Те, кто был на стороне Фердинанда VII, испанской монархии, чилийского колониального государства, называли их офранцузенными. Точно так же сегодня те, кто находится на службе империализма, — несмотря на возникающие в отношениях с ним трудности, скорее поверхностные, нежели существенные, больше кажущиеся, чем реальные, — обвиняют коммунистов и всех, кто стоит в оппозиции, в антипатриотизме, в том, что они якобы служат чужеземным интересам.

Черт надевает личину святого! Как бы тиран ни клялся в патриотизме, ему не стереть клейма прислужника «Анаконды» и других транснациональных корпораций. Кроме того, по своим геополитическим концепциям, по своей экономической политике и фашистской идеологии он предстает как проводник самых гнилых и реакционных взглядов, какие можно ввезти из-за рубежа.

Чтобы быть патриотами, коммунистам не нужно выступать против кого-либо,

кроме империализма, неокOLONиализма, расизма, экспансионизма и других врагов свободы народов.

Чтобы продемонстрировать нашу независимость и самостоятельность, нам не надо критиковать Советский Союз, как советуют некоторые. Если в СССР не все совершенно — а все и не могло бы, конечно, быть совершенным, — то сами советские люди призваны исправлять недостатки и ошибки, что они постоянно делали и делают.

Гигантская преобразовательская деятельность, осуществляемая в Советском Союзе и других социалистических странах, была и остается могучим фактором, стимулирующим борьбу пролетариев и народов всего мира против империализма и любой другой формы социального или национального угнетения. Распространение правды о великих завоеваниях социализма всегда помогало развитию этой борьбы. Проявление слабости в этом отношении и тем более любая критика, направленная на подрыв престижа социализма, сбивают с толку трудящихся и служат источником идейной разобщенности, во вред единству революционных рядов.

Для революционеров и народов всего мира важен прежде всего тот факт, что великая многонациональная страна социализма, бывшая шесть десятилетий назад отсталой страной, является ныне великой антиимпериалистической державой, играющей решающую роль в борьбе за мир и прогресс, за независимость и процветание народов. От успеха ее политики разрядки и единых действий трех великих революционных сил современности — социалистических стран, международного рабочего класса и национально-освободительного движения — зависит судьба человечества и в конечном счете судьба каждого народа. Именно поэтому империализм старается вносить или поощрять раскол в лагере революционеров. Этой цели служит антисоветизм.

Чилийские коммунисты доказывали и будут доказывать на деле, что самостоятельно разрабатывают свою политическую линию.

С помощью лжи вражеской пропаганде удается некоторых сбить с толку. Когда несколько лет назад наша партия осудила раскольническую политику китайских руководителей, были люди и даже партии, которые думали, что мы делали это по чужой подсказке, становясь на определенную сторону в том, что они считали конфликтом лишь между Пекином и Москвой. Китайская политика в поддержку Пиночета и против Кубы, Анголы и других освободившихся стран, а также вооруженная агрессия против героического Вьетнама показали им, что они ошибались.

Китайская революция была воспринята народами всей планеты как победа в антиимпериалистической борьбе. Тот факт, что самая населенная страна земного шара примкнула к лагерю социализма, был сам по себе крупным мировым событием. Поэтому является трагедией для человечества то, что китайские руководители предают ныне дело антиимпериалистической борьбы народов и выступают на международной арене против социализма, на стороне империализма и самых ненавистных режимов.

Все коммунистические партии самостоятельны и независимы. Мы не могли бы добиться успеха, если бы дело обстояло иначе. Жизнь требует от нас действовать самостоятельно и независимо, но не в том понимании, как хотелось бы врагу, а в смысле достижения достаточной зрелости для овладения сложными ситуациями сегодняшнего дня и перехода от общих формулировок к объективному анализу и к конкретным решениям, чтобы проложить путь к победе каждого из наших народов. Она требует также от нас слияния с массами, действия с революционным порывом и деловитостью, о которых говорил Ленин, она требует обретения своего собственного лица, превращение в крупные народные и национальные партии. Это не исключает, а предполагает сплочение рядов на основе марксистско-ленинской идеологии и осуществление на практике пролетарского интернационализма и солидарности между всеми народами, ведущими борьбу против империализма.

Иногда слышатся утверждения о том, что марксизм — это, мол, пережившая себя идеология, в лучшем случае имевшая силу в прошлом веке, а ленинизм, дескать, типично русское явление. По словам тех, кто пытается очернить это учение, мир настолько изменился, что марксизм устарел. Странная устарелость! Мир действительно изменился, но с его изменением наша идеология становится еще более сильной и еще более действенной. Самые глубокие и успешные революции осуществлены и осуществляются под ее знаменем. Оно победоносно реет в Европе, Азии, Америке и Африке.

Многим народам, жившим недавно в условиях колониального рабства, крепостничества или племенного строя, освещает путь учение Маркса, Энгельса и Ленина.

Жизненность и действенность этого учения таковы, что его берут на вооружение уже не только коммунистические партии. В немалом числе стран, включая нашу, имеются другие партии и движения, которые объявляют о своей приверженности марксизму-ленинизму и стремятся руководствоваться им. Верно, что недостаточно провозгласить себя марксистом-ленинцем. Никто не становится таковым лишь в результате объявления об этом. Нет ни одной компартии, которая в момент образования полностью владела бы марксистско-ленинским учением. Это учение требует постоянного пополнения знаний. И тем более знаменательно, что с каждым разом все больше людей, партий и движений примыкает к идеологии научного социализма.

Хорошо известно, что это учение не является неизменным. Оно не могло бы быть таким, не отрицая само себя. Некоторые из вчерашних формулировок не находят применения сегодня или не имеют одной и той же силы повсюду. Например, вопрос о союзе рабочего класса и крестьянства не может ставиться одинаково, скажем, в Мексике и США, в Испании и Франции... Но сущность марксизма заключается как раз не в формулах, а в содержании. В данном случае она состоит в необходимости для рабочего класса вступать в союз с теми слоями, которые могут быть вовлечены в борьбу за социальную справедливость и общественный прогресс. В некоторых странах главным из этих слоев продолжает оставаться крестьянство. В других это различные круги, среди них массы, живущие в крайней бедности на окраинах крупных городов, мелкие и средние предприниматели, самостоятельные труженики, люди культуры, искусства и науки. Все эти социальные группы и, конечно, широкий и растущий круг специалистов и техников, которые все более сливаются с рабочим классом, являются для нас силами, составляющими народ, призванными играть свою собственную роль. Гегемония пролетариата не означает недооценки этих слоев и направлена на то, чтобы придать движению прочность и последовательность, которые послужат интересам всех, успеху борьбы за общие устремления.

Необходимость широкого союза, охватывающего все антиимпериалистические силы, становится также очевидной в свете другого явления. В 60-х годах в разных странах возникли ультралевые группы, некоторые из них террористические, претерпевшие различную эволюцию. В последние годы империализм все более широко прибегает к применению террористических действий. Помимо использования фашизма как государственного терроризма, он сколачивает вооруженные банды открыто правого толка, а также выступающие под флагом левых. Италия не единственный пример. Но то, что происходит там в этом отношении, заслуживает нашего внимания. В Чили начали создаваться террористические «отряды командос». Существует опасность, что наша страна превратится в поле деятельности для терроризма, намеревающегося не только совершать бесчинства сегодня, но и воспрепятствовать демократическому развитию завтра. Такая опасность может быть предотвращена лишь единством и борьбой всех национальных сил.

Реакционная пропаганда всегда стремилась отождествить коммунизм с антидемократией. И здесь факты говорят сами за себя. Коммунисты, с тех пор как стали участвовать в политической жизни, целиком посвятили себя борьбе за права и свободы рабочего класса и народа. Антидемократические законы и действия, известные нам по сегодняшний день, были делом рук реакции, антикоммунистов. Мы никогда не имели к ним касательства. Завоевания, осуществленные в Чили в области демократии до сентября 1973 года, всегда достигались при нашем участии, а во многих случаях мы были их главными застрельщиками. Наши действия были, например, решающими при создании Блока демократического оздоровления, который в 1958 году добился отмены «проклятого закона»<sup>15</sup> и изменений в избирательном законодательстве, сделавших его более прогрессивным. И всякий раз, как демократия оказывалась под угрозой, мы поднимались на ее защиту. Так было в 1938 году во время попытки переворота, предпринятой Ариосто Эррерой, и в 1969 году перед лицом заговора, возглавленного Роберто Вио, хотя в последнем случае мы находились в оппозиции к тогдашнему правительству.

<sup>15</sup> Закон 1948 года, запрещавший деятельность компартии и других демократических организаций.

Сейчас, в условиях фашистского режима, альтернатива, которую мы предлагаем, не просто демократическая, а самая демократическая из всех, что могут быть предложены. Как мы объясняли, вопрос об установлении социализма уже сейчас не ставится, но речь не идет и о просто демократическом строе, удовлетворяющемся провозглашением прав человека для абстрактного человека и политического равноправия граждан при сохранении системы глубокого социального неравенства, которое на практике сводит на нет или ограничивает свободы народа.

Надо признать, что переход к социализму не всеми понимается как скачок вперед в борьбе за демократию. Иногда мы сами запутываем дело, говоря, что боремся за демократию и социализм, будто это совсем разные вещи, тогда как социализм более передовая демократия, чем самый передовой демократический строй, какой можно себе представить в рамках капитализма.

Непонимание существует у людей, которых мы не имеем права заподозрить в нечестности. Возьмем, к примеру, Хенаро Арриагаду и Клаудио Оррего, обрушивающихся в своей книге «Демократия и ленинизм» на принцип диктатуры пролетариата, чтобы затем, через десять страниц после этого выпада, высказать суждения, с которыми мы полностью согласны: они пишут, что «принуждение, осуществляемое государством... составляет один из его самых характерных элементов», что «в природе государства и политики присутствует насилие как одно из их самых существенных средств» и что следует «определить законные рамки насилия... регламентировать его, поставить под контроль, обусловить обезличенными нормами, известными всем... свести до возможно меньших пределов и гарантировать, что в этих ограниченных рамках его применение будет исключать произвол».

У нас нет и не будет иного понимания этой проблемы.

Итак, если видеть вещи такими, какие они есть, то ни на практике, ни в теории нашу позицию нельзя отождествлять с антидемократией.

За что мы боролись всегда, боремся сегодня и будем бороться завтра, это за свободу народа и человека. В этой битве никто не был и не сможет быть более последовательным, чем мы.

Именно поэтому борьба за непрерывный общественный прогресс, за завоевание и развитие демократии неразрывно связана с существованием сильной и способной Коммунистической партии, неизменным желанием которой является идти всегда вместе с остальными партиями Народного единства и со всеми демократическими силами, чтобы чилийский народ победоносно двигался по пути свободы и прогресса.

Имперализм стремился и стремится добиться, на худой конец, нашей изоляции. Есть демократически настроенные люди, которые под влиянием реакции думали не принимать нас в расчет. Но многие из них уже пришли к выводу, что без нас нельзя обойтись, по крайней мере тогда, когда речь идет о том, чтобы положить конец тирании и наметить некоторые направления будущего развития страны. Этот вывод правильный, но неполный. Полная правда в том, что ни сегодня, ни завтра нельзя будет обойтись без нас и остальных партий Народного единства, если речь идет о претворении в жизнь подлинно демократического проекта. Что касается нас, то мы не намерены добиваться отстранения какой-либо части народа, а, напротив, стремимся договориться со всеми прогрессивными силами, чтобы осуществить важнейшую задачу — свергнуть фашистский режим и приступить затем к переустройству Чили. Трудно представить себе более демократическую позицию, чем наша.

Пиночет делает и будет делать все возможное, чтобы удержаться у власти. Его пропагандистский аппарат используется с этой целью. На экранах телевизоров часто появляются кадры уличных столкновений и очередей за продовольствием во времена правительства Народного единства. Мысль, которую тиран хочет внушить, это что после него наступят беспорядок и хаос. Нельзя отрицать, что эта контрпропаганда находит отклик. Поэтому итальянский журналист Гуидо Викарио упоминает о «присутствующем прошлом», говоря об опасениях, испытываемых определенными группами средних слоев. Нужно поставить точки над «и». Американец Эдвард Бурстейн в своей книге «Чили при Альенде» указывает, основываясь на расследовании сенатом США роля ЦРУ в осуществлении военного переворота, что правительство Никсона дало инструкции «произвести крушение чилийской экономики». Приказ Уильяма Броз, на-



чальника отдела стран Западного полушария ЦРУ, отданный 28 сентября 1970 года, был — «вызвать экономический коллапс». В те самые дни ИТТ высказывалась за то, чтобы организовать «ускоренное ухудшение состояния экономики» с целью развязать затем «волну насилия, результатом которого будет военный переворот». «Нью-Йорк таймс» сообщила 20 сентября 1974 года, что «большая часть 8 миллионов долларов, отпущенных на тайные операции ЦРУ в Чили, была использована на создание фондов и других средств поддержки забастовщикам и трудящимся, настроенным против Альенде», а конкретно — на финансирование двух забастовок владельцев грузовиков. Таким образом, беспорядок был вызван в основном империализмом и реакцией, чтобы заменить его потом кладбищенским спокойствием. Мертвые из Лонкена не говорят. Исчезнувшие не могут говорить. Но народ не заставить замолчать навсегда, и голоса, раздающиеся из его уст, уже объединяются в многотысячный хор, требующий свободы. Каждым своим шагом диктатура вызывает сопротивление. Ее проект «конституционализации» фашизма, новый «проклятый закон», нареченный антитеррористическим, так называемый трудовой план, меры принуждения в университетах, попытка заставить замолчать журнал «Ой», новая девальвация чилийского песо — вот некоторые из многих ее шагов, которые противны большинству населения и вызывают критику даже сторонников существующей диктатуры. С каждым днем новые слои граждан осознают, что тирания дезорганизует все. Фашистской контрреволюции удалось существенным образом изменить курс, которого придерживалась страна, столкнув ее с пути, которым она следовала и который был направлен на независимое развитие ее экономики и на обеспечение социального прогресса и расцвета культуры. Ничто не ускользает от ее разрушительных поползновений. Она все разбазаривает или продает. Промышленные предприятия и банки, бывшие государственной собственностью, коммунальные службы, земли крестьян и индейцев попали или попадут в руки тех, у кого экономическая власть. Лихорадка передачи в частный сектор охватывает все национальное достояние, даже «Парк селитры», имение «Лас Кантерас», принадлежавшее О'Хиггинсу, или так называемый полуостров Пукон. Если так пойдет дальше, то однажды окажутся проданными с молотка озера и реки юга или столичные холмы Сан-Кристобаль и Санта-Люсия.

Тирания превратила страну в рай для богатей и в ад для бедняков. Так называемая экономическая свобода существует только для финансовых кланов и ведет не к политической свободе, как проповедует «Меркурио», а к рабству. Виски импортируется без всякой меры, в то время как не разрешается свободный ввоз книг.

Режим хвастает успехами, не признавая, что своей политикой он роет себе могилу. Он бахвалится тем, что сделал из страны «оазис мира», тогда как превратил ее в готовый извергнуться вулкан. Фашизм не сможет погасить пламя свободы, горящее в сердце народа. Он не может и не сможет устранить классовую борьбу, порождением которой сам является. Короче говоря, он сеет бурю, призванную установить новый общественный порядок.

В течение этого года борьба нашего народа приобрела большой накал и размах, что находит отклик во всем мире и способствует поддержанию международной солидарности на постоянно высоком уровне. В эту борьбу, которую ведет прежде всего рабочий класс, вносит вклад молодежь, особенно студенчество. В ней активно участвуют тысячи женщин, и она, расширяясь, охватывает все новые слои населения. Исчезает страх, растет вера в собственные силы. Антифашистское движение демонстрирует инициативу, разнообразие и богатство форм и становится все более широким. Диктатура еще в состоянии наносить удары. Но силы народа неизмеримо растут и призваны одержать победу. Будущее принадлежит народу.

*Перевел с испанского И. РЫБАКИН*



# О ЧИЕРКИ НАШИ ИХ ДНЕЙ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



## КОГДА ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ

НАША СОСЕДКА ФРАУ ШЕФЕЛЬ

**Б**ольшее двух лет мы были соседями с фрау Шефель. «Гутен морген» утром по дороге на работу, вежливый кивок вечером — вот и все наши отношения. Правда, муж ее несколько раз пробовал заговорить, но дальше привычных сетований на погоду разговор не двигался. Год назад сосед — ему шестьдесят семь лет — вышел на пенсию, проработав без малого сорок лет на маленькой грузовой станции. Предлагали остаться, но он наотрез отказался: в таком возрасте нелегко просиживать ночь за диспетчерским пультом. Первые недели он мучительно переживал свою бездеятельность. Его еще навещали сослуживцы, звонили знакомые, но делали это больше из вежливости, чем по необходимости. То, что его тяготит подобная искусственность отношений, я понимал, так как разговоры велись по моему телефону и я был невольным свидетелем происходившего.

Я слышал, как старик преувеличенно бодрым голосом заверял:

— Все отлично, отдыхаю, копаюсь в саду.

Всякий раз, когда его приглашали заглянуть на станцию, он выдерживал паузу, словно обдумывал, не занят ли день.

— Ну что ж, можно и заехать, но в пять я должен быть дома.

Вначале мне казались смешными стариковские уловки. Наивные попытки представить себя занятым человеком никого не могли ввести в заблуждение.

Но вот соседу стали звонить все реже и реже: как ни горько сознавать, уход на пенсию делал свое дело. Все, что в течение долгих лет составляло смысл жизни, ушло в прошлое. Что ж оставалось? Будущее? Но оно выглядело в представлении моего соседа неясным и расплывчатым. Прошлое не имело равноценной замены. Даже к своему садику, который сосед холил с необыкновенным прилежанием, он относился иронически. Новое увлечение казалось детской забавой в сравнении с тем, что делал всю свою жизнь.

Старик не сдавался, хотя, как позже выяснилось, был серьезно болен. Каждый шаг давался ему с трудом, но он не отступал от привычного ритма: вставал вместе со всем Берлином — в половине шестого, — ложился спать в десять. Когда по утрам мы встречались у почтового ящика, я неизменно видел его гладко выбритым, подтянутым, с обязательной сигарой. Через сорок минут, прочитав пачку газет, старик появлялся в саду, точнее на ухоженном клочке земли под окном. Но в ГДР живут другими масштабами: сад в триста квадратных метров считается большим. Поразительно, с какой бережливостью относятся здесь к каждому самому крохотному участку. Разделявая делянку, мало кто выбросит зеленый дерн. Обычно его укладывают в аккуратную пирамидку. Через три-четыре года перегной запускают вновь в оборот. Так сделал и мой сосед, когда разбивал свой «штайнгартен». Буквально — каменный сад. Нечто вроде маленького альпинария. Вперемежку с будто случайно разбросанными камнями растут какие-то цветочки, мхи, травки. Со стороны посмотреть — полная мешанина, но только истинный садовник знает, чего стоит создать такой горный ландшафт. Месяцами

приходится подбирать камни, которые улягутся в пеструю мозаику. И цветы нужны особые. Пестроты, резких сочетаний красок такой сад не терпит.

Раз в месяц к соседям приезжала дочь с мужем. Женаты они были уже больше десяти лет. Познакомились еще на первом курсе института. Вначале жили в общежитии, потом, после распределения, снимали комнатку. Три года назад они наконец получили квартиру в одном из новых кварталов Берлина. О приезде Клауса и Катрин я узнавал заранее. Старик дольше обычного холил сад, фрау Шефель записывалась в парикмахерскую и созванивалась с хозяином кондитерской. Из парикмахерской приходила раздумывавшаяся, помолодевшая, с аккуратной прической.

В гости немцы ходят по часам. В зависимости от времени и стол выглядит по-разному. К двенадцати зовут на обед. В шестнадцать часов ты можешь рассчитывать на чашку кофе. Лучшее угощение в таких случаях «кухен» — слоеный пирог с разной начинкой — или печенье. Молодые обычно приезжали к кофе. Прежде чем подняться в квартиру, они задерживались на несколько минут около садика, терпеливо выслушивая объяснения старика.

— Великолепно, изумительно! — восторгалась Катрин.

— Прекрасно! — поддакивал Клаус.

Так мы и жили: спокойно, доброжелательно. Не знаю, сколько бы понадобилось времени, чтобы мы сошлись поближе. Между нами была черта, которую никто из нас не решался переступить, боясь оказаться навязчивым. Мы были добрыми соседями и не больше. Но беда сближает людей. А у фрау Шефель случилась беда. Соседка разбудила нас среди ночи, увя, «скорая помощь» все же опоздала. В шестьдесят лет фрау Шефель стала вдовой.

Теперь оставалось гадать, как сложится ее судьба. До пенсии ей оставалось несколько месяцев. Фрау Шефель внесла полную ясность:

— Поживу самостоятельно!

Самостоятельность для моей соседки — определенная жизненная категория. Пока она живет сама, без чужой помощи и опеки, она не старуха. Ведь старость определяется не годами, хотя и существуют определенные возрастные границы. По-разному вступают люди в седьмое десятилетие. Одни переходят эту границу, отмечая власть времени; другие как бы подводят черту под собственной жизнью. Фрау Шефель относилась к первой категории. Получив пенсию, она продолжала трудиться. Ее рабочий день теперь заканчивался на два часа раньше, но без дела она не сидела. Обедала в своей заводской столовой, покупки занимали у нее минимум времени. Отправляясь в центр, я брал с собой фрау Шефель. Она теперь словно бы заново знакомилась с Берлином.

Постепенно у нашей соседки появились новые знакомые, чем-то похожие на нее, — чистые, аккуратные старушки.

Собирались они обычно по пятницам. Накануне заказывали столик в маленьком уютном кафе на углу Шёнхаузералле. Их там знали. В дневное время берлинские кафе пусты, и старушки всегда желанные гости. У них был свой «штаптиш», постоянный стол, который редко кто занимал в эти дни.

— Как всегда? — спрашивал кельнер и приносил четыре кофейника.

Прежде я редко видел фрау Шефель с книгой. Она выросла в простой семье: отец — столяр, мать — домохозяйка. Учиться долго не пришлось, а потом жизнь время на чтение не отпустила. Теперь старушка начала читать. Читала с той обстоятельностью, с какой делала всякое дело. Осилв очередное произведение, спешила его пересказать. Милая фрау Шефель на седьмом десятке постигала литературу, которую ее дети одолели в начальной школе. О своих недугах соседка вообще не говорила.

И все же она заболела. Обычная простуда. Врач сказал: ничего опасного, через неделю можно встать. Утешительного мало — целую неделю оставаться в постели. Конечно, что-то могли сделать мы, что-то взяла на себя ее дочь. Мы ломали голову, а события развивались своим порядком. Объявились подружки фрау Шефель. Они распределили между собой обязанности. Потом появилось новое лицо — Анелиза Бартель, руководитель клуба «Фольксолидаритет».

Что такое «Фольксолидаритет», какое отношение он имеет к соседке, я не знал. Но после появления Бартель к фрау Шефель стали приезжать на мопеде две девуш-

ки, по виду студентки. В двенадцать часов они привозили в судах обед, убирали комнату, готовили ужин и уезжали. Быстро, четко, ловко. Мы не переставали ахать, как все удачно сложилось.

Общеизвестно, что со старостью приходит одиночество. С пенсией обрываются привычные связи и рдеет круг людей, с которыми тебя связывало дело. Когда тебе двадцать, найти друзей проще, когда сорок лет — твой круг пополняется с трудом. В шестьдесят ты уже редко обрастаешь новыми знакомыми. Конечно, многое зависит от характера. Но я думаю, случись так, что у фрау Шефель не оказалось бы ни родственников, ни близких друзей, и тогда не пришло бы к ней одиночество — этого не могла допустить Анелиза Бартель со своими помощниками из «Фольксолидаритет».

### СОЛНЦЕ В ДЕКАБРЕ

Раза два подвозил я сюда фрау Шефель, но все как-то не хватало времени заглянуть в клуб «Фольксолидаритет». Помог случай. Неожиданно позвонила Анелиза Бартель и попросила выступить с докладом. Поломал голову, прежде чем вспомнил, что Бартель и есть та самая энергичная женщина, которая так решительно взялась опекать больную фрау Шефель. И вот в условленный час стою на лестничной площадке перед дверью с надраенной до блеска медной табличкой. У каждого из нас есть свое стандартное представление о клубе. А тут все иначе. Вешалка такая, как в обычной современной квартире, рядом корзинка для зонтов и вышитая салфетка под телефоном. Рассказывают, что несколько лет назад здесь располагалась кондитерская. Потом по соседству построили современное кафе, и хозяин поспешил сдать свое заведение магистрату. Пока городские власти ломали голову, что делать с этим помещением, жильцы предложили свой проект. Так на Либигштрассе четыре года назад появился клуб «Фольксолидаритет». Случай не такой уж редкий. Из 23 клубов, что действуют сейчас в Берлине, большинство построено силами общественности.

Немцы на редкость хорошие умельцы. Большинство семей сами делают ремонт, если случается авария в квартире, только в экстренных случаях зовут сантехника. В Берлине и во многих других городах республики жильцы взяли на себя ремонт домов, уборку лестничных площадок и коридоров, уход за зелеными насаждениями. Каждую осень родители вместе со школьниками приводят в порядок классы, когда надо, ремонтируют детские сады и ясли. Так что нет ничего удивительного, что, собравшись однажды, жители дома на Либигштрассе решили оборудовать клуб для стариков.

Сам клуб невелик — небольшая прихожая, маленькая кухонька, рядом столовая, которая в разное время превращается то в кафе, то в просмотровый зал. Обеды тут не готовят. Получают в судах с фабрики-кухни. Остается разогреть, а после вымыть посуду. В четыре часа кофе. С годами выработался свой ритуал. Столы застилают голубыми скатертями, и каждый по очереди к этому дню печет пирог. Анелиза Бартель единственный штатный сотрудник клуба. Все остальное делается на общественных началах, с той особой добросовестностью, которая придает клубу домашний уют. Анелиза по специальности инженер-текстильщик. Несколько лет назад у нее заболела дочь. Уезжать на целый день она уже не могла, искала работу поблизости от дома. Вот так оказалась она в роли руководителя клуба.

Времени у нее в обрез. Забот хватает: заказать уголь, сдать белье, достать билеты на концерт, а тут еще потек на кухне кран. Своих семейных дел тоже невпроворот. И при всем том остается она всегда ровной, доброжелательной, сердечной. Нужен ли для этого специальный талант? А может, хватит простого понимания, что не ради чашки кофе и горячего обеда приходят сюда люди. Конечно, клуб снимает с людей часть забот, которые в старости превращаются в проблему, но не в этом суть. Заглянул сюда Йоганнес Бингер. Извинился, что помешал. Оказывается, уже два дня не появляется в клубе фрау Майснер. Не случилось ли чего? И сразу же снарядили делегацию. Ведь большинство посетителей клуба одинокие старики, живут отдельно. В этой трогательной заботе друг о друге есть что-то от большой дружной семьи.

— С тех пор как открыли клуб, я не чувствую себя одиноким, — говорит Бингер.

На пенсию он ушел сам. После тридцати лет работы в музыкальной школе ему хотелось пожить спокойно. В первое утро проснулся, побрился, позавтракал, разло-

жил подарки, которые ему вручили на торжественных проводах, и неожиданно пал духом. На часах только еще десять. Целый день впереди... Не часы и даже не дни, а годы безделья. Самое тягостное время — осень. Встал, а за окном хмарь, перспектив никаких. Стоит ли бриться?

А тут ровно в восемь открывает свои двери клуб. Бингер приходит за полчаса. Выбритый, подтянутый, галстук завязан модным узлом. Осмотрел библиотеку, разобрал почту, появились первые посетители. У каждого свои обязанности — один моет кухню, другой наводит порядок в столовой, третий ремонтирует кран. Споры возникают редко. Конфликтные ситуации разрешаются просто — ты не можешь, сделаю я.

Говорят, что пожилые люди разговорчивы. Смеем утверждать — не больше, чем все другие. Просто возможностей для общения у них куда меньше. Клуб — место общения стариков. Он делает их жизнь интересной, содержательной. Не хотелось употреблять этот стандартный набор выражений. Но все действительно так. Раз в неделю Бингер проводит беседы о классической музыке. Его домашняя дискотека давно уже перекочевала в клуб и пополнилась десятками новых пластинок.

— Никогда я не имел такой благодарной аудитории, — признается он.

Большинство его слушателей за всю свою долгую жизнь впервые нашли время для Чайковского и Вагнера. И книги многие открыли только тут.

Старость всегда цугала не столько болезнями, сколько одиночеством, сознанием своей бесполезности. Это приходило много раньше болезней. Профессор Ф. Шульд, председатель геронтологического общества ГДР, мне сказал: «У нас нет лекарств против старости, но у нас есть возможности освободить человека от многого, что отягощает его последние годы». Понимать это не следует буквально. Мне лично не нравится, когда говорят о беззаботной старости. У человека должны быть заботы, без этого была бы неинтересной жизнь.

Большинство нынешних пенсионеров пережили нужду, голод. И о безработице знают не из учебников. Они по-настоящему счастливы, что на склоне лет не приходится думать о куске хлеба. Но вдвойне они счастливы, что в старости они открыли новый смысл, новые цели, узнали многое из того, на что не нашлось времени в их прошлой жизни. Разве этого мало?

ГДР считается одной из самых «старых» стран мира. Больше 20 процентов населения, почти 3,5 миллиона, — пенсионеры. И это при том, что женщины здесь получают пенсию в 60, а мужчины в 65 лет. Много существует объяснений. Прежде всего сказала война. В первые послевоенные годы, до провозглашения республики, западные политики настойчиво переманивали в ФРГ молодых специалистов. В нынешнем году ГДР пережила, как говорят немцы, бэби-бум: впервые рождаемость перекрыла смертность. Сработала целая сумма социально-политических мероприятий. Одновременно в последние два десятилетия средняя продолжительность жизни мужчин возросла до 69, а женщин даже до 74 лет. К 2000 году, как утверждают специалисты, уже будет меньше шестидесятилетних, зато увеличится число семидесятилетних. Можно говорить о специфических условиях ГДР. Но при всем том случай не такой уж исключительный. В мире сейчас насчитывается более 290 миллионов человек, которые перешагнули в седьмое десятилетие. Эксперты ООН утверждают, что к 2000 году их будет вдвое больше — 585 миллионов. Мы стали свидетелями, как удлиняется человеческая жизнь. Но, как и следовало ожидать, человека заботит не только арифметический прирост возраста. Сколько прожить — это еще и как прожить. Немцы говорят: чтобы жить долго, как Гёте, надо жить, как Гёте. Секрет же долголетия Гёте, как известно, лежит в творческой активности поэта, стремлении открывать и познавать новое.

«Активная старость» — это выражение родилось уже в наши дни. Оно относится прежде всего к тем, кто отказывается рассматривать пенсию как последний рубеж, или закат, жизни. С годами мевяются и сложившиеся веками представления о старости. Профессор Зитфрид Айтнер, один из ведущих геронтологов ГДР, недавно провел интересное исследование. Объектом его неожиданных изысканий стали школьные учебники. Как выглядит старость в представлениях наших детей? Оказывается, прежний стереотип не пережил сколько-нибудь существенных изменений. Навивные добродушные старички и старушки с клюшками, одетые в темные платья и повязанные платками, по-прежнему кочуют из учебника в учебник, из одной детской книжки в

другую. Они формируют неправильное представление о нынешней старости. В жизни все иначе. У женщины, перешагнувшей шестое десятилетие, не пропал интерес к общественной жизни, она не отказывается от косметики, модной одежды, не случайно модельеры ГДР наряду с молодежной модой разрабатывают модели для пожилых.

Венский социолог Леопольд Розенмайер пишет: «Меня удивляет, что люди только недавно заметили, что мы имеем одно из самых интересных поколений стариков, которые когда-либо были на земле». Нынешние шестидесятилетние отличаются от своих бабушек и дедушек не только здоровьем, но иным представлением о последнем отрезке жизни. «И старость хочу прожить», — говорит пенсионерка Клара Весель в фильме «Не хочу спокойно умирать», который с успехом прошел на экранах ГДР. «Сегодняшнее поколение стариков, — пишет западногерманский журнал «Штерн», — делает первые шаги в новую жизнь. Они первыми в истории нашей планеты стремятся опровергнуть сложившиеся представления о старости, найти собственный стиль и новые цели». Леопольд Розенмайер добавляет, что большинство тех, кто вступает в пенсионный возраст, не думают о закате жизни. Желание стариков оставаться в гуще жизни, их любознательность и активность, их солидарность и готовность прийти на помощь, по мнению венского социолога, могут служить образцом для других поколений. Тут следует оговориться, что многие из перечисленных качеств оказываются не реализованными в условиях капиталистического общества. Проблема хлеба насущного стоит там так же остро, как и многие десятилетия назад. Самое большое число безработных в западных странах составляют люди старше 55 лет. Печальная статистика гласит, что основная доля самоубийств приходится в ФРГ на период жизни между 50 и 70 годами. Кельнский профессор Г. Ангер в этой связи пишет, что высокая продолжительность жизни, достигнутая благодаря научным открытиям, вступает в противоречие с непримиримыми экономическими и социальными проблемами капиталистического общества.

Из 23 миллионов стариков, которые живут в США, более 3 миллионов находятся на грани нищеты. Показательно, что Америку не миновал общий мировой процесс старения. К 2000 году число шестидесятилетних тут достигнет уже 38,9 миллиона, а к 2030 году даже 50 миллионов. В последнее десятилетие в стране возникли многочисленные организации, объединившие пенсионеров. «Таймс» признает, что старики становятся в США той политической силой, с которой уже вынуждены считаться политики. В Огайо они требуют удешевить электричество и газ. В штате Кентукки выступают за улучшение медицинского обслуживания, в Калифорнии организуют демонстрации против повышения налогов. Старики в США, как и в других западных странах, отстаивают свое право на жизнь. Семидесятилетняя американка Маги Куин, одна из лидеров организации «Серая пантера», заявляет: «Мы боремся за право на жизнь, ибо старость не может служить основанием, чтобы лишить человека его элементарных прав».

Но вернемся в ГДР. Роберт Леман возглавляет организацию стариков. «Фольксоллидаритет» («Народная солидарность») объединяет почти два миллиона пенсионеров. Его главная цель — забота о стариках. Надо перелистать страницы истории «Фольксоллидаритет», чтобы заметить, какую удивительную трансформацию пережило само понятие «забота о стариках». «Фольксоллидаритет» возник стихийно в первые послевоенные годы. Это было продиктовано естественным стремлением людей выжить, выстоять против голода и разрухи, которая больней всего затрагивает детей и стариков. Много изменилось с того времени. Недавно активисты «Фольксоллидаритет» провели исследование. Оказалось, из 3,5 миллиона пенсионеров только 10 процентов нуждаются в постоянном медицинском уходе. Итак, сами собой за три десятилетия, прошедших после провозглашения немецкой социалистической республики, отпали проблемы, которые оказались неразрешимыми в условиях капиталистического общества. Все чаще и чаще в ГДР говорят о «рентнердезайн». Что стоит за этим термином? Многое. Это и клубы «Фольксоллидаритет», которых теперь в ГДР уже более 400. Это и 285 тысяч концертов, лекций и вечеров отдыха, которые провели в республике для пенсионеров в 1978 году. Более 75 тысяч стариков обслуживаются на дому. Сотрудники организации берут на себя уход за квартирами, покупку продуктов и приготовление еды. 200 тысяч пенсионеров получают горячие обеды.

Во главе «Фольксолидаритет» стоит центральное правление. В каждом округе, районе и жилом квартале есть свой комитет и своя организация. Платных работников не так уж и много, главную часть делают на общественных началах. Бюджет организации складывается таким образом: 28 миллионов марок приносят взносы, 15 миллионов дают общественные сборы. Не знаю, но у меня лично не вызывает протеста, когда раз в квартал ко мне приходят с подписным листом. Дело, конечно, не в трех — пяти марках, которые я вношу в фонд «Фольксолидаритет». Государство выделяет на эти цели в сотни раз больше. До 1980 года на социальное обеспечение израсходовано до 6 миллиардов марок. Это одно из ярких проявлений высокого гуманизма в социалистическом обществе. Очень важно, что каждый человек не оказывается в стороне от заботы о стариках: ведь за них, как и за молодежь, ответственность несет все общество. В одном случае это личный денежный взнос, в другом случае доклад, с которым ты выступаешь перед пенсионерами. Жильцы на Либигштрассе оборудовали для стариков клуб, а в другом берлинском доме, на Копенштрассе, взяли за правило вывозить по воскресеньям стариков за город. Тимуровцы из соседней школы помогают Анелизе Бартель сгружать уголь, относят белье в прачечную. В ГДР есть движение, которое называется «нахбаршафтсхильфе» — это когда вы безвозмездно помогаете своему пожилому соседу. Только в 1978 году на такой основе было отработано почти 20,8 миллиона часов, отремонтировано бесплатно 60 тысяч квартир пенсионеров. Сосед ремонтирует квартиру своему престарелому соседу, убежденный, что и его отец не останется без внимания. Многие выросли из такого сотрудничества и многое стало уже традицией в ГДР. В Берлине стариков приглашают на генеральные репетиции в театры. Они могут бесплатно посещать стадионы. Каждую осень во Дворце республики открывается бал молодежи, а в начале апреля — бал для пенсионеров. Радио проводит специальную передачу «За год до пенсии», в газетах публикуют поздравления тем, кто отмечает столетие. Недавно берлинский университет имени Гумбольдта открыл специальный факультет для стариков. 250 «первых студентов» уже прослушали курс лекций по эстетике, истории и медицине. Такие же факультеты появятся в ближайшие годы в Лейпциге, Дрездене, Росток и Йене.

Поздно вечером мы возвращались с фрау Шефель из клуба. О многом переговорили. Машина свернула с узкой Фридрихштрассе и поехала медленно вдоль Унтерден-Линден. На мосту, что отделяет зеленый проспект от Карл-Либкнехт-штрассе, она вдруг сказала:

— Никогда я не была так счастлива, как теперь.

Конечно, у каждого старого человека за плечами своя прожитая жизнь, свои представления о счастье и о том, как должен пройти он последний отрезок пути. Не всякий может сказать, как сказала моя соседка.

Главное, что возможно быть счастливым в семьдесят лет!

### ЗАНЯТЫЕ ЛЮДИ

— Ты не поверишь, но вначале я обиделся. Встань на мое место: тебе идет шестой десяток, на здоровье не жалуешься, фотография на доске почета, премии, благодарности... И вдруг вызывают в отдел кадров: что думаешь о пенсии?

Я смотрю на Курта. С последней нашей встречи он мало изменился, вот только седины прибавилось. Не скажи сам, больше пятидесяти ему не дашь. Нет в его облике ничего стариковского. Движения порывистые, резкие и говорит так же быстро, словно торопится высказаться. «Когда ты станешь солидным?» — корила его жена. В первый мой приезд в Шверин Регина была еще жива. Потом, случайно встретив Курта на Лейпцигской ярмарке, узнал, что год назад он овдовел. Потери в таком возрасте уже невозможны. Курт это знал. Из его, как всегда, путаного рассказа понял, что он с головой ушел в заводские дела.

— Дом у меня теперь вроде гостиницы. Пришел, переночевал — и на завод до следующего вечера. Если приедешь в Шверин, можешь остановиться у меня. Очень прошу.

Так я и сделал. И вот теперь мы сидим над вопросником, который вручили Курту Вольфу в заводском отделе кадров. Спотыкаемся уже на первом пункте. «Остане-

тешь ли на заводе, получив пенсию?» Я смотрю на Курта, а он только довольно хмыкает. Выходит, никто не собирается его выпроваживать на пенсию. Опять подвел неумный темперамент. Вместо того чтобы спокойно все прочитать и обдумать, начал пороть горячку. Без разговоров мы ставим короткое «да». А вот второй вопрос сложнее. Сегодня Курту без малого шестьдесят лет, работает на карусельном станке и считается одним из лучших токарей. Трудно представить, что однажды ему придется уступить место молодому коллеге. Но ведь придется. То, что легко получается теперь, будет трудно через пять — десять лет. Управлять пенсионеру станком, который стоит несколько сот тысяч марок, нелегко. Ну а если отказаться от своей специальности — что дальше? Какое дело найдут ему на заводе, который он отстроил с первого камня? Вечный вопрос: кем быть? В шестьдесят лет на него ответить, оказывается, не легче, чем в восемнадцать. Так мы и не пришли к общему решению. Но, вижу, Курт задумался, задал ему каверзный вопрос. Что ж, спешить не следует, время еще есть. Теперь Курт на многое посмотрит иначе. Может, и найдет дело по рукам.

Зато следующий пункт он принял без всяких оговорок. Махнул рукой как отрезал: пиши «нужно». Курт живет на третьем этаже. Дом новый, пятиэтажный. Один из тех, что появился на окраине Шверина, когда еще только расчищали площадку под будущий завод. С Региной они первыми справили новоселье и были безмерно рады, когда сменили старый домишко на современную квартиру. Правда, дом этот по нынешним понятиям не ахти какой роскошный — без лифта, «мусоропровода» во дворе, да и с планировкой не все удалось. Но кто тогда об этом думал?

Сегодня Курт без труда одолевает три этажа, будет ли ему под силу на седьмом десятке? Городской совет предлагает встать на очередь в обменное бюро. Возможно, к тому времени, когда подойдет пенсия, появятся приемлемые варианты. И с едой оказывается не так все просто. Сейчас Курт обедает в заводской столовой. Завтрак готовит сам — чашка кофе, бутерброд, — на ужин запасается пивом и сосисками. Нелегко. Но будет ли так всегда? В ГДР более 200 тысяч пенсионеров получают горячие обеды. Некоторые, если недалеко от дома, ходят в свои заводские столовые. Предприятие берет на себя часть расходов. Другие обедают в клубе «Фольксolidаритет». Если вам трудно оставить квартиру, то доставляют обеды на дом. Последний вариант кажется Курту фантастическим. Понять его можно. Нелегко представить, что наступит в твоей жизни момент, когда каждое движение будет даваться с трудом. Твое настроение зависит от того, как легко ты одолел путь от квартиры до заводской проходной. Верно, что о старости думать нелегко. Помимо всего сказывается определенная инерция времени: старость всегда была синонимом безысходности.

И все же думать о ней следует. Не только тем, кто рано или поздно вступит в пенсионный возраст, сия чаша не минует никого. «Старость тогда катастрофа, — пишет профессор Зигфрид Айтнер, — когда она застает человека врасплох». Иоганнес Бингер, с которым я познакомился в клубе на Либиштрассе, признался, что подумывает и о своем восьмидесятилетии. Сам переоборудовал ванну в душ, укрепил на стене несколько ручек. Маленькая скамеечка на лестничной площадке годится уже сейчас, когда приходится без отдыха подниматься на второй этаж.

— Рано или поздно пожилой человек оказывается перед выбором: заранее позаботиться о мелочах или оказаться беспомощным в будущем.

Понятно, психологический фактор в таком возрасте играет свою роль. Когда пожилой человек приходит в поликлинику и жалуется врачу, что никогда прежде не болел и вот теперь... — верный признак: старость его застала врасплох. Профессор Айтнер категорически против того, чтобы будить у пациентов иллюзии.

— Старость имеет свои болезни. Нет лекарств против старости. Нельзя позволять себе сосредоточиваться на болезнях и проводить годы в поликлиниках.

Психологическая подготовка — один из разделов широкого эксперимента, который в ГДР называют «переход к старости». Первыми его начали проводить в Шверине, потом в Карл-Маркс-штадте, Дрездене и Лейпциге. Цель его не только морально подготовить человека к пенсии, но, что особенно важно, заранее создать все условия для активной старости. На каком этаже будет жить Курт Вольф, где он будет питаться — вопросы не частные. От этого в значительной степени зависит, как долго он будет работать, а значит, сохранять связь со своим коллективом.



ГДР сегодня одна из самых «старых» стран мира. Но рядом с этим в ГДР добились высшей занятости пенсионеров в производстве. Более 600 тысяч стариков не оставили своей работы. Это 7 процентов всех трудящихся республики. Тут есть свои объективные условия. Немецкая социалистическая республика входит в первую десятку промышленно развитых стран мира, а по численности населения стоит в Европе на одном из последних мест.

В нынешней пятилетке объем производства должен возрасти почти на 400 миллиардов марок. Экономисты считают, что понадобится дополнительно без малого 300 тысяч человек. Притом что в производстве уже занято почти 98 процентов мужчин и 87 процентов женщин. Останется человек на своем рабочем месте, получив пенсию, или предпочтет копаться в собственном саду и коллекционировать марки — вопрос в условиях ГДР чрезвычайно важный. В течение многих лет тут ведут глубокую и постоянную работу, с тем чтобы включить пенсионеров в производственный процесс. Не так все просто, как кажется. При полном единодушии подход к проблеме оказывается разным. Руководитель предприятия заинтересован сохранить опытного рабочего, последний, получив пенсию, тоже не рвется заточить себя в четырех стенах собственной квартиры. И все же многие сдают трудовую книжку. Во Фрайтале на сталеплавильном заводе имени 8 Мая я был свидетелем, как начальник цеха уговаривал сталевара повременить с пенсией. Последний не возражал, расставаться с заводом ему не хотелось, но решение не переменял.

— Ты меня тоже пойми. Тридцать лет отработал — половину в ночную смену. Это сейчас автоматика, а ведь начинал я, когда первую печь под открытым небом задули.

Позже я пересказал разговор директору Хайнцу Миттагу. Он отреагировал неожиданно:

— Прав сталевар, а предложить ему мне сегодня еще нечего.

Сколько проработает пенсионер, зависит не только от того, какую ему предложат работу, но еще в каких условиях он работал до этого. Профессор З. Айтнер в одной из своих книг вспоминает, как сразу после войны обследовал в Магдебурге на заводе тяжелого машиностроения несколько десятков рабочих. «Многим из моих пациентов не было еще и пятидесяти, но выглядели они стариками», — заключает ученый.

Геронтологи утверждают, что сейчас в ГДР около 20 процентов пенсионеров имеют здоровье выше среднего, примерно 50 процентов считаются практически здоровыми. Вопреки прежним представлениям «старик» не равнозначен понятию «инвалид». Интересно, что только 4 процента пенсионеров свой уход с производства мотивировали ухудшением здоровья. Показательно и другое — треть пенсионеров, оставшихся на работе, объяснили свое решение материальными соображениями. 66 процентов опрошенных заявили о своем желании сохранить связь с коллективом, быть активными в старости. Упрощенный подход к проблеме «хочешь работать — оставайся» мне представляется необоснованным. Хорошо, если ты бухгалтер или занимаешься сборкой несложных приборов; а если ты шахтер или сталевар? Правда, и тут время вносит свои коррективы. Во Фрайтале мне показали недавно пущенный цех. Мало он похож на обычный сталеплавильный цех. Двое рабочих, которых по старинке называют сталеварами, управляют печью. Где-то там, за толстой стеной печи, бушевала раскаленная до нескольких сот градусов сталь. Сталевары нажимали кнопки, иногда заглядывая в объектив, похожий на микроскоп. Думаю, что когда придет время уходить им на пенсию, они задержатся в цехе еще на несколько лет. Не случайно в последние годы в ГДР на текстильных и полиграфических предприятиях доля работающих пенсионеров возросла до 20 процентов. А ведь до недавнего времени они считались трудными отраслями. В трудовом кодексе, который два года назад был принят в ГДР, записано, что каждый руководитель обязан создавать специальные рабочие места для пенсионеров. Курт Вольф только еще размышляет, какой специальности отдать предпочтение. Но многие его коллеги, которым пришла пора оформлять пенсию, осваивают профессии наладчика, ремонтника, инструктора по технике безопасности. На швейной фабрике в Пистерице создали специальный цех модной одежды. Пожилым работницам трудно поспеть за конвейером. Но у них есть то, чего не хватает молодым коллегам, — опыт, мастерство. В новом цехе шьют небольшие партии модной одежды. Вы-

ше количества ценится качество работы, чистота отделки, точность кроя. Ведь на изделия подобной категории устанавливаются цены выше ширпотребовских.

Наблюдения показывают: те, кто уходит на пенсию с завода, редко возвращаются обратно. Эксперимент, который проводят сейчас в республике, ставит своей целью нивелировать резкость перехода от трудовой деятельности к пенсии. Примечательно, что вопросы материального и социального обеспечения не являются решающими. Останется ли пенсионер на производстве — этот вопрос зависит от многих, казалось бы второстепенных, обстоятельств. Из 500 опрошенных 400 человек считают, что все зависит от условий будущей работы. Нужна не просто работа, но интересная работа! 194 человека свой ответ поставили в прямую зависимость от жилищных условий, распорядка и режима труда. Большинство пенсионеров хотели бы приходиться на завод на час, а то и на два позже. Другие хотят работать полный день, но только четыре раза в неделю. Желания вполне закономерные. Удовлетворить их не так легко. Вот почему в Лейпциге на заводе имени С. М. Кирова на эту пятилетку разработали концепцию «подготовки к старости», которая охватывает практически все заводские службы. В Магдебурге на ряде предприятий составили планы создания рабочих мест для пенсионеров.

Рассказывают, что когда пожилого рабочего спросили, почему он уходит на пенсию, тот не задумываясь ответил:

— Надоело на электричке ездить.

— Но ведь десять лет же ездил,— удивился мастер.

— Потому и ухожу, что десять лет ездил.

Этот эпизод пересказал мне обер-бургомистр Бернбурга Крафт Вазем. Вывод напрашивается сам собой. Проблему занятости пенсионеров можно решить, только подключив к ней все заинтересованные стороны. Ведь если пенсионер оставил завод, это еще не значит, что он не хочет работать или нет ему дела по рукам. Вспомните: первое, о чем хотели знать составители вопросника,— останется ли Курт Вольф на заводе? Если нет, можно подыскать работу поближе к дому и не с таким жестким распорядком. Уже сегодня треть всех занятых в сфере обслуживания Берлина — люди, перешагнувшие пенсионный возраст. Не в пример производству, где человек уступает свое место автоматике, служба быта становится все более «многолюдной» отраслью. Уже в этом году около 6 процентов выпускников средних школ ГДР должны влиться в сферу бытового обслуживания. По сравнению с другими отраслями народного хозяйства тут хроническая нехватка кадров. В ГДР стал совершенно обычным делом пенсионер, работающий приемщиком в химчистке или прачечной, занятый в мастерской по ремонту бытовых приборов или стоящий за прилавком магазина. Трудно представить Лейпцигскую ярмарку без пенсионеров. Дважды в год — весной и осенью — распаивает ярмарка свои двери. В такие дни на улицах Лейпцига бывает тесно от гостей. Встретить, разместить, обслужить огромное количество приезжих помогают опять-таки пенсионеры. Им в первую очередь обязан Лейпциг своей славой города отличного сервиса.

Я вспоминаю, как однажды московский журналист, приехав в Берлин, ошарашил меня вопросом: «А где же старики?» Сказал ему тогда, как скажу сейчас: «Они работают!»

### НОВОСЕЛЬЕ В СЕМЬДЕСЯТ...

Давно собирался в Зуль, да все не получалось. Лежит он в стороне от накатанных маршрутов. Вот и волна туристов докатилась сюда позже, хотя достопримечательностей ему не занимать. Война пришла в Зуль в самом конце, не изменив его веками сложившегося облика. Двадцать семь лет назад стал город центром самого маленького округа ГДР. Теперь что ни год — поднимаются новые кварталы и улочки, мощенные булыжником, уступают место асфальтированным проспектам. Граница между прошлым и настоящим становится все резче и контрастнее. За спиной современного отеля горбятся домишки, крытые черепицей. Старая ратуша, считавшаяся прежде самым большим зданием, вполнину меньше выстроенного универмага. Даже памятник зульскому кузнецу не поражает никого своими размерами.

Новый город растет стремительно, не сливаясь с прошлым. Старый тюрингский

городок постепенно отходит на задний план. При въезде в Зуль стоит, прилепившись к горе, несколько домишек. Тут делают знаменитые зульские ружья. Мастера украшают их чекалкой по эскизам, созданным два века назад. На другом конце города с заводского конвейера сходят пахнущие краской мопеды «Зимзон». Все вместе называется народным предприятием по производству мотоциклов и охотничьих ружей.

Старый Зуль с его кособокими домишками, путаньми улочками доживает последние годы. Это ясно. Другого выбора у архитекторов нет. Каждый метр площади на учете, воевать с горами еще не пришло время, слишком дорого обходится.

Гертруда Тиле, секретарь окружного комитета «Фольксолидаритет», выкладывает на стол свои расчеты. 103 тысячи пенсионеров в Зульском округе, почти половина одиноких. Как-то воспримут старики новый Зуль, обживутся ли в нем или останутся чужаками нового города? Когда Елена Бехер вернула ордер на новую квартиру, Тиле сама к ней поехала, уверенная, что переубедит ее. Действительно, старушка не спорила, кивала согласно, когда Гертруда Тиле перечисляла преимущества новой квартиры, но переехать отказалась:

— Пока я здесь, мне старость не страшна. Тут все меня знают, что случится — каждый принесет воды. Уж если переезжать, так со всеми вместе.

Напрасно Тиле говорила, что до соседей еще не дошла очередь, что нет возможностей поселить их в одном доме, — Бехер не отступилась. Теперь она говорит, что разговор этот значил много. Когда-то считалось: вот построим новые дома — и все заживут счастливо. Но счастье, оказывается, надо тоже дифференцировать, отмеряя его точно, как лекарство, — каждому свое.

— Что-то мы, кажется, нашли, — говорит Гертруда.

В самом деле нашли. Не проходит и месяца, чтобы в газетах не писали о зульском опыте. Едут сюда гости за опытом со всех уголков республики, и Гертруда уже потихоньку поругивает Зиглинду Вольф, корреспондентку еженедельника «Вохенпост», рассказавшую о «файерабендхайме», построенном в Зуле. Не первый он в ГДР. Но в Зуле разработали по нынешним временам оптимальный вариант. Конечно, можно назвать «файерабендхайм» по-нашему домом престарелых или домом ветеранов. Но мне кажется, в ГДР нашли более удачное название. Когда шахтеры поднимаются из забоя, они желают друг другу «файерабенд» — свободный радостный вечер после трудового дня. «Файерабендхайм» — это дом, где живут люди, для которых наступил праздничный вечер их жизни. Что же особенного в доме, что поднялся несколько лет назад в самом центре новостроек на Шварцевассерверге? Шесть этажей, 70 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. На первом этаже клуб, на последнем палата для больных. Внешне дом мало чем отличается от обычных домов для престарелых, что возникли в разных концах республики. Но речь в данном случае идет не только о наборе удобств. «Файерабендхайм» в Зуле как нельзя лучше соответствует нынешним представлениям о старости и стилю жизни наших пенсионеров. Тут мне хочется для сравнения рассказать о доме ветеранов, который построили на окраине Берлина семь лет назад.

Я еще помню, как летом мы ездили туда гулять. В редкие зимние дни, когда землю покрывал нестойкий пушистый снег, сюда устремлялись сотни лыжников. Раз в два часа прогромыживал трамвай и каждый раз уходил полупустым. Трудно было найти более тихий и застойный уголок в окрестностях столицы. Надо ли удивляться, что именно тут заложили первый «файерабендхайм». Архитекторы были молодые, недавние выпускники институтов. Они подошли к проекту из собственных представлений о старости, учли и предусмотрели десятки трогательных мелочей, но просчитались в главном. Помню, когда я приехал сюда впервые и вместе с директором Хайнцем Фритче ходил по коридорам нового дома, меня не оставляло ощущение, что попал я в больницу. Было что-то однотипное в дверях, окрашенных в белый цвет, блеклых обоях, мягких ковровых дорожках, которые глушили каждый шаг. Даже обилие цветов, специальных скамеечек на лестничных переходах раздражало своей заданностью. Ведь не беспомощные старики и инвалиды должны были тут жить. Но как бывает в подобных случаях — мысль промелькнула и забылась. Сам по себе дом был роскошный, и он поразил воображение первых новоселов. Заявлений было много, но, как и во всех других случаях, преимущественным правом пользовались старые коммуни-

сты, антифашисты, ветераны труда — те, кто на своих плечах поднял и отстроил немецкую социалистическую республику.

Новоселье было радостным, шумным. Фритче обладал неистощимой фантазией и придумал десятки сюрпризов. Но постепенно ушла праздничность первых дней, наступили будни. Вот тогда особенно резко проявились просчеты проекта. Когда спустя несколько лет стали застраивать Вайсензее, Фритче пошел в магистрат. Его просьба сдвинуть новостройку поближе к «файерабендхайму» удивила многих.

— Вы представляете, что будет, если ваш дом окажется в центре жилого массива? Старикам нужен покой, тишина.

— От тишины устают, как от одиночества.

Так впервые архитекторам, да и самому Фритче пришлось расстаться с представлениями, которые складывались годами. Покой и удобства, замкнутость и тишина не делают старость лучше. Как бы ни был хорош дом, нельзя старого человека изолировать от жизни. Трудно понять, но если старик сам сел в трамвай, сам доехал до магазина и купил пачку сигарет, он испытывает особое чувство удовлетворения. Сам съездил, сам купил! К тому же человеку нужна смена обстановки и смена окружения. Недаром говорят, что среди молодых и старики себя чувствуют моложе. Исключительность положения — отдельный дом на окраине, — мелочная опека, если она продиктована и лучшими побуждениями, угнетают пожилого человека. Так что если говорить о зульском примере, то успех его прежде всего в том, что с самого начала здесь стремились создать нормальную рабочую обстановку. Гертруда Тиле категорически запретила носить персоналу халаты, хотя штатных работников не так и много.

— Персонал должен быть так обучен, чтобы он не все делал для пожилых людей, но помогал им самим делать все для себя.

Помимо клуба, в подвале дома есть небольшая мастерская. Пенсионеры получают регулярно заказы от соседнего предприятия. Не было случая, чтобы жильцы подвели своих шефов. Помимо морального удовлетворения, работа в мастерской служит материальным подспорьем. Кстати, Гертруда Тиле всячески поощряет, если старики поддерживают связи со своими предприятиями. Эрих Нешель по сей день работает в типографии — каждый день три часа. На двери у него медная табличка: «Дипломированный инженер...» Эту табличку он взял с прежней квартиры, в которой прожил больше сорока пяти лет. Семь лет назад овдовел. Когда пришло время переезжать, долго раздумывал — трудно было расстаться с квартирой, со всем, что наживалось годами, что составляло суть жизни, будило воспоминания. Ведь старый диван, часы, кресло, стол, за которым когда-то собиралась вся семья, для старого человека значат немало. В Зуле не спешили оборудовать комнаты новой мебелью, но позволили это сделать самим жильцам. Каждый обставил ее на свой вкус, по собственному усмотрению.

И маленькую кухню с электроплиткой они внедрили тоже не без умысла. Есть столовая, где каждый может обедать, завтракать, ужинать. Но представьте простую ситуацию — к вам пришли гости. Вместо того чтобы ходить с чайником по этажам, вы сами сварили кофе. Бывает, что соседи, устав от столовой, собираются вместе, готовят завтрак. Конечно, не обходится без нареканий. Гертруду пугали, требовали гарантии: а вдруг случится пожар? Гарантии в таких случаях давать трудно. А кто может дать гарантии, что старики не устанут от шума городского и не попросятся на окраину? Есть здесь свои минусы, хотя плюсов больше. Старики не вырваны из жизни — сел на трамвай, поехал в кино или театр, встретился с родственниками или сослуживцами. У них под боком магазин и парикмахерская. Зульский «файерабендхайм» широко открыл свои двери. Помимо жильцов, тут ежедневно обедают до 40 пенсионеров, живущих по соседству. Они приходят вечером в клуб послушать доклад или посмотреть телевизор. Дважды в неделю участковый врач Грабман ведет прием. Удивляется: стариков приходится чуть ли не силой заставлять пройти медицинский осмотр.

— Времени нет, — объясняет Эрих Нешель.

Думаю, что для тех, кто регулярно ходит сюда, переезд в «файерабендхайм» не будет катастрофой. Скорее наоборот — желанным решением. Не случайно папка с заявлениями на столе Гертруды Тиле растет год от года. В последнее время в округе

построено еще четыре «хайма», а количество желающих сменить место жительства возросло втрое. Но при всем том можно ли считать «файерабендхаймы», даже в зульском варианте, идеальным решением проблемы? Гертруда Тиле отвечает отрицательно. Не может существовать единого магистрального решения на все времена.

— Мы должны считаться, что с каждым годом меняется не только возрастная структура пенсионеров, но и представления о старости.

В прошлой пятилетке в ГДР построено более 30 «файерабендхаймов» на 10 тысяч человек. До нынешнего года должно было добавиться еще 30 тысяч мест, одновременно строятся «флегехаймы» — для стариков, которым необходим постоянный медицинский уход, — «воонхаймы», «апартаментхаузы». К клубам «Фольксолдартет» в новых районах добавились «трефпункты» — места встреч пенсионеров. В отличие от клубов тут старику предлагают широкий набор бытовых услуг. Есть химчистка, прачечная, мастерская мелкого ремонта. Если можешь, сделай все сам, не можешь — тебе помогут. Профессор З. Айтнер считает, что в ближайшие пятнадцать лет на долю «файерабендхаймов» и «пфлегейхаймов» должно приходиться от 4 до 5 процентов строительства, 6 процентов уйдет на строительство обычных домов с квартирами для стариков — «воонхаймы» и «апартаментхаузы». Но большая часть пенсионеров, видимо, останется в собственных квартирах. С годами, возможно, соотношение изменится. Социологи, медики и архитекторы ГДР уже заглядывают в 2010 год, пытаясь представить поколение пенсионеров, которым сегодня еще только тридцать лет.

Было время, когда новые жилые кварталы обживали молодожены, родители оставались в старых квартирах или окраинных домишках. Теперь пенсионеров в современных жилых районах — до 10 процентов. Большинство из них живут отдельно от детей. С годами доля такого рода одиноких стариков будет увеличиваться. Это связано с определенной материальной самостоятельностью пенсионеров, широким жилищным строительством. Фактор одиночества приобретает все большее значение. Из 3,5 миллиона стариков 70 процентов в ГДР одинокие. Конечно, свою отрицательную роль сыграла война... Но известно другое — что женщины живут дольше мужчин. Вступив в восьмой десяток, большинство оказываются вдовами. Профессор З. Айтнер пишет, что одиночество — один из самых отрицательных факторов, влияющих на старость. Замечено, что одинокие люди стареют быстрее тех, кто живет в семье. Можно ли это отнести на счет потерь цивилизации? Английский историк Петер Ласлетт утверждает, что в XV веке во Флоренции, по тем временам крупном городе, обычная семья выглядела так же, как и сегодня: отец, мать, двое детей. По сведениям Международного общества геронтологов, 65 процентов детей в США «ежедневно или почти ежедневно» видят своих родителей, Дании — 62, Англии — 69, Венгрии — 73 и в ФРГ — 67 процентов. Распространенное представление, что в XX веке связи детей и родителей ослабевают, не находит подтверждения. Просто родители наши стали более самостоятельными в своей старости. Они уже не хотят, как прежде, делить свою жизнь с взрослыми детьми и нянчить внуков. У них есть все условия иметь собственную жизнь, которая отвечает их представлениям. Немцы говорят о своих отношениях с детьми — «внутренняя близость через внешнюю дистанцию».

Все, что делается в ГДР для пенсионеров, делается не для того, чтобы скрасить их старость. Забыть бы нам это слово! Ничего не надо скрашивать, как и приукрашивать. Старость по-своему красива, интересна, как любой другой возраст.

Берлин—Шверин—Зуль.



---

---

# В МИРЕ ИСКУССТВА

Е. КИБРИК



## ВСЕГДА ОТКРЫТИЕ\*

**П**редыдущие годы надо мной довлел идеал — хорошо нарисовать, и невольно это воплощалось в рисунках, одинаково усердно проработанных во всех деталях. Сейчас мне это казалось холодным, мертвенным. Я хорошо помню свою постоянную мысль тех дней: «Пусть будет плохо нарисовано, лишь бы было живо». Этими словами я как бы снимал с себя филоновское заклятье, леденившее мои предыдущие работы. И, между прочим, стал рисовать лучше.

Рука моя начала все более свободно и смело рисовать, подчеркивая главное, опускающая ненужное, открыто и непосредственно выражая чувство, темперамент, нетерпение художника, сообщая темп (как говорит Н. В. Кузьмин, очень мною уважаемый) рисунку.

Может быть, можно сказать и так: я пытался соединить свое понимание формы, выросшее на изучении итальянского Возрождения, с ее пластикой, ясностью ее устройства — конструкции, — и живой, свободный набросок, в котором такого совершенства добились Дега, Тулуз-Лотрек, а прежде всего Оноре Домье, которого я полюбил особенно сильно.

Я очень важное значение придавал максимально глубокой продуманности и целого и всех деталей и в то же время смертельно боялся рассудочной сухости.

Мне во что бы то ни стало хотелось, чтобы в конечном счете моя работа была исполнена легко, непринужденно, но без потерь, чтобы легкость сочеталась с точностью.

Иногда я десятки раз браковал литографии, прежде чем удавалось сделать так, чтобы каждый штрих был на месте, необходимый именно здесь и именно такой. И одновременно нужно было, чтобы он производил впечатление нанесенного невзначай разошедшейся, ничем не связанной рукой.

«Кола Брюньона» я делал по ночам, иногда садясь работать часов в 10, 11 вечера и до 8 утра.

Это забываемые, ни с чем не сравнимые часы. Постепенно затихают все звуки городской жизни. Засыпают трамваи, автомобили, засыпает весь дом. Тишина. Какое-то время еще еле-еле просачивается радиомузыка — кто-то еще не спит. Затем умолкает и она. Это были самые вдохновенные часы. Спит весь огромный город. Ничто не может случиться. Никто неожиданно не придет, не зазвонит телефон. Один я, мне кажется, не сплю, голова у меня становится ясная, воображение работает четко, часы бегут незаметно.

Весь пол комнаты постепенно покрывается скопанными рисунками. Это я быстро начинаю, бракую и, бросив недорисованное, начинаю вновь и вновь.

Мне необходимо, чтобы каждое прикосновение литографского карандаша было живым и увлекательным. Чтобы мои герои двигались, думали и чувствовали.

Иногда, когда мне кажется, что я начинаю рисовать скованно и сухо, я беру монографию о Домье и в который раз ее перелистываю. Свежий ветер идет с этих страниц. Вихрь чувств движет рукой художника, свободной и точной. И как бы побывав под освежающим душем гения, я с новыми силами начинаю сначала. И постепенно линия и штрих становились живыми, непосредственными и свойственными моему чувству.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

На этой работе я понял, в частности, что для того, чтобы изобразить движение, мало изобразить динамическое положение фигуры, и только. Нет, нужно одновременно дать ясно почувствовать предыдущее положение фигуры (что-то от него всегда сохраняется) и то, которое, вероятно, последует. Поэтому я, обратившись к натуре, никогда не ставил ее в ту или иную позу, а, объяснив ей задачу, приглашал ее «сыграть» эпизод, наблюдая, как в жесте, в позе проявляется внутреннее состояние человека.

Так у меня сложилась своя система работы с моделью, в процессе чего мне открылся целый ряд весьма важных для меня вещей.

Прежде всего психология жеста. Я понял, что недостаточно передать жестом то или иное состояние человека — горе, радость или просто ходьбу. Нужно, чтобы в жесте отражались не только типичные черты этого состояния, но чтобы, кроме правдиво идущего человека, была его «походка», то есть индивидуальное выражение типического. И радость, и горе, всякое чувство каждым человеком выражается по-своему — не только завися от его характера, но и от его возраста, телосложения и т. д. Ведь что ни человек, то неповторимый, уникальный случай. И только наделив своего героя индивидуальностью в поведении (а не только во внешности), можешь создать живой образ человека.

В действительности много пластически случайного, в искусстве его не должно быть (этим прежде всего искусство отличается от фотографии).

Искусство стремится проникнуть в существо предмета и обнаружить его внутренние законы. Оно должно не копировать жизнь (фотография), а трактовать ее смысл. Одним словом, искусство не терпит случайностей.

Примерно эти мысли возникали у меня в процессе работы над «Кола Брюньоном».

Психология жеста. Я увидел, что малейшее изменение жеста придает ему другой смысл, другой оттенок. И в поисках точного жеста я тогда, и всегда позже, множество раз браковал сделанное, пытаюсь найти все более убедительное решение задачи.

Сказанное относится к трактовке отдельно взятой фигуры. Но оно полностью относится и к трактовке взаимоотношения фигур между собой, к их контактам и контактам героев и среды. И в первую очередь к построению сюжета в целом.

Но это касается уже проблем будущих работ, так как во время «Кола Брюньона» я еще не мог решать пространственных задач, а ограничивался, как правило, первоплановыми фигурами. Эта серия кажется мне серией, посвященной характерам. Изображать события я стал много позднее...

Каждый художник складывается по-своему.

Я сознательно старался не повторяться ни в чем, и прежде всего точкой зрения (физической) на своего героя.

Это очень трудное дело — создав облик героя, делать его неизменно похожим на самого себя, легко узнаваемым, рисуя его в разных положениях — в профиль, анфас, в три четверти, со спины, глядя на него и сверху и снизу, — как этого требует композиция. Дело в том, что каждое положение не только сохраняет черты героя, но и обнаруживает в нем нечто новое.

Я во что бы то ни стало хотел создать действительно живой, обозримый со всех сторон образ Кола, проводя его не только через разные положения, но и через разные психологические состояния, позволяющие глубже и многостороннее проявить его характер, различные его черты. И неизменно я старался сделать все это легко и свободно. Для меня это было непросто, так как у меня всегда была потребность в форме плотной, весомой, материальной и определенной. В отличие от предыдущих работ, перегруженных, как мне казалось, формой, я стал обращать внимание на оперирование паузами — не заполненным формой пространством листа.

Вообще стремление к тому, чтобы соединять содержательность с лаконизмом исполнения, было моей постоянной заботой. Сделав композицию, я начинал удалять из нее все, без чего можно обойтись, — этим путем достигалась особая значительность того, что оставалось в композиции.

На протяжении последующих десятков лет работы меня не раз одолевала настойчивая потребность все более освобождать духовную, эмоциональную сущность композиции от громоздкости ее предметного воплощения. Я стремился к преобладанию выразительного над изобразительным.

Постепенно усложнился первоначальный замысел. Начинал я с того, что задумал сделать 14 трехцветных литографий к 14 главам повести. Пятнадцатым рисунком был фронтиспис.

Три цвета — черный, серый и кирпично-красный — возникли как цвета рисунка углем и сангиной, типичного для эпохи Возрождения.

Потом мне захотелось начать каждую главу небольшим черно-белым рисунком рядом с заглавной буквой...

Для того чтобы объединить технику этих черно-белых рисунков с цветными, я стал делать их тоже литографиями, но на крупном и остром зерне, с тем чтобы после уменьшения масштаб зерна совпал с точкой, лежащей в основе цветных литографий.

Когда я сделал их несколько, мне в издательстве говорят (а издательство было уже другое, вновь созданный в конце 1934 года Гослитиздат, куда перешли портфели ликвидированных мелких издательств, в том числе и «Времени»): «Зачем вам уменьшать рисунки? Поместите их в виде фронтисписов к главам — благо и темы их фронтисписные». «Верно. Мне это не приходило в голову... Так установилась окончательная конструкция издания.

С Гослитиздатом, с его руководителями у меня сложились очень хорошие отношения, и они во всем шли мне навстречу. Прежде всего это сказалось в самом для меня главном — в системе оплаты. Я жил только на свой очень скромный гонорар. Издательство согласилось, вернее, директор его согласился на то, что я буду сдавать свою работу по рисунку, а издательство будет ее тут же оплачивать (иначе я совсем не смог бы работать).

И второе, не менее важное, — сроки. Тогда иллюстрации выполнялись только за два месяца. Так работали все без исключения иллюстраторы, и на этот же срок был заключен наш договор.

Я же умудрился работать над «Кола Брюньоном» полтора года. В издательстве увидели, на что уходит мое время. Они ведь охотно приняли бы к печати мои первые же варианты рисунков, а я, продолжая работать, улучшал и улучшал их, правда за тот же гонорар... Поэтому договор мне неоднократно продлевали.

Всю жизнь мною руководила страсть к совершенству, а оно, это проклятое совершенство, уходило от меня все дальше, так как мой идеал становился все недостижимее для меня. Честно говоря, удовлетворение давали только некоторые быстрые этюды с натуры. Работал полтора-два часа, и нечто получалось. Даже как будто бы больше, чем затраченное время...

Весной 1935 года я работал над головкой Ласочки, прелестной девушки с вишенками в зубах.

Я рисовал ее ночь за ночью, и чем дальше, тем меньше она меня устраивала. Я приходил в отчаяние. Наконец на литографском камне три варианта: Ласочка, залитая солнцем, она же с лицом наполовину в тени и в третьем варианте с косою вокруг шеи. Я накален, уже вне себя от бесконечных поисков. Печатник накачивает краску на камень, снимает оттиск, я смотрю и говорю ему: «Опять не вышло», перечеркиваю рисунок иглой и направляю камень в шлифовку... Только отхожу от литографского станка — и, очевидно, теряю сознание от боли, так как прихожу в себя, уже лежа на полу... Руки, ноги двигаются, а шевельнуться не могу — поясница как будто перебита. (Это так совпало, связи с Ласочкой никакой не было.)

«Скорая помощь» на носилках доставила меня домой, и месяца полтора я лежал неподвижно, пока начал двигаться (болезнь проявлялась подобными приступами целых три года).

Пока я лежал, образ Ласочки отодвинулся, перестал стоять перед глазами как недостижимый идеал, и в конце болезни я попросил товарища сходить в литографскую мастерскую и поискать единственный оттиск с тремя рисунками.

К счастью, оттиск сохранился. Смотрю — что за черт, все три головки вышли, а повторить их я уже не в силах...

Пришлось с этого оттиска механическим путем делать фотолитографию.

Из газет я узнаю о приезде Роллана в СССР, и неожиданно приходит письмо из Москвы от Ромена Роллана — он приглашает приехать к нему с иллюстрациями (я их



ему еще не посылал). Остановился Роллан у Горького на его даче в Горках, под Москвой.

А я еле передвигаюсь, опираясь на толстенную палку. Еду, меня поселяют в первом номере в гостинице «Савой» (ныне «Берлин»), и там я снова сваливаюсь, волнуясь ужасно — ведь как неудачно все получается!

Но через четыре дня я снова опираюсь на палку и с директором московского Гослитиздата Николаем Никандровичем Накоряковым отправляюсь на Спиридоньевку, 2 — в «штаб-квартиру» Горького.

...Итак, мы подъезжаем к большому двухэтажному дому, белому с желтым, окруженному парком.

В вестибюле нас встречает Роллан с женой Марией Павловной. Знакомимся. Накоряков, представляясь Роллану, рассказывает, что издательство выпускает «Жан-Кристофа», точно копируя отличное парижское двухтомное издание книги со множеством иллюстраций — гравюру на дереве Мазереля, старого друга Роллана.

Роллан быстро говорит: «Они мне не нравятся. Везде эта круглая рожа Кристофа...» Накоряков беспокоится: «Вы возражаете?» «Нет, напротив, я очень рад, я просто говорю, что мне они не нравятся...»

Позже я узнал от Марии Павловны, что Роллан, очень добрый человек, был мучительно правдив, особенно в оценках искусства, и, как ему это ни бывало иногда тяжело, никогда не кривил душой.

Мы всей компанией идем в комнаты Роллана с богатой мебелью, высокими креслами, обитыми белым шелком с крупными, вытканными на нем цветами.

Наступает ужасный для нас с автором момент. Я, естественно, волнуюсь, но вижу, что волнуется и Роллан. Понятно почему — сейчас он ожидает увидеть что-то нестерпимо чуждое своему любимому прославленному «Кола», и это придется ему мне сказать, в то время как его так сердечно принимают в моей стране, с таким почетом.

Я все это вижу по его напряженному лицу — бледному, с ясными голубыми глазами под короткими пучками бровей. У Роллана пшеничного цвета мягкие волосы и такие же подстриженные усы. На нем черный, застегнутый на все пуговицы костюм, белая рубашка с высоким глухим крахмальным воротником, на плечах длинный, почти до полу, темно-серый мохнатый плащ с длинным мягким ворсом. (Мне кажется, что с этим плащом на плечах он изображен во весь рост на рисунке Мазереля.)

День жаркий, но Мария Павловна спрашивает, не затопить ли камин (я немного понимаю по-французски)...

Я как в тумане, ничего не видя от волнения, раскрываю папку и достаю рисунки... Роллан их нерешительно берет, смотрит и вдруг преображается с глубоким вздохом облегчения. Он улыбается, глаза его сияют добрым светом, и он говорит, говорит...

Мария Павловна, сидя на ручке кресла Роллана, переводит тихим голосом слово в слово, синхронно. Идеально переводит.

Роллан меня ошеломляет похвалами. Он говорит, что представлял себе все по-иному, но так, как я сделал, так могло быть, и сейчас он видит свою книгу моими глазами и горячо меня благодарит. Говорит, что книгу трижды иллюстрировали во Франции (в том числе его друг Габриэль Белло), но что мои иллюстрации лучше. Особенно он восхищается Ласочкой и все меня спрашивает: «Как вы смогли это сделать?» Подумав, он советует в книгу поместить тот вариант, где ее лицо наполовину в тени, говоря, что здесь она «более деревенская», а ему просит подарить вариант, где она освещена солнцем. Я делаю ему на литографии дарственную надпись. Затем он приглашает остаться обедать, а вечером быть на приеме.

Я спрашиваю разрешения сделать с него набросок, он дает, приглашает приехать завтра в 11 часов утра на Спиридоньевку. (Я не решился и не поехал, так как не был уверен, выйдет ли хороший рисунок. Бог его знает, может ведь не получиться...)

Идем в большую белую столовую. В окна и сквозь стеклянную дверь видна веранда. У входа налево белый рояль. Посередине комнаты длинный обеденный стол. На стенах почти ничего нет. Только большая картина Нико Пироманишвили — сидящий на земле кинто. Сидя рядом с Горьким, спиной к веранде, я все время смотрел на нее.

Картина очень красивая, написана просто, тремя красками — черной, серой и желтой охрой, в обычном для Пирсоманишвили колорите.

Помню, как одновременно с нами в дверь слева, в глубине комнаты, быстро вошел Горький. Совсем такой, каким его все знают по портретам. Немного сутулый, с ежиком русых волос, окуающий в разговоре, с папиросой в длинном мундштуке.

Роллан знакомит нас, и мы усаживаемся за стол. Во главе стола Мария Павловна, в сером платье, очень тактично, незаметно себя ведет, виртуозно переводит все разговоры — налево Роллану, направо Горькому.

Горький сидел прямо, ел удивительно изящно, изредка поднося ко рту еду, но не занимаясь ею, обратив все внимание на беседу.

Напротив него Роллан стал меньше ростом, сгорбившись, как бы поникнув на своем стуле.

Рядом с Ролланом, напротив меня, Накоряков, дальше домочадцы — жена сына Горького, ее дети, воспитатели.

Я глядел на двух знаменитых стариков и думал: сказать или не сказать Горькому о том, что двадцать один год назад я начал свой путь в искусство с его портрета?

Решил не говорить, подумав о том, что ловкий человек на моем месте мог подобное и сочинить, чтобы расположить к себе всеильного писателя. А может быть, Горькому было бы забавно узнать историю с его портретом? И он не заподозрил бы меня, как мне мнилось. Кто знает...

Вносят и уносят еду. Бросается в глаза гигантское деревянное блюдо почти нетронутой пышной кулебяки, исчезающее из столовой. Очевидно, здесь готовят еду в количествах, позволяющих накормить любое число неожиданных гостей...

Я ничего не ем. Во-первых, врачи не советовали есть ни острое, ни жирное, ни помидоры, ни жареное, не пить вина, а я боюсь, чтобы не было фокусов со спиной, а кроме того, мне не до еды, я смотрю то на Горького, которого вижу впервые, то на Роллана напротив, я совсем не знаю, как вести себя со знаменитыми стариками, и решаю ничего не говорить и по возможности не двигаться, чтобы не оплошать.

Но Горький видит, что я ничего не ем, да еще хожу с палкой, и спрашивает меня, почему это, чем я болен, и настойчиво советует обратиться через его посредство к знаменитому Сперанскому. (Я вспоминаю, как желчный и язвительный Юрий Николаевич Тынников серьезно рассказывал сочиненный им анекдотический монолог Горького о чудесах Сперанского, в которого Горький свято верил: «Понимаете, говорит, переходя улицу, задумался, и вдруг — бац! — трамвай, и отрезает мне голову. Конечно, зовут Сперанского. Тот мажет шею простым столярным клеем, приставляет к ней голову, и — что вы думаете? — вот хожу как ни в чем не бывало, и следов не осталось...»)

Я так ошеломлен непривычной обстановкой, что разговор за столом доносится до меня как бы издали, обрывками. Роллан почему-то начинает рассказывать о старинных бургундских монастырях. Перед ним бутылка с бургундским. Как истый француз, он обедает обязательно с вином и предлагает его мне. Я отказываюсь.

Горький в ответ говорит о красоте русских старинных монастырей и староверческих скитов, где есть еще много рукописных и первопечатных книг. С дальнего конца стола кто-то подает реплику о том, что на базаре заворачивают покупки в страницы подобных книг.

— Вот-вот, — говорит Горький, — пока не поздно, нужно спасти книжное богатство. Возьмите, — говорит он Накорякову, — небольшую кучу денег и отправьте надежных людей в места, где сохранились еще бесценные книги.

Тут за спиной Роллана Мария Павловна показывает жестами Горькому (кладет голову на сложенные руки как на подушку), что Роллану пора спать, и уводит его.

Горький спрашивает мои рисунки, рассматривает их, осведомляется, что сказал по их поводу Роллан. Сам ничего о них не говорит. Потом уходит спать и он. До вечернего приема еще несколько часов. Накоряков после обеда уехал в Москву и обещал прислать за мной машину.

Я выхожу из дома. Вокруг него розарий. К кустам роз привязаны таблички с их латинскими названиями.

Как в Ботаническом саду.

Вхожу в парк, брожу по нему. Спина болит — я еще ни разу после болезни не был столько времени на ногах.

Никого нет, ложусь на скамейку, смотрю на небо.

Снова перехожу из аллеи в аллею.

Сталкиваюсь с Марией Павловной, идем вместе, беседуем.

Я все думаю об утренних событиях, и постепенно мною овладевает сомнение в искренности роллановских похвал.

Может быть, это любезность гостя? Я спрашиваю Марию Павловну, не говорил ли ей что-нибудь о моих рисунках Роллан, — мне хочется знать, как на самом деле ему понравились иллюстрации. Она заверяет меня в том, что Роллан всегда говорит правду, чего бы это ему ни стоило, да и, кроме того, он уже лет десять отказывается кому-либо позировать, а мне сразу же согласился.

Нет, говорит она, ему мои рисунки действительно очень понравились. «Да вы слышали, как он сразу же заявил о том, что ему не нравятся иллюстрации Мазереля, а Мазереля он очень любит, это его старый друг».

Наконец вечер, и собирается масса народа. Приходят писатели. Всеволоду Иванову Горький кричит: «Привет парижанину!» (тот только что вернулся из Парижа). Иванов отвечает Горькому в тон: «Привет москвичу!» Приходят работники ЦК комсомола во главе с Косаревым. Приходят кинороботники, метростроители, делегация армянских пионеров.

Столовая набита людьми. Роллан и Горький сидят за столом, ведут прием. Говорят речу. Режет слух неправильное «Кола Брюньон» в речи Косарева. Я пристроился наискосок против Роллана и делаю с него набросок.

Потом гости группами фотографируются с Горьким и Ролланом. Все компаниями, только я один и никому не знаком. Как-то тоскливо было, я забился за колонну и не снимался со стариками, а жаль. Теперь жаль.

Наконец наступил час приезда моей машины, и я уехал.

После знакомства Роллан начал мне писать особенно тепло, вызвал на соревнование в изучении языка. Я, мол, писал он, начинаю учить русский, а вы беритесь за французский, с тем чтобы при следующей встрече мы могли обойтись без переводчика.

Теперь уже я ему посылаю рисунки по мере того, как их делаю.

К весне 1936 года я все закончил и вдруг получаю от Роллана статью, предисловие к изданию, посвященное моим иллюстрациям (под названием «Кола приветствует Кибрика»).

Бегу сломя голову к переводчику «Кола Брюньона», прославленному Лозинскому, и он при мне переводит статью Роллана.

Она блестяще написана и необычайно лестная для меня по содержанию. Между прочим, присутствуя при переводе, я убедился в том, как это сложно — переводить, даже для такого исключительного мастера, как Лозинский. Например, Лозинский показывает мне слова Роллана «les gaillards dessins».

«Les gaillards» взято как прилагательное и означает смотрите что, говорит Лозинский. Берет словарь и показывает: «gaillard» — парень перекачи-поле, рубаха-парень и т. п. — непереводимо. Как он ни бился, а кончил тем, что написал банальное — «жизнерадостные рисунки».

Книга вышла из печати. Я послал ее автору и получил от него подробную рецензию на мой труд. Что меня особенно, по-настоящему порадовало, это то, что между прочим он писал: «Ваш Кола на стр. 80 очень похож на моего отца, хотя мой отец так же худ, как Ваш Кола тучен».

Дело в том, что еще в начале моей работы К. А. Федин говорил мне, что, по словам Роллана, прототипом Кола был отец писателя. Не скрою, я очень горжусь тем, что угадал нечто весьма существенное в облике моего героя. Интуиция художника на многое способна...

Но для меня история с «Кола Брюньоном» имеет и порядочную ложку дегтя.

Звонит мне после выхода книги некий товарищ, называется ленинградским корреспондентом газеты «Советское искусство» и сообщает, что газета просит меня написать статью об обстоятельствах встречи с автором «Кола Брюньона». Я ему отвечаю, что все связанное с этим настолько лестно для меня, что я не могу сам об этом писать.

«Но мне вы можете показать переписку с Ролланом и рассказать о встрече с ним?» — спрашивает он. «Конечно, пожалуйста, вы вправе от своего имени говорить что хотите».

Ко мне приходит молодой человек, и я простодушно показываю ему и рассказываю все, о чем он просит.

Через короткое время выходит газета со статьей на второй полосе под жирным заголовком «Кола доволен» и за подписью: «Художник Евгений Кибрик. Ленинград».

Статья развязная, пошлая. Мне кажется, автор подобной статьи может вызвать только презрение. Я навсегда запомнил такие фразы: «Скажу без ложной скромности, мне удалось довольно удачно проникнуть в замысел автора (!)», «У Алексея Максимовича (запросто, не у А. М. Горького) мы встретились с Ролланом» и т. д.

Я просто не знал, что мне делать. Написал письмо в редакцию, объясняя, что она была введена в заблуждение и что этой статьи я не писал.

Мне даже не ответили. Бросился в представительство других газет, и «Известия» согласились поместить мое письмо, но тут началась эпопея со снятием папанинцев со льдины, и долгое время газетные полосы были заполнены этим материалом, а потом уже было поздно.

Так и осталась статейка «Кола доволен» во всех главных библиотеках страны как свидетельство того, что смолоду я был самодовольным, развязным и хвастливым мальчишкой, и мне это нестерпимо обидно.

Много раз мне удавалось изъять цитаты из этой статьи из рукописей, попадавших ко мне в руки, но я не равнодушен и к тому, что будет и после моей смерти. Вот так-то...

«Кола Брюньон» имел успех, но я его как-то не понимал. Прежде всего я не понимал отношения к нему товарищей-художников. Как раз в момент, когда я закончил иллюстрации к «Кола Брюньону», начала готовиться выставка ленинградской графики.

Я принес в Союз художников всю серию своих иллюстраций в комнату, где заседало жюри. Было очень оживленно. Художники во главе с Н. А. Тырсой шумно обсуждали представленные работы.

Я разложил свои литографии на полу. Все замолчали. Костров на коленях внимательно и молча начал близко разглядывать мои работы. Наконец кто-то промолвил: «Берем все?» И этим дело кончилось.

Через год я прочитал в газетах, что моим иллюстрациям присуждена серебряная медаль на Всемирной выставке в Париже. Но и по этому поводу никто мне не сказал ни слова, и я как-то не реагировал на это дело. Только мой отец был доволен — шутка ли, в Париже...

Сразу вслед за «Кола Брюньоном» я взялся за иллюстрации к «Тиле Уленшпигелю».

Когда я вспоминаю свою работу над «Тилем Уленшпигелем», она неизменно видится мне прямым продолжением иллюстраций к «Кола Брюньону». Да так оно и есть.

Дело не только в том, что «Тиле» я делал непосредственно вслед за «Кола Брюньоном».

Главное в том, что обе книги близки своим духом: обе они в одном ряду раблезианской литературы — сочной, объемной, по-озорному земной ренессансной литературы.

В обеих книгах герой положительный — прекрасный человек, не чуждый ничему человеческому, что после «Дон Кихота» так редко встречается в мировой литературе.

И «Кола» и «Тиле» я выполнял одной техникой — литографским рисунком, основанным на стремительной свободной линии и на светотени.

То, что я нашел для себя в «Кола», я укреплял и развивал в «Тиле».

В первую очередь свободный, непринужденный, динамический рисунок, где темперамент исполнения откровенно проявляется и ведет карандашом художника. Этот характер рисования я считал для себя достижением и всячески старался его не утратить. Я влюбился в смелый и точный рисунок. Делая литографии (а литографию нельзя стереть резинкой и исправить, лучше всего дважды не прикасаться к одному месту), я старался не терять энергию исполнения и в то же время быть точным и экономным, не допускать «графической болтовни».

Передо мной чистый лист корнпапира, литографской бумаги, и на нем я уверенно рисую мягким (обязательно мягким, им все можно сделать — и острую линию и сочное пятно) литографским карандашом. Каждое прикосновение карандаша должно что-то выражать — глаз, нос, складку, палец, прядь волос. Каждый поворот линии должен быть обязательным и сообщать нечто необходимое об устройстве формы.

Как это захватывающе — создавать на белой, чистой плоскости живую форму.

Но такое рисование требует серьезной подготовки.

Осмелиться так рисовать я могу только тогда, когда каждый будущий штрих мне заранее известен.

Поэтому я не жалею времени и усилий для того, чтобы найти, приготовить все детали будущего рисунка.

Все, что возможно, я стал рисовать с натуры.

Мне очень повезло. Мой старый друг, талантливый актер Федор Михайлович Никитин (сыгравший главные роли в картинах 20-х годов «Парижский сапожник» и «Обломок империи»), привел ко мне целую группу совсем молодых актеров театра «Новый ТЮЗ».

Им интересно было со мной — они говорили, что, разыгрывая со мной этюды, они работают по методу Станиславского.

Особенное внимание я стал обращать на то, чтобы в композиции не было ни одного инертного места, не необходимого для выражения моего замысла.

В первую очередь это относится к трактовке фигуры. В жизни бывает, что даже очень сильное чувство проявляется в чем-то одном, то ли в мимике, то ли в жесте.

В искусстве так, мне кажется, нельзя. Для того чтобы фигура была выразительна по-настоящему, нужно, чтобы все в ней обличало то чувство или состояние, которое я хочу изобразить. Конечно, при этом где-то в одном месте — в лице, либо в руках, либо иначе как-нибудь — сосредоточится кульминация выражения.

Но для того, чтобы фигура по-настоящему пошла или побежала, нужно, чтобы все тело участвовало в этом движении, чтобы, например, если даже закрыть ей ноги, осталось бы впечатление, что фигура идет или бежит.

Нельзя утверждать, что необходимо как можно больше деталей либо что их не надо совсем.

Деталь нужна постольку, поскольку она добавляет нечто существенное для характеристики предмета. Если ее убрать и останется чувство обеднения, потери чего-то важного для предмета, то, значит, эта деталь необходима, и сколько бы подобных необходимых, обогащающих характеристику предмета деталей ни вводить, никогда перегрузки не будет, возникнет лишь выразительная содержательность.

Я рисую фигуру Тиля, поющего песню гёзов, для одной из концовок.

Позирует мне совсем юный Павлуша Кадочников (позже маститый артист Павел Петрович).

На столе табуретка, на ней валик от дивана — все это лафет пушки, — на нем Павлуша в ночной рубашке и пижамной куртке, на ногах трикотажные кальсоны (у них те же складки, что и у средневековых узких трико), на нем плащ — полусброшенное с плеч одеяло.

Он поет заливчатскую песню из какого-то спектакля, постепенно входя в раж, увлекаясь, он явно чувствует себя на корабле, на пушке, на дворе идет XVI век... Хорошо, да не совсем — ноги не участвуют в песне. Наконец Павлуша начинает отбивать такт песни не только рукой, но и ногой.

Прекрасно! Я рисую лихорадочно быстро, стараясь ничего не пропустить из выразительных деталей.

В подобных набросках, когда нельзя терять ни минуты, мне очень пригодились филоновское рисование от частного и опыт театральные зарисовки. При этом я рисую не Павлушу с его типичным вздернутым носом и в костюме, который я описал, а Тиля Уленшпигеля: у него орлиный нос и на нем та одежда, которая полагается Тиллю.

В этом главная трудность задачи — глядя на подходящую чем-то модель, рисовать не ее буквально, а свой образ.

В результате получился один из лучших рисунков в серии, и его жалко стало

уменьшать в размер концовки, хотя в первом издании моего «Тилия» он воспроизведен именно концовкой.

Но в последующих изданиях этот рисунок стал страничным, а концовку я сделал другую.

Ламме, земной толстяк Ламме, добродушный, искренний и преданный друг Тилия, нарисован мной с талантливо позировавшего мне Бориса Сергеевича Коковкина.

Как мне интересно было работать с моими чудесными моделями! Перед началом сеанса в голове только самые общие, приблизительные наброски композиции. По мере того как я наблюдаю и рисую с натуры, замысел мой наполняется живой плотью, часто делает неожиданный поворот и оборачивается не предусмотренным мною образом. А я каждую минуту готов не упустить любую новую композиционную возможность, лишь бы она мелькнула передо мной. Вероятно, похожее самочувствие у охотника, идущего по лесу и готового немедленно выстрелить, чуть только покажется дичь.

Подобная работа требует снайперского рисования. Тут вялость недопустима.

А нужные для выразительности преувеличения часто даже необходимы.

В общем, то, к чему я стремился,— это сплав изучения и фантазии, помноженных на чувство, темперамент художника.

Впереди будут работы, в которых я ставил перед собой иные задачи — задачи не наброска, а капитального рисунка, построенного и обработанного. Но там были другие темы.

Но и в «Тиле Уленшпигеле» есть рисунки не набросочного характера, а более тщательно прорисованные — их темы более психологические, чем динамические.

Так, мне кажется, что один из лучших рисунков к «Тиллю» — это полустраничная иллюстрация, изображающая Тилия, Ламме и Неле на корабле гёзов.

Грустный Ламме сидит на палубе, скрестив ноги. Его нежно утешает Неле в костюме паж, а Тиль, лежа на борту за ними, ласково и насмешливо говорит: «Не грусти, мой сын...»

Весь рисунок прорисован очень тщательно и от этого нисколько не пострадал.

Мне весело вспоминать, как создавался рисунок «Обжора монах». Ко мне должен был прийти обедать Степан Каюков (он играет одного из трех товарищей в «Юности Максима»). Степан, Степа, Степка, как все его звали, любитель и поест и вышить, добродушный, грузный, почти один слопал все мясо от жареного гуся. На блюде остался только голый скелет птицы.

Его я и поставил перед Степой, а ему накинул на плечи купальный халат (ряса) и так и нарисовал его, пока он, осоловелый, облизывал жирный палец, держа нож в другой руке.

Таких эпизодов было немало в моей работе, и вряд ли нужно их много приводить.

Расскажу только один случай совсем другого порядка.

Мне нужно было сделать маленький, но очень ответственный рисунок — он не допускал ни малейшей фальши.

Тиль и Неле лежат обнаженные. Неле закинула руки за голову, Тиль нежно смотрит на нее, облокотившись на руку.

Этот рисунок требовал чистоты, целомудренной нежности, лишенной намека на эротику.

Я никак не мог нарисовать Неле — для женской фигуры у нее очень невыгодная поза, при которой уплощается грудь и обрисовываются ребра.

Мой товарищ обещает прислать мне прекрасную натурщицу (это единственный случай в серии «Тилия», когда я приглашаю натурщицу, — мне позировали все друзья и знакомые).

Но, предупреждает он, не пугайся ее, когда она придет, пусть она сначала разденется, и тогда сам увидишь...

Действительно, когда я открыл ей дверь, я ужаснулся лицу девушки, чудовищно обезображенному спекшимися шрамами. Да и фигура ее показалась мне топорной в самодельном платье.

Но когда я увидел ее обнаженной, у меня прямо дух захватило от невыразимой красоты ее фигуры, прекрасной, юной и гармоничной. Венера, да и только. Лишь

лицо и руки до локтей были так изуродованы, что больно было смотреть (у нее в руках разорвался примус...).

Но то, что мне нужно было, наконец удалось.

Иллюстрации к «Тили Уленшпигелю» делали два талантливых бельгийца — Фелисьен Ропс и Франс Мазерель, а кроме них, наш крупный иллюстратор-гравер Алексей Ильич Кравченко.

Бельгийцы, оба символисты разных поколений, заметно акцентировали мрачные, зловещие сюжеты «Тили». А. Кравченко — романтик — подчеркнул в своих иллюстрациях возвышенно-романтический элемент, присущий книге.

Я не смутился тем, что иллюстрирую «Тили» после них, потому что моя трактовка была иная — реалистическая и главным моим желанием было сосредоточить внимание на жизнеутверждающем начале «Тили Уленшпигеля», очаровавшем меня в этой книге прежде всего.

Иллюстрируя избранных классиков, всегда имеешь предшественников, но никогда это меня не смущало, так как всегда я был уверен в том, что если буду просто идти за своим чувством, нигде ему не изменяя, то автоматически сделаю нечто свое, а оно не может быть похоже на чье-либо другое. Нужно только не допускать ничего нарочитого.

А вот вопрос о художественном качестве того, что я делаю, всегда был для меня мучительным.

Отглядываясь назад, вижу, что всегда стремился к большему, чем то, что я в силах сделать. Поэтому чувство неудовлетворенности достигнутым сопровождало меня всю мою жизнь. Я всегда видел все недостатки своих работ, и это часто мешало мне определить их относительные достоинства. В поисках наилучшего решения постоянно делал много вариантов на одну и ту же тему и нередко выбирал в конце концов не самый лучший из этих вариантов, оставляя остальные в своем архиве.

Так и в «Тиле». Через двадцать лет после выхода в свет первого издания книги я нашел у себя несравненно лучший рисунок для переплета, чем тот, что дал в печать для первого издания.

С тех пор найденный мною вариант украшает переплеты последующих изданий, а их вышло много и в наших центральных издательствах, и в изданиях наших национальных республик, и за рубежом.

Я готовлюсь к «Очарованной душе». Работа в высшей степени трудная и вообще и для меня лично.

Действие происходит в первой четверти нашего века во Франции. В романе Франция довоенная, военная и послевоенная. Облик этих времен очень различен. Кроме того, изменяются герои — мужают, стареют.

Для меня особенно сложно то, что герои женщины — сестры Аннета и Сильвия, а я всегда предпочитал рисовать мужчин. Я начал свою работу над «Очарованной душой» с того, что поставил о ней в известность Роллана, послав ему одновременно только что вышедшего в свет «Тили Уленшпигеля». Привожу его ответ полностью:

«Дорогой друг! Я получил Ваше хорошее письмо и Вашу книгу. Я в восхищении от нее. У Вас подлинно большой талант. Я поражен его свежестью и воодушевлением. Он не повторяется. Ваш «Тиль» совсем иной, чем «Кола» (как это и следовало), и, кажется, Вам так же вольно и легко в одном из двух миров, как и в другом. Вы умеете находить верные типы и атмосферу. Главное, Вы счастливо раскрыли в книге ее весеннее лицо — лицо фламандской весны. Я думаю, что Де Костер был бы доволен. (Прелестны большие иллюстрации на стр. 40, 110, 188. Превосходна двухстраничная композиция 164—165. Совсем во вкусе старых фламандцев женщины у колыбели, стр. 15. Тиль с совой, стр. 11, прекрасен, хотя пейзаж позади более гористый, чем можно найти во Фландрии, но декоративное построение очень хорошее.)

А теперь нужно ли мне говорить Вам, как я радуюсь, узнав, что Вы собираетесь помериться силами с «Очарованной душой». Я совершенно уверен, что Вы сумеете отыскать типы и выбрать ситуации. Но вот общее оформление, атмосферу Вам несомненно трудно будет представить себе, не выдавши. Без сомнения, современные иллюстрации могли бы Вам помочь, и я их поищу, когда возвращусь во Францию, но найду

ли я то, что Вам нужно? Было бы гораздо лучше, если бы Вы смогли приехать во Францию на месяц: три недели в Париже, чтобы видеть город, людей и изучить библиотеки (в Национальной библиотеке, с директором которой я знаком, Вы смогли бы обратиться за сведениями ко всем иллюстрированным журналам и обозрениям того времени). Вы приехали бы на неделю ко мне в Везеле... Но позволит ли это ход событий? Кто из нас может предугадать, что произойдет завтра? Европа в руках безумца. Будем надеяться, что она сумеет наконец сковать его! С любовью жму Вашу руку. Передайте мой сердечный привет Вашим друзьям Николаю Черкасову и Арштаму.

Преданный Вам Ромен Роллан.

Я рассчитываю вернуться во Францию к 15 апреля (адрес: Везеле (Ионна), улица Сент-Этьенн), до этого числа я остаюсь в Вильневе».

Вскоре (было начало апреля 1939 года) меня пригласил приехать директор Гослитиздата Лозовский. Он спросил меня, писал ли мне Роллан, приглашая во Францию. Я подтвердил — да, писал. Писал он, оказывается, и Лозовскому, прося командировать меня в Париж в связи с моей работой над «Очарованной душой». Лозовский говорит, что сейчас момент напряженный. В течение ближайших двух месяцев, по его словам, решится вопрос о возможной войне с гитлеровской Германией. Сам Лозовский уверен, что 95 процентов за то, что война состоится. Правда, можете, говорит, рискнуть и поехать с группой писателей, направляющихся на Всемирную выставку в Нью-Йорк, до Марселя пароходом (о проезде через Германию не могло быть и речи). Я никак не хотел рисковать, и поездка отпала.

В библиотеке Академии наук (она оставалась в Ленинграде и после переезда Академии в Москву) я набрал целый грузовик французских и частично английских журналов, в первую очередь «Иллюстрасьон», взяв их комплекты за все первые двадцать пять лет XX века, и засел за их изучение.

Но самое главное — это образы героев. Есть такое выражение, которое часто бездумно повторяется, — «нет незаменимых». Я думаю, что в нем заключено глубокое презрение к человеку, в нем непризнание ценности личности человека. Этих «заменимых» людей можно легко и безнаказанно уничтожить — ведь каждого легко можно заменить, потери не будет.

Нет, все незаменимы, ибо каждый человек уникален — нет второго такого же, то есть может быть лучший и даже намного лучший человек, но второго такого же не найти.

Я очень люблю рисовать и писать портреты.

Я ведь по профессии физиономист и поэтому особенно остро чувствую признаки своеобразия в каждом человеке. Это своеобразие выражается не только в чертах его внешности, но и в чертах его характера, в его душевном складе. Они не существуют отдельно друг от друга, внешность и внутренний мир человека, который сквозит через его обличье. Когда я должен создать образ своего героя, я должен не только угадать его внешность, но и наполнить его признаками его душевного мира — все вместе будет тем, что в искусстве называется характером. Но характер, индивидуальность, не существует сам по себе, он всегда заключает в себе и черты широкой социальной группы людей, к которой относится эта личность, — черты типические. Характер всегда является частным случаем типа. Когда типическое сливается с характерным — тогда и возникает живой образ человека. Внимание только к типическому либо только к характерному в искусстве порождает схематизм в трактовке героя. Конечно, когда художник работает, он не рассуждает так откровенно теоретически. Он работает, руководимый своим чувством. Но это чувство может быть воспитано размышлением, а может быть и бездумным, поверхностным.

Искусство реалистическое и гуманистическое одушевлено вниманием и любовью к человеку, равнодушием к его судьбе, пытливым интересом к личности каждого человека.

Я множество раз задавался целью создать сложный и полноценный образ героя, его «портрет», таким образом, чтобы в одном даже лице, без жеста, без действия и обстановки, можно было прочесть много о герое помимо черт его внешности. Может быть, это можно назвать психологический портрет? Каждая деталь в этом случае должна быть точной, и тогда точен весь образ в целом. Одновременно он восприни-



мается простым и ясным. Такого образа Аннеты мне так и не удалось создать. Я никак не мог его уловить. А ведь мне предстояло не только определить портрет Аннеты, но и почувствовать его в развитии—действие романа происходит на протяжении двадцати пяти лет. Это срок большой, и человек, оставаясь самим собой, все время изменяется. Что-то исчезает в его облике, что-то прибавляется к нему. Это изменение происходит в высшей степени логически. Оно зависит не только от возмужания и старости, но и от того, что какие-то черты характера, не проявляющиеся вначале, со временем обозначаются все более явственно. Я привык иллюстрировать классиков. Когда в них глубоко вчитываешься, то явственно ощущаешь то, что автор видел своих героев совершенно конкретно, осязаемо. Это и обязывает иллюстратора и помогает ему, направляя его воображение по пути, предпрешенному автором. Чувствуешь точность, емкость и необходимость каждого слова. Это восхищает. Бывало в моей практике иллюстратора и другое. В 1937 году Борис Лавренев просил меня иллюстрировать сборник его рассказов. Внимательно прочитав их, я обнаружил, что писатель не был портретистом и представлял себе внешность своих персонажей весьма смутно и неопределенно, но ставил их в острые и выразительные, напряженно конфликтные положения. Герои его скорее только типы, но не характеры. Мне не удалась эта работа, она уступает другим моим иллюстрациям того времени.

Возвращаясь к Аннете. Она у Роллана то просто привлекательная широколицая девушка, мужественная и одухотворенная, то символ — то Юнона-тека, то Река (игра слов: фамилия Аннеты — Ривьер, что по-французски означает река).

Я никак не мог найти ей жизненный прототип, рисовал много разных моделей, ни на одной не останавливаясь. Человек неповторим, и тем более герой книги, но нечто близкое образу героя найти можно и даже нужно. Мне, по крайней мере. Это может быть даже какая-то одна, но важная черта образа. Она дает ту жизненную достоверность, без которой созданное воображением кажется мне сухо, условно, плоско. Кроме того, жизненное наблюдение позволяет наделить героя своей «походкой» — индивидуальной манерой поведения. Так или иначе, но Аннета мне никак не давалась, в то время как более земная Сильвия выделась с самого начала определенно и ее облик сложился почти сразу же.

Наряду с образами героев мне необходимо было найти и стиль всей серии, манеру исполнения, пластическую систему достаточно определенную, чтобы ее можно было варьировать в разных сюжетах.

Стиль в нашем деле определяется отношением к форме, цвету и пространству.

Иллюстрации к «Очарованной душе» нельзя было решать как конфликты характеров, подобно «Кола» и «Тилу». Роль среды в них должна была быть велика. А раз среда, то и цвет (в первую очередь как силуэт) и погружение формы в среду, в пространство.

Отсюда живописность этой серии, живописность, которую я впоследствии буду неоднократно применять. Так и не найдя пока точного образа Аннеты, я стал искать особенности будущей работы на сюжетах второстепенных — заставках, концовках, полустраничных композициях, — пытаюсь выработать литографскую технику сообразно своему чувству целого. Я сделал десятка два двухцветных литографий (черный и серый цвета), больше всего к первой книге, и несколько вариантов фронтисписа к книге «Мать и сын». У меня самого только что родился сын, и новые для меня сюжеты получали живую модель для наблюдения.

Во фронтисписе, который получался у меня то бытовым, то монументальным, замысел был, если можно так сказать, философский.

Мать вся ушла в своего ребенка, ребенок же живет своей пробуждающейся жизнью, его отношение к матери потребительское. Его обуревают инстинкты, и он отталкивает мать то в лицо, то в грудь, занятый самим собой, как бы старается оторваться от матери, пойти своей дорогой, хотя и не умеет еще ходить. В этом намек на будущее... Но, кроме литографий, я сделал и много эскизов страничных рисунков, они собирались мною в одну папку.

Долго мне не давался один сюжет, очень меня привлекавший своим лиризмом (лиризм — основная и новая для меня интонация всей серии).

Сестры. Аннета, заложив руки за голову, раскинулась в большом кресле. Сильвия болтает с ней, расчесывая длинные волосы, усевшись на подлокотнике Аннетиного кресла.

Пластические контакты, гармония ритмов никак мне не удавались. Наконец солнечным утром я неожиданно увидел всю композицию в целом и быстро, не отрываясь, начал и закончил рисунок. Поставил планшет с рисунком перед собой на стол и, как бы очнувшись, закурил и стал рассматривать, что получилось. Подумал: «Кажется, вышло наконец». Как гора спала с плеч.

В этот момент заговорил репродуктор, черная тарелка на стене моей мастерской. Я услышал, что сегодня, уже с раннего утра, началась война с гитлеровской Германией. Были подвергнуты бомбардировке наши города... Контраст внезапного страшного известия с солнечным, воскресным, тихим утром был ошеломляющим.

Я взял рисунок, крупными буквами поставил на нем дату «22 июня 1941 года» и положил его в папку к остальным эскизам. (Это единственный раз, когда я датировал свою работу, не было у меня такой привычки.) На этом окончилась для меня довоенная жизнь.

Когда в начале февраля 1944 года, после снятия блокады с Ленинграда, я вошел с бьющимся от волнения сердцем в свою промерзшую мастерскую (все эти годы огромное окно ее стояло без стекол — все они вылетели во время бомбежки), я увидел по середине паркета большую ямку. Очевидно, здесь долго стояли вода и снег. А в ней пашку с эскизами к «Очарованной душе». Ее, без сомнения, сбросило взрывной волной со стола. Эскизы сгнили. Уцелели лежавшие наверху, и прежде всего последний сделанный мною эскиз. Уцелевшие эскизы сейчас хранятся в Государственной Третьяковской галерее вместе с теми литографиями, что я успел выполнить. «Очарованная душа» так и осталась мною не закончена. Я не смог к ней возвратиться после войны.

...Таинственное это дело — искусство. Все в нем понятно — темы, сюжеты, обстоятельства творческого процесса, все, что его сопровождает, — кроме самого главного: как, почему в одном случае рождается нечто способное вызывать любовь и восхищение людей, а в другом случае возникает нечто безжизненное, оставляющее людей равнодушными.

Создать живой организм художественного произведения, устроенного по законам, которыми я его наделил, это все равно что создать мир в миниатюре.

Мне всегда казалось, что старая библейская легенда о боге, создающем мир, это легенда о художнике, создающем картину.

Перед ним чистый холст или лист бумаги, и он начинает с того, что проводит линию — горизонт, отделяющий небо от земли. Тем самым он определяет свою точку зрения, ибо горизонт — это место, где находится глаз художника.

Затем он определяет источник света — солнце либо луну и звезды.

Затем он создает среду — пейзаж, деревья, поля либо дома.

Место действия создано — теперь очередь за действием, и художник населяет свой пейзаж животными и наконец человеком.

Это самый нормальный творческий процесс, где все последовательно и неразрывно связано между собой. Конечно, бывает и иначе, когда художник не создает, а более или менее умело пользуется шаблонами из своей или чужой практики.

Опытный глаз это всегда видит, чувствуя нечто знакомое, даже прившееся, надоевшее. Ведь настоящее создание всегда ново, и чувство новизны неразрывно связано с настоящим искусством. В большей или меньшей степени настоящее искусство всегда открытие.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. Ф. КИСЕЛЕВА-ШУМОВА

★

## «С ДУШЕВНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ»

История возникновения моей книги «Люди с чистой совестью», как это ни странно, имеет прямое отношение к стенографии.

*П. Вершигора (из письма в Киевский литературный музей).*

С Петром Петровичем Вершигорой меня связывала давняя дружба. После войны я работал секретарем Котовского райкома комсомола Молдавии. В 1947 году Петр Петрович приехал на родину Котовского с намерением написать пьесу о легендарном комбриге, он даже название ей придумал — «Дуб Котовского». После этого мы встречались с Петром Петровичем нечасто. В последний раз я видел его в феврале 1963 года.

Я уезжал на продолжительную работу в Румынию корреспондентом «Правды». Приехал в знакомый дом в Лаврушинский переулок, нажал кнопку звонка квартиры 82... Петр Петрович шел на поправку после перенесенного тяжелого инсульта. Лежал он в библиотеке. Его окружало множество книг, нагромождения папок с подготовительными материалами для последующих томов огромного и единственного в своем роде научного труда «Военное творчество народных масс», первый том которого вышел в Воениздате в 1961 году. Рядом с кроватью специальная этажерка с экземплярами книги «Люди с чистой совестью» на многих языках.

— Посмотрите,— сказал он,— только что прислали экземпляр на испанском с Кубы, мне передали приглашение Фиделя приехать в Гавану... Вот немного окрепну и поеду...— Он прошелся рукой сверху вниз по этажерке со своей книгой, его узловатые пальцы касались разноцветных корешков с надписью на многих языках народов нашей земли: «Люди с чистой совестью»...

— А знаете ли вы,— вдруг сказал он,— что этой книги не было бы, если бы не Муся Шумова?.. Сколько раз пытался я найти ее, и все как-то не удается. Конечно, она уже не Шумова и не Муся, а Мария, наверное, по отчеству ее величают, а я так и не знаю, где она. А без нее не было бы ни книги «Люди с чистой совестью», ни всей этой этажерки...

Он улыбнулся своей удивительно мягкой, доброй улыбкой, от которой как будто и вся его знаменитая, уже изрядно поседевшая борода улыбалась. Больше Петр Петрович ничего не говорил о Мусе Шумовой, а я счел неудобным расспрашивать. Вершигора был скуп на слова.

— А это,— сказал он,— вам на память.— И протянул мне объемистый том книги «Военное творчество народных масс».

Читаю надпись: «Феодосию Константиновичу с душевным расположением. П. Вершигора». Промелькнула мысль — с душевным расположением относился этот человек ко всем людям, ко всему, что он делал...

Мы распрощались, а через несколько дней я уехал. Поезд Москва—Бухарест стоит в Кишиневе всего несколько минут, я едва успел купить газету, как он тронулся. В вагоне развернул «Советскую Молдавию». С третьей страницы улыбался Петр Петрович Вершигора в траурной рамке. Сообщалось, что он скоропостижно скончался 27 марта 1963 года...

На Северном вокзале в Бухаресте меня встретил корреспондент «Правды» с супругой. Евгения Дмитриевича Киселева я знал, его жену Марью Федоровну, невысокую круглолицую женщину, видел впервые. Они долго жили в Бухаресте и по случаю приезда смены устроили, как в этих случаях водится, обед в самом корпункте, где они прожили многие годы и где предстояло жить мне. Разговоры о передаче дел, о встречах в редакциях румынских газет, в Министерстве иностранных дел, расспросы о жизни в Москве — все это за время обеда. Однако мысль о смерти Петра Петровича не давала мне покоя. Как же это так? Ему ведь еще и шестидесяти лет не исполнилось...

— Чем-то вы удручены?— вдруг спросила Марья Федоровна.

И тут я не удержался. Я должен был поделиться своей печалью и, достав из бокового кармана «Советскую Молдавию», протянул ей газету:

— Умер очень хороший человек.

Марья Федоровна изменилась в лице, взяла газету из моих рук и тихо вышла из комнаты. Я никак не мог понять, что случилось. Не говорил ничего и Евгений Дмитриевич. Через некоторое время Марья Федоровна вернулась, глаза красные, лицо чуть-чуть опухшее.

— Вы его видели?—спросила она меня.— Он никогда не говорил вам ничего о Мусе Шумовой?

— Говорил... Как раз в день нашей последней встречи....

— Я Муся Шумова,— сказала Марья Федоровна.— Не удивляйтесь, пожалуйста...

...Со времени этого разговора прошло очень много лет. И совсем недавно Марья Федоровна пришла в «Новый мир». Она познакомила нас с историей создания книги «Люди с чистой совестью».

Феодосий ВИДРАШКУ.

#### МЕСЯЦ У КОВПАКОВЦЕВ

**Б**ыло это осенью 1944 года. Киевская киностудия вернулась из далекого-далекого города Ашхабада в родной пострадавший Киев. А города-красавца Киева, воспетого в стихах и прозе,— Киева не было. Развалины, камни, искореженные железные переплеты, великое кладбище площадей и улиц словно покрыто багрово-желтым кленовым покрывалом. Крепчатик, Подвальная, Владимирская, улицы Ленина, Карла Маркса, бульвар Шевченко были изуродованы минами и бомбами.

Киностудия — рядом с заводом «Большевик» на Брестском, киностудия, которая была гордостью киевлян,— разбита, загажена фашистами. Теперь пленные немцы в своих мундирах, офицерских и солдатских, понуро таскались по студии, убирая хлам, ремонтируя и окрашивая стены. А иногда снимались в фильме, играя самих себя. Для этого гримеры приводили в порядок патлатые головы, а режиссер тщетно убеждал сменить жалкую, угодливую улыбку на прежний наглый вид победителей и палачей. Увы, актеры из них не получались.

В это время режиссер Киевской киностудии, выпускник киноакадемии, до войны снявший свой первый фильм «Цветущая Молдавия», откуда сам был родом, Петр Петрович Вершигора бил немцев в полесских лесах. Слава о нем, командире 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ковпака, разнеслась широко. О нем рассказывали легенды.

Дирекция студии решила послать нас в партизанскую дивизию для сбора материала о партизанских делах и вообще о партизанской жизни. Нас — это режиссера Виктора Михайловича Иванова, только что вернувшегося из госпиталя после ранения под Сталинградом, они вместе с П. П. Вершигорой окончили ВГИК, были друзьями, и меня — ассистента режиссера. Я работала с П. П. Вершигорой над фильмом «Цветущая Молдавия» и хорошо помнила его. Милый, простой, всегда улыбающийся в свою шелковую бороду. Добрый. Но ничего от военного: ни выправки, ни интонаций в голосе. Очень штатский вид, даже чутьчку увалень с брюшком. И так хотелось увидеть режиссера Вершигору в новой профессии. Прославленный командир партизанской дивизии, генерал-майор!

Из Киева через несколько суток со всякими приключениями добрались мы до стоянки партизанской дивизии. Она расположилась в нескольких селах Вольнской и

Ровенской областей, у Дубенских высот. Командир дивизии Вершигора назначил нам встречу на семь часов.

...От Вершигоры мы возвращались в школу, куда нас определили на постой, поздно. Молча шли все еще во власти этого необыкновенного и простого, обаятельного человека, под впечатлением непостижимого переврощения.

Внешне он почти не изменился с тех мирных солнечных дней в Молдавии. Та же блестящая черная борода, мягкие линии шелковых усов, умные, всевидящие глаза и детски милая улыбка добрых губ. И это гроза фашистов, легендарный Борода! А вот фигура, осанка другие. Пропала полнота, пухлость, пропали ленивые движения увальня. Худоцав, подтянут. Какая точность, ловкость в движениях!

— Знал Петра Вершигору как талантливого актера, музыканта. Когда учился с ним в киноакадемии, угадывалось — будет выдающийся кинорежиссер. Теперь вдруг открылся военный талант полководца, стратега. И это еще не все... Таится в нем поэт и писатель... Непостижимо!

Было видно — Виктор Иванов потрясен этой встречей с давним другом, в котором нашел так много нового.

На пригорке показалась школа. В селе было тихо. Моросил монотонный дождик. Изредка доносились одиночные выстрелы. Ветер разогнал лохматые облака, выплыла большая желтая луна. Мы остановились. Вместо улицы — река, сплошное месиво, студенистая грязь...

— Пожалуй, будет по колено, — сказал Иванов.

И мы посмотрели на мои замшевые полуботинки, единственную обувь, которая у меня была. Вздохнув, он взвалил меня на спину, как куля в сорок восемь килограммов, и тяжело затопал по черной густой грязи. Слава богу, улица была не очень широка.

...В школе за партией при свете копилки я записывала сегодняшний вечер, все, что говорил Вершигора. Я поняла, что сейчас эта новая жизнь для него единственно возможная и живет он в ней полно, широко, чувствуя себя здесь как дома. И никакой другой жизни для него быть уже не может. Только эта! И до победы.

«Мне посчастливилось, я встретил на войне Ковпака и Рудневу, замечательных людей, военных гениев, и у них окончил свою партизанскую академию», — записывала я слова Вершигоры.

Дверь класса резко распахнулась. Выставились автоматы. За ними — трое партизан.

— Кто такие? Пароли!

— Мы только что от вашего командира Вершигоры. Вы знаете... — встал из-за парты Иванов.

— Па-ароль! — грозно сказал молодой, щеголеватый, выдвигаясь с автоматом вперед.

— Да бросьте вы, хлопцы. — Иванов шагнул вперед, одернул гимнастерку. Выпятив грудь, звякнул орденами.

— Па-а-ароль, кажу! — зловеще повторил партизан, щелкнул затвором.

— Девять-четыре! — выпалила я вдруг.

Меня словно осенило. Петр Петрович, смеясь, рассказывал: «Партизаны так про меня говорят: за нашего командира кто-то молится. Сколько раз смерть была рядом, а брала другого... Я сам диву даюсь. Ребята верят в мою счастливую звезду. Только считают меня суеверным. Узнали откуда-то, что люблю число 13. И часто пароль у нас 13...»

— Девять-четыре, — повторила я уже спокойно.

— Правильно. Пароль сегодня в сумме тринадцать, — разочарованно сказал щеголеватый. — Чого ж сразу не сказали!

Эх, не удалось погугать чужаков — было написано на лицах других. «Хорошо иметь стенографическую память», — подумала я про себя.

Ребята ушли, сильно хлопнув дверью.

— Чертовы сыны! Ведь прекрасно знали, кто мы, — злился Виктор Михайлович. — Влетело бы им от Руднева!..

«...Руднев, Семён Васильевич Руднев,— записывал я дальше слова Вершигоры.— Руднев — это явление, прекрасное явление. Все в нем гармонично сочеталось. Ум и характер, глубокая культура и горячее сердце. Он коммунист высшего толка, предан партии. Беззаветно любил родину. Мне кажется, так я представляю себе национально-героя. Так же — Ковпака, Сидора Артемовича Ковпака.

Они нашли друг друга и не расставались, связанные общим делом — борьбой за родину. А были совсем разные. Ковпак — колоритнейшая фигура, мудрый, добрый, с образной, простой речью. Руднев — блестяще образованный, кадровый военный, потомственный интеллигент. И внешне они отличались. Дед со своей знаменитой бородкой, клинышком, в просторных одеждах, часто с палкой. Был разведчиком в первой мировой войне, награжден двумя Георгиевскими крестами. В гражданскую служил у Чапаева. Бойцы любили Ковпака беззаветно. Однако говорили: «Ругает Дед сильно, мат у него большой». Руднев — воплощение интеллигентности, культуры. Красив на редкость. Смуглое правильное лицо, черные усы. Всегда подтянут, строен, даже элегантен. В партизанском отряде, где такой разношерстный народ, что при команде «заправиться!» поправляют кто галстук, кто шляпу, кто пулеметную ленту на штатском пальто, кто подвязывает постолы, и столь же разношерстен этот народ по привычкам, комиссар Руднев добился почти воинской дисциплины. Бойцы любили Ковпака и Руднева, верили им и шли за ними.

Генерал Руднев был прост, добр с подчиненными. Подойдет к костру, покурит из общего кисета, попробует печеную картошку, пошутит. Расскажет что-то полезное, важное. Всех знал по имени-отчеству и по прозвищу. Расспросит о близких. А еще любил чтения у костра. Есть у нас паренек с феноменальной памятью. На память шпарит, как ребята говорят, «Анну Каренину», рассказы Чехова, пьесы Штейна...

Руднев слегка картавил после ранения. В бою прострелили ему горло. «Г'евога!» — выходило у него. Помню совещание перед боем за Делятин. Руднев в своем черном кожаном пальто, возбужденный, красивый, стоит на пригорке...

— Товарищи, многие из нас останутся в Делятине навсегда! Но ничего нельзя сделать! Город нужно взять. Другого выхода нет!..

Время было примерно 8 вечера, когда мы вышли на исходную позицию. Я шел рядом с Рудневым. Было темно. Но ветер разогнал тучи. Выплыл тонкий месяц. Руднев оглянулся.

— Да, брат, будет нам плохо!

— Отчего, комиссар?

— Я увидел месяц через левое плечо.

И он улыбнулся.

А я вспомнил наш недавний с ним разговор: «Не боишься ты завтрашнего решительного боя, Петрович?» Я сказал: «Да, боюсь. Одной вещи боюсь — чтобы не ранили в ноги» (потому что у меня обоза не было). «А разве ты не сможешь?» Приложил руку к виску, сделал жест, как бы стреляя. А сам — напряженное внимание. «Не знаю, — говорю. — Еще не приходилось. Так что не знаю, смогу или не смогу...»

Тоскую о Рудневе... Бывают же такие люди на земле... Погиб он 4 августа 1944 года. Через несколько дней в новом бою пал смертью храбрых сын Руднева — Радик. Было ему 18...»

Когда у командира дивизии генерал-майора Вершигоры выдавался свободный вечер, мы приходили к нему и допрашивали его расспросами. Впрочем, рассказывал он охотно и рассказчик был редкостный. Да и чему тут удивляться, сказались его прежние профессии — актер, музыкант, режиссер.

Иногда я стенографировала тайком, держа блокнот на коленях под столом. Я боялась спугнуть рассказчика, боялась, что исчезнет непосредственность, прелесть устного рассказа. Напрасно боялась. В хате обычно было полутемно. Горела керосиновая лампа либо коптилка. Как-то Петр Петрович сказал:

— Кладите, Маша, тетрадь на стол и подвиньте лампу. Так будет удобнее.

И мы все рассмеялись. В тот вечер я стенографировала не таясь.

«...Было это в начале войны. Нашим рейдом с востока Украины партизанское движение перенеслось на правобережье, на западные ее окраины. Мы приблизились к

тем местам, где до 1939 года проходила западная граница с Польшей. Впервые я увидел линию наших укреплений. Нам, гражданским людям, в мирное время на разные лады повторяли: «Граница на замке, ключ от нее в надежных руках». Мы стояли с Рудневым возле одного из таких «замков». Несуразная бетонная громада, втиснутая в Пинские болота. И вправо и влево от нее сотни таких же дотов. Зачем? Зачем втащили их в эти болота, а не поставили вдоль шоссе и железных дорог, по которым гитлеровцы рвались в нашу страну? Помню, Руднев сказал это так горько. А что я мог ему ответить, тогда еще штатский человек, увидевший дот впервые? Я мог только заснять его на пленку в назидание потомкам.

— А все-таки отсель грозить мы будем шведу! Здесь будет город заложен! — воскликнул вдруг Руднев.

Все эти гибельные места немцы объединили в один округ — гебитс. Голова округа — гебитс-комиссар — выбрал себе резиденцией городишко Лельчицы. Охраняли его батальон полиции и комендатура жандармерии. Нужно было разгромить это гнездо и создать тут партизанский край.

Только тогда нам и в голову не приходило, что Лельчицами мы решали судьбу карпатского рейда Ковпака, рейда под Ковель Федорова, судьбу центра соединений, которые возникли через полгода в Житомирской, Каменец-Подольской, Ровенской областях. 24 ноября 1942 года мы заняли большое белорусское село Стодоличи в 12 километрах от Лельчиц. В ночь на 27 ноября 1942 года по хорошей санной дороге двинулись в направлении Лельчиц. Операция была разработана на полное окружение и уничтожение противника. К 12 ночи начался бой. Продвижение по местечку шло успешно. Большую часть городишка мы заняли быстро. Но затем атака стала захлебываться. Противник оказывал все большее и большее сопротивление.

Двухэтажный дом жандармерии, опутанный по забору проволокой, каменный дом гебитс-комиссариата, а дальше парк на небольшой возвышенности, здание тюрьмы — все это немцы обороняли с ожесточением.

Ковпак с командного пункта бросил в бой артиллерию. Пошла в бой наша 13-я рота. Первым делом следовало выбить противника из двухэтажного здания жандармерии. Десяток снарядов из 76-миллиметровой пушки сделали это. Мы ворвались в здание, странно напомилавшее универмаг. Повсюду навалены лыжи, белье, вино.

Я из углового окна выглянул на улицу. Особняк гебитс-комиссариата заняла наша рота. Там громоздились те же самые вещи. Только вина и водки было гораздо больше. Гебитс-комиссар, видно, был не дурак выпить и хранил целые винные погреба. У особняка гебитс-комиссариата улица кончалась, на холме начинался парк, обнесенный оградой, за ней окопы.

У парка стояла кубической формы каменная громада с бойницами, торчали стволы, и противотанковая пушка обстреливала улицу. Противнику некуда было бежать, и он яростно отстреливался. Наша атака снова захлебнулась. Не из-за трусости партизан. наших людей в этом никто никогда не мог упрекнуть. Атака захлебнулась, потому что часть партизан занялась шелковым бельем, мешками с сахаром, винными бутылками. В моем подчинении было лишь 18 человек 13-й роты. Я крикнул Бережному:

— Обходи! Давай! Атакуй парк справа!

Затем влетел в коридор гебитс-комиссариата. Там было полно народу.

— Выходи все! На улицу и вперед!

Люди недовольно огрызнулись. Терять время было нельзя. Я выпустил длинную очередь. Ребята удивленно пригнули головы. На них посыпалась штукатурка. Командир роты со вздохом командовал:

— Выходи! Выходи вперед, так вашу мать!..

Атака началась снова. Из окон гебитс-комиссариата выскакивали на штурм парка бойцы 5-й и 6-й рот. 13-я обходила противника по огородам. Я с 3-й шел прямо на каменную глыбу. В несколько минут все было кончено. Я добежал до пушки. Возле нее валялись пять или шесть немцев. А из окопов, битком набитых трупами, наши хлопцы вытаскивали живых фашистов. Каменная глыба, которую немцы превратили в дот с гнездами для пулеметов, оказалась пьедесталом памятника Ленину. Фигуру Ленина немцы сняли.

Через несколько минут после атаки над нами закружились два немецких истребителя. Видно, летчики ничего не могли понять. Мы самолеты обстреляли, и они быстро ушли на юг.

Вскоре со стороны Житомира к немцам подошло подкрепление: две бронемашины, около 300 пехотинцев на автомашинах. Атаки немцев мы отбили. Автомшины сожгли. Это было в конце ноября 1942 года. В эти дни Красная Армия под Калачом прорвала фронт. Началось окружение группировки Паулюса под Сталинградом».

С Героем Советского Союза начальником разведки 1-й Украинской дивизии немцем Робертом Клейном, безукоризненно говорившим по-русски, Виктор Иванов и я познакомились... на телеге. Мы ехали в одну из рот. Там был партизан-поэт, автор походной песни ковпаковцев. Клейн сопровождал нас. Дорога шла полем. По краю поля тянулся лес, густой, мрачный в этот серенький, с морозящим дождем день. На телеге, кроме партизана-возницы, нас было трое: Клейн, Виктор Иванов, я.

— Пригнитесь, заройтесь в сено, — сказал Клейн, наклоня наши головы.

Мы послушно улеглись, зарывшись в душистую влажную траву.

— В этих лесах бандеровцев еще не всех переловили. Много потайных схронов. Постреливают исподтишка, подлецы. Недавно в обозе двух ребят поранили.

Клейн тоже улегся. Лицо его было рядом. Смуглое, волевое, мужественное. А глаза синие-синие. Про такие говорят — как васильки. И прядь волос из-под серой кубанки золотисто-белая, как у деревенских ребятишек. Петр Петрович нам рассказывал о его неправдоподобно дерзких набегах на немецкие заставы и посты. Однажды, в форме гитлеровского генерала с орденами и крестами и шофером-партизаном в немецкой форме ворвался он на роскошной машине к немцам, играя роль разгневанного начальника. Распушил всех, накричал и увез с собой испуганного офицера, которому велел взять с собой папку с донесениями.

А потом Клейн потешался, увидев в машине помертвевшие глаза немца. Тот смотрел на руки шофера — художественная татуировка: сердце, пронзенное стрелой, и надпись «Ваня + Таня».

Звание Героя Советского Союза досталось этому человеку, как говорят, на острие ножа. Чуть-чуть — и нет головы.

Впервые я видела Героя Советского Союза так близко. В синей, под цвет глаз, бекеше, отороченной серым барашком, нарядный, элегантный. Казалось, он играет в войну. Ни тревоги, ни страха, ни суровости. «Воевать в партизанах надо весело, легко, озорно...» — так однажды сказал Вершигора.

В хате, куда мы втроем вошли, командир роты допрашивал пойманного в лесу мужичка.

— Бандеровец?

Мужичок стоял, переминаясь с ноги на ногу, дрожа. Одежда измята, в свалывшихся волосах застряла солома. Лицо нездорово-белое. Такой цвет бывает у проросшей в погребе картошки.

— Не... От них прятался. Полгода в схроне хоронюсь. Жинка выдала. Харчи принесла...

— Пошли. Тут неинтересно, — сказал Клейн.

На соседней улице в каменном сарае уже несколько дней содержались пленные полицаи. Дверь сарая раскрыли, перегородили оглоблей. Пленным принесли еду жены с ребятишками. Часовые не препятствовали.

Один из пленных, рыжий полицай с красным лицом, уныло гудел, обращаясь к своей бабе, принесшей ему сало и хлеб:

— Ты за мене вже не думай... Як буду живой, то вернусь... А як...

Часовой добавил:

— ... то шукай собі другого.

— Можешь вже шукать, — злобно сказала рыхлая белесая баба в теплом платке.

— Повисять твого... скільки добра у людей забрав...

— А твій комсомольців фашистам указав...

И бабы сцепились.



— Охолойте.. Що посьнешь, то я пожнешь.. Каждному свое,— сказала спокойно старуха с ребенком на руках.

— Начальство едет! — крикнул кто-то.

Часовые автоматами затолкали пленных в сарай. Дверь закрыли. А бабы не расходились.

— Партизаны разгромили жандармское гнездо в Буйновичах. Полицаев взяли в плен. Хлеб раздали ограбленному населению,— объяснил нам Роберт Клейн.

В просторной избе, где временно расположился штаб, в конце длинного некрашеного стола возвышалась немецкая пишущая машинка с русским шрифтом. Подстелив на скамью все что было можно и даже чей-то планшет, я перепечатывала партизанскую песню, принесенную мне автором.

— Напечатайте это заявление. По возможности сохраните стилистику. Хлопцы прослышали, что дивизию расформируют. Вот и соображают, как жить дальше.

Вершигора протянул мне листок, явно вырванный из немецкой алфавитной книги. Четким почерком было написано:

«Герой Советскому Союзу Командир 1-ой Украинской партизанской дивизии генерал-майор Вершигора  
от бывш. младш. лейтенант Кульсейтов Мукана  
Заявление

Уважаемая драгоценный командир дивизия, прошу Вашего распоряжения в том, что я хочу помогать скорее ликвидации гитлеризма. Я будем бороться против врага за уничтожение гитлеризма до последней капли крови.

Товарищ командир дивизия, дайте мне возможность. Я сам прошу добровольно — отправите меня на фронт. Я хочу еще боевать.

За хорошее служиво представлен к правительственной награде 1-ой степени Отечественной войны. Я хочу еще на себя покупать вино.

Товарищ командир дивизия, прошу разобрать мою просьбу — отправить на фронт.

Писал бывш. младш. лейтенант 2-ой батальонной разведки  
Кульсейтов Мукан».

В дверях хаты появился Михаил Лепский, с которым мы уже встречались. Его удерживал часовой. Лепский отмахивался от него, потрясая какой-то бумажкой.

— Товарищ начштаба,— обратился он к Роберту Клейну,— пусть они,— он кивнул в мою сторону,— напечатают это, а вы и товарищ генерал сразу подпишите.

Клейн взял серо-голубой листок, исписанный чернильным карандашом.

— «Характеристика,— прочел он Вершигоре,— на замполита 4-го стрелкового батальона 2-го стрелкового полка 1-й Украинской дивизии им. дважды Героя Советского Союза генерал-майора С. А. Ковпака Лепского Михаила Трофимовича. Т. Лепский М. Т., 1917 г. рождения, украинец, член ВКП(б) с 1940 г., образование среднее, в партизанах с 10 февраля 1942 г. Во время своей злостной, кропотливой работы, горя ненавистью к врагу — немцам, т. Лепский М. Т. являлся одним из первых талантливых организаторов Олевского партизанского отряда. Усилиями патриотов Родины с личным участием т. Лепского М. Т. в глубоких лесах Полесья возник мощный партизанский отряд численностью в 380 человек, где ведущее место — должность командира разведки — занял т. Лепский М. Т. Находясь на посту командира разведроты, т. Лепский М. Т. повседневной воспитательной работой и боевой выучкой личного состава роты добился успехов, создал гибкий, монолитный коллектив, воплощая в его деятельности добычу ценных разведанных о крупных гарнизонах противника, раскрывая его коварные планы, спасая от немецкой каторги сотни, тысячи украинской молодежи (бой у с. Юрово). Кроме того, непосредственно т. Лепским М. Т. была налажена широкая агентурная сеть и организация подпольной партизанской организации г. Олевска, оперативная бесперебойная связь с нею путем личного инструктажа и обмена опытом работы и работы в трудных условиях немецкого насилия. Блестящие качества командира-разведчика Лепский М. Т. проявил при разгроме немецкого гарнизона г. Олевска в бою 15 ноября 1943 г., предварительно подготовив блестящие разведанные. Т. Лепский М. Т. свою боевую деятельность сочетал с деятельностью политмассового работника. Им было проведено около 50 митингов и бесед среди местного

населения, разъясняющих политику партии и правительства СССР. Участвовал в 30 боевых операциях с ротой в составе отряда. При слитии отряда в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. дважды Героя Советского Союза генерал-майора С. А. Ковпака 14 февраля 1943 года т. Лепский М. Т. командованием дивизии был выдвинут на должность замполита 4 сб дсп. Работая замполитом батальона, т. Лепский М. Т. провел большую воспитательную работу среди личного состава вверенного ему батальона, в результате чего было обеспечено успешное выполнение батальоном боевых операций против немецких оккупантов. В тылу врага, а по выходе дивизии из тыла противника был обеспечен успешный разгром батальоном банд УПА на территории Западной Украины. Одновременно проводилась т. Лепским политико-воспитательная работа среди населения Западной Украины, проводились десятки собраний, докладов, организована помощь семьям красноармейцев и партизан. В службе т. Лепский примерен, дисциплинирован и в таком же духе воспитывал подчиненных ему бойцов в офицеров, среди которых пользуется большим авторитетом. В боях против немецких захватчиков т. Лепский М. Т. был дважды ранен. За смелость, отвагу и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецких оккупантов, представлен к правительственной награде и награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. Командир 1-й УПА Герой Советского Союза генерал-майор Вершигора. Нач. штаба полковник Клейн. 17.11.44. г.»

Во время чтения Вершигора часто улыбался, одобрительно хмыкая. Когда Клейн прочел «награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени», залился своим добродушным, детским смехом. Вытер ладонью глаза, спросил Лепского:

— Сам писал?

— Чтоб ускорить, товарищ генерал.

— Ничего. Потерпишь. Пускай другие о тебе напишут. А это оставь себе на память.

Возле дома, где мы должны были встретиться с партизанами, вертелась странная фигурка. Паренек лет тринадцати. Веселая курносая физиономия с веснушками. Черное мужское пальто с подрезанными рукавами, перепосанное пулеметной лентой. Голубой картуз, шашка с красной кисточкой.

— Слушайте, что я скажу,— дернул он меня за рукав.— У нас есть Гришка, пятнадцать лет ему. Три раза был ранен в боях. Смелый! А когда мы на отдыхе, поет песни из оперетт. «О, Баядера!» Как артист! И рукой так делает! Артист настоящий!

— А ты кто?

— Я Володя.

— А прозвище?

— Капсулы!

В дивизии уже все знали, кто мы и зачем прибыли. Мы просто не успевали побывать во всех ротах и подразделениях. Всюду были свои герои, замечательные люди.

Гришу повидать не удалось. Командир отряда сказал:

— Отпустили Гришу домой<sup>4</sup> в отпуск после ранения. Больно худой, бледный стал. Красивый такой паренек, но белый, как сахар. Крови много потерял. В бою храбрый, отважный. Влюблен в командира нашего генерала Вершигору. Подражает ему. Нет храбрее нашего Бороды! Тут бой идет, самолеты бомбят. А он скомандует, сам стреляет, стрельнет, подобьет пулеметчика, а потом аппарат свой нацелит и — щелк, щелк — снимает на пленку. И еще смеется, когда в немецкие зады заряды попадают и фрицы на карачках в щели ползут. Так и стреляет наш командир — то из автомата, то из «лейки». Генерал наш Вершигора человек без страха, без паники, бой ведет спокойно. С ним всегда побеждаем. А сам он или заговорен, или за него кто молится, или он думает, что еще раз жить будет...

— ...в бессмертии.— Кажется, это сказал Иванов.

«А может»,— подумала я.

Клейн увез с собой Виктора Иванова в 13-ю роту. Там должны были собраться все командиры. Можно было узнать новости и решить, куда нам отправляться даль-

ше. А я была в гостях у девушек. Партизаны отбили у немцев эшелон, в котором те увозили наших девчат в Германию.

Бельенкая Шура из-под Бреста тонким приятным голоском пела по моей просьбе партизанскую песню, она их знала множество. Ее друг и любимый ушел в партизаны, как только немцы заняли родное село.

...На опушке леса старый дуб стоит.  
А под этим дубом партизан лежит.  
Он лежит, не дышит и как будто спит.  
Золотые кудри ветер шевелит.  
А над ним старушка мать его сидит.  
Что-то потихоньку сыну говорит:  
«Я тебя вскормила, я ль не берегла,  
А теперь могила будет здесь твоя.  
Я вдовой осталась, пятеро детей,  
Ты был самый младший, милый мой Андрей».

- Шурочка, а кто автор песни?
- Не знаю... Поют люди...

Вечером примчался ординарец Вершигоры:

— Кони поданы! Генерал ждет!

Мы понеслись по подмерзшей укатанной дороге.

— Э-эх, дорожка хороша! Ну, милые, вперед! Вперед, за родину! Э-э-эх! — Степа-ка-Степан, ординарец и ездовой Вершигоры, подстегивал и так мчавшихся упитанных, резвых вороных.— Эх, дорожка хороша! А когда едем на бричке, генерал, бывает, заснет, а мне нужно их придерживать, шапку их глядеть, чтоб не упала, и коньями править.. А дорога в лесу погана бывает. Генерал кричит: «Осторожно! Не выверни! Там Пушкин, Гоголь, Лермонтов! Испачкаешь!» Библиотеку свою всегда с собой возять..

В этот вечер генерал-майор Вершигора был необычный. Грустный, задумчивый, очень печальный. И еще больше похож со своим детским ртом на мальчика, привязавшего себе бороду. Не было нежного румянца на щеках. И глаза невеселые, обиженные, ребячьи. Вершигора медленно ходил по избе, заложив руки за спину. Тень от его небольшой плотной фигуры была огромной, со стены переламывалась на бревенчатый потолок и снова опускалась на стены.

— Ну, братцы, приказ о расформировании Первой Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ковпака получен. Ковпак приезжает, удрал из госпиталя, хотя еще плох... Вот и кончилась моя партизанская академия, которую я прошел у Ковпака и Руднева.

Вершигора говорил странно медленно и как-то тускло. Пламя фитилей, заправленных в гильзы, колебалось и трепетало, когда он внезапно останавливался, освещая часть стола и мундир генерала с орденами и медалями.

— Не ждал, что так тяжело будет расставаться с дивизией. Война-то для нас кончилась. Но как расстаться с людьми? Какие люди! Беззаветно преданные родине, бесстрашные. Ни жизни, ни крови не щадили для победы. И это без громких слов. Просто, не раздумывая. Одна цель — победить. Победить в неравном, почти всегда неравном бою. Воевать в партизанах нужно с шиком, весело, бесшабашно,— повторил Вершигора любимую свою догму.— Да так оно и было. В партизаны шли добровольцы. Романтики. У нас воюют известный поэт Платон Воронько, архитектор Тутученко, удивительный, всезнающий человек. Были случайные люди, но первые брали верх, прививали им свой стиль. Какой народ! Не забыть мне Ивана Намалеванного, Митю Черемушкина, разведчика Николая Бордакова и сотни других. Герои! Они погибли. А могли бы спастись. И жить жизнью трусов. Тогда не было бы нашей победы. Все эти хлопцы — люди с чистой совестью..

Не забыть мне интонации восхищения и горестной печали, звучавшие в голосе Вершигоры.

- Петро, ты должен написать книгу о партизанах,— сказал Иванов.
- Да она уже начата, надо расшифровать ваши устные рассказы...— сказала я.
- Нет, Маша, не до этого сейчас...

Вершигора снова заходил по горнице, поглаживая бороду. Поскрипывали половицы, колыхался язычок светильника.

— Вспоминается мне, друзья, почему-то мой первый бой в августе сорок первого года. Было это возле села Степанцы. Наша Двести шестьдесят четвертая дивизия, ничем еще не знаменитая, расположилась на большом свекловичном поле. Я тогда командовал взводом. Там у меня, еще штатского человека с режиссерским брюшком, зародилась первая военная заповедь: никогда на войне нельзя убегать, даже отступить нужно лицом к врагу. Спина солдата перед врагом — прекрасная мишень и вызывает у врага уверенность в победе. Утром мы долго толковали об этом с бойцами. В следующих боях я увидел, что люди поняли меня по-настоящему. Вторая моя заповедь — быть хладнокровным. Я научился быть спокойным в любой обстановке. Третья — никогда не нужно бахвалиться. Ночью нас тогда методически обстреливала артиллерия. Ничего нет противнее. Во тьме эти равномерные, неотвратимые взрывы. Кажется, снаряд летит прямо к тебе. Окопчиков было четыре. Нас — пять. В последний, четвертый, я всадил ногу, но пожилой боец оттолкнул меня плечом, нырнул в яму. «Пусти командира!» — крикнули ребята. Он нехотя стал вылезать. «Залезай обратно». «Зачем? — подумалось мне. — Смерть найдет и в яме». К утру артобстрел утих. Ребята выбрались из окопов, отряхиваясь. Странная тишина была в «моей» яме. Подошли... Ноги у человека были оторваны почти у туловища. Из батальона, которым я командовал, в живых осталось мало. «А все-таки солдатское счастье на моей стороне. Так, пожалуй, можно провоевать месяц, а то и больше». В этот миг разорвался снаряд. Я свалился на бок. «Вот, никогда не надо бахвалиться» — зарубил я себе на носу. В санбат меня отправили на носилках. Так кончился первый этап моей военной карьеры. Это было в ночь на третье августа сорок первого года. И в эту ночь в Москве под обстрелом зениток, отражавших воздушный налет, родился мой сын Евгений. Мы прозвали его Зенитчиком.

...Еще несколько вечеров у Вершигоры, прощание с дивизией, и мы должны уезжать в Киев. В эти дни привезли на короткое свидание маленького сына Вершигоры Женьку — Зенитчика. Состоялось и наше знакомство с ним. Петр Петрович, как всегда, неторопливо рассказывал по горнице. Только в этот раз поскрипывали не половицы, не хромовые блестящие сапоги, а нежно скрипели плетеные камышовые туфли. Жена генерала угадала, чего жаждет все еще в чем-то штатская душа вояки. Как отдыхают ноги в этих туфлях, как уютно, по-домашнему поют они. А в углу за печкой на коричневой деревянной кровати, устланной сеном, устроился маленький сын генерала Зенитчик. И усатая нянька его, партизан с автоматом, тихонько говорил ему что-то. Зенитчик хихикал. Мне видна была спина няньки — белый тулупчик, опоясанный пулеметной лентой, автомат наискось.

Вершигора вдруг остановился у огонька.

— Я напишу книгу об истории партизанских войн, мне это снится.

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, как бы продолжая ходьбу, видно ему нравился скрип туфель.

— У нас совсем нет книг об истории партизан. Как ни странно, но нет. Вот теперь я дорвусь до этого вымечтанного дела...

Сейчас генерал был не с нами. Где-то далеко. Может, даже не видел нас.

— Геродот, еще Геродот говорил о скифах... А герои народных войн... Гарибальди... — Он снова мерно заходил, заложив руки за спину. — А у нас... Евпатий Коловрат, Иван Грязнов, ходивший по тылам татар, украинские партизаны под Полтавой тысяча семьсот восьмого года, белорусские партизаны города Могилева. И скифские курганы и то, что под ними скрыто. А Денис Давыдов? Мечтается мне такая книга солидная, насыщенная фактами. И живая. С живыми героями, людьми. Напишу такую книгу.

— В тебе, Петро, гайтся еще и писатель. — Иванов сказал это торжественно и почему-то грустно. — Начинай!

Вершигора заразительно засмеялся, обаятельный и простой.

— Я всегда начинающий! Начинающий пастух, потом начинающий музыкант, актер, режиссер театра, потом начинающий кинорежиссер, начинающий солдат, после

партизанской академии — впервые военный командир. И только борода всегда была со мной. Постоянно! Теперь начинающий военный историк. А что? В этом есть что-то от партизанщины. Ночью сквозь леса, колючие кустарники, болота пробивались мы к цели. Сквозь архивы, летописи, свитки, чихая от пыли столетий, надо пробраться в чашу веков, чтобы посмотреть, как жил народ, что в тебе осталось от многовекового прошлого. И вдруг найти неумирающую человеческую мысль! «Без светильника истории тактика — потемки», — Суворов сказал. Напишу такую книгу — «Историю партизанских войн». В трех томах будете читать.

Вершигора сказал это твердо, убежденно, глядя на нас. Звучало это как клятва.

Последний раз мы видели легендарных партизанских командиров дважды Героя Советского Союза генерал-майора Сидора Артемовича Ковпака и Героя Советского Союза генерал-майора Петра Вершигору в конце ноября 1944 года. Прославленную дивизию расформировали.

...Ковпак и Вершигора стояли на пригорке в окружении командиров рот и начштаба. Мимо торжественно и медленно двигалась дивизия. Ковпак после госпиталя сильно похудел. Бледные щеки запали. Остренькая бородка совсем поредела. Он, как всегда, был с палкой, теперь опирался на нее обеими руками. Вершигора стоял рядом. Славная, родная партизанская дивизия бесшумно проплывала мимо них, скрываясь вдали. Теперь уже навсегда.

В Киеве я тщательно, с пристрастием распифровала все свои записи, сделанные в знаменитой дивизии. Отпечатанный материал сдала дирекции. А сто страниц рассказов П. П. Вершигоры передала ему. Желая, мечтая, веря, что это воплотится в книгу о партизанах, о людях с чистой совестью, как сказал П. П. Вершигора.

В один из дней весны 1946 года, когда я занималась в библиотеке Киевской киностудии художественных фильмов, меня позвали:

— Вас спрашивает какой-то солдат.

В холодном, сумрачном, огромном коридоре стоял ординарец Вершигоры:

— Генерал велел вам передать.

Он протянул мне журнал «Знамя», козырнул и ушел, гулко стуча подкованными каблуками. Журнал «Знамя», отпечатанный на желтоватой негладкой бумаге послевоенного времени. На первой странице знаменитая поэма Твардовского «Василий Теркин». А дальше... «Герой Советского Союза генерал-майор Петро Вершигора, «Люди с чистой совестью», книга первая». И синими чернилами наискось добрая, ласковая, шутилая надпись: «Машеньке, без которой не было бы этой книги, с признательностью П. Вершигора».

Холод на студии, простой — нет любимой работы, — дома голодно. А я вдруг стала счастливой. Ликующе счастливой.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. КРЫМОВА



## ЭТОТ СТРАННЫЙ, СТРАННЫЙ МИР ТЕАТРА

...А ведь мы ничего необычайного не делаем. Только старались приблизиться к творчеству писателя, которого играли.

*Из письма Вл. И. Нежировича-Данченко  
А. П. Чехову.*

С о стороны может показаться непонятной особенность театральных деятелей: одну проблему, не решив, сводить к другой. Обсуждение современной драматургии, как правило, переходит в разговор о положении в режиссуре; проблема режиссуры тут же упирается в спор об актерах или в качество современных пьес. Известный драматург, подводя итоги сезону, утверждает, что основная беда сегодня — «нищета мизансцены». Известный режиссер, в свою очередь, главную болевую точку видит в актерской этике. Наконец, критик, озабоченно пишущий о том, что надо беречь Гоголя, Островского и Чехова, ибо они «молчат», завершает свое рассуждение неожиданным призывом к актерам восстать против режиссерского своеволия.

Но ничего странного во всем этом нет. Именно так проявляет себя современный театр. Слагаясь из многих компонентов, он и существует только в их крепчайшем взаимодействии.

Это можно сравнить со звеньями цепочки, притом что первое звено надо обязательно соединить с последним и образовать браслет, в котором уже ни одно звено не будет первым или последним. И все они приходят в движение, стоит тронуть какое-то одно. Драматургия — режиссура — администрация — актер — художник — драматургия — актер — режиссура... И так да-

лее. А каждое большое звено унижено еще и многими маленькими, и они тоже движутся или, наоборот, мешают движению (если заржавели), но всегда в нем участвуют.

Может быть, имеет смысл хотя бы условно все-таки выделить в этой цепочке какое-то звено, с которого театр начинается и на которое стоит взглянуть в первую очередь?

Принято считать основополагающей роль драматургии. Но (тут же возникает это «но»!) некоторые современные театры легко опровергают эту истину. Они попросту не вступают в контакты с драматургами и драматургией: ставят поэмы, композиции, прозу — что угодно.

Станиславский между тем сказал как-то, что театр начинается с вешалки. И действительно, оставаясь в пределах театрального гардероба, можно понять о театре очень многое — и о спектакле, и о публике, и о том, с чего данный театр когда-то начинался или почему он кончился, и об актерах, и о театральном руководстве.

Начнем все же не с вешалки, а с литературы. Но не с драматургии, а с той связи театра и литературы, которая шире проблемы качества новых пьес. Мне давно хотелось написать об этом статью, еще когда в Театре на Таганке вышел спектакль «А зори здесь тихие...» по повести Б. Васильева. Тогда задела не проблема удачного инсценирования, а совсем другое, иной, глубокий смысл контакта сцены и литературы. В «Зорях» театр будто направил на литературу какое-то увеличительное стекло — оно не только собирало световые лучи, но преобразовывало их в новую энергию. Показалось интересным рассмотреть аналогии, поискать истоки, присмотреться к ним. и по-

нять, в каком процессе спектакль участвовал. Ниточка стала разматываться и в конце концов привела к известному факту театральной истории, который уже побывал в руках многих исследователей. Я имею в виду спектакль «Братья Карамазовы» в Художественном театре. Тогда, найдя способ впустить на сцену трагическую прозу Достоевского, Вл. И. Немирович-Данченко, не склонный к аффектации, все же определил происшедшее как победу — принципиальную, важнейшую для развития театра. Его замечательное письмо Станиславскому известно театроведам и не однажды по разным поводам цитировано. И все же захотелось перечитать его еще раз. (Кстати, недавно вышел двухтомник писем Немировича — какое увлекательное и поучительное для театральных деятелей чтение! Вся сложность театра как искусства отражена в этих письмах, и каждый поворотный момент в истории Художественного театра, и все реальные трудности этой истории, и еще многое.) «Случилось что-то громадное, — пишет Немирович, — произошла какая-то колоссальная бескровная революция... С «Карамазовыми» разрешился какой-то огромный процесс, назревавший десять лет».

Не правда ли, неожиданный ход мысли для руководителя театра, где уже поставлены Чехов, Горький, Толстой? Но при всем том «мы все ходили около какого-то огромного забора и искали ворот, калитки, хоть щели. Потом долго топтались на одном месте, инстинктом чуя, что вот тут где-то легко проломить стену. С «Карамазовыми» проломили ее и когда вышли за стену, то увидели широчайшие горизонты. И сами не ожидали, как они широки и огромны... Что же это такое? А вот что. Если с Чеховым театр раздвинул рамки условности, то с «Карамазовыми» эти рамки все рухнули. Все условности театра как собирательного искусства полетели, и теперь для театра ничто не стало невозможным. Если с театром Чехова покатались под гору третьестепенные и второстепенные драматурги, а для крупнейших талантов театр все-таки был слишком условен, то теперь почва для них расчищена от всех пугавших их в театре препятствий». Повторяю, мудрому и трезвому Немировичу не были свойственны прожектерство или риторика. И все же, подводя итоги происшедшему, он считал возможным утверждать, «что это революция не на 5, не на 10 лет, а на сотню, навсегда! Это не «новая форма», а это — ка-

тастрофа всех театральных условностей, заграждавших к театру путь крупнейшим литературным талантам». Позволю себе выделить эти слова.

Еще несколько слов о Немировиче, точнее об одном его свойстве. Будучи сугубо театральным человеком, он обладал совершенно особым даром — восприятия русской литературы как источника духовной жизни общества. Выяснилось, что это имеет самое прямое отношение к театру.

Когда Чехов уже стал Чеховым (из Чехонте), некий духовный баланс между литературой и театром резко нарушился в пользу литературы. Немирович чувствовал, что его надо восстановить. Оттого он так настойчиво втягивал в театр Чехова. И втянул, это его прямая заслуга. Как никто другой в театре он знал — все, что происходило в отечественной культуре со времен Пушкина, происходило так или иначе под знаком русской литературы. Независимо от того, какой была сценическая судьба «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий», независимо от того, сколько пьес написано Толстым, и от того, что ни одной не написано Достоевским, — творчество Пушкина, Толстого, Достоевского («крупнейших литературных талантов») подспудно и разнообразно влияло на русский театр, на его этические и эстетические критерии. В атмосфере этого творчества родилась русская режиссура, а потом и та актерская система, целью которой было воссоздание «жизни человеческого духа».

Сегодня мы, естественно, говорим о традициях. Но они (традиции) живы, когда им следуют. В чем же конкретно заключалась традиция, живым воплощением которой была деятельность Немировича-Данченко? В том, что, начиная с «Чайки» (которую считали повестью, непригодной для сцены), он выискивал, высматривал, придумывал мостки и каналы, по которым духовное богатство литературы перейдет на сцену и сможет жить там, преобразуя, видоизменяя эту сцену, ее обычаи, личность актера, атмосферу кулис и многое другое.

В «Чайке» была накоплена новизна характеров и настроений; старый театр не знал, как перевести это на сцену. Он смотрел на «Чайку» как на обычную пьесу, оттого и провалил. Немирович и Станиславский шли к своим реформам под давлением литературы. Они преобразовывали

театр, ломали его каноны и т. п. ради его же духовного насыщения. Собственно, все их чутье и вся мудрость, если говорить просто, в том и заключались: там, где духовное богатство, там хорошо, туда следует идти, оттуда нужно черпать. Все прочие пути ведут к оскудению, то есть прочь от искусства, а не к нему.

Затронутая тема безгранична, к МХАТу и его открытиям мы еще обратимся, а теперь вернемся к сегодняшнему дню и его тревогам.

В чем смысл тревоги?

Мне кажется, в том, что опять ощутимой стала диспропорция между богатством литературы и, скажем так, небогатым содержанием театра.

Стараясь держаться русла одной, главной темы, кое-что я сознательно оставляю в стороне, в частности проблему современной драматургии. Она требует специфического рассмотрения, хотя с избранной здесь темой пересекается во многих точках. Позволю себе не касаться и проблемы «сохранности классики», хотя она тоже совсем рядом, прямо-таки вплотную. Минуем ее, отметив лишь простую, простейшую истину: чтобы ценности сохранились, их как минимум и прежде всего надо знать, а коли речь идет о театре, понимать, что театральное искусство обязательно предполагает творчество, то есть новое творение. Как ни странно, эта категория — театральное творчество — иногда на удивление легко изымается из разговора теми, кто пишет о «сохранности». Тут большой грех литературоведов, филологов, они далеки от театра, иногда нечутки к его природе и, бывает, просто не знают его истории. Тогда, случается, возникает путаница в критериях. Возможны и элементарные накладки<sup>1</sup>.

На этом кончим общий разговор, обратимся к конкретным театральным фактам — не

событиям, просто некоторым фактам. И к возможностям их различной оценки.

В московском ТЮЗе идет спектакль «Наташа Ростова». Хорош он или нет? Сказать «нет» было бы слишком резко. Как-то неуважительно по отношению к многим людям, затратившим большие усилия, труд, средства. Заметим, однако, что сама мысль об усилиях появляется, когда мало захватывает художественный результат. Когда результат хорош, он легкий, а усилия не видны.

Гигантские колонны-подсветники из современного пластика под стекло — это и труд и средства; огромная массовка, изображающая ряженных, и специально поставленный символический танец Наташи в этом окружении — труд, и немалый. Слепленная руками бутафора могила с крестом на дальнем плане, большое дерево (дуб, конечно, хотя на дуб не похоже), комета с хвостом, светящаяся на заднике, — это вещественные обозначения толстовского романа. Они никак не функционируют, отодвинуты в стороны, как в балете, свидетельствуя притом, что приемом симультанности и наглядной символики театр, как принято выражаться, стремился образно воплотить тему войны и мира.

Из романа Толстого извлечены сцены с участием Наташи от поцелуя с Борисом в оранжерее до финального приезда Пьера, только этот приезд поставлен в начало, а остальное дано как наплыв-воспоминание. Нельзя упрекнуть театр в небрежном отношении к тексту. Такие фразы, как мольба Наташи к умирающему Андрею: «Не уходи туда, где ничего нет, где нет нашей любви!» — исключение. Вначале Пьер говорит слова о том, что в России «славное дело начинается» и нельзя больше терпеть Аракчеева и «в судах воровство» и т. д., а далее театр, видимо, берет на себя задачу показать, что таким мыслям Пьера предшествовало. Но все социальное и общественное со сцены выглядит крайне несерьезно, так что в итоге перед нами все-таки лишь рассказ о сердечных делах молоденькой девушки Наташи, которая находится в постоянном сердечном волнении и ожидании, что, в общем, нетрудно сыграть славной молодой актрисе. Сначала около этой Наташи Борис, потом Андрей, затем Анатолий, потом опять Андрей и, наконец, Пьер. Эти сменяющиеся друг друга увлечения играют примерно одинаково, хотя сначала Наташа, как и в романе, с куклой, потом подросток на балу

<sup>1</sup> Иногда их находишь в самом неожиданном контексте. Автор статьи «Как мы играем классику» («Новый мир», 1978, № 11), доказывая, что классику на театре надо беречь, пользуется примером «Последней жертвы», поставленной Станиславским, и роли Гамлета, классически бережно сыгранной Остужевым. Жаль, конечно, но Станиславский «Последнюю жертву» Островского никогда не ставил, а Остужев Гамлета никогда не играл. Я отмечаю эти мелочи лишь в подтверждение того, что классику сначала надо знать. Иначе неизбежно возникает недоверие к прочим авторским доводам и пафосу.



и т. д. Говорят, она на диво музыкальна и чудо как поет. И Наташа на сцене садится за клавикорды. Бог с ней, с грубой белой лепниной на этих «клавикордах»; хуже знакомая театральная манера «играть» — не дотрагиваясь пальчиками до клавиш и плохо слыша звучащую из-за кулис музыку. Сколько ни воевал когда-то Станиславский с театральной приблизительностью, с игрой «вообще», вот она, эта игра, давно ушедшая и опять существующая, досадная особенно у молодых актеров, как грубая косметика на юном лице.

Написав все это, я обнаружила газетную рецензию на тот же спектакль<sup>2</sup>: «Доминантой спектакля, предопределением его решения является мощь нравственных проповедей Толстого, возвышающая и мучительная исповедь его героев...», «В первом же монологе Андрея Болконского угадывается сверхзадача спектакля, средоточие его гражданского пафоса...», «Авторы спектакля сосредоточили внимание на воссоздании присутствующей произведению Толстого атмосферы нравственного максимализма, покоряюще высокого накала чувств...»

«Нравственные», «нравственное», «нравственный»... — кажется, сам Толстой, даже когда в нем возрос пафос проповедничества, так часто не употреблял это слово. Но в спектакле все проще. Никаких «доминант», «предопределений», так же как и «высокого накала чувств», в нем нет, даже как-то неловко об этом говорить. В нем все сверхобычно и по-театральному банально. К примеру, четыре бравых офицера высоко поднимают умершего князя Андрея, поворачивают к зрителям опрокинутым лицом и под звуки торжественной музыки (конечно же, «Война и мир» С. Прокофьева) уносят вглубь, к освещенному алым светом заднику, как в традиционных постановках уносили Гамлета войны Фортинбраса.

Разумеется, подросткам, которые сидят в зале, неведомы плохие театральные традиции. Но ведь им и роман Толстого известен в пределах школьных уроков. Театр листает страницы романа примерно таким способом, каким каждый из нас листал его лет в тринадцать, — минуя все, что «серьезно». Так же в этом возрасте читают и «Анну Каренину». А потом, повзрослев, иногда (не всегда) еще раз открывают ту же книгу, и выясняется, что «роман с Вронским» и «свидание Анны с сыном» далеко не все,

что Толстой хотел рассказать о жизни. То, что он действительно «Анной Карениной» рассказал, по объему и глубине несоизмеримо с комиксом, возникшим в неразработанном полудетском сознании.

Комикс — подходящее в данном случае слово, хотя и не наше собственное, не отечественное и Толстому, надо полагать, неизвестное. Комикс — примитивная адаптация сложного. Рассказ в картинках. Переработка в соответствии... Но с чем же в соответствии? Неразвитое в художественном отношении сознание нуждается или в развитии, или в пище, так сказать равной нормам этого сознания.

Известно, что обрыв внутренних связей до какой-то степени неизбежен в инсценировке. Эту старую истину я опускаю, она неинтересна. Гораздо интереснее открытые театром способы избежать обрывов. «Анна Каренина» во МХАТе — спектакль классический, литература о нем огромна. Между тем его можно назвать примером классического компромисса, то есть разумного соглашения и с Толстым и со своим временем при трезвом осознании потерь и приобретений. Театр есть театр, в нем «без компромисса ничего не поделаешь», говорил Немирович. Исключение из спектакля линия Левина — потеря. Более того — искажение замысла Толстого, безважное его обеднение. Художественный театр в 1937 году не осмелился играть «Анну Каренину» в два вечера, как когда-то играл «Карамазовых»; принял весьма обычную инсценировку. Потери, потери... Но Немирович уже знал, что у театра есть свои способы подобные потери восполнять. И он предельно мобилизовал актерские возможности МХАТа. Между литературой и театром он установил те самые мостики, которые сконструировала именно мхатовская школа и которые в тех же «Карамазовых» были опробованы и доказали свою надежность («...малейшие изгибы психологии должны быть и правильно поняты, и усвоены, и ярко выражены»). Прошли годы, и когда не стало Хмелева, а в роли Анны Карениной Тарасову сменили другие исполнительницы, стало очевидно, в чем именно была глубокая правота художественного компромисса, не нарушившего главного в отношении Толстого. Один только Алексей Александрович Каренин — Хмелев явился такой загадочно-прекрасной сценической галактикой, что по своей сложности она была под стать Толстому и оправдывала многие потери. Как ни разгадывали

<sup>2</sup> «Московская правда», 18 июля 1979 года.

этого Каренина критики и театроведы, все равно для тех, кто его видел, он остался загадкой (может, так и положено в искусстве?). До сих пор не понимаю, почему горе этого механического человека вызывало такую волну сострадания. Не понимаю, отчего именно этот Каренин с его стократно замеченными знаменитыми ушами, совиными глазами, сутулой спиной под сукном государственного мундира и т. п., — почему именно он вошел в драгоценный ряд немногих театральных потрясений и в чем-то даже как бы дорисовал и углубил того Каренина, который описан Толстым.

Наполнение было равновелико толстовскому.

Могут сказать: зачем же сравнивать скромных исполнителей «Наташи Ростовой» с редкостным идеалом? Я же спрошу в ответ: а с чем же тогда сравнивать? И вообще имеют ли смысл другие сравнения? Ведь так можно и вовсе уйти от Толстого, от всех идеалов и не заметить этого. Русская литература уравнивает исполнителей в правах. Условия инсценировки тоже примерно одинаковы. Как перед Хмелевым, так и перед молодым актером, играющим Андрея Болконского, лежал огромный материк — мир Толстого. Предстояло или вступить в него, примавля, притянув его к себе, себя — к нему, или остаться в стороне. Первый путь вовсе не обязательно требовал таланта Хмелева — лишь устремленности в определенном направлении и полной самоотдачи духовному содержанию роли.

Театр, отвыкший от психологической глубины, от вкуса к «диалектике души», если говорить строго, иноприроден по отношению к Толстому. Толстой — духовное богатство, на сцене же — бедность, при всех затраченных средствах и усилиях.

Теперь обратимся совсем к другому театру. По режиссерской смелости, стилистике и многому другому спектакли Театра на Таганке, кажется, весьма далеки от тюзовской «Наташи Ростовой». К литературе тут принципиально иное отношение. Именно русская литература (проза и прежде всего поэзия) на сцене этого театра являлась стимулом многих находок и преобразований.

Между прочим, когда репетировался спектакль «А зори здесь тихие...», параллельно шла работа над «Гамлетом». Но успех скромного современного спектакля превысил всякие ожидания, полагаю, даже художественный резонанс «Гамлета». Распоря-

дившись повестью Б. Васильева крайне вольно, театр (художник, режиссер, актеры) схватил самое существо этой повести, ее главную боль. Эту боль он развил и усилил — средствами другого искусства, — доказав, что голос театра, так же как слово литературы, может потрясти трагическим содержанием простейшей ситуации.

Со временем стало казаться, что силу лучших любимовских спектаклей вообще предопределяет некая простота их основы. Простота притчи («Добрый человек из Сезуана»), простота конкретной ситуации («А зори здесь тихие...»), простота мысли («Павшие и живые»). На этой простой смысловой основе режиссерская изобретательность цветет и буйствует. Драматургическую сложность любимовский театр не столько расшифровывает, сколько минует («Гамлет»), а психологическую объемность приводит к своеобразной плоскости — так в «Обмене». На Таганке и плоскость нередко бывает выразительной — режиссер (Ю. Любимов) и художник (Д. Боровский) берут на себя функцию художественного объема, концентрируя идею спектакля в одном постановочном приеме, или, как теперь любят говорить, постановочной метафоре. Так действует занавес в «Гамлете»; так играет в «Обмене» вынесенная на авансцену скалка старой мебели и, на заднем плане, постоянное мертвенно-голубое мельканье телевизионных фигуристов.

По поводу «Обмена» критиками была высказана мысль, что если «со страниц прозы Трифонова виднелась история тягостная, внутренне драматическая, то на сцене «Обмен» распахивается перед нами как трагедия»<sup>3</sup>. У меня иное впечатление от контакта театра с прозой Трифонова. С усилием восстанавливаю в памяти лица персонажей — больше помню безмолвных фигуристов и то, как выглядит в финале затянутая полиэтиленовой пленкой мебель. Людские драмы стерлись, ибо, кажется, они не слишком волновали и театр, взглянувший на них как бы со стороны. Эта разница взгляда существенна — со стороны или изнутри. В одном случае холодок, в другом — боль. В одном — отстранение (разоблачение и т. п.), в другом — понимание (анализ, постижение). Разницу между повестью и спектаклем можно определять так: Трифонов пишет про нас, театр играет про них. Автор куда-то погру-

<sup>3</sup> «Театр», 1979, № 5.

жается, тянет за собой и заставляет нас не без содрогания на самих себя оглядываться. Театр обозначает явление броским контуром, как карандашом. Прозе Ю. Трифонова, мне кажется, ближе тот психологизм, при котором, по словам Немировича, в работе «все идет на углубление, на утомительную вдумчивость». Кстати, Любимов, хоть и постоянно полемизирует с психологическим театром, многое из его кладовой прекрасно освоил. Психологическому искусству в Театре на Таганке нередко открывали, так сказать, тайный, «служебный» вход. В лучших любимовских спектаклях психологизм существует как бы внутри эффектной, публицистической, наступательной эстетики. Он не по-мхатовски компактен, но в нем свое погружение и точность.

В «Преступлении и наказании» странным образом именно перед психологическим дверью оказалась закрыта. Можно по-разному к этому отнестись. Я знаю горячих сторонников спектакля, но, надо признаться, сколько ни вслушиваюсь в их доводы, не понимаю. Да ведь и не доводами критиков силен театр и не к этой логике обращен, а прежде всего к чувству зрителей. Почему спектакль, на Таганке едва ли не самый громкий и эффектный, оставляет меня как зрителя в позиции холодного наблюдателя, а в итоге утомляет — вот главный для меня вопрос. Как ни выразителен поначалу внешний облик Раскольникова, как ни агрессивна его словесная самозащита, бурное зрелище до обидного быстро исчерпывает себя, а вместе с ним и еще раньше — Раскольникова. Почему?

Достоевский не разрывает, но связывает (уже в названии) два слова, два понятия — «преступление» и «наказание». Между ними незримо стоит третье, по-моему главное — «совесть». Собственно, пробудившейся совестью, ничем другим, был наказан Раскольников, пройдя свой путь от и до. Так всегда казалось. Но, может быть, что-то существенное изменилось в нашем интересе к Достоевскому? А если изменилось, то что же отошло на второй план?

Иногда вдруг просыпается интерес к знаковым понятиям. Написав слово «совесть», захотелось заглянуть в Дая. Итак: «„Совесть“ — нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; ...чувство, побуж-

дающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и истине; прирожденная правда в различной степени развития». Какие высокие, какие человечески глубокие слова — «невольная любовь к добру и истине»... Оттенки старомодности в расположении слов — видимость, в ней свой закон и своя эстетическая прелесть.

Вернемся к спектаклю. Его можно назвать одним словом — «Преступление», так будет более точно. Задачей его была полемика с той дубоватой интерпретацией романа, которая у подростков в школе не вызывает никакого интереса, а значит (так думает театр), может привести к мыслям вроде той, которая цитируется (из школьного сочинения) в финале со сцены: «И правильно Раскольников сделал, что убил старушечку. Жаль, что попался».

В фойе стоит школьная парта, на ней — тетрадь с сочинением, желающие могут почитать слова, аналогичные приведенным. Яростно воюя с невидимым оппонентом в лице глупого школьника и его неумного учителя, театр воссоздает на сцене все, что связано с убийством. Дабы от него отвлечь, разумеется. В полуметре от входящих в зал зрителей два женских трупa. Лица прикрыты платками, видна восковая желтизна рук, пятна крови на сидце, старый ботинок... В первую минуту (до начала спектакля) удар силен, хотя и напоминает о музее восковых фигур. Затем начинается действие, в руках актеров появляются большие квадратные фонари, ими то и дело светят в зал, в лицо зрителю. Зритель, зажмурившись, перестает слушать. Раскольников между тем выкрикивает свою философию. Она и в романе непроста. Чтобы ее отвергнуть, вероятно, в ней сначала надо бы разобраться, но спектакль рассчитан не на анализ, а на прямое эмоциональное воздействие. У ответных же зрительских эмоций есть свои пределы.

Сильно ударив поначалу, театр повторяет и повторяет эти удары, но от механического, моторного повторения они слабеют, так-ков закон, тут ничего не поделаешь.

Чем бы ни осуществлялось воздействие театра (в нем может не быть никакой видимой логики), оно немислимо без движения, то есть развития. И тут уже прямой конфликт с Достоевским. Этот конфликт странен, потому что внутреннее разнообразнейшее движение, рвущаяся наружу динамика в романах этого автора издавна рас-

крыты как некая «беременность театром». Известно, что у Достоевского любая статика (исповеди, погоды, настроения) обманчива. Это остановка сугубо временная, необходимая, может быть, для какого-то микроанализа, но в себе уже содержит предпосылку нового движения. И любая повторяемость, кругообразность у этого автора — тоже движение, иногда с внезапным выпадением из круга, его разрывом.

Спектакль стоит на месте. В нем сразу все объявлено и подытожено. Лишь в одной сцене — поминки в доме Катерины Ивановны — действие нащупывает внутри себя начало, чинный и предгрозовый порядок, чтобы потом разрушить этот порядок страшным скандалом, как и у Достоевского. Кстати, в этой сцене никто не прыгает с подмостков в зал и не слепит фонарем в глаза зрителя. Персонажи сбиты в кучу в правом углу сцены, там, где стоит мебель процентщицы, они облакачиваются на ее комод, отражаются в ее зеркале, и в этом демонстративном и неправдоподобном наложении одного места действия на другое — комнаты Мармеладовых и комнаты старухи процентщицы — серьезный смысл. Убили там, могли убить здесь, могут всюду, ибо — озверели.

Театр демонстрирует ужасы убийства, и сначала это производит впечатление. Достоевский повествует о более сложных вещах. Случаи, когда совесть в человеке вообще отсутствует, этот автор тоже воссоздавал (кстати, очень редко — один-два примера в «Записках из мертвого дома»). Но Раскольников совсем иной тип, иначе бы он и к Пяти углам не вышел и на колени перед людьми не встал. У этого человека свой путь, на этом пути свои указатели, и во всем этом сложная система духовной борьбы и движения.

Увы, XX век в убийствах превзошел то, чему свидетелем был Достоевский. Возможно, в своем типологизировании Раскольников театр намекает на современных террористов, экстремистов и пр. Но различие между ними и Раскольниковым определено ни много ни мало — художественным мировоззрением Достоевского. Это мировоззрение можно было бы не принимать в расчет (были времена — не принимали), если бы в том же XX веке оно не обнаружило свое бессмертие. На мой взгляд, сегодня в Раскольникове куда более интересно (и современно) его духовное начало, причины

его хождения по кругам ада, нежели маниакальная (патологическая, неподвижная) убежденность в праве убивать.

Как ни объясняй трактовку театра — полемикой ли с романтизацией Раскольникова, распространенной в кино и на сцене, или искренним желанием вызвать возмущение массовыми зверствами на земном шаре, указав какой-то дальний их первоисточник, — спектакль кажется наивным и прямолинейным рядом с романом. А роман остается сценически неразгаданным. Театр вступил в борьбу со школьным примитивом, но не противопоставил ему существенной свободной ориентации в сложном.

Право театра — из необъятного романа взять свое. Вопрос лишь в том, как это свое соотносится с богатством литературы и что в итоге остается за бортом.

Говорят — Достоевский не сродни и даже вообще противопоставлен данному театру, тут, мол, и невозможно было предвидеть успех. Мне это не кажется верным. У многих актеров (участников «Преступления и наказания» в том числе) есть подспудная тяга к этому писателю, то есть к сложному, неоднозначному. Да и в творческой природе режиссера то же: редкостная смесь простодушия и расчета, легкомыслия и прозорливости, брони и беззащитности... Не рискую продолжать перечень. Так что предвидеть, уверенно прогнозировать было бы глупо, имеет смысл лишь отразить происшедшее.

Ведь никто не предвидел, например, что та же Таганка окажется родственна нашей деревенской прозе и там будет создан спектакль по повестям Ф. Абрамова. «Деревянные кони» сломали многие прежние мерки спектаклей на колхозную тему, театр абсолютно наравне с литературой выступил исследователем деревенской жизни и ее летописцем.

Не удивительно ли, что это сделал театр по многим признакам типично городской, поговаривали даже — элитарный? Между тем именно в этом театре крепло противоположное элитарному коллективное, демократическое начало, оно и стало основой спектакля «Деревянные кони». Режиссер проявил редкостную чуткость к автору, но еще больше к жизни, о которой автор рассказывает. Отсюда и ритмы, и манера игры, и стилистика.

В деревне люди живут в большей совместности, чем в городе, — и спектакль «Де-

ревянные кони» ведется, как ведется хоровод или хоровая песня. В переливах, переходах, повторах, сочетании солирующих голосов и хоровых припевов, высоко-го и низкого, частушечной свободы и целомудренности причитаний спектакль этот далек от накопленных сценой привычек. Видимо, «катастрофы театральных условностей» повторяемы и зависят от устремленности сцены к большому и новому содержанию. Нет в этом спектакле подделки под деревенский говор (но есть особая деревенская речь), нет штапельных косыночек, наскоро купленных в ближайшей московской «Галантерее» (деревенские девушки на сцене всегда придерживают эти косыночки за уголки, когда поют частушки или встречаются с парнями у околицы), нет штампованно-театрального набора. То, что для «Деревянных коней» нашел художник Д. Боровский, можно изучать и разглядывать как самостоятельное произведение искусства, но отдельно оно не существует, ибо в спектакле это живая среда и предметный мир, неотрывный от человека. Лукошко, в котором старуха перебирает грибы, и руки А. Демядовой, играющей эту старуху, — единое целое. Буханка хлеба в руках З. Славинной, насадная речь этой Пелагеи, жар пекарни, гребенка в жидких волосах — все едино и полно значения.

В «Преступления и наказаниях» использована, если можно так выразиться, знаковая система (белая дверь в крови — знак, свет фонаря в лицо зрителям — знак и т. д.), она распространилась на актера и обнаружила коварную способность не раскрывать содержание, но сковывать и упрощать его. Когда Раскольников лишь «знак» убийцы — это упрощение.

В «Деревянных конях» театр делал нечто противоположное. Открыв (сначала для себя, потом для зрителей) целый пласт жизни, он нашел ему сценическую форму, лишённую знакового упрощения, мертвенной метафоричности, равно как и натурализма.

Кто-то гораздо раньше меня заметил, что смелый прорыв театра к большой литературе и их художественное единение в конечном счете укрепляет и обновляет специфику театра как искусства. «Деревянные кони» обновили, укрепили специфику Театра на Таганке.

Одно из самых замечательных обновлений последнего времени дано было пережить такому театру, как БДТ — опять при встрече с русской литературой. Я имею в виду

спектакль «История лошади» по повести Толстого «Холстомер». Опыт этого спектакля осторожно обходят те, кто озабочен сохранностью классики от посягательств так называемого авангардного театра. Осторожность понятна — броня академического театра есть броня, имя Г. Товстоногова есть имя. Большой драматический театр, руководимый этим режиссером, никогда не тяготел ни к какому авангарду, однако в «Истории лошади» пошел на сближение, кажущееся невероятным, ультрасовременного жанра (мюзикла) и толстовской философской прозы. И, что совсем уж неожиданно, строгая классическая литература обнаружила внутреннее согласие выступить на подмостках в этом новом обличье, в союзе с современной музыкой и принципом брехтовского остранения.

Всякое развитие, то есть движение вперед, подразумевает какие-то потери, но обязывает к накопленным. Накопления в «Истории лошади» очевидны. Мастера академической сцены благодаря резкой и смелой стилистике спектакля будто поднялись с привычных мест, толстовская мысль повела их за собой, а режиссер не дал уклониться в сторону.

Речь идет всего лишь о старой лошади и ее несчастной судьбе. Но эта «лошадиная судьба» в спектакле есть некое остранение, благодаря которому театр (как и Толстой) вмешивается в дела вполне людские и, видимо, вечные, если учесть, что «Холстомер» написан лет сто назад. По поводу «защиты природы» у Толстого были свои слова, у театра сегодня — свои, но это видоизменение речи лишь обостряет толстовскую мысль, дает ей дышать и жить на сцене. Возникает очень интересный и многоплановый союз с автором не только как с великим писателем, но с личностью. Известно, к примеру, что Толстой не любил сугубо театральной игры — высмеял в «Войне и мире» условность оперы, более того, не признавал самого Шекспира. Но известно также, что тот же Толстой очень любил музыку (тоже играл!), смолodu азартно играл в крокет, отличаясь силой и меткостью удара, не мыслил жизни без верховой езды и очень страдал, когда у него отняли его любимого коня Делира. В конце концов, и игра в зеленую палочку тоже была лишь детской игрой, но почему-то память о ней прошла через всю жизнь гениального писателя, проводив его буквально до могилы.

Спектакль БДТ заставляет вспомнить эти

человеческие свойства и привязанности писателя, ни словом о них не обмолвись. Он (спектакль) — о жестоких людских «играх», но в нем же и чисто толстовская защита той игры, которая всегда живет в контактах человека с прекрасным.

Что касается собственной игровой природы зрелища, здесь Г. Товстоногов мастерски синтезирует открытое многими (той же Таганкой, в частности), но так, что качество синтеза заключает в себе открытие. Может быть, в этом и состоит главная примета сегодняшней новизны — в качестве, в степени художественности? В полной гармонии серьезного содержания и современной формы?

Когда Немирович-Данченко преобразовывал «Карамзовых» в спектакль, это вело к катастрофе привычек не только старого театра, но и его же собственного, требующего обязательного правдоподобия и накопившего для этого немало приемов. Сегодняшний театр лишен какой бы то ни было постановочной канонизации. Выбор так велик, что можно растеряться. Ни на одну форму нет запрета. Мюзикл так мюзикл. Гипербола, метафора, пустая сцена или переполненная, реальные персонажи или призраки, головокружительная смена мест действия, союз стихов и прозы в любых комбинациях, психологизм внутри условности и условное внутри психологизма — все известно, все можно. Хочешь как Станиславский — пожалуйста. Хочешь учиться у Мейерхольда — учись. Вообще не признаешь авторитетов — делай по-своему.

К этому полному формальному раскрепощению театр продирался сквозь тернии, на которые сейчас мы посматриваем как на трухлявые колючки. Не стоит забывать, однако, что двадцать (даже десять) лет назад такой спектакль, как «История лошади», был немислим. Сегодня он естествен в той мере, в которой естественно рождение нового при благоприятных обстоятельствах.

Когда все можно в области театральной формы, встает проблема точности выбора. Но это нечто производное и даже узко-профессиональное по отношению к тому, что было названо содержанием русской литературы (иными словами — духовным содержанием вообще) и что формально даже не является видимым звеном известной театральной цепочки: драматургия — режиссура — актер — администрация — драматургия... и т. д.

## 2

Гамлет. ...Вы слышите, пообходимее с ними, потому что они — краткий обзор нашего времени.

В. Шекспир, «Гамлет».

Чтобы несколько отвлечься от литературной проблематики, поговорим об актерах. К ним со всех сторон предъявляют претензии, в них хотят видеть кумиров и досаждают, что не видят. В обычных беседах огромна жажда информации — кто из какого театра ушел, куда перешел, почему в последней «Театральной афише» по телевизору сказал то-то, а в «Театральной гостиной» выглядел так-то... Эти далекие от серьезных проблем пересуды иногда отражают явления знаменательные. Например, уходы и переходы.

Смокуновский из БДТ перешел в Малый, а вскоре во МХАТ, это было лет пять назад, и с тех пор, как болезнь (а может, напротив, процесс оздоровления?), началось: Саввина ушла из Театра имени Моссовета, Лаврова и Мягков — из «Современника», Юрский и Тенякова из БДТ, а затем Петренко, Попов, Коренева, Даль, Любшин... Алиса Фрейндлих играет на сцене «Современника», М. Бабанова репетирует во МХАТе. (Я вспоминаю самых известных, для всех интересных, чьи уходы — потеря, а приходы — событие.) Недавно кто-то пошутил: раньше спорили о представлении и переживании, теперь о переселении.

Что-то явно изменилось в актерской психологии. И режиссеры уже не говорят с гордостью «это мой» или «это наш» актер. Сегодня наш и исповедует, кажется, какую-то веру, а завтра, глядишь, совсем не наш и вера уже другая. Судить о том, кто тут виноват, примерно то же, что искать виновных в неустойчивости современной семьи и угрожающем числе разводов. Нет такого закона, чтобы брак заключался навсегда. Но если человек смолodu женится и раз, и два, и три, то легким становится и четвертый раз, а то и пятый. Притупляется чувство семьи, многоликой оказывается любовь.

У актеров сегодня притупилось чувство театра как дома. Театральные режиссеры страдают. У них нет способов удержать актера от киносъежек и телевидения. Станиславскому и Мейерхольду неизвестно было это страдание, оно ново и, в свою очередь, вырабатывает новые инстинкты самосохранения. Я знаю режиссеров, гор-

двигшихся своим театральным домом и своими детьми — актерами. Они впадали буквально в отчаяние, когда какой-то их любимец уходил в другой театр или предупреждал, что утвержден в многосерийный телефильм и потому репетировать не может. Теперь режиссеры не плачут и не ревнуют — они просто ищут новых актеров, тоже чаще всего, как в кино, на роль. Найдя, относятся к ним хорошо, но прежней привязанности не допускают — слишком дорогой ценой за нее приходится платить. Да ведь и соперником, как правило, теперь выступает не другая сильная режиссерская личность, а нечто невнятное, как бы безличное, хотя и могучее — например, кино. Или академический театр с его благами, или телевидение.

У известных театральных актеров (Ульянов, Банионис, Лебедев, Смоктуновский, Юрский, Соломин, Мягков, Табаков и другие) одна кинороль наступает на пятки другой, съемки в разных концах света, предложениям нет числа — как сохранить тут верность дому и трепетное отношение к ежедневной репетиции?

Говорят, командированные мечтают о доме. Приходилось слышать такое и от актеров. Но и к поездам и к тому, что есть можно на развернутой газете, а спать в гостиницах, привыкают, привычка входит в кровь, ее останавливает только старость. Жаль бывает сверхпопулярных бездомных кочевников, тоскующих о театральном доме. Но такой дом, как и семью, надо строить по кирпичику, чем-то жертвуя, думая о других, а это хлопотное и длительное дело. Оно не совпадает с психологией командированного и скоростями поездов и самолетов. Итак, внедомовитость стала тенью профессии.

Есть у этой тени и другая, обращенная к нам, зрителям, особенность. Ведь это ради нас, теле- и кинозрителей, актеры снялись со своих мест. В нашу квартиру, где стоит телевизор, актер вносит развлечение и некоторую информацию. Он отвык от своей театральной семьи, но наш дом в некотором смысле украсил и даже укрепил. По вечерам мы теперь сидим и смотрим на голубой экранчик...

Таковы некоторые внешние приметы сегодняшнего актерского дела. Как видите, они прямо-таки перекрещиваются с нашим образом жизни и нашими интересами. Теперь обратимся к более существенным, внутренним.

Об актерах в последнее время столько говорят и пишут, что может показаться: или эта профессия сфокусировала в себе все иные проблемы театра, или действительно, как сказано у Шекспира, «какая-то в державе датской гниль».

В разговоре на эту тему Р. Я. Плятт высказал мысль, которая, не блистая новизной, вдруг остановила меня. «Просто наша профессия публична», — сказал Плятт и еще очень хорошо актерски подал слово «публична», вмести в интонацию и гордость, и горечь, и юмор.

Действительно, актер всегда на виду. Он объект рассматривания. Потому о нем и говорят. Так было всегда. С появлением телеэкрана эта наглядность тысячекратно увеличилась. И обрела новую атмосферу. Если условия театра требовали от зрителя элементарной тишины и сосредоточенности, на голубом экране театральный актер играет под аккомпанемент чего угодно — реплик, бульканья чая, передвигаемых стульев. К счастью, он этого не видит, но зато он узнал, что такое играть в холодной и пустой телестудии, под взглядами ко всему на свете равнодушных телеосветителей.

Зритель может не читать пьесы, не знать имени драматурга, ничего не ведать о режиссуре, но актера он видит и через него в нерасчлененном виде воспринимает все остальное. Зритель хочет охватить зрелище в целом, но взгляд его в первую очередь останавливает живая, движущаяся, говорящая фигурка, поразительно напоминающая его, зрителя. Это актер. Как уверял Станиславский, это «единственный царь и владыка сцены».

Но тот же владыка и поразительно зависим. Зависимость (от режиссера, от драматурга) есть условие и природа профессии, это плен, то сладостный, то горький. Есть и еще одна зависимость, еще одно важное обстоятельство, замеченное еще Пушкиным; сегодня именно оно бросается в глаза: «Публика образует драматические таланты». Образует, то есть формирует на свой лад, по своему подобию. Сегодняшний актер зависит прежде всего от зрителя. Не только от умного, требовательного, жаждущего правды и высокого искусства. Но и от того, который готов платить любые деньги, чтобы попасть «на Смоктуновского», и хорошо знает, что билетами на Таганку оплачивают все дефицитные товары от ширпотреба до запчастей на производстве (в сутобо серьезной пьесе А. Гельмана «Обратная связь»

важнейшая производственная проблема не может получить разрешения, пока кто-то кому-то не достает билеты на «Мастера и Маргариту»).

...Ах, как сильно изменился зритель Театра на Таганке! Нет, нет, не весь, конечно, но вот тот, что сидит в партере, ощущая особое на то право. Сколько было лет, когда Театр на Таганке начинался? Чем он тогда жил, чем интересовался? Сегодня этот зритель более всего интересуется тем, что престижно. Кажется, ощущение собственного права — основное, с чем он приходит и с чем уходит. А перед ним играют актеры. И какое-то глухое обходящее ему было ощущение-полусогласие невидимо повисает между сценой и залом, не находя разрядки. Громкий, острый спектакль играется как в вату. То, что десять лет назад зал слушал и впитывал не дыша, сегодня он принимает спокойно, как пирожное в буфете. Не будучи социологом, не считая себя вправе углубляться в анализ причин. Наверное, причины где-то вне театра, специалисты когда-нибудь на них укажут. А я просто смотрю на любимых мной актеров. В них появился какой-то надрызг. В одних — моторный эпатаж, в других — необаятельное шутство. Кто-то сетует на годы (шутка ли, шестнадцать лет этому театру, скоро актерские дети станут студентами!). А я вот уже не первый спектакль ловлю себя на том, что смотрю больше на зал, чем на сцену. Очень сильное впечатление. Актеры на подмостках кричат — зритель спокоен. Актеры дразнят, смешат — зритель посмеивается. Актер подает реплики как репризы, он ждет смеха, откровенно эстрадничают, выходит из режиссерского замысла, из художественных рамок спектакля — зритель как должное принимает и это, не ведая, где какие рамки и в чем суть замысла.

В стилистике Театра на Таганке всегда была резкость балагана — на Руси традиционные различные ипостаси шутства. Народные и придворные, бытийные и поэтические, лакейские и лакеям недоступные. Скоморох развлекал, смешил, дерзил, произносил слово правды и лукаво прятал «уши под колпак». В актерах Театра на Таганке была (и еще осталась) та балаганная интонация, которая нередко оживляет и демократизирует искусство. В ней заключалось их обаяние. Но резкие песни таганских бардов пошли в массовый расход, попасть в театр дано сегодня особо предприимчивым, а на

Таганской площади вплотную к привычно бедному театральному зданию высится новое — рыже-красное, современное, по последнему слову техники. Перемены естественны, они в духе времени и во многом хороши. Но в чем-то опасны. Во всяком случае, актер — живой человек — их отражает, о них тревожно и наглядно свидетельствует.

Не продолжая эту тему (продолжить можно на примере «Современника» и других наиболее популярных театров), вернемся к мысли Р. Я. Плятта. Актер публичен. И еще — он сверхчуток к зрительским вкусам, требованиям, желаниям. То есть к нашей ему спросу. Не так давно О. Ефремов выразил это со свойственной ему определенностью прямо в названии статьи: «Каков спрос — таково и предложение»<sup>4</sup>. Наш спрос, наш образ жизни, наши заботы и наш характер — все находит отражение в облике актера, его психологии и сменах актерского типа. Мы, публика, актера образуем, а он держит «зеркало перед природой» (Шекспир), то есть перед нами.

Стало банальным говорить о современных скоростях. Но именно тут, в сфере жизненных и даже житейских ритмов, важнейшее «предлагаемое обстоятельство» (пользуясь термином Станиславского) сегодняшней актерской жизни, некая данность, от которой не уйти. Благодаря скоростям, ритмам, средствам массовой коммуникации и т. д. актерское искусство, уникальное, кустарное от природы, вовлечено сегодня в поток массового производства. Природа искусства неизменна. Но условия резко изменились. И психология художника отозвалась на это тревогой и болью. На наших глазах происходит фиксация перемен. Момент кризисный.

«Мы любили искусство в себе, знали неписанный кодекс этой любви. Знали, что хорошо, что плохо... Но вот что-то произошло. Кажется, мы начали изменять. Будто ушли из дома, спешим, бежим куда-то вперед, а что-то очень важное, может быть, самое главное, оставили там. Дверь захлопнули и даже ключи внутри забыли. Нас подхватил общий поток и унес... Откуда же это щемящее чувство, что мы попали в ловушку?» Это уже не О. Ефремов говорит, а Р. Адомайтис, ведущий актер кино и Литовского академического театра. Его статью на ту же тему можно было бы процитировать

<sup>4</sup> «Театр», 1979, № 4.



целиком, в потоке актерских выступлений она наиболее бесстрашна.

А. Джигарханян: «Беда состоит в том, что искусство все больше становится индустрией, но «я привык так жить и не могу иначе». Л. Дулов, не без актерской аффектации: «Не хочу другой жизни!» (это тоже название статьи). Деловой О. Ефремов минует всякие аффекты: «Основная масса актеров обречена удовлетворять спрос зрелищного рынка, изрядно возросший в последние годы. Измените спрос, повысьте требования, отмените халтуру, боритесь с конъюнктурой — и актер тут же перестроится».

Он перестроится, конечно, потому что зависим, и неизбежно перестраивается. Вопрос в том, останутся ли для этого силы. Сейчас он не хочет другой жизни и не может иначе. Но вместе с тем прекрасно понимает: то, в чем он сегодня участвует, иногда вовсе не называется искусством.

Актер уже уловил истоки опасности, и это немало. Он еще не отвык трудиться и не забыл вкус истинно творческого труда, хотя чувствует что-то неладное и в этом главном для себя вопросе. В чем же тут неладно? Имеет смысл разобраться.

Хороший спектакль во все времена объединял живой труд многих. И от своего труда актер на сцене не мог отделаться, ибо, как известно, инструмент и материал его игры — он сам, а согласное звучание многих актерских инструментов есть спектакль. Недавно меня поразила разговор с популярной и талантливой актрисой. Она, оказываясь, не смотрит фильмов, в которых играет. Трудно в это поверить, уж очень нехороший, враждебный искусству симтом. Я и не поверила, зная, насколько изощренными бывают способы актерской самозащиты. Но вот публичное (печатное) признание О. Ефремова: «Многие картины, в которых снялся, я и не смотрю даже». Наконец, Р. Адомайтис ту же мысль доводит до конца: «Мы... привыкли относиться к своему труду как к купле-продаже, а к результатам своего труда — как к чему-то, почти совершенно от нас не зависящему».

Рассуждая об актерском искусстве, критики по привычке ссылаются на Станиславского. Но то, что сейчас произошло, не предвидел самый мудрый из всех мудрых: современный актер испытал отчуждение от результатов своего труда. Даже тот актер, который известен приверженностью к мхатовской школе.

Я пишу эту статью на даче и каждый вечер включаю телевизор, чего не делаю в городе. Не сомневаюсь, что не делают этого и мои коллеги — критики, режиссеры и актеры.

Каждый день телеспектакль, телефильм. Иногда старая кинолента. Например, «Командировка» с молодым Ефремовым. Это он, Ефремов, сейчас произносит жесткие слова: страшна не занятость, страшна амортизация. И вот я просто как зритель с начала до конца смотрю фильм. И понимаю (уже как профессионал), что смотрю не то, как играет актер, а то, что он никак не играет. И рассматриваю уже совсем другое — из чего складывается эта никакая, безучастная игра-работа. Она складывается из бессмысленности и неправды. Бессмыслен сценарий, бессмысленны режиссура и движение кинокамеры. Все пусто, а в центре этой пустоты — мой любимый актер, обладатель уникального мастерства социального портрета. Еще молодой (фильм 1962 года) — всего шесть лет его детичу, театру «Современник»...

И тогда я невольно вспоминаю недавнее тягостное впечатление от спектакля «Утинная охота» на сцене МХАТа. Эту тяжесть испытали те, кто ждал сценического рождения лучшей пьесы А. Вампилова и верил, что, явившись на подмостках, она толкнет театр вперед. Пьеса долго пробивала себе путь на сцену, теперь ясно — слишком долго. Ее, наверное, должен был поставить «Современник» лет пятнадцать назад. Но за нее героически сражался МХАТ, и мы верили в удачу, хотели верить — МХАТу необходима сейчас подлинная, глубокая социальная драма («Трагедия») настаивал режиссер; хорошо, пусть трагедия). И вот спектакль вышел. В возможностях театра открыть для зрителя современную пьесу. МХАТ «Утиную охоту» не открыл. Не хватило художественной энергии. Или она была неверно распределена. И сразу воспряли неверящие — мол, ничего особенного в пьесе и не было. Но особенное было, а в спектакле — от распределения ролей до качества их внутренней проработанности — видно то самое, о чем сейчас речь: амортизация.

Телефильмы, телеспектакли, телетрансляции... Мелькают знакомые лица: Ульянов, Ефремов, Лавров. Играют руководители производства и науки — врачей, инженеров, изобретателей. Черная (или белая) водолазка, ладная мужская поступь, складка между бровей, твердый рот. Ефремов, Ульянов,

Лавров. Реформы на производстве, легкие неурядицы в семейной жизни. Скупость деловых слов, спокойствие на собраниях (карандашиком по графину: «Тише, товарищи!»), скупая уместная шутка. Хлопают дверцы автомашин, секретарши подмазывают губы, расступаются сотрудники в коридорах. Лавров, Ульянов, Ефремов.

Благодаря им и еще многим создан театральный стереотип руководящего работника. Понять, какова в нем доля условного, нетрудно, стоит всмотреться в лица живых людей, инженеров, производственников, руководителей, хотя бы на экране телевизора, если нет другой возможности. Условия телесъемки, к сожалению, мешают естественному раскрытию человека, но все же ясно: это совсем другие типы, другие характеры и манеры. И врачи нам знакомы другие, очень разные, и инженеры. И неурядицы в личной жизни совсем не так выглядят.

Я хорошо помню, как начинал каждый из названных актеров, помню их замечательные сценические создания, могу рассказать, почему неповторима природа каждого из них. Сегодня кто-то невидимый стирает эти различия. А актеры — наши любимые, лучшие, перечень которых принято противопоставлять всякой серости, — будто остыли к себе как к художникам. Кажется, еще в силах каждого прорвать паутину принятого, сделать какой-то резкий жест, сбрасывающий, сминающий штампы, условности, — от актера всегда ждут творчества, каким бы ни был спрос.

Но — проклятая зависимость! Она подминает под себя даже крупные индивидуальности. А раз так — диагноз болезни только раздражает, нужен еще и рецепт, и лекарство, и точная рекомендация, как его принимать. «Не надо нам говорить, что мы больны, мы знаем это сами. Скажите, как лечить болезнь?» Примерно к этому сводятся актерские протесты против критики.

Но лекарств в не художника нет. И нет их массового производства. Не было этого и во времена Станиславского. Тем более нет сейчас, хотя очень многое стало массовым. Легче всего обвинить режиссера — от него впрямую зависит актер. Но режиссеры на свой лад приспособляются к деловым ритмам и скоростям. Можно уйти от такого режиссера, но — куда? И можно ли уйти от самого себя?

Легендой становятся имена внимательных, никуда не спешащих режиссеров-педагогов, которые заботливо и талантливо пестовали

актера. Нет А. Д. Попова, не ставит спектаклей М. О. Кнебель, рано умер Вольдемар Пансо, ушла плеяда мхатовских воспитателей.

Союз актера и режиссера, провозглашенный Станиславским и Немировичем, обособленный и надолго утвердившийся их спектаклями (на свой лад утвердившийся Вахтанговым, Мейерхольдом и их прямыми учениками), — этот союз сегодня ослаб и, скажем так, видоизменился. В нем как-то сникло творческое начало, и многие в театрах с этим смирились. К чему же ведет такое смирение?

Позволю себе близлежащую аналогию. Сегодня все понимают, почему столь серьезно встала задача охраны природы. Причина тому в обратной стороне технического прогресса. Природе нанесен ущерб — человек впрямую, физически почувствовал, что ему, человеку, от этого плохо, и задумался. Каковы бы ни были меры, предпринимаемые обществом в целом, необходимым оказался некий поворот индивидуального сознания.

Примерно такова схема ситуации и в актерском деле. Речь идет, по существу, о том же — об охране живого в человеке. Ведь творчество есть акт созидательный, это продолжение жизни, ее обогащение. Не берусь судить, каковы могут быть коллективные меры по охране актерского творчества. Но то, что сохранение художника в актере есть дело индивидуального сознания, мне кажется очевидным.

Рискуя навлечь на себя чей-то гнев или иронию, может быть, стоит призвать актеров к бунту? Не против режиссуры — такие призывы время от времени звучат, но ничего, кроме анархии и вреда, театру не приносят. Не против плохой драматургии, хотя такие актерские протесты не бесплодны, если им находится творческая форма. Нет, к бунту против самих себя, против привычного зависимого самоощущения в искусстве.

Этот бунт, может, и утопия в массовом масштабе, но безусловно разумен в плане индивидуальном. Он «закрытый» и «тайный», ибо касается тайн творчества, а они у каждого свои. Он обращен сначала внутрь и лишь потом вовне. Это трудная перестройка сознания, ибо предполагает самоуглубление, скромность, трезвый взгляд на самого себя. В какой-то мере это конфликт с тем качеством профессии, о котором говорилось вначале, — с публичностью и вытекающими из нее свойствами характера. Но что делать? Ничей опыт и ни-

какой перечень имен не подсказывают другого выхода.

Что касается славных и великих имен, театральная легенда всегда несколько романтизирует имена и факты, но вот тот же Р. Я. Плятт вспоминает о Хмелеве, старается осмыслить его опыт и после некоторого раздумья произносит главное слово: сосредоточенность.

Сосредоточенность на искусстве — в самом себе. (А мне так хочется сказать добрейшему, безотказному, сверхотзывчивому Плятту: милый Ростислав Янович, за все надо платить, — и вы это знаете лучше меня. Или — пример Хмелева, или — тратата, которая в конечном счете есть тратата. Другого актеру не дано. Или воспитание абсолютного слуха к Искусству, или массовый поток и мелькание на экранах.)

Не только медики, но любой человек знает по себе, что есть предел душевных сил. Эти границы могут расширяться и сужаться, они подвижны — все зависит от человека и его самосознания. Человеческий и профессиональный опыт можно растратить и остаться пустым. К сожалению, актерскую работу «на отходах» массовое производство принимает и охотно использует. И вот уже очевидно: популярный актер не добавляет зрителю ни знаний, ни опыта, хотя и продолжает его развлекать. Я могу назвать имена — стоит ли?

Дело не в занятости-незанятости, а в актерской пустоте, которой мы, зрители, перенасыщены и к которой постепенно привыкаем. Содержание (образное, жизненное, серьезное) стало редкостью. «Произошло смещение ценностей: в категорию эстетическую возведен едва ли не любой массовый успех» — это не мои слова, но Р. Адомайтиса, который не желает быть «производителем пустоты». Смещение ценностей, стертость критериев — это не только актерская болезнь, чуткие актеры лишь уловили ее, честно отразили и... отправились на очередную телесъемку.

Как бы актер в кругу остроумных коллег ни отмахивался от своих многочисленных интервью и ни посмеивался над текстом в иных телефильмах, существует обратное воздействие этой пустоты на него же, на актера. Возникает привычка к пустоте, к безличному. Она, собственно, уже возникла, эта нехорошая привычка, и тоже грозит стать массовой. И тогда сложной может оказаться судьба исключения. И

очень непростым делом — сохранение критериев.

Все сказанное, наверное, спорно. (Сейчас, можно заметить, очень многое в театре стало спорным. Может, и к лучшему.) Что же тогда бесспорно? Высокохудожественное? Нет, и тут вкусы, мнения, споры...

Спорят, например, об актрисе Инне Чуриковой. Одним она очень по душе, другие забрасывают телевидение возмущенными отзывами — какая, мол, это Любовь Яровая? Есть зрители, у которых неколебимо представление о красоте, оно выражает себя в виде прямого требования — им Чурикова противопоказана. Но дар актрисы уникален именно тем, что не терпит пустоты, расцветает содержанием в любой роли, благо плохих ролей она не играла. Чурикова тревожит содержанием — и в Любви Яровой на телеэкране и в чеховской Сарре («Иванов») на сцене, — а далеко не все из нас хотят быть растревоженными.

Знакомую роль актриса буквально взрывает новым смыслом, и это неминуемо сотрясает чьи-то эстетические представления. Мне, например, казалась ушедшей в историю пьеса Тренева, но Чурикова еще раз втянула в судьбу Любви Яровой, не только объяснила ее по-новому, но прожгла эту чужую жизнь по каким-то своим законам. В ее героине не было «борьбы чувства и долга» и быстрого осознания, в чем долг. В ней жило прежде всего огромное чувство, которое в высшем смысле само по себе есть долг перед жизнью. Гибель Ярового — это смерть любимого мужа; для актрисы было бы вопиющим нарушением правды миновать реальный смысл ситуации, и она бесстрашно всю ее через себя пропустила. Автор пьесы несколько рискованно сблизил человеческую драму и момент социального прозрения — актриса интуитивно и безошибочно установила тут свою дистанцию. Чурикова играет вне дидактики, по иным законам. И роль неожиданно выросла не только в своем драматизме, но и в объективно-историческом содержании.

Такое же открытие совершает она в «Иванове». Благодаря Чуриковой кульминацией спектакля стала сцена, к которой иные театры не знали, как подступиться, делали текстовые купюры. Это момент, когда Иванов оскорбляет смертельно больную жену. В спектакле ошеломляет ответное движение Сарры. Не прочь от Иванова, но — к нему, на помощь. Это порыв огромной силы, он вне разума и выше его. Он вне всякого эго-

изма. Кажется, и ревность тут более чем уместна и эгоизм естествен для больной женщины. Но актриса играет не ревность, не болезнь, не свою беду, но — чужую. И степень трагической беды Иванова вдруг вырастает оттого, как это поняла и одним порывом выразила Чурикова. Я не помню, чтобы кто-нибудь другой так точно, так реально сыграл самоотвержение, а тем самым трагедию другого человека. И раз, два смотришь этот спектакль — и не понимаешь, как это играется. Тут тайна, которая и есть Искусство.

Могут сказать, что такое актеру дает только классика. Обратимся к современному спектаклю.

В пьесе А. Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся» два актера — А. Калягин во МХАТе, А. Миронов в Театре сатиры — сыграли весьма обыкновенного человека, диспетчера СМУ Леню Шиндина. На психологическую объемность ролей драматургия А. Гельмана до того не претендовала, у нее были иные особенности, критики поясняли их термином «социологическая драма». В этой драме между собой конфликтовали не характеры, но персонажи, обозначенные прежде всего должностью, производственно-общественной функцией. (Постановщик пьесы «Обратная связь» во МХАТе впрямую выразил это оформлением: все пространство сцены снизу доверху было заполнено канцелярскими столами, стоящими на разных уровнях — выше, ниже, в центре, сбоку.) Пьеса-чертеж и от театра требовала чертежа, а для этого не нужен был актер Смоктуновский, необязателен актер Ефремов или Калягин.

Но вот А. Гельман дал несколько иной тип драмы — может быть, она осталась социологической (я лично этот термин не понимаю), но в гораздо большей степени стала человеческой. И за это ее качество с замечательной цепкостью ухватились два умных и жадных до работы актера. Позволю себе не излагать сюжет пьесы «Мы, нижеподписавшиеся» — он построен на служебно-производственных хитросплетениях, иногда нелепых до абсурда, иногда предполагающих неожиданный выход, но всегда готовых вывернуться наизнанку. В центре всего этого — Леня Шиндин, скромный работник, по многим приметам скромный винтик, надежный, однако, способностью не на жизнь, а на смерть сражаться с представлением о человеке как о винтике.

Драму этого человека (по сюжету Леня

Шиндин терпит поражение) А. Калягин проигрывает почти в водевильном ритме, но с той истовой серьезностью, которая в лучших традициях исполнения ролей маленького человека. Его иступленная подвижность есть драматическая изнанка общего образа жизни и его собственного житейского опыта. В его наивности — природное сопротивление цинизму, своеобразное восстание против цинизма и поругки. Актер смело перемешивает смешное и драматическое, виртуозно ускользая от назидательного. Он явно счастлив этим как художник, и это актерское удовольствие легко перебрасывается в зал.

Есть актеры — поистине любимцы публики, великолепные, азартные комики. Комедия — их русло, зритель — их приятель, все контакты с залом налажены и изучены. Мне казалось, что воздействие этих контактов на актера А. Миронова очень велико, но это оказалось ошибкой. В блестящем комике полудрема талант драматический — Миронов не просто взрослел, он очевидно по-настоящему мужал и вот роль Лени Шиндина отважился сыграть почти в русле трагедии, на ее грани. Трагического накала пьеса не выдержала бы, и Миронов точно останавливается на грани, на самом краю, идеально соблюдая меру. Этот Леня Шиндин героически борется до конца, но выхода нет и нет победы. Слишком повязаны между собой его противники — хоть и абсурдна, но несокрушима их «безвинность». Скромный диспетчер проиграл, хотя и «играл» с полной отдачей и знанием многих ходов. Но более всего он хотел остановить чужую мутную игру. Не вышло. Ситуация округла и закрыта, как орешек. Лене не под силу разгрызть его, хотя надо бы — всем нам полезно посмотреть, что там, внутри. В финале Миронов вообще покидает конкретную ситуацию пьесы — подходит близко к рампе и молча смотрит в зал. Он молчит, но мы слышим: «Я был вашим зеркалом, вы поняли? И я, и вы, и Леня Шиндин живем одной жизнью, другой у нас нет, и за то, что с моим Леной произошло, вы отвечаете точно так же, как я...» Миронову было легче, чем Калягину, потому что его партнеры в Театре сатиры играют верно и живо. Актеры МХАТа, увы, составили привычный условно-театральный ряд, из которого не вышел даже такой мастер, как Е. Евстигнеев. Чтобы сегодня выйти из ряда, требуется не только талант, но мужество и определенное осознание

гибельности стояния в ряду. Этот ряд не ансамбль и истинно мхатовским традициям противостоит.

Может быть, здесь стоит завершить разговор об актерах? Кончим на том, что профессия требует мужества и сознательности. Сейчас больше, чем вчера или позавчера, ибо слишком наглядны потери.

## 3

Режиссировать... — это все равно что командовать матросами Христофора Колумба, которые желают возвратиться назад.

*Федерико Феллини.*

Если артист вникает в мечты художника, режиссера или поэта, а художник и режиссер в желания артиста — все идет прекрасно...

*К. С. Станиславский.*

Отдавая последнюю часть статьи одному-единственному спектаклю, я надеюсь, во-первых, в более конкретном виде представить то, что в сегодняшнем театре определяется волей и талантом режиссера. А кроме того, не буду скрывать, хочется закрепить, зафиксировать тот редкий момент единства, когда, по словам Станиславского, «все идет прекрасно».

Сквозь утопанную театральную почву в непредусмотренном месте вдруг пробивается что-то свежее-зеленое. Еще неизвестен полный рост этого нового, и его сила не вполне определена, и, разумеется, будущая судьба неясна, но в этой неопределенности и неизвестности — надежда. Такие моменты многое значат в театре. На них оглядываются, по ним что-то соизмеряют. Пройдут годы, и, я думаю, мы еще не раз вспомним довольно скромный современный спектакль — пьесу В. Славкина «Взрослая дочь молодого человека» в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Так его герои вспоминают о каких-то волнующих моментах своей жизни. В театре так до сих пор вспоминают «Пять вечеров» в БДТ, «Друг мой, Колька!» в Центральном детском, «Вечно живых» в «Современнике», «Доброго человека из Сезуана» в зале вахтанговского училища. Так помнят и начал о.

Но прежде несколько слов о режиссуре вообще.

Пока долгие годы (со времен «Царя Федора» во МХАТе и до наших дней) велись споры о «режиссерском» и «актерском» театрах, жизнь сняла кавычки с одного из этих понятий. Театр XX века стал режиссерским и обнаружил, что другим быть не

может. Как выяснилось, количество талантливых людей, владеющих труднейшей из всех театральных профессий, ничего не меняет в укладе современного театра; плохое качество режиссуры механически не делает спектакль «актерским», а самое сильное актерское содружество возникает или по воле режиссера, или такого вожака из себя обязательно выделяет, формирует, им же одновременно и формируясь. «Актерский» театр (тут оставим кавычки) сегодня есть не что иное, как внутреннее наполнение режиссерского, его живая сердцевина.

Тут же как из-за угла является острейшая проблема режиссерского дефицита. У нее свои, давние корни, к тому же причудливо переплетенные. Тут и театральная педагогика, в которой еще видны унылые серые следы догматиков системы Станиславского; тут и столкновение школ Станиславского и Мейерхольда, окончательно не перешедшее в форму творческого соревнования; тут и роковая роль когда-то принятого решения об отмене института художественных руководителей, что само по себе не могло не обезличить и не обесправить режиссера как ведущего театр художника. Наконец, тут и нечто новое (уже как результат многих процессов) — болезненное столкновение молодого режиссерского поколения с практическим укладом театра. Сегодня молодые гораздо смелее, чем раньше, замахиваются на старые театральные «болезни», но и отстают на удивление быстро, никого не вылечив. То ли не умеют толком лечить, или быстро устают, или сами уже заражены театральным конформизмом — полагаю, и то, и другое, и третье.

Короче, режиссеров мало, близких театров много.

Теперь обратимся к живому примеру, повторяю, весьма скромному, но в некоторых своих чертах знаменательному.

Сколько талантливых актеров в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского? Еще недавно мы задумывались на четвертом, пятом имени. Кто из режиссеров работает в этом театре? Даже театралы затруднились ответить.

Сейчас можно с уверенностью сказать: талантливых актеров по крайней мере семнадцать. Столько, сколько персонажей в двух спектаклях, поставленных режиссером А. Васильевым. Во «Взрослой дочери молодого человека» — семь. В «Первом варианте «Вассы Железновой», кажется, десять (к сожалению, оставляю этот спектакль за

пределами разговора). Итого, семнадцать. Семнадцать прекрасных актерских работ, семнадцать индивидуальностей. Таким богатством, оказалось, владеет самый обыкновенный театр.

И сразу вспомнились те, кто когда-то с успехом в этом театре работал: М. Яншин, Л. Варпаховский, Б. Львов-Анохин. Разные имена, но — это важно! — связанные высоким уровнем театральной культуры: ученик К. С. Станиславского, ученик Вс. Мейерхольда, ученик А. Д. Попова.

Когда из театра уходит крупный режиссер, что-то еще некоторое время держится в воздухе, какая-то невидимая, еле уловимая ниточка-паутинка. В актерах она живет подобно той Москве, которая как память и мечта жила в чеховских сестрах — жила, но никого не сдвигала с места.

Как разглядеть и уловить эту невидимую ниточку творческой памяти? Каким способом потянуть за нее, чтобы вытянуть на свет живое? В кого поверить и на что опереться? Что проявить в выборе пьесы — чувствительность к конъюнктуре или знание того, что модно? Заботу о незанятых актерах или о собственном режиссерском имени? Ответы на эти вопросы зависят от понимания режиссером своей профессии, а тут у каждого свой опыт и своя способность делать из опыта выводы.

Поставив во МХАТе вместе с О. Ефремовым «Соло для часов с боем», А. Васильев получил обычный для начинающего опыт совместной режиссуры. Многие молодые десятки лет проводят в таком союзе, который напоминает о сямских близнецах, но чаще всего продиктован не кровным родством и не особым единомыслием, а сугубо деловыми, «производственными» соображениями. Чаще всего — принятым делением на подмастерьев и мастеров или еще на «педагогов» и «постановщиков». Один режиссер работает с актерами, другой ставит спектакль на сцене. Первый не ориентируется в сценическом пространстве, второй избавлен от кропотливого общения с актерами. Профессия, по природе своей авторская, таким образом размывается соавторством. Спектакль, который задуман, выношен и во всех подробностях создан руками и фантазией одного человека, становится редкостью.

Но только такой спектакль имеет свое лицо.

Перед выбором оказался и А. Васильев. Два слова о его учителях. А. Васильев —

ученик М. О. Кнебель, которая в свою очередь является прямой ученицей Станиславского и Немировича-Данченко, когда-то учила О. Ефремова, А. Эфроса, В. Пансо, Л. Хейфеца и многих других. Так почему же «знуку» основателей Художественного театра было не поработать там при главном режиссере О. Ефреме, исповедующем вроде бы ту же веру? Надо полагать, потому же, почему когда-то от положения при руководителе театра уходили Вахтангов, Мейерхольд, Попов, Марджанов и еще многие, в ком однажды просыпалось, бунтовало и уже не давало покоя свое собственное режиссерское «я».

Уклад театра суров к этому «я», поначалу робкому, нескладному, а то и диковатому на вид. Театральному производству подавай гарантии, а какие тут могут быть гарантии! Хорошо еще, если тот, кто старше, терпелив, не самолюбив и способен думать не только о своих делах, но и о чьей-то чужой судьбе и творческой перспективе.

...Лет десять назад Мария Осиповна Кнебель пришла расстроенная со своего урока в ГИТИСе. На втором курсе она дает студентам-режиссерам задание — сделать этюд по какому-либо известному произведению живописи. Обычно выбирают «Сватовство майора», «Не ждали», «Вдовушку» — то есть сюжетные, бытовые картины. А тут вдруг какой-то строптивый студент заявил, что берет «Красных рыбок» Матисса. Что это — выпад против реализма? зпатаж? шутка? Кто будет изображать рыбок и как в таком случае определить сверхзадачу? Не стоит ли такого студента наказать? В педагоге, на счастье, победил юмор и то мудрое материнское чувство, которое допускает, что дети должны отличаться от родителей. Случай с «рыбками» Кнебель вспоминает смеясь. Студентом же был А. Васильев.

Школу реалистической режиссуры он в конце концов прошел во всех тонкостях, так же как названные выше мастера. Собственно, эта школа в ее идеальном виде предполагает в будущем художнике равновесие между педагогом и постановщиком, которое способствует авторскому в режиссере. И уже дело автора отстоять художественность своего сочинения, на основе ли «Сватовства майора» оно будет задумано или на «Красных рыбаках».

Спектакль «Взрослая дочь молодого человека» на первый взгляд обычен в том смысле, в каком обычным является спектакль,

реалистически воспроизводящий картину жизни. Пьеса молодого драматурга дает для этого живой и нефальшивый материал — не больше, но и не меньше.

По содержанию своему она проста. Вот как об этом писала газета «Правда», давая самую высокую оценку спектаклю: «Надо разговаривать отцу или матери с сыном или дочерью как людям, уважающим друг в друге человеческое достоинство. И при этом родителям помнить, что они — бывшие дети, а детям, что они — будущие родители. Это и убережет и тех, и других от слепых веприятий, которые подчас наносят близким людям долго не заживающие душевные раны»<sup>5</sup>. Вот, собственно, и все, на чем построен взволновавший всех спектакль.

Самое первое впечатление: необычайно помолодели в этом спектакле актеры. Будто не было тягостных лет полуспячки, телевизионной поделщины, изнуряющего внутритеатрального недовольства. Будто не было прежнего унылого опыта. Каждый выходит на сцену легким, неся лучшее, что в нем есть. А есть радостная вера, удовольствие от игры, от ее процесса на глазах у публики. Актеры, кажется, по-новому поверили в себя, в силу своего единства и помолодели, это очень видно из зала.

Очарование игры для себя, когда никто не премьерствует и не играет на публику, притягательно, в нем особое достоинство актерской манеры. Исполнитель внимателен к существу роля, ко всем ее подробностям и сложной, извилистой линии среди других. Это какая-то кустарная, ручная работа, в которой актер максимально сближен с материалом и не испытывает никакого отчуждения от собственного труда. Я не без удовольствия употребляю слово «кустарная», чтобы выделить не столько высоту мастерства, сколько его особый характер. И когда таким способом работы режиссер объединил стремление драматурга, художника и актеров, оказалось, что театр вовсе не исчерпал возможностей художественного единения, актеры не утратили охоты играть современную пьесу, а сцена наша совсем не чуждается воссоздания сегодняшнего быта.

Именно быта, тут вспоминается это слово, когда-то воспетое эстетикой МХАТа, а потом униженное и затасканное и на подмостках и в театральных дискуссиях. Быт, наш сегодняшний быт, то есть способ и характер повседневной жизни во многих

ускользающих от привычного взгляда подробностях, которые извлечены и расположены с истинным чувством поэзии, — этот быт на сцене воскрес живой и будто обновленный.

Новизна спектакля не в какой-то немислимой новой форме, но, поначалу кажется, в новизне наших собственных ощущений по поводу абсолютно знакомых вещей. Бывает, режиссура преобразует пьесу путем особых театральных ритмов, эффектных в своих комбинациях. Но тут на сцену втянуты те ритмы, в которых мы сегодня существуем, иногда не вполне сознавая, но всегда ощущая, с утра до вечера и даже во сне. Именно эта знакомая, обычная жизнь воссоздана на сцене с той мерой и качеством внимания, которые вне моды, но предполагают абсолютный слух к фальши и привязанность к правде.

Семья. Любовь. Дети. Возраст. Память. Время. Элементарные основы человеческого бытия (и быта) в своем переплетении и связях составляют своеобразный философский план спектакля, хотя никто из его героев не порывается философствовать, режиссер как бы вовсе не занят этой сторонней дела и пьеса далека от сугубо интеллектуальных драматургических форм.

Философия живет в этом спектакле так, как в каждом из нас, — мы о ней каждый день не думаем, просто живем. Так и тут. Просто — семья. Просто — возраст. Просто — время. Со временем, впрочем, не все просто. Тут и простейшие его приметы обнаружили серьезный смысл, а более сложные его признаки, конфликты между собой, дали спектаклю внутреннее напряжение, большее, нежели диктуется сюжетом пьесы.

Сюжет пьесы эта режиссура как бы размывает, не в сюжете интерес. Спектакль строится скорее на переливах атмосфер — из одной в другую. В профессиональном смысле ничего нового — термин «партитура атмосфер» давно известен во мхатовской школе.

Но, видимо, в театре последних лет был утрачен вкус к живой атмосфере. Само это понятие постепенно театрализовалось. Метафора, гипербола, условность преобразовали (или заменили) его. А в «узнаваемых» бытовых спектаклях уж очень элементарной стала мера достоверного. Так что было не до атмосферы. «Взрослая дочь...» не переворачивает представления о жизненной правде, но их освежает. То, что было забы-

<sup>5</sup> «Правда», 22 июня 1979 года.

то, то, от чего оттолкнулись, заскучав (а гораздо чаще не вкусив, толком не освоив), этот спектакль возрождает без педантизма, без демонстративной старомодности или модного стиля ретро. Например, атмосфера вечера — раннего, когда солнце еще бьет в окна стандартных домов, и позднего, когда в каждой квартире уже идет вечерняя, внеслужебная жизнь; или атмосфера дождя, одна на улице, другая дома, одна при закрытом окне, совсем другая при открытом. Кто-то распахивает окно в ночь. И в тишине важным становится редкое падение капель с верхней рамы. Дождь кончился.

Партитура атмосфер тут непростая, можно сказать, изощренная. Режиссер вовсе не подчинен жизнеподобию, напротив, скорее он с ним играет — то шутит, то нарушает, то строго следует. По отношению к мхатовскому реализму это выглядит так, как хорошая современная музыка в сопоставлении с хорошей несовременной.

Видимо, этого освежения очень ждал наш театр. Так дают человеку пить, когда он хочет именно воды, а мается, не зная отчего. Кто-то должен угадать, что нужна именно вода. Нельзя, однако, упрощать действия режиссера — именно чистой воды в театре добиться бывает трудно, почти невозможно. Взамен приносят что угодно, что под руками, к чему привыкли. Между тем где-то была вода, и все знают ее вкус.

Одну из главных художественных примет спектакля можно определить таким простым словом, что после опыта МХАТа его и произносить неловко. Это — паузы.

Когда-то были знамениты чеховские, мхатовские паузы. Потом они стали формальным знаком психологического театра. А. Д. Попов придумал свой термин — «зоны молчания». Недавно актер С. Юрский назвал свою книгу «Кто держит паузу» (имея в виду актера). Между тем на сцене паузы давно стали превращаться в актерский номер, а чаще просто снижали под натиском сверхстемпильных темпов и сверхплотной материи современного спектакля, в котором слова лепятся вплотную друг к другу, речи перенасыщены информацией, а оставшиеся минуты — музыкой и передвижениями.

Между тем в жизни мы довольно часто молчим. Молчим на работе (если работаем), молчим на собрании (если слушаем), часто молчим на улице и, уж конечно, с удовольствием молчим дома, если ценим тишину и покой. И в каждом таком молчании смысл

и свое содержание. В театре молчать немодно. Но человеческое существование без слов — вне моды, ибо это сама жизнь, значительная и важная ее часть. Именно так молчат в спектакле «Взрослая дочь молодого человека». Если прислушаться, паузы спектакля опять-таки не вполне правдоподобны, скорее наоборот. В них при обостренной достоверности своя условность, свое преобразование сценического времени. Сидящие за столом бывшие однокурсники погружаются в молчание, что-то едят, пьют, о чем-то думают. Но это не просто бытовая картинка. В персонажах за это время происходит нечто большее, чем может произойти в жизни за три минуты. Они будто нырнули в паузу (в свое прошлое, где у каждого все непросто, или в какое-то течение времени более плотное, чем обычно), а вынырнули на поверхность уже другими, что-то прожизив. На протяжении спектакля они не раз уходят куда-то таким способом и — возвращаются. И меняется ритм, и новое смысловое русло обретает спектакль.

Изучив и мастерски использовав известный прием, А. Васильев указал на его новую вместительность и новый объем. В паузах этого спектакля не только больше информации, но у нее особое, поэтическое качество. Легко можно представить, что в скором времени этот режиссерский прием будет использован другими, что естественно в театре. Важно осознать, что подобные открытия диктуются не столько формальной изобретательностью, но характером мышления и методом работы.

А между паузами — разговоры, громкие ссоры. Смена ритмов проживается актерами примерно так, как в жизни, когда, выйдя из квартиры, мы попадаем в грохот улицы или, напротив, придя домой, приносим с собой этот грохот, не можем избавиться от внутреннего напряжения и, не замечая, подключаем все это в мирную домашнюю беседу. И вот уже забыт и мир, и тишина, и никто не понимает, что, собственно, произошло. В действие пьесы впрыснут роствор именно этой современной городской жизни. Он распространен буквально во все сферы спектакля — от актеров, их способа входа на сцену и ухода до мельчайших деталей оформления и чье-то безмолвное и внесюжетное присутствие в квартире или за окном. Скажем, все первое действие на дальнем плане (в другой комнате) лежит на диване какой-то юноша и листает журналы. Его замечаешь вначале, а потом не



обращаешь внимания. И он как бы не обращает внимания на то, что рядом (в другой комнате) сначала готовятся к какой-то встрече, накрывают на стол, вспоминают студенческие годы, потом встречают гостя, едят, молчат, пьют, говорят все громче, танцуют, ссорятся, кричат, опять молчат и т. д. Отец привез сына в Москву, чтобы с помощью сокурсника, ставшего проректором, помочь сыну с поступлением в институт,— такова одна из ситуаций пьесы, что называется, вполне узнаваемая. Но по пьесе в первом акте этого сына вообще нет, он появляется только во втором. В спектакле молчание паренька, лежащего на старом диване с журналом в руке, есть необходимый фон происходящему. Придет время — и молчание соседней комнаты откроет себя. А пока в нем такт и какая-то своя жизнь.

Вообще в этом спектакле у каждого персонажа очень интересная своя жизнь. Какая-то череда прожигих дней, свой опыт, наконец, своя чисто физическая жизнь на сцене. Это реальное, правдивое физическое бытие неожиданно открывает тоже свою художественную прелесть: пластика и повадка родителей, грация молодых, спортивная подтянутость проректора—все это необходимые содержанию краски. Никаких особых сюжетных бурь нет — просто на сцене идет сравнение разных ценностей от 50-х годов и далее до наших дней. Все это никак не навязчиво.

Человек, который в студенческие годы под кличкой Бэмс блистал как первая звезда джаза (джаз был полузапрещен), поплатился за это, а дальше уже не блистал, но жил между тем честно и чисто. Сегодня он ходит на службу без особого энтузиазма, это печально, но на том и кончаются его вины. Со времен института ему не по душе расчетливое продвижение вверх и та «спортивность», которую исповедует теперешний проректор. Бэмс вообще мало изменился с институтских времен, как был Бэмсом, так и остался, как пел про какую-то заморскую Читтанугу, так и поет. Нынешний проректор в этой Читтануге побывал, и оказалось, что это захудалый полустанок,— приезжий был сильно разочарован. Бэмса же ничто такое не может разочаровать, потому что и джаз, и хриплый голос Армстронга, и наивная песенка про Читтанугу для него никогда не были зовом в заграничную жизнь, но навсегда остались искусством, тем, что вызывает живое волнение души и дает ощущение свободы.

В 50-х годах наивный студент чувствовал, что Пикассо — гений, а сегодня это написано во всех энциклопедиях. Бэмс не только умел танцевать чучу, но, как выясняется, думал верно и не дал притупиться этой своей способности.

В человеке внешне бесцветном спектакль открывает привлекательнейшую особенность — внутренний артистизм. Это и в Бэмсе открытие и в актере А. Филозове. А раз так, кульминацией спектакля может стать танец — танец, который танцуют вместе отец и дочь, Бэмс и Элла (названная так двадцать лет назад в честь знаменитой Эллы Фицджеральд). Что они танцуют? Какая разница! Кажется, это начинается со старомодной чучи, но музыка джаза есть музыка времени, она меняется, ритмы танца все эти изменения выражают, и блистательно хорошо, свободен в этих движениях отец и рядом с ним ослепительная молодая дочь. Этому танцу в спектакле предшествовало многое, оттого многое в нем и выразилось. Тут и игра в знакомство отца с дочерью («Как вас зовут, девушка?» «Элла...»), и какое-то серьезное, новое узнавание поколений, и союз, и артистическое партнерство — отца и дочери и двух актеров.

Режиссер ищет связи там, где внешне многое распалось, он обнаруживает диалектику там, где иная структура спектакля фиксировала бы прямое, видимое различие. Различия героев «Взрослой дочери...» драгоценны как приметы индивидуальностей, но в измерении большого времени (и спектакля как целого) они становятся звуками единой музыки.

Драме свойственно противопоставлять, сталкивать. И «Взрослую дочь...» изнутри держит множество больших и маленьких столкновений, а в самых маленьких часто отражаются самые большие. Возникает как бы сложная зеркальная система конфликтов — семейных, возрастных, общественных. Но в каком-то невидимом и самом большом зеркале все персонажи отражаются вместе, общей группой. Они связаны больше, чем разведены. Отсюда и смешная общая компания родителей и детей, идущая утром на первый сеанс в бывший «Орион», отсюда и песенки в финале уже совсем вне сюжета, как бы чисто музыкальное разрешение происходящему. Смысл этого разрешения, конечно же, вне и выше наивных слов, он в сфере поэтического ощущения жизни, а слова могут быть какими-

ми угодно. Странно — чем они наивнее, смешнее, тем сильнее ком в горле.

Режиссер ищет поэтические связи. Он увлекает актеров напряженным ощущением единого жизненного потока. Стиль и смысл этого спектакля определены прежде всего режиссерской способностью чувствовать в а т ь — чувствовать время, приметы перемен в нем, чувствовать внутренний мир человека и актерскую душу. Видимо, среди многообразных функций режиссера простая человеческая способность чувствовать тоже была как-то подзабыта. Единение участников хоть и хрупко (в театре все живое хрупко), но основано на лучшей из основ.

Режиссер сегодня — это с о б и р а т е л ь. Это неугомимый искатель тех форм, в которых живое на сцене будет жить. Ведь искусство не разрушает, но гармонизирует мир. Оно противостоит всякому разрушению и обезличиванию, хотя неизбежно их и отражает. Может, оттого и трудно сегодня режиссерам? Может, оттого и мало их, собирателей, вожаков? Ибо нет среди театральных профессий другой, требующей слияния железной воли с тем, что в человеке есть самое ранимое, нежное и восприимчивое.

Перечитав написанное, я подумала, что, может быть, в сложном комплексе театральных проблем, причудливо взаимосвязанных, все же следует выделить основные простые положения. Они не новы — говоря о театре, всегда в той или иной степени их касаешься. Куда уйти от проблемы режиссуры, актерского мастерства, литературной основы? Но бывают моменты, когда все эти вопросы обостряются до крайности. Вероятно, это бывает, когда вчерашнее в театральном искусстве уже истощает себя, а новое еще только намекает на что-то, что завтра станет реальностью.

В течение двух десятилетий мы с гордостью перечисляли имена режиссеров, сменивших прямых учеников Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова. Но вот подошло время — в этом отдают себе отчет все, кто к театру причастен, — и необходимым стало обогащение прежнего ряда новыми именами и новыми художественными идеями. Потребность в этом столь велика, что может возникнуть парадокс: весьма скромная пьеса, поставленная в театре, который

долгие годы не пользовался авторитетом, привлекла необычайное внимание зрителей, вызвала редкостное единодушие прессы — от «Правды» и «Литературной газеты» и далее. Тут многое симптоматично. В спектакле очевиден элемент обновления. В центре этого обновления — фигура режиссера, осознавшего сложные современные требования, предъявляемые к этой профессии.

В том, что было сказано об актерах, хотелось суммировать впечатления, которые в последние годы были доведены до остроты.

Борьба живого, творческого начала с ремесленным существовала в театре всегда. В конце первого мхатовского десятилетия Станиславский обратился к своим актерам с письмом, которое называлось «Караул!». Это был достаточно острый момент — мудрые руководители должны были многие годы искать ему решения внутри театра. Но иногда столкновение живого и ремесленного настолько обнажает себя, что становится предметом широкого публичного обсуждения. Жизнь покажет, к чему это приведет. Одно ясно: общественное внимание к данной проблеме не может быть бесполезным.

И наконец, последнее, вероятно самое важное. Театр не развивается изолированно, внутри самого себя. Если так, он себя съедает. Театру нужен приток духовных сил и верное русло для этого притока. Плодотворное влияние большой, серьезной литературы — факт, который вряд ли кто может оппорить. Вопрос в том, как это влияние реализовывать. Дело, очевидно, не просто в выборе репертуара, но в том, чтобы духовной высоте литературы внутренне соответствовать.

В прошлом веке Малый театр называли в Москве вторым университетом. Потом таким университетом стал МХАТ. Если не прислушиваться к таким, может быть, самым простым, но важным урокам истории культуры, можно роковым образом порвать в этой истории какие-то связи. Русская литература всегда являлась для театра питательной средой и критерием духовной содержательности. Имеет смысл это помнить не как общую истину, но как задачу, которая сегодня требует напряженных и энергичных поисков.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Коган.** «...Снова к прошлому взглядом приблизимся...».— **Ю. Смелков.** Нота надежды.— **Константин Кедров.** Мужество Достоевского.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Косолапов.** Командующий фронтом.— **Иг. Бубнов.** Эстетическое очарование истины.

## *Литература и искусство*

### «...СНОВА К ПРОШЛОМУ ВЗГЛЯДОМ ПРИБЛИЗИМСЯ...»

**Константин Симонов, Илья Эренбург.** В одной газете... Репортажи и статьи 1941—1945. Составитель **Л. Лазарев.** Вступительные статьи **Л. Лазарева, К. Симонова.** М. Издательство АПН. 1979. 286 стр.

**О**черки и статьи, о которых пойдет здесь речь, не впервые «стыкуются» в сознании читателей. До того, как встретиться на страницах этой книги, они встречались на страницах «Красной звезды» («Звездочки», как ее тогда ласково именовали в армии), военными корреспондентами которой были оба автора этой книги: отец, дед или старший брат сегодняшнего читателя, а то и сам читатель в пору своей молодости впитывал в себя эти строки как голос сражающейся Москвы или стоящего насмерть Сталинграда, как окрыляющий гимн победы и суровую правду о гитлеровских лагерях уничтожения, правду тем более горькую, взрывчатую, кричащую, чем сдержанней, строже по тону она «выговаривалась»...

Но важно не только то, чем были эти строки для нас, их читателей, тогда, в ту пору. Не менее важно — чем они остались для нас сегодня. Не потускнели ли краски, не отодвинулись ли безвозвратно в прошлое реалии, от одного упоминания которых тогда щемило сердце? Иначе говоря, не принадлежит ли эта боевая публицистика целиком своему времени, не перекрыта ли она — по глубине изображения и осмысления событий — позднейшей литературой о войне?

Противопоставления такого рода — большие, капитальные произведения или повсе-

дневная газетная и журнальная работа — возникали, впрочем, уже и тогда, в пору писания статей, составивших эту книгу. И тогда же, оспаривая подобные суждения, Константин Симонов писал: «...глубина произведения определяется не субъективным желанием автора написать произведение глубокое и значительное, а воздействием этого произведения на тех, для кого оно написано, — глубиной воздействия на чувства людей и отраженной глубиной тех чувств, которые возникают в душах людей после того, как они прочтут его. Простое эстетическое удовольствие, даже очень тонкого и приятного свойства, еще не свидетельствует о глубине воздействия вещи, созданной писателем. Но если люди читают и плачут, читают и смеются, читают и презирают, читают и ненавидят и если эти чувства, возбуждаемые у самых разных людей — разного воспитания, разного образования, разного склада души, — все-таки стали всеобщими чувствами, тогда это произведение глубоко и значительно, невзирая на то, что, быть может, оно измеряется не томами, а двумя газетными столбцами и писалось оно не год, а полтора часа, печаталось прямо на машинке к газетному номеру».

Писал тогда, в 1944-м, а перепечатал сегодня, в 1979-м, в предисловии к этой книж-

ке. Перепечатал в связи с размышлениями о роли и значении военной публицистики Эренбурга.

Но то же, или почти то же, можно было бы сказать и о газетной работе самого Симонова. И, конечно же, не его только. И о Тихонове с его «Ленинградскими рассказами», и о Горбатове с его «Письмами к товарищу», и о «Науке ненависти» Шолохова, и о сталинградских очерках Гроссмана... Из очерков красноезвездцев можно было бы наверняка составить не один сборник...

Но сейчас перед нами именно эта книга... Когда она сдавалась в набор и даже когда она вышла, еще оставались в силе слова, которыми К. Симонов начал свое обращение «К читателям»:

«Из двух авторов этой книги, когда-то вместе работавших в газете «Красная звезда», сегодня в живых один я.

И мне, как оставшемуся, следует сказать об ушедшем».

Он успел это сделать. И сегодня, когда ушедших — уже двое, а оставшихся ни одного, следует с особым вниманием взглянуть в этот пришедший к нам как бы из дали грозových лет любовно составленный и оформленный сборник.

Четыре года войны — четыре раздела книги. Хронология войны — летопись горя и мужества — от очерка К. Симонова «Части прикрытия», датированного 5 июля 1941 года, и статьи И. Эренбурга «Коалиция свободы» (20 июля 1941 г.) до первых послевоенных выступлений об итогах и уроках минувшей войны.

Война предстает на страницах сборника как дело не только рискованное, требующее отваги, мужества, но как тяжкий, повседневный, изнурительный труд во имя победы. Она «не вскрик, но долгая и тягучая песня...» (И. Эренбург, «4 октября 1941 года»). «Нельзя быть, — пишет он там же, — героями только по праздникам, победит тот народ, для которого героизм — будни».

А эпиграф к последнему разделу — строки Симонова о родине, которую поэт увидел «накануне Победы, не каменной, бронзовой, славой увенчанной, а очи проплакавшей, идя сквозь беды, все снесшей, все вынесшей русскою женщиной». Общность взгляда на войну вызывает у двух столь не схожих по «почерку» писателей даже словесные совпадения, обращение к одним и тем же образным средствам, сравнениям, эпитетам. Один из очерков Симонова («Рус-

фанер») посвящен «чернорабочим авиации» — авиамеханикам; Эренбург пишет о «чернорабочих Победы» — саперах. Симонов, как обычно, более конкретен, сдержан, «заземлен», Эренбург более пафосен, но образ труженика, чернорабочего войны вошел и в его высокую стилистику, «прописался» в ней органично.

Эренбурга и Симонова родила газета, любовь к ней, стремление активно вмешаться словом в жизнь сегодняшнюю, сиюминутную, быстротекущую, воздействовать на нее. И еще родили их (прежде всего как советских людей, пламенных патриотов и столь же пламенных интернационалистов) ненависть к лжи, фальши, как мы бы сегодня сказали — к показухе: показному мужеству, показной доброте, показному демократизму — ко всему ненастоящему, не обеспеченному делом, судьбой. В том числе и к не оплаченному делом, не подтвержденному жизнью слову. Ненависть к чванству — личному и национальному, к расизму во всех его видах, к попыткам утвердить благополучие — свое личное или даже целого народа — на костях других, за счет других... Вот почему фашизм был для них — можно смело сказать так — личным врагом, врагом номер один. Ненависть к фашистским ублюдкам пронизывает всю публицистику Симонова и Эренбурга периода войны, как, впрочем, и всю нашу публицистику той поры: в этом и выражалась тогда ее высшая нравственность.

Но важно подчеркнуть: это была ненависть во имя любви! Любви к родине, к человечеству, к жизни на земле, к высоким идеалам мировой культуры. Вот почему справедливый призыв к ненависти, без которой невозможно добыть победу, закономерно опирается в их публицистике на размышления о русской национальной гордости, характере советского патриотизма, сочетании патриотизма и интернационализма, об отвратительности националистического чванства в любых его проявлениях.

«Русский народ никогда не был националистом... Мы не чванливы по природе. Война у нас доходила до сознания народа только как защита своей земли. Так было при Наполеоне. Так случилось и теперь».

Это общая позиция авторов сборника. Для Эренбурга эта мысль, можно сказать, сквозная, неотвязная; он возвращается к ней неоднократно: «Патриотизм обозначает любовь к своей стране, к своему народу. Как всякая большая любовь, патриотизм

расширяет сознание. Подлинный патриот любит весь мир. Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. Безлюбые люди — плохие патриоты. А лжепатриотизм фашистов покоится на презрении к другим народам, он суживает мир до пределов одного языка, одного типа людей, одной масти».

Мы говорили выше о сюжетном стержне сборника — хронологии войны как движении времени, как пульсе эпохи. К временной координате следует добавить и географическую — широту охвата пространства. «География» сборника, сами названия иных его статей или очерков говорят об этом достаточно отчетливо: «Можайск» и «Судьба Европы», «В районе Поньрей» и «В Высоких Татрах»... Это не только география войны, это интернационализм мысли и действия: освободительная миссия нашей армии и широта писательского видения.

Именно потому, что ненависть авторов сборника к фашизму основывается на ненависти ко всякому милитаризму, расизму, чувству, запечатленное в слове, оказалось столь долговременным, столь современным сегодня.

Вот выдержки из выступлений Эренбурга и Симонова, обращенных к зарубежному читателю, ими заканчивается книга выступлений, произнесенных вскоре после войны, независимых друг от друга, — тем разительней совпадение их внутреннего пафоса.

Эренбург: «Мало уничтожить фашизм на поле боя, нужно уничтожить его в сознании, в полусознании, в том душевном подполье, которое страшнее подполья диверсантов. Нельзя уничтожить эпидемию свиходительностью к микробам».

Симонов: «Фашизм существует до сих пор, существует в разных формах, открытых и скрытых, и эта болезнь не из тех, которые излечиваются просто солнцем и свежим воздухом...

Фашизм — не насморк! Фашизм — гангрена! Гангрену не лечат свежим воздухом, с гангреной борются при помощи хирургического вмешательства».

Живые уроки! Уроки, подтвержденные — и подтверждаемые сегодня ежечасно — всей нележкой судьбой человечества в наш ядерный век.

Несколько слов об особенностях писательского склада авторов этой книги.

Во вступительной статье составитель сборника Л. Лазарев справедливо говорит о двух типах изображения войны — об от-

крытой, распахнутой монологической лирико-публицистической интонации статей Эренбурга и о внешне сдержанной, сухой, закрытой, объективно-бесстрастной повествовательной манере очерков Симонова, очерков, так сказать, сюжетно-психологических, в которых на первом плане — почти всегда — не авторское «я», а герой, персонаж. Тем удивительнее, читая эти очерки и статьи подряд, вместе, наблюдать, как органично монтируются, сплавляются в одной книге два этих способа изображения, какое новое, своеобразное единство возникает.

Вот, скажем, на одной и той же семьдесят седьмой странице напечатаны — так уж сошлось — конец статьи Эренбурга и начало очерка Симонова. И как контрастно обнажаются на этом стыке композиционно-стилевые различия, своеобразие творческих приемов!..

Вот несколько примеров такого контраста, примеров, взятых, что называется, почти наугад, наудачу.

«Красное знамя полков и дивизий, иди на поле боя — в тебе кровь жертвенной любви, в тебе наш гнев и наша ненависть, в тебе наша клятва. Россия будет жить, фашисты жить не будут!» (И. Эренбург, «О ненависти»).

«— И между прочим, знаете, я за тот бой сигарок пять скрутил и скурил до конца. Ну, может быть, не до конца — врать не буду, — но все-таки скрутил пять сигарок. В бою так: ружье отодвинешь и закуришь, когда время позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то промахнешься и уже не закуришь — вот какое дело...

Петр Болото улыбается спокойной улыбкой человека, уверенного в правоте своих взглядов на солдатскую жизнь, в которой иногда можно отдохнуть и перекурить, но в которой нельзя промахнуться» (К. Симонов, «Дни и ночи»).

Различие выступает тут, можно сказать, само: Эренбург выражает напрямую то, чем переполнены наши души; Симонов воссоздает, что творится в душе «одного из нас», одного, «этого» героя.

И еще одна «стыковка», на этот раз тематическая. Она позволяет яснее представить как сами стилиевые различия, так и отнесенность этих различий, отсутствие «китайской стены» между творческими манерами этих двух мастеров; возможность, так сказать, взаимоперехода.

В статье под названием «10 августа 1944 года», написанной для заграницы, Эренбург упоминает о люблинской «фабрике смерти»; сразу же за статьей Эренбурга идет симоновский очерк «Лагерь уничтожения», хорошо памятный каждому, кто в те годы читал «Красную звезду» на фронте. Под очерком даты: «10—12 августа 1944 г.», то есть тогда же, когда и Эренбург писал свою статью. Но, как по-разному эти два материала написаны!

Пользуясь крылатым афоризмом Хемингуэя (которого знали и любили они оба и который знал и ценил их обоих), Эренбург оставляет факты — «5/6 айсберга» — под водой; он сразу выплескивает на нас итог — свои чувства. Симонов, напротив, подчеркнуто нетороплив, обстоятелен, детален; кое-где эта детализация может, пожалуй, показаться чрезмерной, пусть, он идет и на это, ибо знает, что факты, подробности — если не записать их сегодня, то завтра уже, пожалуй, и записывать будет нечего, а быть может — и некомв... Словом, он ведет себя на первый взгляд скорее как протоколист, чем, как прокурор: вот лежат на складе столько-то абажуров из человеческой кожи, столько-то зубов, вырванных у заключенных, столько-то пар детской обуви... Что это, зачем эта бесстрастная инвентаризация, готовы вы протестовать, где же его писательское — да что писательское, просто человеческое! — сердце, как может оно выдержать т а к о е, как может автор столь сдержанно, ровно, не отвлекаясь ни на минуту, не прерываясь ни на один возглас, описывать э т о?! Лишь дочитав, понимаете, какого не то что труда — каких сердечных, душевных усилий стоило писателю оставаться нарочито бесстрастным в такой ситуации для того, чтобы наилучшим образом исполнить свой долг свидетеля обвинения...

И все же в одном месте в самом конце очерка и Симонов не удержался — невольно, видно, стало, — раскрылся, высказался напрямую. Эта мгновенная распахнутость сдержанного, сильного, обычно крайне скрытного в проявлении собственных чувств человека говорит читателю так много! И именно здесь возникает у Симонова, пусть тоже мгновенный, стык с Эренбургом.

Вот этот абзац, судите сами, прав ли я:

«Так замыкается цепь, включающая в себя всю Германию. На одном конце этой

цепи падач Теодор Шолен, вырывавший у людей золотые зубы и толкавший их в душегубки, на другом конце цепи Эдит Шостек, которая всего-навсего за свою работу получала вещи убитых. Они на разных концах цепи, но цепь одна. Одним больше, а другим меньше, но им придется отвечать всем. Пусть они не кивают друг на друга. Пусть они раз и навсегда поймут это: придется отвечать всем».

Мне кажется, так мог бы написать и Эренбург. Мог бы т а к написать — значит, мог бы так и почувствовать.

Книга, о которой идет здесь речь, чрезвычайно любопытна еще в одном отношении: в этих горопливых газетных корреспонденциях ясно проступают истоки позднейшего, «большого» творчества их авторов. К примеру, начало очерка «На старой Смоленской дороге» (открыто лирическое, непривычно личное для Симонова-очеркиста, в этом жанре обычно очень сдержанного, «застегнутого») напомнит широко известные строки стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Или вот эти строки, такие точные в реалиях и вместе такие волнующие по пронизывающему их, окрашивающему их исповедальному чувству: «...И когда смотришь на такой деревенский погост, чувствуешь, сколько поколений легло здесь в могилы, в свою землю, рядом со своими дедовскими, прадедовскими избами, чувствуешь, какая это деревня, какая это наша земля, как невозможно отдать ее, — невозможно, так же как невозможно вырвать у себя сердце и суметь после этого все-таки жить». Не напомнят ли они вам ныне страницы современной деревенской прозы — при всей неожиданности такой ассоциации? Оказывается, и это было, в Симонове. И это жило в его художественном мире. А ведь писалось-то когда...

Или вот поразительный образ крестьянки, едущей хоронить убитого фашистами сына. Написано опять же подчеркнуто сдержанно, чуть ли не заземленно, а вырастает в образ самой Родины, самой Победы. И мы снова вспоминаем другие строки Симонова, что стали эпиграфом к одному из разделов книги: о Родине, которая представляется поэту не лаврами увенчанной, а все повидавшей, все вынесшей русской женщиной... Не то чтобы эти емкие поэтические строки вышли обязательно из данной газетной зарисовки (хотя случалось и такое). Нет, речь о другом:

зарисовки, репортажи, очерки — помимо их собственной неповторимой исторической, психологической, эмоциональной ценности — помогают яснее понять психологию творчества, увидеть тот конкретный повод, факт, из которого, как из зерна, вырос образ, художественное обобщение, установить творческую предысторию некоторых произведений, их жизненные истоки.

Можно было бы, наверное, поспорить с составителем относительно отбора иных материалов. Мне лично, например, очень жаль, что в сборнике нет статьи Эренбурга «Выстоять!...». Может быть, стоило включить в сборник не только статьи и репорта-

жи Симонова и Эренбурга, но и их стихи, тоже встречавшиеся в былую пору на газетной полосе, — включить не только в качестве эпиграфов к разделам. Тогда, пожалуй, еще нагляднее видно было бы творческое многообразие оперативной периодики военных лет, разнообразие используемых ею видов литературного оружия, а вместе с тем — то глубинное единство проблематики, мыслей, чувств, которое пронизывало тогда произведения всех жанров... Но пожеланий можно высказать еще много, а книга — вот она, одна. И хорошо, что она есть.

А. КОГАН.



## НОТА НАДЕЖДЫ

Галина Башкирова. Рай в шалаше. Роман. М. «Советский писатель». 1979. 288 стр.

**К**огда Борис Слуцкий написал свое знаменитое «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...», вряд ли можно было предположить, что пройдет не так уж много времени и оресл физиков несколько потускнеет, а «в почете» окажутся, так сказать, лирики. Сегодня конкурсы на гуманитарные факультеты все растут; историк, психолог, даже лингвист — это «звучит»! Естественно, что литература не может остаться в стороне от такой «смены вех», и не только естественно, но и похвально, поскольку одна из обязанностей литературы — наблюдение над обществом и происходящими в нем переменами. И, конечно же, обобщение результатов этих наблюдений, поиск закономерностей.

Наиболее значительным произведением «эпохи физиков» в нашем искусстве был, пожалуй, фильм «Девять дней одного года». От его персонажей, как бы драматично ни складывались их судьбы, веяло уверенностью в себе и в значительности дела, которым они занимались, — оно было превыше всего, оно наполняло их жизнь высоким смыслом. Помню кадр: маленький человечек на фоне огромной стены — стена эта могла отнять жизнь у человека, но он все равно оставался ее повелителем, хозяином...

В романе Галины Башкировой «Рай в шалаше» тоже есть физик. Но он на втором плане, он не более чем муж героини романа. А героиня — психолог и роман — о психологах. И Татьяна Николаевна Де-

нисова, психолог, рассуждает о науке так: «Наука, как черная дыра... как звезда с очень большой массой, проваливается в себя под силой собственной тяжести — ей уже не справиться с собой, она отчуждается от себя, превращаясь в индустрию. Ей трагически не хватает философского осмысления, синтеза или, возможно, чего-то более простого? Допустим, права на интересную гипотезу, на шаг вперед; сделанный без оглядки на существующие законы. Легкости — вот чего ей не хватает, права оторваться и воспарить над горами залежавшихся фактов... права воспарить и помечтать о небудничном. Все так мелко скрупулезно и буднично в этой самой науке — графики, цифры, частицы... расщепили, разрежали, поковыряли. гены, покалечили живую материю, доказали, убедили... А дальше? А зачем? А для чего?»

Скажи кто-нибудь такое лет двадцать назад... Да нет, никто не сказал бы, все знали: вот придут физики, уверенные в себе, ироничные, остроумные, — и все устроится. Теперь так смотрят на психологов, только уже со значительной долей скептицизма. Вот этот скептицизм и фиксирует Галина Башкирова. Сами вопросы — зачем и для чего? — в сущности, ненаучны, телеология и научное мировоззрение несовместимы, наука отвечает совсем на другие вопросы: «что?» и «почему?».

Итак, психологи...

Предоставим опять слово Тане Денисовой: «Было время горячих ожиданий

и напряженной работы в надежде перевернуть, изменить лицо науки и тем самым лицо человеческое в сторону точности и кибернетического оптимизма.

И лицо человеческое отвернулось от нас, подумала Таня».

Тем не менее она успешно продолжает свою научную работу и даже становится (в конце книги) основоположницей нового направления в психологии — тут у нее все обстоит благополучно. Думает же она об отвернувшемся от нас человеческом лице, поскольку все неблагоприятно в ее личной жизни — тянется и тянется годами, опустошая ее, выматывая душу, хотя временами и принося интеллектуальные и духовные радости, роман с Костей Цветковым, Константином Дмитриевичем, преуспевающим профессором то ли психологии, то ли философии, словом, каких-то гуманитарных наук.

А муж Тани Валентин — физик, но какой-то другой физик, не претендующий на объяснение тайн бытия (кроме тех, конечно, которые касаются его профессии) и относящийся к интеллектуальным разговорам как к приятной возможности несколько разрядиться и не без удовольствия убить время. Он весь — там, в своем институте, в заботах об очередном эксперименте, о деньгах, которые надо выбить на этот эксперимент, о внутринститутских отношениях. Словом, работает человек без претензий на переустройство мира и к финалу романа даже удостоен премии, так что у него все хорошо.

Вот в таком окружении существует Таня Денисова, и, несмотря на все научные успехи, оно ее не очень радует и даже заставляет с элегической горечью произнести: «Никто никогда не узнает, зачем мы работаем...» Ясно, что Таня имеет в виду не непосредственные результаты ее деятельности — тот же вопрос «зачем?» ее тревожит, который вставал и перед другими героями русской литературы, не занимавшимися никакой общественно полезной деятельностью: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать!»

Таня работает — и неплохо, как я уже говорил. Так, может быть, все ее терзания и метания не более чем интеллектуальная блажь научной дамы? Что ж, книга Башкировой дает некоторые основания для такого вывода, в ней ощутим перебор ум-

ных бесед и не очень относящегося к делу психологизирования, что, однако, не заслоняет от нас искренней тревоги писательницы по поводу насущно важному: как этим героям соединить «Душу» и «Дело». Вроде бы соединяются они, вроде бы должны соединяться у всякого человека, любящего свою профессию, но, оказывается, не так, остается какой-то нерастворимый осадок, и слиться эти два понятия до конца не могут. То есть какая-то иллюзия слияния возникает. Как с горечью говорит Таня, получается своеобразный «рай в шалаше», только «не из веток, а из тезисов и докладных записок». «Общий сборник, общий текст, вообще любая общая работа — это среда обитания, там мы друг с другом встречаемся, говорим, спорим, там наши переживания и страсти... И незаметно получается... зачем семья, если между двумя людьми произошла любовь, зачем общая постель и общие дети, зачем родственники жены, зачем ходить в прачечную и бегать за картошкой? Можно жить проще... разговаривать по телефону, готовить вместе публикации»...

Что ж, сказано точно — о тех людях из мира науки, у которых вся «душа» в их «деле» не потому, что они такие уж пламенные энтузиасты своей науки, а потому, что больше ни на что души, духовности не остается, о людях, у которых духовную жизнь заменяет какое-нибудь хобби или разговоры «об умном». Но трудно, трудно живому человеку в таком «шалаше»: и входить в него трудно, а жить в нем еще труднее. Между тем Татьяна Николаевна Денисова, сопротивляясь, медленно, но верно вступает под его своды. «Таня напишет о фантомах несколько книг, и ее назовут основоположницей науки о том, чего не существует на самом деле, но без чего существовать невозможно». Фантомы — это психологическая теория Тани, имеющая весьма реальный смысл и значение, но здесь на мгновение слово поворачивается к нам буквальным своим смыслом, очень близким к тому «раю в шалаше», о котором размышляет героиня Галины Башкировой.

В этом «шалаше» обитает и Цветков — живет себе мнимой жизнью (слова «актер», «спектакль» часто употребляются по отношению к нему именно в этом смысле: человек, живущий не своей жизнью). Блестящий ум, эрудит, к советам которого прислушиваются видные столичные режиссе-



ры, талант, но тянутся и тянутся какие-то ненастоящие их с Таней отношения, приходя к печальному, неожиданному и закономерному финалу. Опять не соединяются «душа» и «дело», хотя как раз с Таней Цветков ведет самые глубокомысленные беседы, хотя именно ей высказывает наиболее интересные мысли о человеке.

И друг Таниного мужа, Дмитрий Иванович Ковалев, тоже живет в «шалаше». «Он стал доктором в двадцать пять, членкором четыре года назад и был лишен честолюбивых комплексов: все пришло к нему само, начиная с исключительным образом устроенных мозгов, и пришло в срок. Он жил в тщательно отсеянном мире собственных событий и сам назначал себе, что есть событие». Обратим внимание, речь идет о людях, немало и по заслугам достигших в своем деле.— Цветков, Денисов, Ковалев, сама Таня... И черты, которые видит в них писательница глазами своей героини, никак не назовешь дурными, но... «В этом кругу, кругу теоретической элиты... любили разговаривать об отечественной истории, пересказывать и объяснять прочитанное, сообщать как о величайшей новости то, что образованный человек, в общем-то, должен знать, но сообщать как-то иначе, потому что из уст, скажем, Ковалева, признанного выдающимся, надлежало выходить тоже только всему выдающемуся... Интонация, дозволенность «выступать» с позиции интеллектуального над окружающими превосходства шли оттуда, из тех времен, когда несколько ведущих стариков физиков и их ученики действительно были силой...» Что ж, не только в кругах физиков стали модными разговоры на исторические темы, этакое приятное переливание из пустого в порожнее, свидетельствующее о высокой образованности переливающих,— и вообще-то эту моду на историю я бы признал явлением положительным, поскольку она все-таки больше дает человеку, чем, скажем, мода на платья «сафари». Причудливы пути, по которым порой распространяется знание, и мода не самый неудобный; на знное количество читающих исторические книги, повинуюсь ей, всегда находится один, для кого это чтение станет стимулом собственной работы мысли, более того, станет переживанием, а не рассмотрением, как точно формулирует Башкирова. Такой человек мелькает на третьем плане ее книги — это Фролов, муж Таниной сослуживицы, тихий,

незаметный человек (хотя и доктор наук), которым энергично командует жена. Он тоже что-то такое читал, какие-то мемуары времен Ивана Грозного, и тоже рассказывает о них. Так вот, «Таня гоймала себя на мысли, что корявые, тяжело поворачивающиеся фразы Фролова слушать ей интереснее — в них была первозданность открывателя, труд постичь нечто, имевшее отношение к нему, Фролову, лично, его корням и истокам...». Фролов только изредка мелькает в романе, и цель его появления — засвидетельствовать, что автор знает и других ученых, живущих подлинной, а не придуманной духовной жизнью, настоящих ученых, не пытающихся изрекать истины в областях знания, известных им лишь поверхностно. Но пишет Башкирова не о них (по крайней мере, в этом романе), а о Цветковых, Ковалевых, Денисовых — людях, полагающих, что во внутренних карманах их пиджаков лежат патенты на универсальное знание, или, наоборот, живущих только в своей профессии и демонстративно предпочитающих «потреблять все так называемое «духовное», в том числе историю, в готовой расфасовке», как Денисов, муж Тани. Не берусь судить, насколько они многочисленны в сегодняшнем научном мире, но они есть и есть эта проблема человека, думающего, что он постиг последние выводы мудрости земной только оттого, что он добился каких-то результатов в физике элементарных частиц или топологии. Об этой проблеме пишет Башкирова, и не будем упрекать ее за то, что она не рисует в своем романе всеобъемлющий портрет современной научной интеллигенции. Что же до последнего вывода мудрости земной, то иным научным интеллигентам не мешает вспомнить о том пути отнюдь не только научного познания, который прошел доктор Фауст.

Так вот, Фролов — это один выход из «шалаша»: человек науки, живущий реальной, а не «расфасованной» духовной жизнью. Другой выход пытается подсказать Татьяне Николаевне Верочка, Вера Владимировна, секретарь лаборатории, человек с несложившейся судьбой: «У вас есть ваша наука! Вы ученая! Вы талантливый человек! Вы сами не замечаете, как много сделали за эти годы... Вам есть куда спрятаться! Это так важно! Это мало кому дано, вам не приходило в голову?» Этот выход в конце концов и избирает Татьяна Николаевна, но не иллюзорен ли

он? Недаром же у Верочки мелькает слово «спрятаться», от чего? От жизни, от полноты бытия, а от этого-то Таня как раз и не хочет прятаться, напротив, ищет ее — и не находит, шествуя по привычному пути научных достижений и интеллектуальных бесед.

Этим и приходится ограничиться Тане, поскольку ее долгие отношения с Костей обрываются несколько неожиданным образом. После монолога Танио «шалашах» Костя радостно заявил: «...сегодня я сделал открытие: ты научилась мыслить». Когда на исповедь отвечают такой вот репликой, женщине ничего не остается, как уйти — навсегда. А в это же время происходит еще один разговор — ее мужа Валентина с аспиранткой Цветкова Нонной, весьма практичным существом двадцати пяти лет. Нонна объяснила, что решила выйти замуж за Цветкова и создать у себя дома интеллектуальный салон. Нонна, в сущности, естественное продолжение Денисова: его больше всего интересует работа, профессия, престижная сторона профессии, а ее — материальные и престижные блага, которые можно за работу получить (эти два типа людей не так уж далеки друг от друга, как может показаться). Денисов даже несколько, пугается такого продолжения себя, хотя и держится вполне достойно и иронически; надо сказать, что его диалог с Нонной написан прекрасно: Нонна, эта представительница новейшей формации околонучных карьеристов, раскрывается в нем вся, со своими мечтаниями (дома станут бывать интересные люди, Костю примут в Союз писателей — тоже модно, он должен стать «престижным человеком» и тому подобное вплоть до покупки машины). Даже Денисов удивленно констатирует: «Я всегда думал, что железным людям бывает трудно: им приходится ломать себя. Смотрю на вас и убеждаюсь: нет, железным, оказывается, быть легко: если нет души, работает лишь железная конструкция...»

И автор пишет: «Нонна не обиделась...» Это подмечено точно, поскольку новейшая формация не обижается, не тратит нервов попусту и вообще почти бравирует аморальностью своих намерений. А в Денисове все-таки есть интеллигентская закуска: он жалобно просит Нонну не модернизировать ленинградскую квартиру Цветкова, старинную петербургскую квартиру, в которой сто лет жили интеллигенты. Денисов сам в молодости разорил такую же кварти-

ру своих предков и теперь неожиданно для себя самого понял цену им содеянного.

Да, а Нонна все-таки добила своего, вышла за Цветкова. Так все и кончается: Денисов получил премию, чего очень хотел, Нонна тоже получила то, что хотела, и Таня стала основоположницей направления в своей науке. Хотела ли она этого? Наверное, да, но не только и даже не в первую очередь этого. Словом, каждому воздается по свершенному им. Костю немного жалко, стал видный ученый дойной коровой собственной жены, но, в сущности, и ему воздавалось по делам его. А Фролов остался где-то за пределами авторского внимания — жаль немного, конечно, но не о нем, не о таких Фроловых здесь речь, отрадно, что они существуют и что автор, изображая своих героев, помнит об этом. Да и научные достижения Тани тоже, если разобраться, несут в себе надежду: все же среди видных ученых стало больше одним человеком, понимающим, что «для того, чтобы завоевать место в нашей новой, неясной науке, все равно необходимо приобщение к чему-то такому, что стоит и над этой наукой и над обыденной жизнью».

В романе явственно ощутимы лирические ноты, притом что автор отнюдь не делает героиню своим вторым «я» и даже настойчиво подчеркивает свою отделенность от нее, оговариваясь: «тут мы позволим себе высказаться Таниными словами» или указывая, что данная мысль, причем, возможно, неверная, принадлежит Тане. Такие оговорки разбросаны по всему роману и цели своей достигают, хотя, в общем, производят впечатление литературной игры: слишком уж ясна причина, по которой они появились.

Состоялась еще одна наша встреча с учеными, причем на сей раз с теми, кто занимается непосредственно нами, то есть с психологами. И мы еще раз убедились, что чудес на свете не бывает, что наши человеческие проблемы нам и решать, хотя, конечно, и с помощью ученых, помощью весьма существенной. С помощью — да, но ожидать, что наука в обозримом будущем принесет нам панацею, которая разом разрешит все наши проблемы, — занятие вряд ли перспективное, поскольку мы убедились, что и свои собственные «проклятые вопросы» герои романа решают с переменным успехом. Причем решают не как ученые, не как психологи, а, в общем-то, как все мы, простые смертные. Тускнеет от этого

ореол науки? Нет, пожалуй, просто яснее становится место, занимаемое ею в жизни, место важное, но отнюдь не самое главное. Да и есть ли такое дело, такая профессия, которая была бы для человечества бесспорно «самой» главной? Есть ли такая панацея?

Теория фантомов, предмет увлечения Татьяны Николаевны, в будущем разовьется, будет разработана, найдет выход в жизнь и когда-нибудь практически поможет другим людям. И психология, таким образом, тоже внесет свою лепту в дело улуч-

шения бытия человеческого. Что ж, так и совершается прогресс — с помощью научных достижений и гуманизации человеческих отношений. Эта нота надежды не очень ясно слышна в романе. Впрочем, и странно было бы, если бы она звучала громче, чем сейчас, ибо книга, в сущности, кончается поражением героини. Но она все-таки слышна, эта нота, в неровной, но серьезной и интересной книге Галины Башкировой.

Ю. СМЕЛКОВ.



## МУЖЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО

В. Я. Кирпотин. Избранные работы в трех томах. Том I. Пушкин, Лермонтов, Салтыков-Щедрин. 494 стр. Том II. Достоевский. 486 стр. Том III. Разочарование и крушение Родина Раскольников. Достоевский-художник. 752 стр. М. «Художественная литература». 1978.

**О**ткрытие Достоевского по-настоящему состоялось только в XX веке. Начало нашего века есть одновременно начало долгого литературного спора о Достоевском. Сейчас, на исходе столетия, мы видим, как оживают давние споры; книги, толкующие творчество Достоевского, выходят и, судя по всему, будут выходить по нарастающей прогрессии.

Трехтомник В. Я. Кирпотина посвящен не только Достоевскому. В первом томе идет серьезный разговор о творчестве Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, но в пределах одной рецензии нельзя объять необъятное, и я позволю себе сосредоточиться прежде всего на тех работах ученого, где трактуются проблемы творчества Достоевского. Тем более что работы эти занимают два тома из трех.

Позиция В. Я. Кирпотина резко отличается от бытующей тенденции видеть только позднего Достоевского. Разговор о «Бедных людях», о «Двойнике», о художественном методе Достоевского в 40-х годах сегодня весьма актуален. Обстоятельная глава посвящена произведениям 60-х годов. В целом содержание второго тома интересно и в чисто познавательном смысле. Мы привыкли к Достоевскому, резко противостоящему ходу и образу мысли едва ли не всех крупных деятелей литературы XIX века. Здесь же, до 60-х годов, Достоевский еще ни в чем не отступает от канонов классического гуманизма. До «Записок из подполья» ничто не предвещает тех потрясений, тех сомнений в гармоничности человеческой

природы, которые заявят о себе в «Преступлении и наказании».

Не удивительно, что литературная мысль начала XX века рассматривала мир Достоевского прежде всего через образы Раскольникова, Великого инквизитора, персонажей «Бесов». В этих образах ощущалось предвестие грядущих потрясений, перед которыми бледнел любой вымысел.

В декадентской критике господствовала в то время удивительно близорукая ницшеанская концепция творчества Достоевского, согласно которой Родион Раскольников был всего лишь предтечей «сверхчеловека». Достоевского даже слегка упрекали в том, что он ослабил этот образ ненужной рефлексией покаяния. Парадоксально, что подобная критика фактически соглашалась с той логикой самого Раскольникова, которая привела его к убийству, то есть с его наполеоновскими устремлениями, с готовностью шагать через реки крови к заветной цели. Порочность и примитивность такой модели «сверхчеловека» сегодня ясна, в XX веке она достаточно явно воплотилась в «сверхчеловеках» третьего рейха. Однако тогда, в начале столетия, к идее «сверхчеловека» тянулись и Мережковский, и Розанов, и Шестов...

Разумеется, полемика вокруг наследия Достоевского в послевоенные годы возникла на совершенно новом уровне. Теперь уже никто не поет гимнов «сверхчеловеческим» потугам Раскольникова, и в критике, особенно экзистенциалистской, стала осо-

бенно актуальной проблема суда над Раскольниковым.

В статье «Разочарование и крушение Родиона Раскольникова» В. Кирпотин сосредоточил внимание на фактах и идеях, связанных именно с этой проблемой. Здесь неизбежно рождается творческая полемика с трудами М. Бахтина. Языковой полифонизм Достоевского М. Бахтин справедливо считает отражением многоголосия самой человеческой природы. Это открытие со временем не утрачивает своего значения. Не вызывает сомнения, что герои Достоевского очень часто как бы имитируют речь собеседника, но если все говорят «чужим голосом», откуда же возникает свое неповторимое слово? Абсолютизация многоголосия должна неизбежно вести к этическому релятивизму: если все голоса равноправны, не становятся ли метания Раскольникова между Христом и Наполеоном своего рода «игрой в бисер», блистательными упражнениями в логике, риторике и софистике? В мире многоголосия нет четкой грани между преступлением и наказанием... Возможен ли в принципе суд над человеком, если человек сам не знает, кто он, если множество голосов звучат в его душе равноправно, утверждая противоположные вещи? В рамках чисто полифонического подхода ответ на этот вопрос вряд ли возможен. Трудно не согласиться с В. Кирпотиним, что Достоевскому чужд этический релятивизм, и концепция Бахтина в этом свете требует трезвого и подлинно творческого подхода.

Что бы ни говорилось о Достоевском, все точки зрения группируются в классическую триаду: оправдание Раскольникова и Великого инквизитора (нищезанство); осуждение их; отказ от самой возможности осуждения или оправдания, что отразилось в экзистенциальной точке зрения Камю и некоторых других мыслителей. Правда, в наши дни, как уже сказано, уходит в архив нищезанская трактовка Достоевского, чрезвычайно модная в начале века. Теперь более чем когда-либо стала ясна актуальность предостережений Достоевского, которую многие в начале века стремились преуменьшить или затушевать. Сегодня и у нас и во всем мире линии споров сходятся к вопросу о преступлении и последующем суде.

Вспомним, что у Достоевского суд всегда выглядит пародийно. В «Преступлении и наказании» глупо выглядит адвокат, в «Братьях Карамазовых» еще глупее выглядит про-

курор. И все же истинный суд, по Достоевскому, возможен и необходим. Достоевский спорил с бытовавшими в XIX веке теориями преступности, ищущими объяснение преступления лишь в окружающей плохой среде. У Достоевского суд непосредственно вытекает из внутренних требований совести. Индивидуальной и коллективной.

Экзистенциальное сознание исключает возможность суда. Преступник преступает чей-то запрет, а экзистенциализм не признает запретов. Преступника судят, исходя из мотивов его преступления, а экзистенциализм отрицает в целом правомерность мотивировок. Перед лицом мирового абсурда жертва, преступник и сам суд есть не более чем проявление все той же всемирной бессмыслицы.

В буржуазной западноевропейской эстетике сегодня на первый план выдвинулась экзистенциальная трактовка деяний Раскольникова. Самым талантливым и самым ярким, хотя и косвенным примером такой трактовки стал роман Камю «Посторонний». Как и Родион Раскольников, герой Камю совершает убийство, которое можно мотивировать множеством обстоятельств: тут и жара, и душевная пустота, и социальная озлобленность, но, пожалуй, больше всего — жара. Жара как нечто неопределенное, отвлеченное, даже не физиологическое, просто нечто абсурдное, как само убийство.

Здесь яснее всего ощутима разница в трактовке преступления у Достоевского и Камю. Достоевский тоже не забывает о духоте и абсурде и о тысяче других деталей вроде каморки Раскольникова, похожей на гроб, но абсурдность петербургской жизни для Достоевского только фон духовных событий. Главное суждение произносит все-таки homo sapiens — человек разумный.

В. Кирпотин справедливо указывает, что невменяемость Раскольникова, его психическая болезнь вызывает одинаковую иронию и у Достоевского, и у его героев. «Я бедный и больной студент, удрученный бедностью», — говорит о себе Раскольников в полицейском участке. На невменяемости Раскольникова строит защиту его адвокат. Невменяемость у Достоевского выступает лишь в ироническом плане.

У Камю невменяемость героя даже не медицинское отклонение: это просто нормальное состояние, в котором пребывает любой. Каждый может стать убийцей, и всегда убийство будет необъяснимо. Моти-

вировка преступления для Камю так же абсурдна, как и мотивировка добра.

Раскольников невеняем от своей идеи, «посторонний» мыслит от невеняемости. Кирпотин понимает всю сложность проблемы. В споре с экзистенциальным этическим релятивизмом он находит очень важную точку отсчета для определения меры добра и зла. Эта мера простирается за пределы одной личности. Она признает множественность голосов, но не тонет в них. Вздох «угнетенной твари» для Раскольникова лишь жалоба, лишь голос страдания. Для Достоевского это вздох затаенной силы.

Об этой силе хотел сказать Достоевский в романе «Идиот». Исторически несправедливо, что о Родионе Раскольникове и Великом инквизиторе интерпретаторами писателя сказано гораздо больше, чем о князе Мышкине. Не все помнят, что сам термин «положительный герой» впервые произнес Достоевский. Считая создание положительного героя важнейшей целью литературы, Достоевский думал, что после Христа, Дон Кихота и мистера Пиквика таким героем будет князь Мышкин. Князь Мышкин — Христос XIX века. Его пришествие в Петербург, конечно, не опровергает Раскольникова. Приход князя Мышкина ничего не изменил в мире, но ведь и сам Христос не стремился к внешнему изменению мира. В то же время подразумевается, что после его прихода мир стал другим.

Но победил ли Мышкин Раскольникова? После преступления Раскольникова не только Петербург, но и весь мир стал другим. После Мышкина мир лишь утвердился в привычных ценностях. Так, по крайней мере, могло казаться в XIX веке. Но в конце XX века мы ценим Мышкина больше, чем современники Достоевского. Странно, ведь мы далеко отошли от наивной веры в установления христианства, но, видимо, эта отдаленность приблизила к нам князя Мышкина. От Японии и до Нью-Йорка на сценах и экранах всего мира князь Мышкин утверждает ценности, без которых наша цивилизация не может существовать.

В статье «Мир и лицо в романах Достоевского» В. Кирпотин подробно прослеживает путь от замысла к воплощению образа князя Мышкина. Идя по пути, намеченному самим Достоевским, В. Кирпотин видит родословную князя Мышкина и в Евангелии и в «Дон Кихоте» Сервантеса. О «Дон Кихоте» Достоевским сказаны пламенные слова: «Эту самую грустную из

книг не забудет взять с собой человек на последний суд божий!..» С каким же благоговением создавал Достоевский образ князя Мышкина, если в нем должны были воплотиться и Христос и Дон Кихот! Может быть, к пониманию этого образа нужно идти с позиций единственной в своем роде эстетики, действительной только для данного произведения.

И здесь в связи с этим разговором хочется поделиться некоторыми сомнениями относительно традиционного подхода В. Кирпотина к проблеме мифа. У В. Кирпотина миф — лишь препятствие на пути к пониманию человека. Для него познание истины есть борьба с мифом. Естественно при таком подходе видеть в Мышкине опровержение евангельского Христа и нечто другое. Чаще всего мифологический роман есть снятие противоречий между мифом и текущей реальностью. «Доктор Фаустус» Томаса Манна вовсе не опровергает «Фауста» Гёте, как «Фауст» Гёте не опровергает легенды о докторе Фаусте. Образ Христа был для Достоевского высшей сверхценностью, и трудно предположить в «Идиоте» художественный смысл, диаметрально противоположный замыслу автора, его «святая святых». Спрашивая, почему после Христа стал возможен Дон Кихот, Достоевский ответил, что испанский идальго, как и мистер Пиквик Диккенса, «удались», потому что «смешны». Князь Мышкин, писал Достоевский, не смешон, он «невинен». Слово «невинен» подчеркнуто. Здесь открыт секрет правдоподобности и жизненности этого образа — одного из самых обаятельных в мировой литературе. Конечно, такие люди не ходили по Петербургу толпами, как не ходили толпами по Испании донкихоты, но какой же идальго не чувствовал себя Дон Кихотом, читая роман Сервантеса, и какой российский интеллигент XIX века не узнавал в князе Мышкине свои затаенные, но характернейшие черты! Обаяние личности князя Мышкина не в словах, не в теориях, которые никто не помнит. Как собственный его прообраз, он человек поступка, более красноречивого, чем любые слова.

В. Кирпотин рассказывает, как безуспешно пытались вгонять творчество Достоевского в догмы славянофильства, ницшеанства, экзистенциализма. Между тем строгая в своей внутренней системности философия и непротиворечивость вовсе не представляют ценности ни для Раскольнико-

ва, ни для его антипода Мышкина. В отличие от Толстого Достоевский в достаточной мере разочарован в логике, в единой и непротиворечивой философско-религиозной системе. А в трудах В. Кирпотина мир Достоевского порой становится слишком рационально организованным. Ирония Достоевского над всякой философией слишком явна, чтобы не замечать ее в таком фундаментальном исследовании.

В трудах В. Кирпотина о Достоевском за тридцатилетний период вполне естественны некоторые отголоски прошедших времен. Так ли безупречен на сегодняшний наш взгляд прием «от искусства к жизни», когда смысл художественного образа расшифровывают историческим контекстом эпохи? Ведь литература — квинтэссенция жизни, и ее не следует снова растворять в исходном материале. Слишком часто у В. Кирпотина духовные проблемы героев Достоевского объясняются язвами конкретной поры становления капитализма. Между тем время ясно показало, насколько общечеловечны и актуальны для всех времен и народов человеческие проблемы в творчестве Достоевского.

Гамлета нельзя объяснить только эпохой Возрождения, а князя Мышкина только конкретной стадией капитализма. Мысливший конкретно-исторически, Достоевский говорит о свободе человеческого выбора, о решимости человека быть человеком в любых условиях.

Перелистнув последние страницы трехтомника Кирпотина, невольно задумываешься: Достоевский здесь знакомый и в то же время какой-то другой. Более гармоничный. Более устремленный к будущему. Привычный образ писателя — скорбный лик страстотерпца. В Кирпотину дороже Достоевский внутренне уравновешенный и ясный. Ведь был молодой писатель, не знавший ужасов «мертвого дома», восторженный почитатель Шиллера, участник кружка Петрашевского, расправлявший собственноручно письмо Белинского к Гоголю. Все ли мечты умерли у столба смертной казни?

Что значила для Достоевского вера в «золотой век» человечества, в его «всемирное братство»? Даже Иван Карамазов в это твердо верит, даже Родион Раскольников в этом не сомневается. В речи на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня 1880 года, которая стала духовным завещанием писателя, Достоевский снова подтвердил свою пламенную веру в будущее братство людей. Вспомним, в какое неистовство привели его восклицания Константина Леонтьева. Как? Опять эти «народы Европы», это «мировое братство»?

В человеческой истории бывают моменты, когда надо обрести мужество юной веры в прекрасное будущее человечества. Достоевский обладал таким мужеством.

Константия КЕДРОВ.



### Политика и наука

## КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ

Акрам Шарипов. Черняховский. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1978. 304 стр.

**В** сражениях Великой Отечественной войны выросла целая плеяда молодых талантливых советских полководцев. И едва ли не самым ярким среди них был генерал Черняховский, в тридцать семь лет ставший командующим 3-м Белорусским фронтом.

Советская литература еще в ходе самой войны стремилась запечатлеть этот процесс становления, формирования, роста наших молодых полководцев. Одной из первых попыток такого рода был созданный Александром Корнейчуком образ генерала Огнев в пьесе «Фронт».

Когда читаешь книгу Акрама Шарипова о Черняховском, генерал Огнев возникает в памяти не случайно. Облик Ивана Даниловича Черняховского, каким предстает он со страниц этой книги, во многом, как мне кажется, схож с героем пьесы «Фронт». И дело тут не только в схожести боевых биографий (и тот и другой начинали войну полковниками, оба вскоре получили генеральское звание, оба командовали армией, а затем и фронтом); главное — в общности взглядов на характер современной войны и способы ее ведения, нешаблонность, смелость тактического мышления

Думается, молодой генерал Огнев, с которым драматург познакомил нас в тяжелой обстановке первого года войны, в дальнейшем наверняка вырос бы в такого же крупного военачальника, каким стал Черняховский. Все данные для этого у него были.

А. Шарипов впервые обратился к жизни и деятельности Черняховского в книге, восемь лет назад увидевшей свет в Военном издательстве. В новом, переработанном издании, по праву занявшем свое место в серии «Жизнь замечательных людей», уточнены некоторые даты и факты, появился ряд новых документов. Подготовка нового издания шла и по линии сокращения текста за счет второстепенных подробностей. На мой взгляд, эти сокращения, за немногими, может, исключениями, пошли книге на пользу.

А. Шарипов написал документальную книгу. В ее основе — подлинные факты биографии Черняховского, воспоминания его соратников, людей, близко знавших Ивана Даниловича, архивные материалы о боевых действиях 28-й танковой дивизии, 60-й армии и 3-го Белорусского фронта, которыми он командовал.

В первой части книги автор прослеживает жизненный путь Черняховского от детских его лет и комсомольской юности до начала Великой Отечественной войны. Подростком после смерти родителей Иван пас стадо. Потом слесарил в железнодорожном депо станции Вапнярка. Работал на цементном заводе в Новороссийске. Семнадцатилетним юношей по рекомендации окружкома комсомола Черняховский становится курсантом Одесского пехотного училища. Уже тогда он твердо решил всю свою жизнь посвятить военному делу, защите отечества.

Начав службу в войсках, молодой командир сразу же засел за подготовку к поступлению в академию. Он с головой погружается в ленинские работы, выступления, высказывания о войне и армии, с увлечением изучает военную историю, историю военного искусства, способы применения на поле боя современной техники, проблемы взаимодействия различных родов войск.

В академии Черняховский выделялся своими способностями, необычайным упорством и трудолюбием. В рецензируемой книге приводятся воспоминания генерала Н. М. Зинovieва, учившегося с ним на одном курсе: «Иван Данилович был красив не

только внешне, но и внутренне, он был отличником среди отличников. Над некоторыми теоретическими вопросами или задачами мы иногда думали часами, а Иван Данилович решал их за несколько минут». Н. М. Зинovieв отмечает, что уже в то время Черняховский отличался самостоятельностью, широтой и смелостью суждений.

В 1936 году, незадолго до выпуска из академии, Иван Данилович едва не стал жертвой клеветнического доноса. Ему грозило исключение из партии и отчисление из армии. Начальник курса, веривший Черняховскому и высоко ценивший его способности к военному делу, посоветовал обратиться к М. И. Ульяновой, возглавлявшей тогда Объединенное бюро жалоб Наркоматов РКИ СССР и РСФСР. Мария Ильинична внимательно выслушала Черняховского. В результате проведенного по ее поручению расследования все обвинения отпали. Иван Данилович успешно закончил академию. В октябре 1936 года ему вручили диплом, на котором сверху было оттиснуто: «С отличием».

Питомец Военной академии механизации и моторизации Красной Армии, полковник Черняховский встретил Великую Отечественную войну, командуя 28-й танковой дивизией Прибалтийского Особого военного округа. 20 июня 1941 года дивизия передислоцировалась ближе к границам Восточной Пруссии и сосредоточилась в лесах севернее Шяуляя. Здесь в первый день войны и приняла она свое боевое крещение.

Танкисты дивизии Черняховского дрались героически. В первом же бою они уничтожили четырнадцать немецких танков, двадцать орудий и до батальона пехоты. Проведение врага на Шяуляй было задержано. Это, однако, не помешало командующему 16-й немецкой армией генерал-полковнику фон Бушу отрапортовать фюреру, что 28-я танковая дивизия русских полностью уничтожена. Гитлер поздравил фон Буша с победой и награждением орденом Железного креста.

Между тем «уничтоженная» дивизия Черняховского продолжала вести упорные бои в крайне тяжелых условиях, зачастую с открытыми флангами и почти без прикрытия с воздуха. Черняховцы не раз переходили в контратаки, нанося врагу чувствительные удары. Но силы были слишком неравны: противник имел превосход-

ство в численности войск и боевой технике в три-четыре раза. В начале июля после двух недель кровопролитных боев и беспрерывных маршей дивизия была выведена в резерв Северо-Западного фронта на доукомплектование.

А в середине августа — снова в огонь сражений. От боя к бою все ярче раскрывался недожиданный военный талант Черняховского. За оборону Новгорода и проявленные в боях личное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР в январе 1942 года он был награжден орденом Красного Знамени. За успешное руководство боевыми действиями по окружению частей 16-й немецкой армии в районе Демянска Иван Данилович 3 мая 1942 года награждается вторым орденом Красного Знамени, а 5 мая ему было присвоено звание генерал-майора. 25 июля того же года Черняховский принимает командование 60-й армией.

Опыт боевых действий по окружению демянской группировки противника многому научил Ивана Даниловича. В руководстве войсками в последующих боях и операциях он всегда придавал первостепенное значение сосредоточению сил на узком участке прорыва и созданию подвижных резервов для развития наступления в глубине вражеской обороны. Его оперативное мастерство отличалось умением совершать маневры по окружению противника с одновременным рассечением окружаемых группировок на части. Он не боялся, если того требовала обстановка, вносить изменения в замысел операции в ходе ее осуществления.

В апреле 1944 года Черняховский был вызван в Москву. В Генштабе узнал, что по инициативе А. М. Василевского и с согласия Г. К. Жукова он рекомендован на должность командующего фронтом.

«— Вот вы какой!— сказал Сталин, когда ему представили Ивана Даниловича. — Василевский и Рокоссовский докладывали мне о ваших операциях под Воронежом и на Украине... Политбюро решило предложить вам пост командующего фронтом. Как вы на это смотрите, справитесь?»

— Войну знаю, если доверите — постараюсь справиться».

Да, войну Иван Данилович знал. Руководимые им войска участвовали в освобождении Воронежа, Курска, Конотопа, Бахмача, Нежина, Житомира, Витебска, Орши, Вильнюса, Каунаса, отличились в боях за

Киев и Минск. Они в числе первых вышли на границу с фашистской Германией, успешно громили гитлеровцев на территории Восточной Пруссии. «Автору, — пишет в предисловии к книге маршал В. И. Чуйков, — удалось воссоздать картины боев и сражений, из которых войска, руководимые генералом Черняховским, выходили победителями».

Все, кто знал Черняховского, свидетельствуют, что Иван Данилович заслуженно снискал себе уважение и любовь подчиненных, широких солдатских масс. В дни подготовки к Курской битве командующий Центральным фронтом К. К. Рокоссовский говорил члену Военного совета фронта генералу К. Ф. Телегину: «За 60-ю можем не беспокоиться — Черняховский отличный командарм. Он не только прекрасно подготовлен в военном отношении. Это человек и высокой культуры. Несмотря на свою молодость, он достиг того, чего не могли достичь многие маститые командующие, имеющие большой опыт. Черняховский добился такого положения в армии, когда подчиненные выполняют его приказы с любовью».

«В войсках, — вспоминал после войны маршал А. М. Василевский, — Черняховского очень любили. И было за что. Он чутко прислушивался к мнению подчиненных, умел их беречь, был прост в обращении, в каждом солдате видел товарища по войне. Тридцатисемилетнему генералу поручили командовать 3-м Белорусским фронтом. Это было высшее признание его таланта. Достаточно сказать, что в это же время 1-м Белорусским фронтом командовал Жуков, 2-м Белорусским — Рокоссовский...»

Чутко прислушивался к мнению подчиненных... Умел беречь их... Был прост в обращении... В каждом солдате видел товарища по войне... Замечательные черты облика советского полководца! Автор не ограничился воспроизведением высказываний по этому поводу боевых соратников Черняховского; он стремился показать эти качества Ивана Даниловича, обаяние его личности во многих эпизодах, на многих страницах своей книги.

Отметим, что написана книга в основном языком добротным и строгим; ее обширный материал композиционно удачно организован. И тем досаднее, что автор нет-нет да и выдаст «на-гора» абсолютно ненужные, лишние фразы, которые, как ему, вероятно, кажется, призваны обеспечить повествова-



нию «художественность». Эти тяготеющие к литературным красотам фразы инородны для стиля документального повествования, выпадают из него.

Но вернемся к судьбе героя книги. Черняховский — самый молодой из командующих фронтами Великой Отечественной войны, генерал армии, дважды Герой Советского Союза — не дожидая дня победы. 18 февраля 1945 года, когда войска 3-го Белорусского фронта завершали окружение

Кенигсберга, в бою на окраине Мельзака Иван Данилович был тяжело ранен и в тот же день скончался. До последнего удара сердца он самоотверженно и честно служил своему народу и погиб как солдат.

Выпустив документальную книгу, воссоздающую ратный путь выдающегося полководца, издательство сделало нужное и благородное дело.

**В. КОСОЛАПОВ.**



## ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ИСТИНЫ

Олег Мороз. В поисках гармонии. М. Атомиздат. 1978. 207 стр.

Что движет ученым в его творчестве? Обычно отвечают: жажда познания; иногда веселее: любопытство. Ответ, как правило, удовлетворяет. Но ведь любопытство — это лишь желание, стремление что-то узнать. Оно никак не определяет те духовные и физические затраты, на которые идет ученый во имя достижения своей цели. И потом любопытство само по себе абстрактно и может быть удовлетворено самым разным путем. А истинного ученого не так-то легко отвлечь от избранной проблемы, с какими бы трудностями он ни столкнулся. Так что же все-таки движет им? Может быть, привязанность к постигнутой области, или привычка к труду, или, наконец, честолюбие? А может быть, еще что-то?

Наверное, этот вопрос будет когда-нибудь исследован, как теперь принято говорить, комплексно и будет получен исчерпывающий ответ. Пока же имеет смысл атаковать проблему по частям...

Замысел книги О. Мороза прост и, я бы сказал, элегантен: посмотреть, каким образом на работу ученого влияет эстетическое начало, присущее (или не присущее) ему чувство красоты. Довольно, как бы говорит такой постановкой вопроса автор, умиляться всеобщим признанием взаимовлияния искусства и науки, пора посмотреть, в чем это выражается конкретно. Поскольку до сих пор размышления об эстетическом были неразрывны с анализом творчества художественного, здесь мы, очевидно, имеем дело со стыком одного с творчеством научным. Стык, который исследует О. Мороз, можно обнаружить и в другом месте — между психологией (точнее, психологией научного творчества,

разделом берущего разгон науковедения) и точным научным знанием. Так или иначе, но подход к делу свеж и актуален. Но как автор рискнул преодолеть «барьер отторжения» между столь различными областями? Попытаюсь ответить на этот вопрос, зайдя «со стороны».

Стало привычным говорить о разобщенности, «разноязычности» специалистов различных областей знания и деятельности. В пору, мол, вновь налаживать контакты между иными научными «цивилизациями». Не приходится-де говорить сегодня о взаимопонимании не только физиков и искусствоведов или техников и физиков, но и ученых из соседних разделов одной науки. Мне же кажется, что все это не более чем метафора, причем существующая с незапамятных времен. Как любая метафора, она имеет право на жизнь, но далека от истинных закономерностей в сегодняшнем развитии науки (достаточно обратить внимание на проникновение математики в лингвистику или социологию). Конечно, у каждой области человеческой деятельности имеются свои понятия, свой специфический язык, однако существует он не как единственное средство интерпретации знаний, а как средство упрощения обмена информацией в кругу знатоков. И ровно настолько, насколько данная область общественно значима, существует возможность понимания ее целей, методов и результатов (одним словом — сущности) широким кругом людей. Иначе не было бы возможным планировать и организовывать развитие науки. Иначе не было бы столь привлекательным для огромного количества телезрителей «сиюминутное» осмысление самых различных и порой очень

сложных научных проблем, которое регулярно сообщает нам с экрана профессор С. Капица. Иначе не была бы интересной людям самых различных профессий последняя книга А. Эфроса «Профессия — режиссер», в которой он прекрасным, общедоступным по образности языком раскрывает секреты своего высокого ремесла (в книге, кстати, говорится о существовании «разноязыких» театров и в то же время — о несложности достижения взаимопонимания между их представителями при единстве задачи).

Заметим, однако, что эти два примера иллюстрируют не только возможность популяризации на очень высоком уровне как владения знанием, так и способности донести его до непрофессионалов. (Наша культура вообще славится такого рода примерами: вспомним А. Ферсмана, В. Обручева, С. Вавилова или Г. Нейгауза с его книгой «Об искусстве фортепианной игры».) Здесь популяризация неразрывна с процессом исследования. Исследования на стыке. И поскольку границы на подобных стыках всегда неотчетливы, вибрирующие, исследования такого рода требуют особого таланта — если не универсального мышления, то, по крайней мере, вооруженности различными методами анализа и синтеза. И еще обладания ценным даром широкого, не косного взгляда на вещи, большой эрудиции и общей культуры.

Издавна с немалым трудом различаются стыки между гуманитарными науками и литературой. История, философия, психология, с одной стороны, и художественная проза, с другой. Еще теснее смыкается история естествознания (общественная наука) с самим естествознанием и с общей историей (в последнее время еще и с психологией), с одной стороны, и с научно-популярной и научно-художественной литературой, с другой. До поры до времени было вполне допустимым считать (или делать вид), что задачи и методы, а следовательно, и результаты у этих видов литературы с наукой сугубо различные. Писатели и журналисты — авторы, скажем, художественных и популярных биографий ученых — придерживались этой позиции, очевидно, из скромности. Научные работники (не хочу сказать — ученые), писавшие научные биографии и исследования научных школ, из трудно скрываемого снобизма. По этим причинам работы первых никогда не претендовали на право считаться научным

исследованием, а работы вторых были не в состоянии конкурировать с беллетристической.

Впрочем, давно уже появились замечательные исключения из правил: ученые и писатели в одном лице — Юрий Тынянов и Мариэтта Шагинян, Леонид Леонов и Виктор Шкловский, Иракий Андроников и Даниил Данин, Лев Успенский и Михаил Алпатов... Не уверен, что эти (как и вообще) «исключения» подтверждают какое-либо правило, но думаю, важным и неизбежно набирающим силу признаком сегодняшнего развития культуры является все большее взаимопроникновение различных ее сфер. Очередное и весьма убедительное подтверждение этому — книга О. Мороза «В поисках гармонии», которая стала поводом для всех этих размышлений.

О. Мороз в постановке своей задачи исходит из того, что для истинно творческого человека очень важно привести свои представления и знания о мироздании в некую гармонию. Изначальное отсутствие такой гармонии — важная движущая сила не только художественного, но и научного творчества. Берусь утверждать, что постановка задачи в книге О. Мороза с научной точки зрения истинно корректна. Теперь о методе. От общей постановки автор переходит к определению границ своего исследования. Берется только одна область науки — физика, но зато в ретроспекции от античности до наших дней. Автор внимательно читает и анализирует первоисточники — этапные работы крупнейших ученых разных эпох и стран. Очень важная особенность книги: заранее не провозглашена никакая-либо концепция. Автор отнюдь не подгоняет факты под «благоприятный» результат и едва ли не безжалостно к самому себе (или опять же к возможной концепции) вскрывает отсутствие эстетического движителя у тех ученых или в тех случаях, когда его действительно нет. И конечно же, в книге учитывается переменчивость во времени и неоднозначность, субъективность представлений о красивом, гармоничном.

Изложение хода и результатов исследования сугубо художественное, образное: П л а т о н («Он... творил скорее как художник, нежели как ученый», «...прекраснейшего соединения можно добиться лишь с помощью пропорций»); К о п е р н и к («Истина привлекала не только сама по себе. Она обладала для него еще неким эстети-

ческим очарованием»); Кеплер («Небесные движения есть не что иное, как ни на миг не прекращающаяся многоголосная музыка»); Галилей («Он создает новую эстетику взамен старой... С точки зрения Галилея, идеал красоты — не неизменное, а, напротив, изменяемое»); Ньютон («Слово «гипотеза» было поистине ненавистно ему», «Великий физик каждым своим шагом утверждал такой подход к изучению природы, который был чужд великому поэту» [Гёте]); Максвелл («...аккуратный столбец математических знаков и подсказал Максвеллу великую идею электромагнитных волн... благодаря тонко развитому чувству красоты. Это чувство толкнуло его на поиск более симметричной формы уравнений», «Не математическая симметрия уравнений — стремление к ней вряд ли было свойственно Максвеллу, — но симметрия физических явлений, симметрия электричества и магнетизма»); Эйнштейн («Есть... глубокая внутренняя связь между пристрастием Эйнштейна к музыке, особенно к Моцарту, и его страстью к науке»); Бор («...Трудно понять, каким образом ученый мог столько лет делить в душе такой «предрассудок», как жажда гармонии, стремление отыскать ее в облике дополнительности», «Дополнительность для Бора была исполнена поз-

зии»). И так далее — Гейзенберг, Ландау, Дирак и другие...

Нет, автор не слишком увлекается: «Эстетические устремления сами по себе недостаточны, чтобы двигать науку вперед». Он не претендует на завершенность исследования. Полный анализ был бы возможен на основе собственных признаний многих ученых. Однако ученые редко упоминают об эстетических мотивах в их творчестве. О. Мороз постоянно помнит о переменчивости представлений о прекрасном («Процесс рождения все новых и новых представлений о красоте мира, их становления и гибели, по-видимому, никогда не остановился бы») и свято верит, что «постижение красоты мира никогда не прекратится, так же как не прекратится само постижение мира...».

Кто он, автор? Физик? Историк науки? Эстетик? Психолог? Нет, писатель и журналист (по образованию авиационный инженер). Такова уж, видимо, судьба современной науки: туда, куда не дошли руки ученых, на стыки науки и культуры, приходят смельчаки, вооруженные научными знаниями и художественным методом. И научно-художественное исследование становится полноправным элементом нашей жизни.

**Иг. БУБНОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ГЕННАДИЙ АБРАМОВ.** Телом одеть.  
Рассказы. М. «Молодая гвардия». 1979.  
224 стр.

В рассказах Г. Абрамова то и дело возникают ситуации, которые при внешней сюжетно-житейской незамысловатости чрезвычайно серьезным внутренним напряжением — автор хочет, чтобы читатель посмотрел новыми глазами на какие-то привычные, обыденные коллизии, испытал сердечную боль там, где частенько мы проходим мимо, погруженные в сиюминутные, не всегда значительные, но свои мысли, свои дела.

Живет у детей в городе восьмидесятишестилетняя Ефросинья Капитоновна («Ничья»). Так ведь это только называется — живет! Каждую неделю попеременно катают старуху сын с дочерью из дома в дом. Справедливость соблюдают. Чтобы никому не обидно было. Установлен для матери твердый порядок: «По комнате зря не гулять, не мешаться под ногами, с вопросами не приставать и не вмешиваться». Как-то Ефросинья Капитоновна суп днем разогревать поставила — и забыла про него, чуть пожару не наделала. Соседи ругаются, а дочка брату звонит: забери, дескать, мать, хоть неделя и не прошла. Тот отказывается: «Уговор, сестрица... Запрусь и не пущу». «Ну я ее тогда на вокзале брошу». «Бросай». Дочка в слезы... Наутро старушка вспомнила про подругу, которая к себе пожить приглашала. Потащилась с трудом. Еле дом нашла. А там говорят: «Она, бабушка, умерла прошлым летом».

Вот и весь рассказ. Ничего необычного не происходит. А сердце щемит. И бедная старуха не идет из головы.

Лирический герой книги как-то жалуется, что не знает, чем помочь в подобных случаях: «...я не могу, я просто не умею. Не знаю как. Не учен». Сам же писатель знает, что ему делать, он «учен» опытом русской гуманистической литературы, всегда страстно выступавшей на защиту слабых и обиженных. Автор стремится пробудить в читателе доброту и сострадание, обнаруживая глубинные драматические конфликты в обыденном и повседневном.

В рассказе «Кoftочка» пожилая женщина приходит в ателье починить к зиме шерстяную кофту. Одетая женщина бедно, может, у нее и нет других теплых вещей. Од-

нако сочувствия это у приемщицы не вызывает. Наоборот, женщина со старой кофтой раздражает ее, кажется упрямой и нелепой: такое старье нет смысла чинить, каждому ясно. Только время зря отнимает! Приемщица спешит. Равнодушно спешит и очередь... Герою мучительно жаль женщину, совестно того, что произошло на его глазах. Но действительно, как и чем можно помочь?

И сами эти вопросы, и размышления писателя о доброте, о том, как необходимо уметь ее проявлять, осознавать неизбежные последствия не только действий, но и слов, конечно же, чрезвычайно интересны и важны. Хорошо, когда успеваешь совершить добрый поступок в порыве, движимый чувством, не рассуждая и не раздумывая. А если нет, сколько сомнений приходит потом: а не покажется ли обидной твоя помощь? удобно ли подойти? И даже: а не ответят ли тебе что-нибудь резкое под руку? и не будешь ли ты при этом выглядеть смешным? Знаком, да? Ну, значит, писатель заставит и вас углубиться в этот нравственно-этический пласт...

В коротеньких своих рассказах автор проверяет персонажей практически одним и тем же — отношением к чужой беде, чьей-то неблагополучности. Но читатель при этом не может не заметить, насколько полноценнее и значительнее становится жизнь героя, насколько счастливее делается человек, протянувший другому руку помощи, проявивший благородство.

Добрые поступки всегда действия активные, бесследно для характера не проходящие. Много лет прожила Анна со своим мужем Егором («Помощница»). И всегда была она женщиной «смирной и уступчивой». Но вот в их же поселке у старухи Веснушкиной сторела изба. Осталась Елизавета почти на улице и без хозяйства. Прежде Анна недолюбливала Веснушкину — «непудевая», «пустая и обидчивая». А случилось горе — первая бросилась ей на помощь. То и дело тащит Елизавету что-то из дому, сама из последних сил старается пособить, да еще и помощников найти. Ни сил не жалует, ни денег. Сердится на нее Егор: дом совсем забросила, «словно бес в нее вселился, бес сердоболья». Но иначе Анна поступить просто не может. И это дает ей силы впервые в жизни твердо стоять на

своем. Будто другой, более сильный человек в ней пробудился.

Удивительно, что молодой писатель в первой же своей книжке так озабоченно и глубоко погружается в мир тонких движений человеческой души, в мир неброской будничной повседневности. Правда, порою в поисках новых пластов и новых оттенков автор допускает некое однообразие настроений и интонаций. Ноты сентиментальной растроганности звучат в рассказе «Ленька» и некоторых других. Но главное все-таки, что писатель сумел найти в привычных и хорошо знакомых нам буднях, казалось бы и литературой не обойденных, с во й пласт, свой ракурс, своих героев, людей благородных, добрых, терпеливых и отзывчивых.

Г. Петрова.



**АНАТОЛИЙ РЕНИН.** Словом слышу. Книга стихов. Кишинев. «Литература артистка». 1978. 263 стр.

Избранное Анатолия Ренина отобрано уже не им. При жизни поэт увидел всего лишь одну книжку своих стихов. Вторая — посмертная. Но не количеством книг измеряется жизнь и дело поэта.

Поиски созвучий, необыкновенных рифм (а они и в самом деле необыкновенные: гор достиг—гордости, свой царь—швейцар, небо синее—Хиросимю!) были для Анатолия Ренина не только верностью маяковско-хлебниковской традиции, которой он следовал истово и преданно, но и стремлением отыскать истоки, роднящие все живое в мире. Словно алхимик, он верил, что в корнях и перезвучиях слов сохранились те первоэлементы, с которых начиналась жизнь человека, в которых залог ее непобедимости, неизбежного претворения всего сущего в добро. Вслушайтесь:

Как русалки пришли к нам из медленных рек,  
расплескав в росных руслах зеркальность  
красы,  
так и Русь появилась из рокота речи,  
из ручья и, пожалуй, из чистой росы.

В этом нежном рокотании, смягченном плавными «л», «м», «н», не просто мастерство аллитераций, но музыкальное ощущение русского языка.

Родному языку он верил как поводырю, способному вывести на правильную дорогу. Вот почему самые нежные и самые страстные, самые интимные и самые трибунные стихи А. Ренина посвящены русскому языку, русскому слову, которое для него и «родина мысли и песни» и «ржаное, неспрадное и величавое откровение, музыка или призыв, просто реченка — Речь и земля Словославия, моя вечная родина—Русский язык!».

Поэт был в корне чужд национальной исключительности или ограниченности. Выросший на Украине, учившийся в Москве, больше половины своей жизни отдавший

солнечной Молдавии, он вслед за своим любимым поэтом мог бы повторить: «Три разных нации в себе совмещав...» Молдавская и украинская поэзия стали так же дороги его сердцу, как и русская. Ему был внятен смысл не только славянских корней. Многозначность романского слова «дор» подсказала ему одноименное стихотворение, сопровождавшееся примечанием: «Дор (молд.) — грусть, кручина, тоска, желание, любовь. А дори — желать. Дуреря — болезнь. Dolor — скорбь (лат.). Дойна — жалобная песня».

Стихотворение, названное киргизским словом «нан» — хлеб, — рассказывало не только о дружбе двух людей — оно вскрывало корневые, исконные истоки дружбы-родства двух народов:

И находя вкус дружбы в нане,  
жуя киргизский черствый хлеб,  
я видел нени суть и няни,  
и не был вывод мой нелеп.

Анатолий Ренин написал это стихотворение в 1967 году, не подозревая, что одиннадцатую годами позже серьезный ученый опубликует статью, где, ссылаясь на те же самые слова, родство которых почувствовал поэт, сможет, углубясь в прошлое на... двадцать миллионов лет, заглянуть в самое начало, в колыбель рода человеческого («Знание — сила», 1978, № 9). Да, прав был поэт, утверждавший, что «мы — родня, что прочны узы, соединяющие нас!»

Когда вслушиваешься в размеры стихов А. Ренина, вглядываешься в его словесное, порой изощренное мастерство, на память приходит не только маяковско-хлебниковская традиция — различаются и летящие ритмы Э. Багрицкого и тяжелая строфа М. Голодного — ответ тех легендарных 30-х годов, когда складывалась поэзия поколения Когана и Майорова, Кульчицкого и Отрады. А. Ренин тоже был ифлийцем, и отблеск ифлийской поэзии отчетливо различим в его стихах. Пожалуй, это не только литературное или филологическое определение, ифлийцы — это прежде всего юноши 30-х годов, особенно остро воспринявшие романтику гражданской войны и революции. У тех ифлийцев, что потом пережили Великую Отечественную (Слудский, Наровчатов, Самойлов, Луконин), появились иные стилиевые черты, возникла угловатая порой простота. Анатолий Ренин по состоянию здоровья не воевал, но в его стихах сохранился тот ответ, который теперь мы чаще всего связываем с именами поэтов, погибших в самом начале войны. Но как бы то ни было, у этого ответа несомненно социальное, точнее социалистическое, происхождение.

Стихи А. Ренина исполнены высокого нравственного смысла. По убеждению поэта, мифический Сизиф «бездельниками подло оболган». На самом деле Сизиф сродни Прометею: прокладывая в гору дорогу, «камнем-бабой скалы он ломал и щебень злой в песок крошил упрямо». Поэт видит в герое древнего мифа олицетворение «окающего, охаянного и осиянного труда».

А. Ренин был убежден, что поэзия вбирает в себя духовный опыт поколений. Небольшая книга его стихов — наглядное тому подтверждение.

Ал. Горловский.

Загорск.



**ЕВГ. ПЕТРЯЕВ.** Записки книголюба. Киров. Волго-Вятское книжное издательство. 1978. 290 стр.

Книги Е. Петряева о забытых именах и важных событиях старой Сибири выходили в Чите, Иркутске, Улан-Удэ. При его участии открыт литературный музей в Чите. В 1972 году энтузиасту забайкальского краеведения присвоено звание почетного гражданина Нерчинска — древнего города, который, как отмечает с гордостью Е. Петряев, «долго был культурным гнездом и центром книжности огромного и богатого края».

Вот уже почти четверть века Е. Петряев живет и работает в Кирове. Связи писателя с Сибирью и Забайкалем сохранились, но теперь главной стала вятская тема в ее взаимосвязях со всей историей русской культуры, краеведения. «Наибольший интерес в культурно-исторических исследованиях для меня и здесь представляют «Дон-Кихоты» — незаслуженно забытые просветители, пионеры науки и литературы, деятели книги и печатного слова», — подчеркивает Е. Петряев. И дальше: «Мир изменил свое лицо. Но кто был тот смелый Дон-Кихот? Говорили, что он вятчик. Разве мы можем его забыть?» Такова принципиальная позиция исследователя, и в этом ключ к его работам «Литературные находки», «Люди, рукописи, книги» и многим другим. Точные, доскональные указатели имен в книгах Е. Петряева и результат длительных поисков, и отблеск неутолимого интереса к человеческим судьбам — он основатель литературного музея в Кирове и клуба вятских книголюбов. Несколькое его произведений вышло в Волго-Вятском книжном издательстве.

Пафос книг Евг. Петряева можно выразить словами Добролюбова, которые с признательностью вспоминает автор «Записок книголюба»: «Подумаешь, право, что в России везде, кроме столиц, люди спят себе и рта открыть не умеют, двух мыслей не свяжут, особенно на бумаге. А между тем это вовсе неправда: в провинциях-то и живут люди рассуждающие, серьезно интересующиеся наукой и литературой, с любовью следящие за современным направлением мысли». Об этих людях, встреченных в жизни или в истории, рассказывает Петряев. От книги к книге, от человека к человеку, от имени к имени вяжется нить «Записок книголюба». Сначала настойчивое внимание к деятелям и работникам «второго плана» может показаться увлечением коллекционера. Вы хотите идти по привычной колее, а вас ведут по незнакомым тропам. Но незаметно увлекаешься любовной пристальностью краеведа и видишь, что

тропы сливаются с большой дорогой русского просвещения. Для Петряева действительно «людей нейнтересных в мире нет». Людей и книг... Подтверждается это и обилием фотографий, которые впервые опубликованы в «Записках книголюба».

О многих людях здесь едва ли не впервые написано!.. Учитель Ф. В. Чистяков, букинисты Д. И. Старцев и А. Н. Шарнин, доктор и художник Г. В. Сегалин, ученый-бактериолог Н. И. Грязнов, собиратель-книжник И. В. Шишов, этнограф и историк А. Н. Орлова, врач и краевед А. К. Белявский, медик и библиофил М. В. Танский, музейщик Н. С. Тяжелов, крестьянин-самоучка Л. А. Гребнев, историк медицины Ю. И. Миленушкин, просветитель С. П. Куртеев и десятки других имен оживают перед нами. Каждому посвящен обстоятельный документальный рассказ в главе «Книжные дороги». Глава «Храмы умственного развития» повествует о вятских библиотеках и библиотечках, собирателях книг чуть ли не с XVII века, а то и раньше. Глава «О друзьях-книжниках» — это портреты современных библиофилов, библиографов. Из главы «Вятские связи» узнаем существенные подробности общения провинциальных читателей и писателей с Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, В. Г. Короленко, А. М. Горьким. Наконец, «Литературные места» — обзор памятных адресов в Кирове. Автором найдены новые сведения, касающиеся В. А. Жуковского, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина... Таково — в самом сжатом виде — богатейшее содержание «Записок книголюба».

Помимо несомненного познавательного значения, талантливые «Записки...» кировского писателя-библиофила ценны утверждением плодотворности, всякого подлинно творческого деяния, укорененного в народной жизни, связанного с местными гнездами общерусской культуры. Подвижнический труд Е. Петряева заслуживает высокого уважения.

Ст. Лесневский.



**Г. А. РАЗУМОВ, М. Ф. ХАСИН.** Товущие города. М. «Наука». 1978. 197 стр.

Освещающая причины гибели и разрушения древних городов и целых материков, авторы в популярной форме изложили глобальную сущность тех изменений, которые происходили и продолжают происходить с земной корой. «Наша планета, — отмечают они, — далеко не статична, она непрерывно изменяется, растет и стареет, расширяется и сжимается». Тайна затопления прибрежных городов послужила им наиболее доходчивым свидетельством подвижности лика Земли.

По картам здесь и город был, и порт. Остатки мола видны под волнами. Соседний холм насыщенный черепками Амфор и пифосов. Но город стерт, Как мел с доски, радивом...

Эти стихи М. Волошина, предпосланные в качестве эпиграфа к первой главе, как нельзя лучше отвечают и содержанию главы и ее поэтической приподнятости. Несмотря на значительную насыщенность данными археологии и исторических исследований, она читается как волнующая эпическая поэма о становлении цивилизации, борьбе человека с силами природы и о путях познания прошлого Земли.

Особенно ярко Г. Разумовым и М. Хасиним описана история Северного Причерноморья. Его прошлое в последнее время привлекло пристальное внимание исследователей. Диоскурию, Себастополис, Цхум, Пантикапей, Фанагорию, Херсонес и десятки других населенных пунктов, возникших в античную эпоху, поглотило море. О том, как их впоследствии открыли и в каком виде они предстали перед взором исследователей, повествуют авторы. Фотографии и схемы хорошо дополняют интересный текст. Не менее увлекательно изложена история затонувших городов Средиземноморья. Рассказывается также о колебаниях уровня Каспийского моря и рассматриваются те последствия, которые эти колебания несут прибрежным районам.

Как известно, пишут авторы, «особенно ярко проявляется динамичность поверхности Земли на границе двух ее основных частей: суши и моря». Основываясь на этом, они в ходе дальнейшего изложения приводят примеры научных исследований, осуществленных на границе двух стихий и позволяющих с достаточной точностью описать те катаклизмы, которые происходили с сушей в прошлом. В книге изложены современные тектонические гипотезы, объясняющие подвижность материков. Дается обзор роли Мирового океана в природных процессах и формировании континентов. Авторы затрагивают и вопрос об отрицательных результатах деятельности человека, порою недостаточного продуманно вмешивающегося в природные процессы.

Повествуя о происходящих ныне катаклизмах в природе, авторы поднимают вопрос о роли человека в столкновениях с катастрофическими проявлениями стихийных сил. Здесь на примерах борьбы с тайфунами, наводнениями, оползнями, землетрясениями, штормами раскрыты накопленный опыт, знания и технические возможности, что в конечном итоге должно привести к обузданию стихийных сил природы и позволит человеку обоснованно вмешиваться в естественный круговорот вещей.

Рассматривая в четвертой главе важнейшую проблему спасения культурных сокровищ Венеции от катастрофических наводнений, авторы подчеркивают, что она «вышла из рамок узкого круга специалистов и стала достоянием широких общественных кругов в Италии и за ее пределами». В трагедии этого города, помимо угрозы природных сил, с особой остротой проявились самые отрицательные черты влияния интенсивного индустриального развития на Западе. Защита от гибели и восстановление поврежденной жемчужины мировой культу-

ры по призыву ЮНЕСКО должны стать делом интеллектуальной и моральной солидарности всего человечества.

Большое внимание в книге не случайно уделяется и многовековой борьбе с морем, которую успешно ведут жители Голландии. Они не только отстояли свои земли от посягательств моря, но и сами отняли у него тысячи квадратных километров суши... «История взаимоотношений жителей Нидерландов с Северным морем — характерный путь взаимодействия цивилизации с окружающей средой».

Рецензируемая книга затрагивает сложные вопросы тектонических изменений земной коры и возможности противостояния стихийным явлениям природы. Ее с одинаковым интересом прочтут и специалисты и широкие круги читателей.

В. Барвинский.



**ИРИНА РАДУНСКАЯ.** Предчувствия и свершения. М. «Детская литература». 1978. 350 стр.

«Мы условились изучать историю не по открытиям, а по заблуждениям... При знакомстве с ошибками прошлого мы не будем придерживаться хронологии. С высоты XX века позволим себе тасовать века, как игральные карты, выбирая ту или иную ошибку по вкусу».

Как видим, автор книги необычно ставит задачу изложения истории науки. Но за кажущейся странностью стоит четкая методологическая концепция: развитие прогресса связывается с непрерывной переоценкой научных идей, а степень их приближения к «абсолютной истине» относительна и может быть оценена только с позиций сегодняшнего уровня знаний. Такая диалектика.

На страницах книги перед нами разыгрывается немало драм идей. Причем конец «спектаклей» всегда неожиданный: ведь в основе этих «странствующих сюжетов» лежат заблуждения. А научные заблуждения подобны человеческим страстям: «капризы», «хобби», «предрассудки», «пристрастия», «обольщения». На такие главы и разделена первая часть книги.

Заблуждение Гёте — это неудачная теория цветов — отнесено в раздел «хобби». В чем же причина тщетности многолетнего развития великим поэтом представления о цвете? В том, что он изучал не физику, как Ньютон, который экспериментально доказал разложение белого цвета на составляющие, а умозрительно рассуждал о воздействии различных цветов на человеческий глаз. Гёте был уверен, что глаз человека сам принимает участие в образовании цвета. При этом он полагал, что луч, пропущенный Ньютоном через призму, «уже не тот первоначальный, что резвился на просторе». Гёте, будучи великим дилетантом, ошибался в объяснении сущности цвета.

Но, рассматривая природу как единый организм, он сумел интуитивно ощутить, что любое вмешательство человеческого опыта нарушает исследуемое явление. И это стало предвидением будущего принципа неопределенности в квантовой механике. В XX веке ученые вплотную столкнулись с жесткими условиями нарушения явлений микромира за счет взаимодействия с прибором наблюдателя.

Следуя причудливым изгибам великих и малых ошибок, мы прослеживаем не только «всеобщие» заблуждения, такие, как идея эфира, теплорода, вечного двигателя, ошибочные модели мироздания, но и психологические недооценки открывателями собственных свершений: прижизненное замалчивание своей системы мира Коперником, самозапрет на опыты с летательными аппаратами Леонардо да Винчи, сокрытие главных теоретических трудов Архимедом...

Но содержание книги значительно шире, чем просто летопись ошибок ученых. И. Радунская показывает, как великие заблуждения прокладывали «пути в бессмертие», иначе говоря, становились носителя-

ми истины. Подробно анализируя, скажем, наследие Аристотеля, в котором «одна ошибка порождает следующую», автор показывает плодотворность многовековых споров по поводу проблем, выдвинутых великим материалистом, впервые противопоставившим мистическим учениям таких авторитетов, как Пифагор и Платон, утверждение о том, что мир подчиняется строгим законам и эти законы доступны человеческому разуму.

Противоречивость лежит в основе даже гениальных научных свершений. Во второй части книги раскрыты заблуждения в теориях тех ученых, которые вошли в науку как признанные ее основоположники. При этом история науки предстает как бы в зеркальной двойственности явлений: мы видим одновременно истину и ее отражение в зеркале заблуждений. Интереснейший способ познания. Надеемся, что эта поучительная методология исследования истории науки не ограничится классической физикой и более поздний период найдет свое место в следующей книге автора.

Т. Гвездина.





# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О лозунге Соединенных Штатов Европы. — Военная программа пролетарской революции. 24 стр. Цена 3 к.

**М. А. Сулов.** Дело всей партии. Доклад на всесоюзном совещании идеологических работников 16 октября 1979 г. 47 стр. Цена 10 к.

**Л. Метелица, Э. Тадевосян.** Проблемы научно коммунизма. 344 стр. Цена 65 к.

**Политическая экономия.** Словарь. 463 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Экономическая политика КПСС.** Вып. 1. 158 стр. Цена 25 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Адамович и Д. Гранин.** Блокадная книга. 294 стр. Цена 90 к.

**А. Ананьев.** Годы без войны. Роман. Кн. 2. 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

**М. Борисова.** Разговор. Стихи разных лет. 159 стр. Цена 70 к.

**Е. Винокуров.** Остается в силе. О классике и современности. 335 стр. Цена 95 к.

**М. Дудин.** Полос. Книга новых стихов 158 стр. Цена 45 к.

**Т. Каипбергенев.** Сказание о Маманбии. Дастан о каракалпаках. 462 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Е. Ржевская.** Выла война... Повести, рассказы и записки. 640 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Ю. Семенов.** Горение. Роман-хроника. Кн. 2. 303 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Андерш.** Винтерспельт. Роман. Перевод с немецкого. 477 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Х. Ергалиев.** За валом вал. Поэмы. Перевод с казахского. 246 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Р. Казакова.** Русло. Избранные стихотворения. 430 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Е. Курбанпесов.** Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с туркменского. 366 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Г. Эмин.** Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с армянского. Т. 1. Стихи. 342 стр. Цена 1 р. 50 к. Т. 2. Проза. Семь песен об Армении. 222 стр. Цена 1 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Амлинский.** Неслучный сад. Повесть, романы, рассказы. 607 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Н. Шундин.** Велый шаман. Роман. 558 стр. Цена 2 р. 30 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Е. Баратынский.** Стихотворения и поэмы. Составление и предисловие К. Пигарева. 128 стр. Цена 30 к.

**Я. Гордин.** Пусть каждый исполнит свой долг. Повесть о Северной войне. 143 стр. Цена 55 к.

**Б. Соловьев и И. Мотылов.** Агния Варто. Очерк творчества. Изд. 3-е, дополненное. 318 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**Ю. Бондарев.** Мгновения. Рассказы. 189 стр. Цена 1 р.

**Р. Гамзатов.** Последняя цена. Стихи и поэмы. Перевод с аварского. 358 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Каверин.** Двухчасовая прогулка. Роман и повести. («Новинки «Современника») 253 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. Тургенев.** Избранное. Предисловие Ю. Селезнева. («Классическая библиотека «Современника») 605 стр. Цена 3 р. 10 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Антонов.** Поддубные частушки Повести. 256 стр. Цена 50 к.

**А. Фет.** Стихотворения. Составление и вступительная статья В. Корovina. («Поэтическая Россия») 367 стр. Цена 85 к.

## «ПРОГРЕСС»

**М. Дрюон.** Пегоже лилиям прясть. — Французская волчица. Романы. Из серии «Проклятые короли». Перевод с французского. 560 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Г. Маркес.** Сто лет одиночества. Роман. — Повести и рассказы. Перевод с испанского. («Мастера современной прозы Колумбии») 587 стр. Цена 3 р. 70 к.

**И. Стоун.** Греческое сокровище. Биографический роман о Генри и Софье Шлиманов. Перевод с английского. 463 стр. Цена 3 р. 20 к.

## «ИСКУССТВО»

**Жизнь в кино.** Ветераны о себе и своих товарищах. Вып. 2. Составитель О. Нестерович. 320 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Н. Исмаилова.** Евгений Леонов. («Мастера советского театра и кино») 223 стр. Цена 90 к.

## «НАУКА»

**Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.** Текст подготовили Я. Лурье и Ю. Рыков. («Литературные памятники») 431 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Пушкин в странах зарубежного Востока.** Сборник статей. 230 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Советское изобразительное искусство и архитектура 60—70-х годов.** Сборник статей. Отв. редактор В. Хазанова. 264 стр. Цена 2 р. 70 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**С. Винулов.** Земля говорит — могу! Очерки и статьи. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 135 стр. Цена 40 к.

**Г. Гегешидзе.** Гость. Роман. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 312 стр. Цена 85 к.

**И. Есенберлин.** Опасная переправа. — Золотые кони просыпаются. Романы. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 349 стр. Цена 1 р. 70 к.

**К. Хетагуров.** Фатима. Кавказская повесть. Орджоникидзе. «Ир». 143 стр. Цена 1 р. 90 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 200-08-29.  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 26/XI 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/I 1980 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/2</sup> мм. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)  
А 03309. Тираж 320.000 экз. Зак. 3884.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радяньска Украина». Киев-47, Врест Литовский проспект, 94. Зак. 0183.

Цена 70 коп.

70636